

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им А М ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

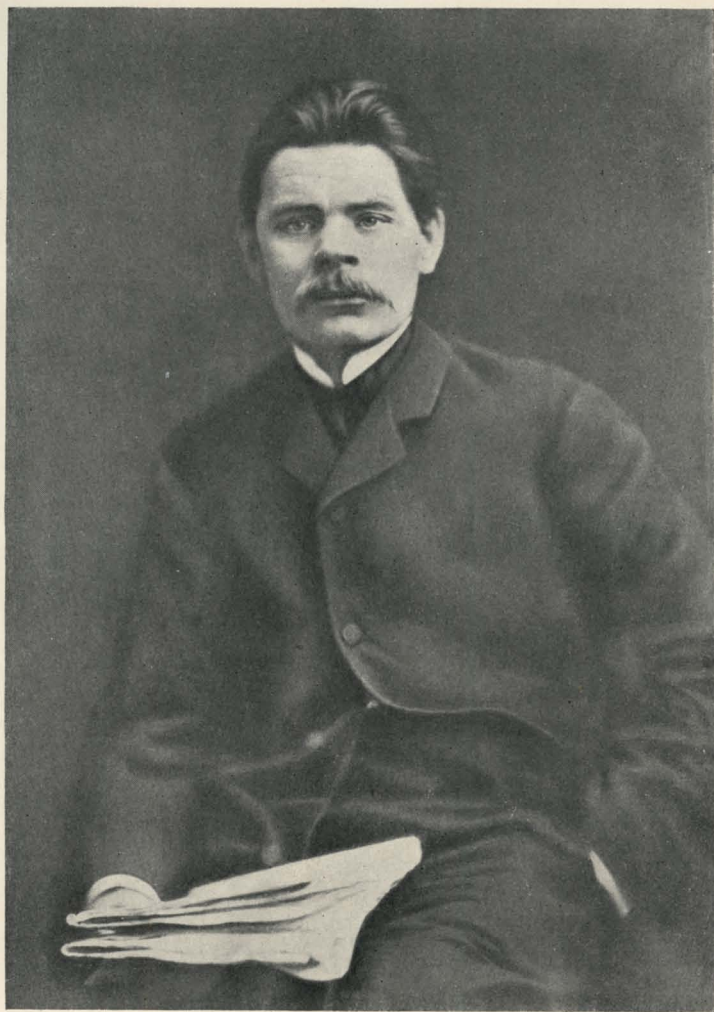
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 7

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ, НАБРОСКИ

1906—1907



А. М. ГОРЬКИЙ
Америка 1906 г.

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ, НАБРОСКИ

1906—1907

В АМЕРИКЕ

ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка-полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:

— Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — мало земли, она кажется поднявшейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет все кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного куса земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно

голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.

Все вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют воду — она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.

И кажется, что все — железо, камни, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Все стонет, воеет, скрежещет, повинуюсь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами и стружками, соломой и остатками пищи, работает невидимая глазом холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки — только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.

Ошеломленное, оглохшее от шума, задержанное этой пляской мертвой материи двуногое существо, все в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость зубов.

Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, отупели, что-то однообразно-овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулкого ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатипятиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба». Квадратные, лишённые желаний быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скудно. В каждом доме чувствуется надменная кичли-

вость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.

Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, — в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.

Улица — скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой — живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, все шире раскидывая звенья своей цепи.

Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою вагоны, крикают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воеет электричество, душный воздух напоен, точно губка влагой, тысячами ревуших звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.

На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях, — возвышаются темные монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их, когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них, остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие, черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто не бросит взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из памяти людей значение творцов свободы.

Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же тяжелой мыслью:

«Разве такую жизнь хотел я создать?»

Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь, бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в бульоне, как щепки в море, маленькие люди. Город ревет и глотает их одного за другим ненасытной пастью.

Одни из героев опустили руки, другие подняли их, протягивая над головами людей, предостерегая:

— Остановитесь! Это не жизнь, это безумие...

Все они — лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии из камня, стекла и железа.

Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю жизнь трудился на благо своей родины, он этим несомненно заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.

По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремющий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня — все это заглушает голоса людей, как буря в океане — крики птиц.

Лица людей неподвижно спокойны — должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища. В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы — в глазах у них, порою, светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа — не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели иступить. Это — свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола — Золота.

Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так поработаны. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы...

О людях — страшно и больно говорить.

Вагон «воздушной дороги» с воем и грохотом мчится по рельсам, между стен домов узкой улицы, на высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них — фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и дети — все одинаково безмолвны, однообразно спокойны. Привыкли к этим стремлениям без цели, привыкли думать, что тут есть цель. В глазах нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые, красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую мечту.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным

потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.

Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он однообразно качался над каким-то станком. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок, считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло внутрь комнаты, — она не отвела глаз от работы, не поправила платья, развеянного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы они не упали на улицу сквозь отверстия в решетке балкона. И тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мелькают в окнах, точно осколки чего-то одного — большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дресву.

Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развеивает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно воющим звуком...

Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет, — живому человеку этот дикий вой, визг, рев, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах — все это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал, разрушил эту мерзость — «воздушную дорогу»; он заставил бы замолчать нахальный вой железа, он — хозяин жизни, жизнь — для него, и все, что ему мешает жить, — должно быть уничтожено.

Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно переносят все, что убивает человека.

Внизу, под железной сетью «воздушной дороги», в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети, — безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, — но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города,

они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем порабощенных молний.

«Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди?» — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра, котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, тупые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они всё еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола.

На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.

Грязь — стихия, она пропитала собою все: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли...

В этих улицах темные впадины дверей подобны загнившим ранам в камне стен. Когда, заглянув в них, увидишь грязные ступени лестниц, покрытые мусором, то кажется, что там, внутри, все разложилось и гнойно, как во чреве трупа. А люди представляются червями...

Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери, на руках у нее ребенок, ее кофта расстегнута, бессильно повисла длинным кошелом ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно каменная, и глаза ее круглы, как у совы, — они смотрят упорно в одну точку перед собой. Чувствуешь, что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглоченной им вчера, мечтой о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким, желтым тельцем, — она не слышит его криков, не чувствует ударов...

Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на седой голове, прищурив красные веки больных глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает туловище и что-то говорит.

Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами...

Здесь, в этих улицах, человек замечен, слышен его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо — голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке мутной воды, их кружит и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.

В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми, они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных

глубинах их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные желания.

Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!

Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет, — иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды днем подняться над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем все в груды мусора и праха — кирпич и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья, отравленные грязью, и эти глупые, многоэтажные «скребницы неба», всё, весь город — в кучу, в тесто из грязи и крови людей — в скверный хаос. Это страшное желание естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много работы рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это понятно — искажая душу человека, люди не должны ждать от него милосердия к ним.

Человек имеет право мести — это право дают ему люди.

В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их темных недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое богатство этих гробниц.

Люди кончили работу дня и, — не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них, — быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги, — это видно по глазам, — уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью, — кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.

Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища...

Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блещут улыбки.

Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет музыка.

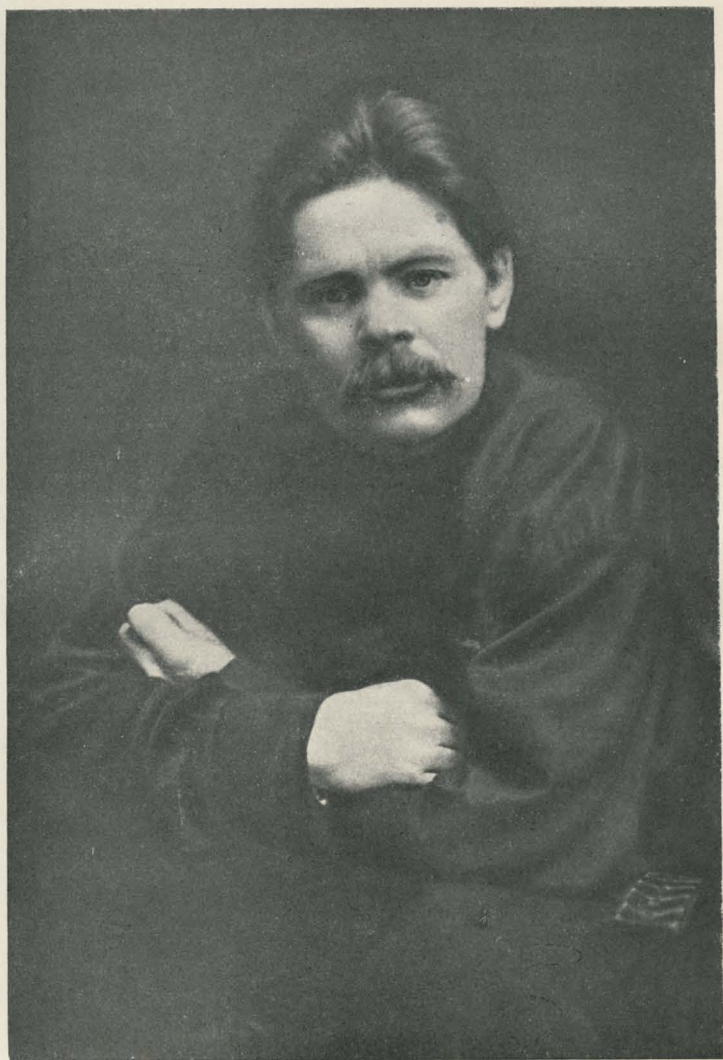
Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом объятии убийцы и балаганного шута. Бездельно идут маленькие люди, — точно камни катятся под гору...

Все больше и больше вспыхивает желтых огней — белые стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле, новой бритве, шляпах, сигарах, о театрах. Грохот железа, гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.

Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — льется ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный, крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза, искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные крупинки их заработка, — он слагает свои подмигивания в огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи...

Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить все ветхое, умершее и грязное.

Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь, как все, огонь — поработен. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей...



А. М. ГОРЬКИЙ
Америка 1906 г.

Как все — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:

— Иди сюда!

И выманивает:

— Отдай твои деньги!..

Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на зрелища, отупляющие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, поработанных им.

И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, коют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.

Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.

Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным, соленым дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее холодные огни — она идет, сострадательно окутывая темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее ти-

шину, — она идет и медленно гасит нахальный блеск порабощенного огня, закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.

Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города. Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно, неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее осталась только тьма, — свежесть и прохлада исчезли, проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии...

Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи, ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.

Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей, одного за другим, в свои каменные внутренности.

Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скудно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно поворачивая голову. Куда идти? Все улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых окон одинаково безразлично и мертво...

Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений проклятого, несчастного города. Сквозь эту пелену в недосягаемой высоте небес тускло мерцают тихие звезды.

Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезды — мелки, одиноки...

Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками. Уже поздно, улицы становятся все более пустынными. Одинокие маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские, в серых шляпах, с палками в руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.

Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов, — черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках улиц, ночь умерла.

Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой длинный, согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее и хотя нерешительное, но решающее...

Мне кажется, он — вор.

Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города.

Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого пота.

Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душной, тоскливой тьме...

Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола,

ЦАРСТВО СКУКИ

Когда приходит ночь — на океане вдруг поднимается к небу призрачный город, весь из огней. Тысячи рдеющих искр раскаленно сверкают во тьме, тонко и четко рисуя на темном фоне неба стройные башни чудесных замков, дворцов и храмов из разноцветного хрусталя. В воздухе трепещет золотая паутина, сплетаясь в прозрачные узоры пламени, и замирает, любясь своей красотой, отраженной в воде. Сказочно и непонятно это сверканье огня, который горя — не уничтожает; невыразимо прекрасен его великолепный, едва заметный для глаза трепет, создающий в пустыне неба и океана волшебную картину огненного города. Над ним колышется красноватое зарево, и вода отражает его очертания, сливая их в причудливые пятна расплавленного золота...

Игра огня рождает странные мечты: кажется, что там, в залах дворцов, в ярком блеске пламенной радости, тихо и гордо звучит музыка, которой не слышал никто и никогда. На волне ее стройного течения несутся, точно крылатые звезды, лучшие мысли земли. В священном танце они соприкасаются одна с другой и, ярко вспыхнув в мимолетном объятии, рождают новое пламя, новую мысль.

Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и звезд большая колыбель, — в ней, ночью, отдыхает солнце.

Солнце ставит человека ближе к правде жизни. Днем на месте огненной сказки видны только белые воздушные здания.

Голубой туман дыхания океана смешан с дымом города, серым и мутным, белые, легкие постройки окутаны прозрачной пеленой, они, подобно мареву, заманчиво дрожат, зовут к себе и обещают что-то прекрасное, утешающее.

Там, сзади, тяжело стоят в тучах дыма и пыли квадратные дома города, и, не смолкая, раздается его ненасытный, голодно-жадный рев. Этот напряженный звук, сотрясающий воздух и душу, немолчный вой железных струн, тоскливый вопль сил жизни, угнетаемых силою Золота, холодный, насмешливый свист Желтого Дьявола, — этот шум гонит прочь от земли, раздавленной и загрязненной вонючим телом города. И люди идут на берег океана, где стоят, обещая им отдых и тишину, красивые белые здания.

Они тесно сомкнулись на длинной песчаной косе, которая, подобно ножу, глубоко и остро вонзилась в темные воды. Песок блестит на солнце теплым, желтым блеском, и на его бархате прозрачные здания подобны тонким вышивкам из белого шелка. Как будто некто пришел на острие косы и погрузился в волны, бросив свои богатые одежды на грудь им.

Хочется пойти и прикоснуться к мягким, ласковым тканям, лечь на их пышные складки и смотреть в пустыню, где бесшумно и быстро мелькают белые птицы, где океан и небо дремотно замерли в знойном блеске солнца.

.....
Это называется — Куни Айланд.

По понедельникам газеты города с торжеством извещают читателя:

«Вчера на Куни Айланд было 300 000 человек. Потеряно 23 ребенка»...

...Нужно долго ехать, в пыли и криках улиц, на трамвае по Бруклину и острову Лонг Айланд, прежде чем перед глазами явится ослепительное великолепие Куни Айланда. И как только человек встанет перед входом в этот город огня — он ослеплен. В глаза ему бросают сотни тысяч холодных, белых искр, и он долго ничего не может разобрать в сверкающей пыли, вокруг него — все слито в буйный вихрь огненной пены, все кружится, блестит и увлекает. Человека сразу ошеломили, ему раздавили этим блеском сознание, изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы. Пьяно и безвольно люди идут куда-то среди сверкания огня. В мозг проникает матово-белый туман, жадное ожидание окутывает душу вязким пологом. Пораженная блеском толпа людей вливается черным потоком в неподвижное озеро света, отовсюду сдавленного темными границами ночи.

Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки, они прилеплены ко всем столбам и стенам, к наличникам окон, карнизам, они тянутся ровными линиями по высокой трубе электрической станции, горят на всех крышах, царапают глаза людей острыми иглами мертвого блеска — люди прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно влatchаются по земле, как тяжелые звенья запутанной цепи...

Человеку нужно сделать большое усилие, чтобы найти себя среди толпы, подавленной удивлением, в котором нет восторга и радости. И кто находит себя, тот видит, что эти миллионы огней рождают унылый, все раздевающий свет и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают тупое, скучное безобразие. Призрачный издали сказочный город встает теперь, как нелепая путаница прямых линий дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей, расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо разнообразны, и ни в одном из них нет даже тени красоты. Они построены из дерева, намазаны облупившейся белой краской и все точно страдают однообразной болезнью кожи.

Высокие башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Все раздето, ограблено бесстрастным блеском огня; он — всюду, и нигде нет теней. Каждое здание стоит, точно удивленный дурак, широко раскрыв рот, а внутри его облаго дима, резкие вопли медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди едят, пьют, курят.

Но человека — не слышно. В воздухе течет ровной струей шипение огня в фонарях, носятся лохмотья музыки, нищенское пение деревянных дудок органов и тонкий, непрерывный свист жаровен. Все это сливается в назойливое гудение какой-то невидимой, толстой, туго натянутой струны, и, если в этот непрерывный звук вторгается человеческий голос, он кажется испуганным шопотом. Все вокруг нагло блестит, обнажая свое скучное уродство...

Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза... Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать, кричать и петь в буйной игре разноцветных языков живого пламени, на сладострастном пире уничтожения мертвого великолепия духовной нищеты...

Людей в плену этого города — действительно сотни тысяч. На всей его огромной площади, тесно застроенной белыми клетками, во всех залах зданий они толпятся, как тучи черных мух. Беременные женщины самодовольно несут тяжесть своих животов. Дети идут, молчаливо раскрыв рты, и ослепленными глазами смотрят вокруг так напряженно и серьезно, что их до боли жалко за этот взгляд, питающий их душу уродством, которое они берут за красоту. Бритые лица мужчин, безусые, странно похожие друг на друга, — солидно неподвижны. Большинство их привело сюда жен и детей и чувствует себя благодетелями своих семейств, которым они дают не только хлеб, но и великолепные зрелища. Им самим тоже нравится этот блеск, но они слишком серьезны для того, чтобы выражать свои ощущения, поэтому они однообразно сжали тонкие губы и, прищулив глаза, смотрят исподлобья, как

люди, которых ничем не удивишь. Но под этим внешним спокойствием зрелого опыта чувствуется напряженное желание изведать все наслаждения города. И вот солидные люди, пренебрежительно усмехаясь и скрывая довольный блеск светлых глаз, садятся верхом на спины деревянных лошадок и слонов электрической карусели, садятся и, болтая ногами, с трепетом ждут острого удовольствия помчаться по рельсам, ухая взлететь вверх и со свистом опуститься вниз. Совершив это тряское путешествие, все снова туго натягивают кожу на лице и идут к другим наслаждениям...

Удовольствия бесчисленны: вот на вершине железной башни медленно качаются два длинные белые крыла, на концах крыльев висят клетки, в клетках — люди. Когда одно из крыльев тяжело взмывает к небу — лица людей в клетках становятся тоскливо серьезные, и все они одинаково напряженно и молчаливо смотрят круглыми глазами на землю, уходящую от них. А в клетке другого крыла, которое в это время осторожно опускается вниз, — лица людей цветут улыбками, и раздаются довольные взвизгивания. Это напоминает радостный визг щенка, когда его опустишь на пол, подержав на воздухе за кожу шеи.

Вокруг вершины другой башни летают в воздухе лодки, третья, вращаясь, двигает какие-то баллоны из железа, четвертая, пятая — все они двигаются, пылают, зовут безмолвным криком холодного огня. Все качается, взвизгивает, гремит и кружит головы людей, делая их самодовольно скучными, утомляя их нервы путаницей движений и блеском огня. Светлые глаза становятся еще светлее, как будто мозг бледнеет, теряя кровь в странной суеде белого, сверкающего дерева. И кажется, что скука, издыхая под гнетом отвращения к себе самой, кружится, кружится в медленной агонии и вовлекает в свой унылый танец десятки тысяч однообразно черных людей, сметая их, как ветер сор улиц, в безвольные кучи и снова разбрасывая, и снова сметая...

Внутри зданий людей ждут тоже наслаждения, но они серьезны, они воспитывают. Здесь людям показывают ад с его строгими порядками и разнообразием мучений,

которые ждут людей, нарушающих святость законов, созданных для них...

Ад сделан из папье-маше, окрашенного в темнокрасный цвет, все в нем пропитано огнеупорным составом и густым, грязным запахом какого-то жира. Ад очень скверно сделан, он способен вызвать отвращение даже у человека весьма нетребовательного. Он представляет собой пещеру, хаотически заваленную камнями и наполненную красноватым сумраком. На одном из камней сидит Сатана в красном трико, искажая разнообразными гримасами свое худое, коричневое лицо, и потирает руки, как человек, который сделал выгодное дело. Ему, должно быть, очень неудобно сидеть — бумажный камень трещит и качается, но он будто бы не замечает этого, наблюдая, как внизу, у его кривых ног, черти расправляются с грешниками.

Вот девушка купила новую шляпку и смотрит на себя в зеркало, довольная и веселая. Но сзади к ней подкрадывается пара небольших, видимо, очень голодных чертей, они схватывают ее подмышки, она визжит, — поздно! Черти кладут ее в длинный гладкий желоб, который круто опускается в яму среди пещеры, из ямы идет серый пар, поднимаются языки огня, сделанного из красной бумаги, и девушка, вместе с зеркалом и шляпой, съезжает на спине по желобу в эту яму.

Молодой парень выпил стакан водки — черти немедленно спускают и его туда же, под пол сцены.

В аду душно, черти мелки и слабосильны, они, видимо, страшно утомлены своей работой, их раздражает ее однообразие и очевидная бесполезность, поэтому они не церемонятся с грешниками, бросая их в желоб, точно поленья. Смотришь на них, и хочется крикнуть:

«Довольно глупостей! Бастуй, ребята!..»

Девушка вытащила несколько монет из кошелька своего собеседника, — и в тот же миг черти расправляются с ней, к удовольствию Сатаны, который радостно болтает ногами и гнусаво хихикает. Черти сердито косятся на бездельника и озлобленно швыряют в пасть огненной ямы всех, кто случайно — по делу или из любопытства — заходит в ад...

Публика смотрит на эти страсти молча и серьезно. В зале темно. Какой-то здоровый парень с курчавой головой и в толстом пиджаке густым, угрюмым голосом говорит речь, указывая рукой на сцену.

В своей речи он утверждает, что, если люди не хотят быть жертвами Сатаны в красном трико и с кривыми ногами, они должны знать, что нельзя целовать девушек, не обвенчавшись с ними, потому что от этого девушки могут сделаться проститутками; нельзя целовать молодых людей без разрешения церкви, потому что от этого могут родиться мальчики и девочки; проститутки не должны воровать деньги из карманов своих гостей; все вообще люди не должны пить вино и прочие жидкости, возбуждающие страсти; все они должны посещать не трактиры, а церкви, — это полезнее для души и дешевле стоит...

Говорит он одностонно, скучно и, должно быть, сам не верит, что нужно жить именно так, как ему велели проповедовать.

Невольно восклицаешь по адресу хозяев исправительного увеселения для грешников:

— Господа! Если вы желаете, чтобы мораль действовала на душу человека, — хотя бы с силою касторового масла, — проповедникам морали надо больше платить!

В заключение этой страшной истории из угла пещеры является до отвращения красивый ангел. Он подвешен на проволоке и двигается в воздухе через всю пещеру, держа в зубах деревянную дудку, оклеенную золотой бумагой. Сатана, увидав его, ныряет, подобно ершу, в яму вслед за грешниками, раздается треск, бумажные камни валятся друг на друга, черти радостно бегут отдохнуть от работы, — занавес опускается. Публика встает и уходит. Некоторые осмеливаются смеяться, большинство людей сосредоточенно. Может быть, они думают:

«Если и в аду так мерзко, — пожалуй, не стоит грешить».

Идут дальше. В следующем здании им показывают «Загробный мир». Это большое учреждение, тоже из папье-маше, оно изображает шахты, в которых без толку шатаются скверно одетые души умерших. Им можно подмигивать, но шипать их нельзя, это — факт. Они, должно быть, очень скучают в сумраке подземного лабиринта,

среди шероховатых стен, обливаемые холодной струей сырого воздуха. Некоторые души скверно кашляют, другие молча жуют табак, сплевывая на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь в углу к стене, курит сигару...

Когда проходишь мимо них, они смотрят в лицо бесцветными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячут руки в серые складки загробных лохмотьев. Голодны они, эти бедные души, и, видимо, многие из них страдают ревматизмом. Публика молча смотрит на них и, вдыхая сырой воздух, питает душу свою унылой скукой, которая гасит мысль, как мокрая, грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлеющий...

Еще в одном здании охотно показывают «Всемирный потоп», который, как известно, был устроен для наказания людей за грехи...

И все зрелища в этом городе имеют одну цель: показать людям, чем и как они будут вознаграждены за грехи свои после смерти, научить их жить на земле смиренно и послушно законам...

Всюду проповедуется одно:

— Нельзя!

Ибо подавляющее большинство публики — рабочий народ...

Но необходимо наживать деньги, и в укромных уголках светлого города, как везде на земле, разврат презрительно смеется над лицемерием и ложью. Конечно, он прикрыт, и, разумеется, — он скучен, он ведь тоже «для народа». Он организован как выгодное предприятие, как средство вытащить заработок из кармана человека, и, пропитанный страстью к золоту, он трижды гнусен и противен в этом болоте светлой скуки...

Народ питается им...

...Он течет густым потоком между двух линий ярко освещенных домов, и дома глотают его голодными пастьями. Направо его застрашивают ужасами вечных мук, убеждая:

— Не грехи! Опасно!

Налево, в просторном зале для танцев, медленно кружатся женщины, и все там говорит:

— Согреши! Приятно...

Ослепленный блеском огней, соблазняемый дешевой, но сверкающей роскошью, пьяный от шума, он кружится в медленной пляске томящей скуки и охотно, слепо идет налево — ко греху, направо — в дома, где ему проповедуют святость.

Это безвольное хождение с одинаковой силой отупляет его, одинаково полезно и для торговцев моралью и для продавцов разврата.

Жизнь устроена для того, чтобы народ шесть дней работал, а в седьмой грешил и платил за грехи свои, исповедовался и платил за исповедь, — вот и все!

Шипят огни, подобно сотням тысяч раздраженных змей, темными роями мух бессильно, уныло жужжат и медленно ворочаются люди в сетях сверкающей, тонкой паутины зданий. Не торопясь, без улыбок на гладко выбритых лицах, они лениво входят во все двери, стоят подолгу перед клетками зверей, жуют табак, плюются.

В огромной клетке какой-то человек гоняет выстрелами из револьвера и беспощадными ударами тонкого бича бенгальских тигров. Красавцы-звери, обезумев от ужаса, ослепленные огнями, оглушенные музыкой и выстрелами, бешено мечутся среди железных прутьев, рычаг, храпят, сверкая зелеными глазами; дрожат их губы, гневно обнажая клыки зубов, и то одна, то другая лапа грозно взмахивает в воздухе. Но человек стреляет им прямо в глаза, и громкий треск холостого патрона, режущая боль ударов бича отталкивает сильное, гибкое тело зверя в угол клетки. Охваченный дрожью возмущения, гневной тоской сильного, задыхаясь в муках унижения, пленный зверь на секунду замирает в углу и безумными глазами смотрит, нервно двигая змеевидным хвостом, смотрит...

Эластичное тело сжимается в твердый ком мускулов, дрожит, готовое взлететь на воздух, вонзить свои когти в мясо человека с бичом, разорвать его, уничтожить...

Вздрагивают, как пружины, задние ноги, вытягивается шея, в зеленых зрачках вспыхивают кроваво-красные искры радости.

И в них вонзаются сотнями тупых уколов бесцветные, холодно ожидающие взгляды однообразно желтых лиц за решеткою клетки, тускло слитых в медное пятно.

Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы ждет, — она тоже хочет крови и ждет ее, ждет не из мести, а из любопытства, как давно укрощенный зверь.

Тигр втягивает голову в плечи, тоскливо расширяет глаза и волнисто, мягко подается всем телом назад, точно его кожу, воспаленную жаждой мести, вдруг облили ледяным дождем.

Человек стреляет, щелкает бичом, орет, как безумный, — он прячет в криках свой жуткий страх перед зверем и свое рабское опасение не угодить животному, которое спокойно любит прыжками человека, напряженно ожидая рокового прыжка зверя. Ожидает — не сознавая, в нем проснулся и дышит древний инстинкт, он требует борьбы, он хочет сладко вздрогнуть, когда два тела обвяжутся одно с другим, брызнет кровь и на пол клетки полетит, дымясь, разорванное мясо человека, раздастся рев и крик...

Но мозг животного уже пропитан ядами разных запретов и опасений, желая крови — толпа боится, она и хочет и не хочет, и в этой темной борьбе внутри самой себя она испытывает острое наслаждение, она — живет...

Человек напугал всех зверей, тигры мягко убегают куда-то в глубину клетки, а он, потный и довольный тем, что сегодня остался жив, улыбается побелевшими губами, стараясь скрыть их дрожь, и кланяется медному лицу толпы, кланяется ей, как идолу.

Она мычит, хлопает ладонями и разваливается на темные куски, расползается по вязкому болоту скуки вокруг нее...

Насладившись картиной состязания человека со зверями, животные идут искать еще чего-нибудь забавного. Вот — цирк. В центре круглой арены какой-то человек подбрасывает длинными ногами в воздух двух детей. Дети мелькают над ним, точно два белых голубя, у которых сломаны крылья, порой они срываются с его ног,

падают на землю и, опасливо взглянув на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или хозяина, снова вертятся в воздухе. Вокруг арены сложилась толпа. Смотрит. И, когда ребенок срывается с ноги артиста, на всех лицах вздрагивает оживление, точно ветер кроет легкой рябью сонную воду грязной лужи.

Хочется увидеть пьяного человека с веселой рожей, который шел бы, толкался, пел, орал, счастливый тем, что вот он — пьян и всем добрым людям искренно желает того же...

Гремит музыка, разрывая воздух в клочья. Оркестр — плох, музыканты устали, звуки труб мечутся бессвязно, как будто они прихрамывают, для них невозможен плавный строй, они бегут изломанной линией, толкая, обгоняя, опрокидывая друг друга. И почему-то каждый отдельный звук рисуется воображению куском жести, которому придано сходство с лицом человека, — прорезан рот, прорезаны глаза, отверстие для носа и приделаны длинные белые уши. Человек, махающий палочкой над головами музыкантов, которые не смотрят на него, берет эти куски за ручки-уши и невидимо бросает их кверху. Они сшибаются друг с другом, воздух свистит в щелях их ртов, и — это делает музыку, от которой даже ко всему привыкшие лошади цирковых наездников — опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно хотят вытряхнуть из них колкие жестяные звуки...

Странные фантазии рождает музыка нищих для забавы рабов. Хочется вырвать из рук музыканта самую большую медную трубу и дуть в нее всей силой груди, долго, громко, страшно, так, чтобы все разбежались из плена, гонимые ужасом бешеного звука...

Недалеко от оркестра — клетка с медведями; один из них, толстый, бурый, с маленькими хитрыми глазами, стоит среди клетки и размеренно качает головой. Вероятно, он думает:

«Это можно принять как разумное только тогда, если мне докажут, что все здесь устроено нарочно, чтобы ослепить, оглушить, изуродовать людей. Тогда, конечно, — цель оправдывает средства... Но, если люди искренно думают, что все это — забавно, — я не верю больше в их разум!...»

Два другие медведя сидят один против другого, как будто играя в шахматы. Четвертый озабоченно сгребает солому в угол клетки, задевая черными когтями за прутья. Морда у него разочарованно-спокойная. Он, видимо, ничего не ждет от этой жизни и намерен лечь спать...

Звери возбуждают острое внимание — водянистые взгляды людей неотвязно следят за ними, как будто ищут что-то давно позабытое в свободных и сильных движениях красивого тела львов и пантер. Стоя перед клетками, они просовывают палки сквозь решетку и молча, испытующе тыкают зверей в животы, в бока, наблюдают: что будет?

Те звери, которые еще не ознакомились с характером людей, сердятся на них, бьют лапами по прутьям клеток и ревут, открывая гневно дрожащие пасти. Это — нравится. Охраняемые железом от ударов зверя, уверенные в своей безопасности, люди спокойно смотрят в глаза, налитые кровью, и довольно улыбаются. Но большинство зверей не отвечают людям. Получив удар палкой или плевков, они медленно встают и, не глядя на оскорбителя, уходят в дальний угол клетки. Там в темноте лежат сильные, прекрасные тела львов, тигров, пантер и леопардов, и горят во тьме круглые зрачки зеленым огнем презрения к людям...

А люди, взглянув на них еще раз, идут прочь и говорят:

— Это — скучный зверь...

Перед оркестром музыкантов, с отчаянным усердием играющих у полукруглого входа в какую-то темную, широко разинутую пасть, внутри которой спинки стульев торчат подобно рядам зубов, — перед музыкантами поставлен столб, а на столбе, привязанные тонкой цепью, две обезьяны — мать и ребенок. Ребенок тесно прижался к груди матери, скрестив на спине ее свои длинные тонкие руки с крошечными пальцами; мать крепко обняла его одной рукой, ее другая рука сторожко вытянута вперед, и пальцы на ней нервно скрючены, готовые цапнуть, ударить. Глаза матери напряженно расширены, в них

ясно видно бессильное отчаяние, острая боль ожидания неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска. Ребенок, прильнув щекой к ее груди, искоса, с холодным ужасом в глазах смотрит на людей, — он, видимо, был напоен страхом в первый день жизни, и страх заledenел в нем на все дни ее. Оскалив мелкие белые зубы, его мать, ни на секунду не отрывая руки, обнимающей родное тело, другой рукой все время непрерывно отбивает протянутые к ней палки и зонтики зрителей ее мук.

Их много. Это белокожие дикари, мужчины и женщины, в котелках и шляпах с перьями, и всем им ужасно забавно видеть, как ловко обезьяна-мать защищает свое дитя от ударов по его маленькому телу...

Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости, величиной с тарелку, рискует каждую секунду упасть под ноги зрителей и неутомимо отталкивает все, что хочет прикоснуться к ее ребенку. Порой она не успевает отбить удар и жалобно взвизгивает. Ее рука, точно плеть, быстро вьется вокруг, но зрителей так много, и каждому так сильно хочется ударить, дернуть обезьяну за хвост, за цепь на шее. Она — не успевает. И глаза ее жалобно моргают, около рта являются лучистые морщины скорби и боли.

Руки ребенка давят ей грудь, он так крепко прижался, что его пальцев почти не видно в тонкой шерсти на коже матери. Глаза его, не отрываясь, смотрят на желтые пятна лиц, в тусклые глаза людей, которым его ужас перед ними дает маленькое удовольствие...

Порой один из музыкантов наводит медный глупый зев своей трубы на обезьяну и обливает ее трескучим звуком, — она сжимается, скалит зубы и смотрит на музыканта острым взглядом...

Публика смеется, одобрительно кивает музыканту головами. Он доволен и спустя минуту повторяет свою выходку.

Среди зрителей есть женщины, вероятно, некоторые из них — матери. Но никто не произносит ни слова против злой забавы. Все довольны ею...

Иная пара глаз, кажется, готова лопнуть от напряжения, с которым она любит муками матери и диким ужасом ребенка.

Рядом с оркестром клетка слона. Это пожилой господин, с вытертой и лоснящейся кожей на голове. Просунув хобот сквозь прутья клетки, он солидно покачивает им, наблюдая за публикой. И думает, как доброе и разумное животное:

«Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой скуки, способна издеваться и над пророками своими, — как слышал я от стариков-слонов. Но — все-таки — мне жалко обезьяну... Я слышал также, что люди, как шакалы и гиены, порою разрывают друг друга, но обезьяне-то от этого не легче, нет, не легче!..»

...Смотришь на эту пару глаз, в которой дрожит скорбь матери, бессильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, в которых неподвижно застыл глубокий, холодный ужас перед человеком, смотришь на людей, способных забавляться мучениями живого существа, и, обращаясь к обезьяне, говоришь про себя:

«Животное! Прости им! Со временем они будут лучше...»

Конечно, это смешно и глупо. И бесполезно. Едва ли может быть такая мать, которая могла бы простить мучения своего ребенка; я думаю, даже среди собак нет такой матери...

Разве только свиньи...

Да...

Так вот — когда приходит ночь, — на океане внезапно вспыхивает прозрачный, волшебный город, весь из огней. Он — не стора — долго горит на темном фоне неба ночи, отражая свою красоту в широком блеске волн океана.

В блестящей паутине его прозрачных зданий, подобно вшам в лохмотьях нищего, скучно ползают десятки тысяч серых людей с бесцветными глазами.

Жадные и подлые — показывают им отвратительную наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемерие свое и ненасытную силу жадности своей. Холодный блеск мертвого огня во всем оголяет скудоумие, и оно, торжественно блистая, почивает на всем вокруг людей...

Но люди тщательно ослеплены и с восхищением молча пьют дрянной яд, отравляющий их души.

В ленивом танце медленно кружится скука, издыхающая в агонии своего бессилия.

Только одно хорошо в светлом городе — в нем можно на всю жизнь напоить душу свою ненавистью к силе глупости...

«МОВ»

...Окно моей комнаты выходит на площадь, пять улиц целый день высыпают на нее людей, точно картофель из мешков, люди толпятся, бегут, и снова улицы втягивают их в свои пищеводы. Площадь кругла и грязна, как сковорода, на которой долго жарили мясо, но никогда еще не чистили ее. Четыре линии трамвая выбегают на этот тесный круг, почти каждую минуту скользят по рельсам, резко взвизгивая на закруглениях, вагоны, набитые людьми. Они разбрасывают на своем пути тревожно-торопливый грохот железа, над ними и под колесами у них раздраженно гудит электричество. В пыльном воздухе посеяна болезненная дрожь стекол в окнах, визгливый крик трения колес о рельсы. Непрерывно воеет проклятая музыка города — дикая схватка грубых звуков, которые режут, душат друг друга и вызывают странную и мрачную фантазию.

...Толпа каких-то бешеных уродов, вооруженная огромными клещами, ножами, пилами и всем, что можно сделать из железа, свилась в клубок червей, в темный вихрь безумия над телом женщины, которую она схватила жадными руками, свалила на землю, в грязь, в пыль и — рвет ей груди, режет мясо, пьет кровь, насилует и слепо, голодно, неустанно дерется над ней и за нее.

Кто эта женщина — не видно, она завалена, покрыта огромной, желто-грязной кучей людей, которые впились в нее со всех сторон, припали к ней костлявыми телами, прилепились всюду, где нашлось место для жадных губ, и сосут ее соки из каждой поры тела... Охваченные голодной, неутомимой жадностью, они отбрасывают друг друга прочь от своей добычи, бьют, топчут, дробят кости, уни-

чтожуют один другого. Всем хочется как можно больше, и все дрожат в горячке острой боязни остаться без куска. Скрежещут их зубы, стучит железо в их руках, стоны боли, вопли жадности, крики разочарования, рев голодного гнева — все это сливается в похоронный вой над трупом убитой добычи, разорванной, изнасилованной тысячами насилий, испачканной всей разноцветной грязью земли.

И с этим диким воем сливается в одну волну жалкая скорбь побежденных, которые отброшены в сторону и голодно, противно плачут там о счастье сытости; борются за него они не могут, трусливые и слабые.

Вот что рисует музыка города.

Воскресенье. Люди не работают.

Поэтому на многих лицах заметно унылое недоумение, почти тревога. Вчерашний день имел простой, определенный смысл — с утра до вечера работали. В обычный час проснулись, пошли на фабрику, в конторы, на улицы. Стояли и сидели на привычных и потому удобных местах. Считали деньги, продавали, рыли землю, рубили дерево, тссали камни, сверлили и ковали — работали руками весь день. Привычно усталые легли спать, а сегодня проснулись, и вот — праздность вопросительно смотрит в глаза, требуя, чтобы пустота ее была чем-то наполнена.

Научив людей работать, их не учили жить, и потому день отдыха является для них трудным днем. Орудия, вполне способные создать машины, храмы, огромные суда и мелкие, красивые вещицы из золота, они не чувствуют себя способными наполнить день чем-либо иным, кроме привычной, механической работы. Куски и части — они спокойны и чувствуют себя людьми на фабриках, в конторах, в магазинах, где они слагаются с подобными себе частями в цельный, стройный организм, торопливо творящий ценности из живого сока нервов своих, но — не для себя.

Шесть дней недели жизнь проста, она — огромная машина, все люди — ее части, каждый знает свое место в ней, каждый думает, что ему знакомо и понятно ее слепое, грязное лицо. В седьмой же день — день отдыха и

праздности — жизнь встает перед людьми в странном, разобранном виде, у нее ломается лицо, — она его теряет...

Люди разбрелись по улицам, сидят в трактирах, в парке, были в церкви, стоят на углах. Как всегда, есть движение, но кажется, что оно через минуту или через час остановится перед чем-то, — чего-то не хватает в жизни, и что-то новое хочет явиться в ней. Никто не знает своего ощущения, никто не может выразить его словами, но все тягостно чувствуют нечто непривычное, тревожное. Из жизни вдруг выпали все ее мелкие, понятные смыслы, точно зубы из десен.

Люди ходят по улицам, садятся в вагоны, разговаривают, все они наружно спокойны, обычно понятны друг другу — воскресенье бывает пятьдесят два раза в году, они уже выработали себе привычку проводить его одно, как другое. Но каждый чувствует, что он не тот, каким был вчера, и его товарищ тоже не таков, — где-то внутри колышется сосущая пустота, и возможно, что в ней вдруг прозвучит непонятное, беспокойное, может быть, страшное...

Человек чувствует в себе возможность вопроса, и эта возможность вызывает у него инстинктивное желание избежать встречи с ней...

Невольно люди жмутся один к другому, сливаются в группы, молча стоят на углах улиц, смотрят на все вокруг, к ним подходят еще и еще живые куски, и стремление частей к созданию целого — создает толпу.

...Люди не спеша слагаются один с другим — их стягивает в кучу, — точно магнит опилки железа, — общее всем им ощущение тревожной пустоты в груди. Почти не глядя друг на друга, они становятся плечом к плечу, сдвигаются всё теснее, и — в углу площади образовалось плотное, черное тело со множеством голов. Угрюмо молчаливое, выжидательно напряженное, оно почти неподвижно. Сложилось тело, и тотчас быстро возникает дух, образуется широкое, тусклое лицо, и сотни пустых глаз принимают единое выражение, смотрят одним взглядом — подозрительно ожидающим взглядом, кото-

рый бессознательно ищет нечто, о чем пугливо доносит инстинкт.

Так рождается страшное животное, которое носит такое имя «Моб», — толпа.

...Когда по улице проходит некто, чем-либо не похожий на людей, одетый как-то иначе или идущий слишком быстро для обыкновенного человека, — «Моб» следит за ним, повертывая в его сторону сотни своих голов и щупая его всеобнимающим взглядом.

Почему он не одевается, как все? Это подозрительно. И что могло заставить его идти так быстро по этой улице в день, когда все ходит медленно? Это странно...

Идут двое молодых людей и громко смеются. «Моб» напрягает внимание. Над чем смеяться в этой жизни, где все так непонятно, когда нет работы? Смех вызывает в животном легкое раздражение, враждебное веселью. Несколько голов угрюмо поворачиваются вослед весельчакам, ворчат...

Но «Моб» сама смеется, когда она видит, как на площади торговец газетами мечется среди вагонов трамвая, с трех сторон набегающих на него, грозя раздавить. Испуг человека, которому грозит смерть, понятен ей, а все, что она понимает в таинственной суете жизни, радует ее...

Вот едет на автомобиле известный всему городу и даже всей стране — хозяин. «Моб» смотрит на него с глубоким интересом, она сливает свои глаза в один луч, освещающий сухое, костлявое и желтое лицо хозяина тусклым блеском уважения к нему. Так смотрят старые, еще в детстве укрощенные медведи на своего укротителя. «Моб» понимает хозяина — это сила. Это великий человек — тысячи работают для того, чтобы он жил, тысячи! В хозяине для «Моб» есть совершенно ясный смысл, — хозяин дает работу. Но вот — в вагоне трамвая сидит седой человек, у него суровое лицо и строгие глаза. «Моб» тоже знает, кто он, о нем часто пишут в газетах как о сумасшедшем, который хочет разрушить государство, отнять все фабрики, железные дороги, суда, — все отнять... Газеты говорят, что это — безумная и смешная затея.

Толпа смотрит на старика с укором, с холодным осуждением, с пренебрежительным любопытством. Сумасшедший — это всегда любопытно.

«Mob» только ощущает, она только видит. Она не может претворять своих впечатлений в мысли, душа ее — нема и сердце — слепо.

...Люди идут, идут один за другим, и непонятно, странно, необъяснимо — куда, зачем они идут? Их страшно много, и они разнообразны гораздо более, чем куски железа, дерева, камня, разнообразнее монет, материй и всех орудий, которыми работало вчера животное. Это раздражает «Mob». Она смутно чувствует, что есть другая жизнь, построенная иначе, чем ее, с другими привычками, жизнь, полная чем-то заманчиво неизвестным...

Подозрительное ожидание опасности медленно питается чувством раздражения, оно тонкими иглами царапает слепое сердце животного. Его глаза становятся темнее, плотное, бесформенное тело заметно напрягается, вздрагивает, обнимаемое бессознательным волнением...

Мелькают люди, летят вагоны, автомобили... В окнах магазинов дразнят взгляд какие-то блестящие вещи. Их назначение неизвестно, но они тянут к себе внимание, вызывают желание обладать ими...

«Mob» волнуется...

Она смутно чувствует себя одинокой в этой жизни, одинокой и отрицаемой всеми нарядными людьми. Она замечает, как чисто вымыты их шеи, как тонки и белы руки, лица их лоснятся и блестят спокойной сытостью — невольно представляется пища, которую пожирают эти люди каждый день. Должно быть, это удивительно вкусные вещи, если от них так хорошо блестит кожа и так кругло-красиво вырастают животы...

«Mob» чувствует во чреве своем зависть, которая остро шекочет ей желудок...

В дорогих и легких колясках едут красивые, гибкие женщины. Они вызывающе лежат на подушках, вытянув маленькие ноги, лица их, как звезды, красивые глаза зовут людей улыбнуться.

«Смотрите, как мы прекрасны!» — молча рассказывают женщины.

Толпа внимательно смотрит и сравнивает этих женщин со своими женами. Очень костлявые или слишком толстые, жены всегда жадны и часто хворают. У них особенно часто болят зубы и расстраиваются желудки. И постоянно ругаются они одна с другой.

«Моб» чувственно раздевает женщин в колясках, шупает их груди, ноги. И, представляя нагое, сытое, упругое, сверкающее тело женщин, — «Моб» не может сдерживать острое чувство восхищения, она вслух обменивается сама с собой словами, от которых пахнет горячим, жирным потом, словами краткими и сильными, как пощечина тяжелой, грязной руки...

«Моб» хочет женщину. Ее глаза горят, жадно обнимая мелькающие мимо тонкие, крепкие тела красавиц.

Сверкают дети, звучит их смех и крики. Чисто одетые, здоровые дети, на прямых и стройных ногах. Розовощекие, веселые...

Дети «Моб» худосочны, желты, ноги у них почему-то кривые. Это очень часто — кривые ноги у детей. Должно быть, тут виноваты матери, они что-нибудь делают не так, когда родят...

Сравнения рождают зависть в темном сердце «Моб».

Теперь к раздражению толпы примешивается враждебность, которая всегда пышно растет на плодородной почве зависти. Черное, огромное тело неуклюже двигает своими частями, сотни глаз внимательно и колко встречают все, что незнакомо и непонятно им.

«Моб» чувствует, что у нее есть враг, хитрый, сильный, рассеянный повсюду и потому неуловимый. Он где-то близко и — нигде. Он забрал себе все вкусные вещи, красивых женщин, розовых детей, коляски, яркие шелковые ткани и раздает все это кому хочет, но — не «Моб». Ее он презирает, отрицает и не видит, как и она его...

«Моб» ищет, нюхает, следит за всем. Но все обычно, и хотя в жизни улиц есть много нового, неизвестного ей, оно течет, мелькает мимо, не задевая туго натянутых струн ее враждебности, неясного желания поймать кого-то и раздавить.

Посреди площади стоит полицейский в серой шляпе. Его бритое лицо блестит, точно медь. Этот человек непо-

бедимо силен, потому что у него в руках короткая, толстая палка, налитая свинцом.

«Моб» искоса поглядывает на эту палку. Она знает палки, она видела их сотни тысяч, и все они — просто дерево или железо.

Но в этой — короткой и тупой — сокрыта дьявольская сила, против которой нельзя идти, невозможно.

«Моб» глухо и слепо враждебна всему, она волнуется, она готова на что-то сграшное. И невольно меряет глазами короткую, тупую палку...

В темном хламе бессознательного всегда тлеет страх...

Жизнь непрерывно ревет, неустанная в своем движении. Откуда в ней эта энергия, когда «Моб» не работает?

И все с большей ясностью толпа чувствует свое одиночество, ощущает какой-то обман и, все более раздражаясь, зорко ищет, на что бы положить свою руку.

Она становится теперь чуткой и восприимчивой — ничто новое для нее не проходит мимо не замеченное ею. Она теперь осмеивает резко и зло, и человек в слишком широкой серой шляпе должен ускорить шаги под насмешливыми уколами ее взглядов и бичами ее восклицаний. Женщина, переходя площадь, чуть-чуть подняла юбки, но, увидав, какими глазами толпа смотрит на ее ноги, тотчас же, как будто ее ударили по руке, расправила пальцы, державшие материю...

На площадь откуда-то вываливается пьяный. Он идет, опустив голову на грудь, бормочет что-то, и его тело, размытое вином, бессильно качается, готовое каждую секунду упасть, разбиться о мостовую, о рельсы...

Он сунул одну руку в карман, в другой у него измятая, пыльная шляпа, он размахивает ею и ничего не видит.

На площади, попадая в дикий вихрь металлических звуков, он немного приходит в себя, останавливается и смотрит вокруг влажными, туманными глазами. Со всех сторон на него летят вагоны, коляски, — двигается какая-то длинная нить, на которой нанизаны темные бусы. Раздражительно звонят колокольчики вагонов, предупре-

ждая его, цокают подковы лошадей, все гудит, гремит, лезет на него.

«Моб» чувствует возможность чего-то, что, может быть, немного развлечет ее. Она снова сливает сотни своих взглядов в один луч и следит, ждет...

Кондуктор вагона звонит и орет пьяному, он перегнулся через перила, лицо его красно от крика, — пьяный дружески машет ему шляпой и шагает на рельсы под вагон. Откинувшись всем корпусом назад, закрыв глаза, кондуктор с силою поворачивает ручку, вагон весь вздрагивает и с треском останавливается...

Пьяный шагает дальше — он надел шляпу на голову и снова наклонил лицо к земле.

Но из-за первого вагона, не торопясь, выскальзывает другой и подшибает ноги пьяного, он грузно валится сначала в сетку, потом мягко падает с нее на рельсы, и сетка толкает, везет его скомканное тело по земле...

Видно, как хлопают по земле руки и ноги пьяного. Красно и тонко улыбнулась кровь, точно подманивая к себе кого-то...

Раздается резкий визг женщин в вагоне, но все звуки тотчас гаснут в густом, торжествующем вопле «Моб» — точно на них вдруг кинули тяжелое покрывало, влажное и давящее. Тревожный звон колокольчиков, удары копыт, вой электричества — все сразу задушено ужасом перед черной волной, волной толпы, которая с животным ревом бросилась вперед, ударилась о вагоны, облила, захлестнула их темными брызгами и начала работать.

Пугливо и кратко вздрагивают разбиваемые стекла в окнах вагона. Ничего не видно, только бьется и трепещет огромное тело «Моб», и ничего не слышно, кроме ее вопля, возбужденного крика, которым она радостно возвещает о себе, о своей силе, о том, что, наконец, и она тоже нашла свое дело.

В воздухе мелькают сотни больших рук, блестят десятки глаз жадным блеском странного, острого голода.

Кого-то бьет она, черная «Моб», кого-то разрывает, кому-то мстит...

Из бури ее слитных криков все чаще раздается, сверкает, точно длинный, гибкий нож, шипящее слово:

— Линч!

Оно имеет магическую силу объединять все смутные желания «Моб», оно все гуще сливает в себе ее крики:

— Линч!

Несколько частей толпы вскинулись на крыши вагонов, и оттуда тоже вьется по воздуху, свистя, как бич, и мягко извиваясь:

— Линч!

Вот в центре ее образовалось плотное ядро, оно поглотило, всосало что-то в себя и движется, вытекает из толпы. Ее густое тело послушно раздается перед натиском из центра и, постепенно разрываясь, выдвигает из недр своих этот плотный, черный ком — свою голову, свою пасть.

В зубах этой пасти качается оборванный, окровавленный человек — он был кондуктором вагона, как это видно по нашивкам на его лохмотьях.

Теперь он — кусок изжеванного мяса, — свежего мяса, вызывающе вкусно облитого яркой кровью.

Черная пасть толпы несет его и продолжает жевать, и руки ее, точно щупальцы спрута, обвивают это тело без лица.

«Моб» воет:

— Линч!

И слагается за головой своей в длинное, плотное туловище, готовое проглотить множество свежего мяса.

Но вдруг откуда-то перед нею встает бритый человек с медным лицом. Он надвинул свою серую шляпу на глаза, встал, точно серый камень, на дороге толпы и молча поднял в воздух свою палку.

Голова толпы пошатнулась вправо, влево, желая ускользнуть от этой палки, обойти ее.

Полицейский неподвижен, палка в руке его не вздрагивает, и не мигают его спокойные, твердые глаза.

Эта уверенность в своей силе сразу веет холодом в горячее лицо «Моб».

Если человек один встает на ее дороге, один, против ее желания, тяжелого и сильного, как лава, если он так спокоен — значит, он непобедим!..

Она что-то кричит ему в лицо, размахивает щупальцами, как будто хочет обнять ими широкие плечи полицейского, но уже в ее крике, хотя и раздраженном, звучит нечто жалобное. И, когда медное лицо полицейского тускло темнеет, когда его рука еще выше поднимает короткую, тупую палку, — рев толпы начинает странно прерываться, и туловище ее постепенно, медленно разваливается, хотя голова «Моб» все еще спорит, мотается из стороны в сторону, хочет ползти дальше.

Вот идут, не торопясь, еще двое людей с палками. Щупальцы «Моб» бессильно выпускают охваченное ими тело, оно падает на колени, раскидываясь у ног представителя закона, и он простирает над ним короткий и тупой символ своей власти...

Голова «Моб» тоже медленно распадается на части, — туловища у нее уже нет, — по площади устало и подавленно расползаются темные фигуры людей, — точно черные бусы огромного ожерелья рассыпались по ее грязному кругу.

В желоба улиц молча и угрюмо идут разорванные, разрозненные люди...

ЧАРЛИ МЭН

...В округе появился медведь.

Дети первые заметили его — однажды вечером они играли в мяч около леса, вдруг он явился на опушке среди деревьев, поднял голову и, нюхая воздух, тихо заворчал. Испуганные ребята бросились в деревню, но взрослые не поверили им: это было в начале августа — не время для того, чтобы медведи шлЯлись около деревни.

Но через несколько дней зверь явился снова. Он выскочил из леса как раз в то время, когда почтальон Фёрстер ехал в деревню с почтой. Лошадь Фёрстера испугалась, понесла, и почтальон, выброшенный на землю, сломал себе ногу. Это уже было нечто реальное, но и это не нарушало прямых интересов деревни — почту собрали, ничто не было потеряно, о медведе снова забыли...

И только когда зверь задавил корову Круксов, старший Крукс, рыжий Джек, отправился к Чарли Мэну.

Мэн сидел на крыльце и чинил капкан для лис, когда Джек пришел к нему.

— Добрый день, Чарли Мэн! — сказал Джек, садясь на ступеньку рядом с охотником.

Мэн прищурил глаза, подумал и ответил:

— Добрый день.

— Вы слышали о медведе? — спросил Крукс, приступая прямо к делу.

Чарли Мэн, как всякий серьезный человек, никогда не отвечает не подумав. С минуту он молча скрипел подпилком, очищая ржавчину на железе капкана, потом поднял голову и тоже спросил:

— Вы хотите знать, Джек Крукс, слышал ли я о медведе?

— Именно это хотел бы я знать! — согласился Крукс.

Чарли Мэн отложил подпилочек в сторону, подавил пальцами пружину капкана, подул на нее и стал смачивать маслом из маленькой, грязной бутылки.

«Он не часто бреется!» — подумал Крукс, рассматривая седую щетину на костлявой щеке Чарли.

— Да, я слышал о нем кое-что! — ответил Мэн, кивая головой.

Его серые глаза снисходительно пошевелились в орбитах, и он добавил медленно:

— Люди много говорят, и всегда что-нибудь слышишь...

— А как вы думаете об этом, Чарли Мэн? — спросил рыжий Джек. Этот парень не любит терять время даром, он ходит всегда по прямой линии.

Мэн смазал пружину капкана, еще раз подул на нее и, положив машину на колени, спокойно стал смотреть через желтую равнину поля в далекий лес. Наконец он ответил, не двигая мускулами лица:

— В августе — я ничего не думаю о медведях.

— Я уверен, что у вас есть на это хорошие основания! — сказал Крукс. — Но, мне кажется, вы могли бы сделать недурное для вас дело, подстрелив его, э? Я, вы знаете, не охотник, да и нет времени ходить за ним... Кроме вас, никто не может убить зверя... Это все знают.

Чарли Мэн встал и выпрямил свое длинное, сухое тело, крепко связанное упругими жилами. Он повернул опаленную солнцем шею вправо и влево и, сунув руки в карманы, удивленно, кратко спросил:

— Теперь? В августе?

— Да, да! — оживленно сказал Крукс. — Вы видите, — он начинает портить скот...

Чарли Мэн опустил голову, поднял брови и, глядя в лицо Джека с явным изумлением, произнес напоминающим тоном:

— Но ведь у меня нет скота!

Тогда Крукс понял, что так он не убедит Чарли в необходимости убить медведя. И он решил подействовать на воображение охотника.

— Это так, Чарли Мэн, у вас нет скота! — согласился он и, стараясь придать своему голосу трогательное выражение, продолжал: — Но у вас есть мальчик и девочка, вот в чем дело. А для медведя все равно — овца или ребенок, не так ли? Он неразборчив, этот зверь... И вот, если вы, Чарли, подумаете о детях...

— Позвольте! — сказал Чарли, вынув руку из кармана и проводя ею по лицу.

Мэн плотно сжал губы, поднял плечи на высоту ушей, опустил их и, глядя на Джека сверху вниз, внушительно спросил:

— Почему вы, Джек Крукс, думаете, что медведь съест именно моих детей прежде других?

Рыжий Джек был поражен простой и ясной правдой вопроса. Он открыл рот, но почти минуте не мог ничего сказать от удивления перед тонким умом охотника. Он даже встал на ноги и замотал головой, точно бык, уколотивший ноздри репейником. Потом он воскликнул:

— Ну, у вас ясная голова, мистер Мэн, убей меня молнией, если это неправда! В самом деле — почему именно ваших детей прежде других, э? Вот о чем я не подумал!

— Вы не подумали об этом, дорогой Крукс! — согласился охотник.

Когда рыжий Джек шел к Мэну, ему казалось, что все будет сделано просто и быстро. Он расскажет Мэну о звере, Мэн возьмет ружье, пойдет в лес и застрелит зверя. Он охотник по профессии, ему выгодно сделать это. Но оказывается, что Чарли Мэн имеет свое отношение к такой простой с виду задаче. Джек почувствовал себя так, как будто он сбился с дороги и не знает, куда нужно повернуть, чтобы снова выйти на прямой и краткий путь.

— Да-а, — задумчиво сказал он, — вы правы, Мэн! Совершенно нет оснований, чтоб ваши дети были съедены первыми...

Мэн утвердительно кивнул головой. Они оба долго молчали, думая каждый о своем и глядя в даль по одному направлению, туда, к лесу.

Потом Круксу вдруг показалось, что его голову осенила одна хорошая мысль. Он мигнул обоими глазами сразу и медленно, вкрадчиво заговорил:

— Но, Чарли, говоря вообще, все дети очень милы и забавны, когда они играют вне дома и не больны — правда? Ваши, и мои, и Джонстона — они все рискуют встретить зверя... Они бегают всюду и... их так много!

Мэн утвердительно кивнул головой и заметил:

— Да, детей всегда больше, чем медведей...

— Что вы хотите сказать? — помолчав, спросил Крукс.

Чарли Мэн спокойно повернул к нему свое красное лицо и, не двигая глазами, повторил:

— Я говорю — во все времена года детей больше, чем медведей...

Рыжий Джек опустил голову, желая понять тайный смысл этих слов. Через минуту он спросил:

— Значит вы, Чарли, не считаете дело с медведем выгодным для себя, так?

Чарли Мэн, знаменитый охотник в округе, положил на плечо Джека свою длинную, твердую, как железо, руку и, хотя без обиды, но с упреком в голосе, сказал:

— Это нехорошо, Крукс, с вашей стороны, считать меня идиотом! Мне не кажется, чтобы я заслужил такое отношение.

— Меньше всего я хотел бы оскорбить вас, Чарли Мэн! — искренно и торопливо воскликнул Крукс.

Мэн воткнул свои серые глаза в смущенное лицо рыжего Джека и закончил речь так:

— Но, дорогой мой, нужно или самому быть болваном, или считать ослом меня, чтобы предлагать мне убить медведя в августе, когда его шкура ничего не стоит... Гуд-бай, Джек Крукс!

И Чарли Мэн ушел в дом, оставив рыжего Джека измерять глубину своей глупости...

А медведь, после того как он сломал кости старухе Джонстон, собиравшей в лесу ягоды, исчез из округа.

Изумительно тонкий ум Чарли Мэна всего ярче проявился в знаменитой охоте за чернобурой лисицей. Об этой охоте писали во всех газетах штата, а одна из них даже присылала к Мэну репортера.

Только подробный рассказ об этой борьбе человеческого ума с хитростью зверя может осветить фигуру Чарли Мэна.

Началось с того, что однажды, бродя по лесу, Мэн нашел след лисы и тотчас по следам определил, что это именно чернобурая лиса. Он не хотел испортить ее дорогой мех и твердо решил поймать зверя капканом.

Раньше всего необходимо было заставить лису не ходить туда, где она привыкла пить воду и охотиться за птицей и где — Мэн это знал — она могла попасть в капкан другого охотника, который тоже следил за ней.

Чарли Мэн несколько дней не выходил из леса, тщательно изучая путь лисы. И когда он знал это, как линии своей ладони, он выкопал из земли молодую ель и посадил ее на тропе зверя, посадил так хорошо, что этого никто не мог бы заметить, кроме лисы. Это дерево, внезапно выросшее на пути, которым зверь еще вчера прошел свободно, сегодня испугало лису предчувствием опасности; для зверя было ясно, что это не природа вдруг вырастила дерево, а какая-то иная сила, — природа ничего не творит сразу, даже в Америке.

Лиса изменила свой путь к ручью, чего и хотел Чарли Мэн. Он продолжал следить за ней, как тень ее, как смерть за осужденным. Высокий, тонкий и сухой, он дни и ночи шагал по лесу легкими, длинными ногами, не отрывая серых глаз от земли, следя за изгибами каждой былинки, замечая каждую вновь сломанную ветку и каждый след. Он совершенно забыл о всех зверях, кроме лисы, о доме, о жене, о детях, похудел, оборвался и так ходил полуголодный, угрюмый, почти больной от напряжения.

Через две недели он знал место, где лиса переходит ручей. Он взял камень и положил его в воду ручья. Дней через пять он положил другой камень, а первый покрыл тонким слоем моха. Еще пять дней — он положил в воду третий камень, покрыл мохом второй и добавил слой мха на первом...

Так, незаметно, один за другим, он клал в воду ручья камни и одевал их мхом, подражая медленной работе природы. Он положил их пять. И так он создал для своей лисы мост через ручей. Она нашла его, конечно, — лиса не любит мочить в воде свои лапы, она воспользовалась работой Чарли Мэна.

Когда он заметил ее следы на мху своих камней, — он вынул первый из них и поставил на его место капкан, прикрытый мхом.

И наутро, придя к ручью, он с радостью увидел, что великолепный зверь сидит в капкане с перебитой лапой, оскалив зубы от нестерпимой боли в раздробленных костях.

Сунув руки глубоко в карманы, Чарли Мэн с тихой улыбкой встал на берегу, высокий, худой, с красным лицом, густо покрытым седой щетиной. Потускневшие от боли глаза лисы вспыхнули красным и желтым огнем, она рванулась из капкана, — хрустнули кости, на воде ручья засверкали тонкие струйки крови, зверь залаял, взвизгнул и замер...

Тогда Чарли Мэн подошел к нему и умелой рукой сломал лисе позвонки шеи...

Семь недель он упорно трудился, чтобы сделать это!..

Но — недавно старый Чарли Мэн убил свою репутацию умного человека.

...Было так: черный ястреб явился в деревне и стал таскать кур. Его видели не однажды, стреляли в него не раз, но всё неудачно — хищная птица невредимо улетала, спокойно раскинув на воздух широкие крылья и как бы презирая вражду людей.

Но Чарли Мэн — он счастлив, верен его глаз, и метко бьет ружье! Чарли Мэн однажды увидел, как ястреб, охватив когтями большую курицу, тяжело взмывает с нею

В Америке.

Город Желтого Дьявола.

... Над ~~океаном~~ ^{и землей} океаном вистлел ~~туман~~ ^{туман}, густо смешанный с дымом, мелкий дождь ~~лился~~ ^{лился} на темный ~~зданий~~ ^{зданий} города и мутную воду ~~реки~~ ^{реки}.

У бортов парохода собрались эмигранты. Молча ~~и серьезно они смотрели~~ ^{и серьезно они смотрели} на все вокруг пытливыми глазами надежды и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. ~~Кто-то ответил:~~ ^{Кто-то ответил:}

~~Люди долго молчали, как бы не решаясь ответить. Потом раздался дьявольский:~~

— Американский бог!... ~~бронзовый~~ ^{бронзовый}

Массивная ~~и грубая~~ ^{и грубая} фигура женщины ~~из бронзы~~ ^{из бронзы} была покрыта с ног до головы зеленой окисью, ~~изломанной и треснувшей~~ ^{изломанной и треснувшей}. Холодное лицо ~~слабо смотрело~~ ^{слабо смотрело} сквозь туман в пустыню океана, точно ~~вечная~~ ^{вечная} бронза ~~сидела~~ ^{сидела} на ~~вершине~~ ^{вершине} ~~статуи~~ ^{статуи} ~~и~~ ^и ~~оживило~~ ^{оживило} ~~ее~~ ^{ее} глаза, ~~показывая~~ ^{показывая} ~~мертвые~~ ^{мертвые}. Под ногами Свободы — мало земли, она кажется поднимающейся из океана, ~~и~~ ^и ~~пьедестал~~ ^{пьедестал} ~~ее~~ ^{ее} — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе ~~гордое~~ ^{гордое} величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко всых-

над деревней. Мэн выстрелил — птица, вздрогнув **всем телом**, упала на землю.

Чарли поднял ястреба — оказалось, что дробь **оглушила** птицу, но даже не ранила ее. Полузакрыв глаза, ястреб смотрел в лицо охотника, и брови хищника **вздрагивали**, когти слабо шевелились.

Велика была эта птица, велика и тяжела. Ее **полузакрытые** глаза смотрели без испуга, порой она **вздрагивала всем телом** — руки Чарли Мэна ощущали ее теплоту, слышали биение хищного сердца.

Сбежались дети, женщины и ругали гордую птицу, грозя ей кулаками, и каждый хотел нанести ей удар в отмщение за куриц.

Жена рыжего Джека предложила:

— Отдайте этого разбойника детям, Чарли Мэн! Они **уж справятся** с ним теперь!

— Он может **выцарапать** им глаза! — испуганно **возразила** другая.

Старая Клэр, самая религиозная женщина общины, сказала своим голосом, охрипшим от молитв:

— Вы говорите вздор, дорогая Крукс! Дети могут **выпустить** эту страшную птицу... и она снова начнет **похищать** наших кур... Следует отнестись серьезнее к ней и сейчас же **убить** ее...

И так как все очень уважали Клэр, то все согласились с необходимостью — **убить**...

Мэн снял свои пальцы с шеи ястреба, спокойно и молча посмотрел на шум вокруг себя, он посмотрел не на лица своими серыми глазами, а сквозь людей и через них, поэтому-то я и говорю — он посмотрел на шум. Потом он поднял птицу с земли, взял ее подмышку и понес домой.

Сначала дети шумно бежали за ним, спрашивая, что он думает сделать с ястребом, но он шагал, наклонив голову к земле, по своей привычке, и его неподвижное лицо, его каменное молчание оттолкнуло детей...

Он был интересный человек для детей, но они не любили его и, предпочитая говорить о нем между собой, редко и неохотно разговаривали с ним.

Когда Мэн пришел домой, птица очнулась. Сильным движением всего тела она **попробовала вырваться** из рук

старого охотника, но он снова схватил шею ястреба железными пальцами и тиснул ее так, что круглые глаза птицы странно повернулись и налились кровью. Чарли Мэн приблизил голову ястреба к своему лицу и сказал ему кратко и просто:

— Убью, дружище...

Ястреб, изогнув шею, вцепился клювом в тыл ладони Чарли Мэна — охотник вздрогнул от неожиданности и боли, сжал зубы и, приподняв птицу над головой, с силой бросил ее на землю.

Хищник упал на бок, но тотчас же повернулся на спину, распластал по ней крылья и вытянул их перед собой.

Его глаза, круглые и горящие, неподвижно остановились на длинной фигуре охотника и на его красном лице, остановились и сверкали, ожидая нападения. Ястреб приподнял голову, напрягая шею, и смятые перья на его шее грозно встали, вздрагивали, каждое и все...

Мэн взглянул на разорванное мясо руки, из нее обильно текла густая, темная кровь. Тогда он снял здоровой рукой ружье из-за плеча и приложил его к щеке...

Птица еще больше вытянула когти, приподняла голову и с дрожью в крыльях, простертых по земле, с огнем в глазах смотрела, ждала...

Чарли Мэн медленно поднял голову и серыми глазами взглянул в небо, такое высокое, обширное в этот ясный день. И опустил ружье к ноге...

Подумал, спокойно рассматривая птицу...

Потом он положил ружье на землю, взял в стороне ящик, подошел к птице, ожидавшей минуту последней для нее борьбы, накрыл ее ящиком и не спеша ушел в дом.

Его жены и детей не было дома: они, как всегда летом, уезжали к деду, на озеро. Они, как это известно в деревне, не очень любят Чарли...

Минут через десять он вышел снова, рука его была перевязана грубо и наскоро полотенцем, которое уже успело пропитаться кровью, в другой руке он нес тонкую и крепкую веревку.

Сняв ящик с тела птицы, он опустился перед ней на колени и сказал угрюмо:

— Не будем ссориться...

Ослепленная темнотой под ящиком, разбитая ударом о землю, птица лежала все в той же, готовой к бою позе, но голова ее теперь бессильно опустилась на землю, только один желтоватый круглый глаз смотрел в лицо Чарли...

И презиравал его.

Чарли Мэну удалось накинуть на ногу птицы веревку и туго завязать ее. Ястреб клекотал, точно кровь кипела у него в горле... Но он был слишком обессилен и унижен, чтобы драться.

Другой конец веревки Мэн привязал к дереву, потом посмотрел на птицу, кивнул ей молча головой и, подняв с земли ружье, ушел в дом.

Ястреб повернул свой желтый, круглый глаз вслед ему...

Потом приподнял крылья. Но они бессильно опустились...

Тогда птица подобрала одно крыло и, сделав сильное движение всем телом, опрокинулась на бок... встала на ноги...

Опустила крылья, опираясь ими на землю и низко наклонив голову — точно Чарли Мэн на ходу, — прыгнула раз... два... свалилась на бок.

Заклекотала злобным клёкотом, негромко, хрипло, и снова села на землю, упираясь крыльями в пыль ее. Так сидя, измятая, разбитая, она, опустив хищную голову, смотрела круглым глазом на веревку, которая длинной, серой и тонкой змеей тянулась от ее ноги к дереву — изломанные перья дрожали мелкой дрожью.

Чарли Мэн стоял у окна и смотрел на ястреба серыми глазами...

Птица оправилась дня через три, она прыгала по двору, тяжело влача за собой измятое крыло и длинную веревку, прыгала и смотрела на все желтыми глазами — острым взглядом тонко отточенной, холодной злобы...

Каждый день Чарли Мэн бросал ей куски сырого мяса, но ястреб не дотрагивался до них при охотнике: когда кусок падал около его клюва, птица расправляла

здоровое крыло и прыгала прочь от куска, никогда не глядя на него... После куски мяса незаметно исчезали...

Для детей деревни было большим удовольствием забавляться с ястребом Чарли Мэна. Они приходили к его дому каждый день веселой ватагой, кричали на ястреба, хлопали руками и бросали камни в угрюмую птицу, стараясь попасть ей в этот желтый, строгий глаз, почему-то раздражавший их.

Если камень падал близко от ястреба, птица косилась на него, оставаясь неподвижной, если камень попадал ей в тело, она, вздрогнув, отскакивала прочь от удара. И всегда — молчала...

И всегда Чарли Мэн сидел на крыльце своего старого, маленького дома, встречая детей и молча следя за игрой с ястребом. Стесняя их веселье, он ничего не говорил им, но все чувствовали на себе его мертвый, охлаждающий взгляд, и каждому он казался лишним здесь... Избегая ударов камнями, по траве перед домом прыгала большая угрюмая и злая птица, на крыльце сидел, положив скулы на ладони, длинный, худой человек и смотрел на ястреба, на детей, смотрел все время, пока они играли с птицей, стараясь выбить метким ударом камня ее злой глаз.

Чарли Мэн молчал... Но было хуже, когда он неохотно и медленно бросал детям несколько слов, одинаково скучных и, пожалуй, даже глупых:

— Вы, ребята, могли бы, если б захотели, бросить этой птице пару цыплят. Для нее, я думаю, цыплята будут приятнее камней и палок...

В другой раз, когда маленький Джонстон ловко ушиб ногу ястреба, Чарли Мэн поднялся и почему-то заявил детям:

— Я полагаю — с него довольно на сегодня... Вы могли бы уже идти домой, ребята...

— Когда вы убьете дьявола, Мэн? — спрашивали его дети.

— Чтобы убить — не нужно много времени... — ответил он.

Все это было скучно и охлаждало враждебный пыл детей, ненавидевших вредную птицу со всею силой и искренностью чистых сердец. И было странно, что с той поры,

как Мэн привязал ястреба, он сам почти перестал выходить из дому.

Порою дети, раздраженные птицей, бросались на нее, тогда она быстро опрокидывалась на спину, вытягивала когти, открывала клюв и так ждала борьбы — вся взъерошенная и дрожащая, точно живой ком дикой злости...

В такой момент возбуждения Чарли Мэн вставал, вытягивался и, казалось, готовился к чему-то, что сразу привлекало внимание детей от ястреба. Они смотрели на Чарли Мэна, он на них...

Им становилось холодно и жутко под взглядом серых глаз.

И тогда они уходили прочь от неприятной серой птицы и от чудака...

Однажды после такой сцены они ушли, а Чарли Мэн остался на крыльце. Положив, как всегда, свои скулы на ладони, он пристально смотрел на птицу, утомленную прыжками, она прижалась вплоть к стволу дерева, около которого запуталась ее веревка, и голова ее опустилась к земле, точно на ней невидимо лежало бремя долгой жизни или многих страданий.

Чарли Мэн смотрел на нее, пока стемнело, потом он встал и медленно подошел к дереву. Птица вздрогнула, насторожилась, ее перья злобно встали...

— Это... не то, дружище! — пробормотал Чарли Мэн, отрицательно кивая головой.

И он пошел на птицу так, чтобы она, отступая перед ним, распутала веревку. Сначала ястреб противился, взмахивая крыльями, но когда он понял, что каждый новый круг около дерева, удлиняя веревку, отдаляет его от человека, он запрыгал по земле быстрее, еще быстрее... И вдруг, взмахнув крыльями, поднялся, полетел, крикнул...

Веревка дернула его назад, он почти упал снова на землю, косо махая крыльями. И, когда он сел на траве, его желтый, круглый глаз уставился в лицо Мэна, стоявшего в двух шагах.

Чарли Мэн осмотрел птицу, круто повернулся и не спеша ушел в дом.

Он вышел оттуда сейчас же и вынес ружье. Так же, не спеша, он подошел к ястребу, приложил ружье к плечу...

Туго натянув веревку, птица сидела неподвижно, и круглый глаз ее блестел во тьме, глядя на Чарли Мэна, в его каменное, как всегда, лицо. Голова ястреба была немного скошена направо. Мэн вдруг усмехнулся, опустил ружье и сказал:

— Это — глупость, дружище... Не нужно это, я знаю...

Он качнул головой, и птица тоже как будто пошевелилась...

Мэн опустил ружье на землю и вынул из кармана нож, потом осторожно взял веревку и потянул ее к себе. Ястреб вздрогнул, взмахнул крыльями, готовый опрокинуться на землю и защищаться...

— Не дури... — тихо сказал Чарли Мэн. — Довольно глупостей... довольно для обоих нас...

Он все подвигал птицу ближе к себе, осторожно потягивая веревку, — ястреб, не спуская с него взгляда, уступал силе и вытягивал клюв, медленно открывая его, готовый вырвать серый глаз человека.

Но Чарли Мэн коротким, быстрым ударом перерезал веревку у самой ноги птицы и тотчас отскочил. Испуганная его движением, птица взмыла в воздух... Радостно, громко крикнула и снова, как бы не веря свободе, опустилась на землю...

Чарли Мэн, не глядя на нее, поднял ружье и пошел в дом...

Он слышал, как сзади него грузно хлопнули в воздухе крылья — раз, два и три... Потом во тьме раздался мягкий шум полета большой, тяжелой птицы...

Человек наклонил голову и, не оглядываясь, скрылся в доме...

...Наутро снова явились дети, но птицы не было, а Чарли Мэн, одетый на охоту, усердно смазывал ружье.

— А где же одноглазый дьявол? — вскричали дети.

Это не относилось к Чарли Мэну, и он молчал.

— Где ваша птица, мистер Мэн? — спросили дети, окружая охотника.

Он поднял свое красное лицо в небо и не спеша ответил:

— Улетела птица... Как это было необходимо для нее.

— Вы отпустили ее? — изумленно и разочарованно закричали дети. — Чтобы она опять таскала кур? Теперь, когда у всех цыплята?.. Ого-го, мистер Мэн!

— Я ей сказал, — странно двигая губами, заговорил Чарли Мэн, — я сказал ей, чтобы она не встречалась со мной еще раз... Но о том, как надо вести себя по отношению к домашней птице... я, кажется, забыл сказать ей?.. Да, я позабыл...

...С той поры знаменитого охотника Чарли Мэна весь округ называет за глаза не иначе как — старым ослом...

МОИ ИНТЕРВЬЮ

КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫСОКО ДЕРЖИТ СВОЕ ЗНАМЯ

...Слуга, вооруженный длинной саблей и украшенный множеством пестрых орденов, провел меня в кабинет его величества и встал у двери рядом со мной, не спуская глаз с моих рук.

Король отсутствовал, и я принялся внимательно осматривать лабораторию, в которой великий человек творил дела свои, удивлявшие весь мир. Кабинет его величества представлял собою комнату длиною футов в двести и шириною не менее ста футов.

Потолок был сделан из стекла. У левой стены находился огромный бассейн, в котором плавали модели военных судов. По стене тянулись полки, и на них симметрично стояли маленькие фигурки солдат, одетые в разнообразные формы. Правая стена была сплошь занята мольбертами, на которых стояли начатые картины, а перед ними в пол были вделаны большие куски черного дерева и слоновой кости, расположенные в порядке клавиатуры рояля.

Все остальное тоже было величественно.

— Послушайте, мой друг, — обратился я к лакею.

Но он громыхнул саблей и возразил:

— Я церемониймейстер...

— Очень рад, — сказал я, — но объясните мне...

— Когда его величество выйдет и поздоровается с вами, — что вы ему скажете? — спросил он, прерывая меня.

— «Здравствуйте!» — ответил я.

— Это будет дерзко! — внушительно предупредил он меня и стал учить, как нужно отвечать королю.

Его величество вошло крепкими шагами существа, уверенного, что дворец его построен прочно. Величину осанки его величества очень способствует то, что оно не сгибает ног и, держа руки по швам, не двигает ни одним членом. Глаза его тоже неподвижны, какими и должны быть глаза существа прямолинейного и привыкшего смотреть в будущее.

Я поклонился ему, мой спутник отдал честь, его величество милостиво пошевелило усами.

— Чем я могу осчастливить вас? — спросило оно торжественным голосом.

— Я пришел, чтобы испытать несколько капель бессмертной влаги из океана вашей мудрости, ваше величество! — ответил я, как меня научили.

— Надеюсь, я не стану после этого глупее? — остроумно заметил король.

— Это невозможно для вас, ваше величество! — почтительно поддержал я его тонкую шутку.

— Так будем говорить! — сказал он. — С Королями следует говорить стоя, но вы можете сесть... если это вас не стесняет...

Я быстро привыкаю к новым положениям и потому — сел. Его величество молча подняло плечи и опустило их. Когда король говорит, я заметил, что язык у него двигается, все же остальное хранит величавую неподвижность. Оно сделало два шага одинаковой меры в сторону от меня и продолжало, стоя среди комнаты подобно монументу:

— Итак, вы видите перед собой Короля, то есть Меня. Не каждый может сказать о себе: я видел Короля! Что вы хотите знать?

— Как вам правится ваше ремесло? — спросил я.

— Быть Королем — не ремесло, а призвание! — внушительно сказало оно. — Бог и Король — два существа, бытие которых непостижимо умом.

Оно подняло руку вверх, вытянув ее вертикально, в одну линию с туловищем, и, указывая пальцем в стекло потолка, продолжало:

— Это сделано для того, чтобы бог всегда видел, что делает Король. Только бог понимает Короля, только он может контролировать Его... Король и бог — творцы. Раз! Два! И бог создал мир!.. Р-раз! Два! Три! И мой дед создает Германию. А я — совершенствую ее. Я и верно-подданный моих предков, некто Гёте, — мы, пожалуй, больше всех сделали для немцев. Может быть, я даже немного более, чем Гёте. Во всяком случае, я несомненно разнообразнее его. Его Фауст, в конце концов, просто человек сомнительной нравственности. Я показал миру бронированного Фауста. Это было понято всеми и сразу, чего нельзя сказать о второй части книги Гёте. Да...

— Вы много времени посвящаете искусству, ваше величество? — спросил я.

— Всю жизнь! — сказал он, — всю жизнь. Управлять народом — труднейшее из искусств. Чтобы постичь его в совершенстве, нужно знать все. Я — все знаю! Поэзия — стихия Королей. Нужно видеть меня на параде, чтобы понять, как я влюблен во все прекрасное и стройное. Истинная поэзия, скажу вам, это поэзия дисциплины. Ее можно понять только на параде и в стихах. Полк солдат — вот поэма! Слово в строке стиха и солдат в строю — это одно и то же... Сонет — это взвод слов, имеющий целью атаку вашего сердца. В штыки! И в сердце вам вонзается ряд красивых созвучий. Пли! И ваш ум прострелен десятком метких слов... Стихи и солдаты — это одно и то же, говорю вам. Король — первый солдат страны, он ее божественное слово, он же и первый поэт ее... Вот почему я так прекрасно марширую и легко владею стихом... Смотрите. Марррш!

Его левая нога немедленно поднялась кверху, и вслед за нею правая рука взлетела на уровень плеча.

— Смирррно! — скомандовал король. Нога и рука моментально заняли свои места. Он продолжал:

— Это называется свободной дисциплиной членов. Она действует независимо от сознания. Взмах ноги уже сам поднимает руку — раз! Мозг здесь не играет никакой роли. Это почти чудесно. Вот почему лучший солдат тот,

у которого мозг совершенно не действует. Солдата приводит в движение не сознание, а звук команды... Маррррш! Он идет в рай, в ад, куда угодно. В штаны! Он колет своего отца, — если его отец социалист, — мать, брата... это все равно! Он действует, пока не услышит — стой! Изумительно величественны эти действия без мысли!..

Он вздохнул и продолжал все тем же ровным и крепким голосом:

— Может быть, я создам идеальное государство... Я или один из моих потомков. Для этого нужно только, чтобы все люди в стране почувствовали красоту дисциплины. Когда человек совершенно перестанет думать, Короли будут велики и народы счастливы. Денег! — командует Король. Все верноподданные выстраиваются в ряд. Раз! — Сорок миллионов рук молча опускаются в карманы. Два! — Сорок миллионов рук протягивают Королю по десяти марок каждая. Три! — Сорок миллионов рук отдают Королю честь, и затем люди молча идут к своим трудам. Разве это не прекрасно? Вы видите, для счастья людей не нужно мозга: за них думает Король. Король способен охватить всю жизнь... К этому я и стремлюсь... Но пока я один понимаю роль Короля так глубоко... Не все Короли ведут себя достойно сану. Родные по крови, они не всегда братья по духу. Они должны объединиться все в одну силу. Это очень легко сделать именно сейчас. Следует обратить больше внимания на социализм: в нем есть нечто полезное для Королей. Красный призрак социализма наводит ужас на всех порядочных людей земли. Он хочет пожрать душу культурного общества — его собственность. Короли объединяют всех и все для борьбы с этим чудовищем и становятся во главе, как древние вожди. Нужно способствовать развитию страха перед социализмом. И, когда общество обезумеет, Короли встанут во весь рост. Прошло время, когда Короли давали конституции, — пора уже брать их назад!

Он перевел дух и продолжал; я слушал его и задышался... от наслаждения мудростью.

— Вот программа всякого Короля наших дней! И, когда мой военный флот будет достаточен для того, чтобы предложить эту программу всем Королям Европы, я уверен, они примут ее... А пока я занимаюсь мирным,

культурным трудом, совершенствую мой добрый народ. Я овладел всеми искусствами и поставил их на караул к идее божественного происхождения власти Короля. Вы видели мою «Аллею Победы»? В ней муза скульптуры показывает немцам, как много было на земле Габсбургов и Гогенцоллернов. Человек, который дважды пройдет по этому месту взад и вперед — раз-два! раз-два! — уже знает, что все мои предки были великие люди. Это пробуждает в нем гордость Королями своей страны и незаметно делает из него искреннего поклонника королевской власти. Со временем я поставлю статуи предков на всех улицах моих городов. Человек увидит, как много было Королей в прошлом, и тогда признает, что и в будущем ему не обойтись без этого. Скульптура полезна людям, но я первый показал это с такой силой!

— Ваше величество, — спросил я, — почему у большинства ваших предков кривые ноги?

— Их всех делали в одной и той же мастерской надгробных памятников. Но это никому не мешает видеть величие их духа. А вы слышали мою музыку? Нет? Я покажу вам, как я ее делаю.

Он величаво сложил свое прямолинейное тело в форму штыка, сел на стул и, протянув ногу, сказал слуге, который ввел меня:

— Граф! Помогите мне снять сапоги. Так... И носки... Благодарю! Хотя Король не обязан благодарить подданных за услуги... это делается им из вежливости!

Завернув брюки до колен, он согнул шею под углом в сорок пять градусов и внимательно осмотрел свои ноги.

— Я прикажу отлить их из бронзы еще при жизни моей! — сказал он. — Пусть отольют несколько десятков экземпляров для будущих статуй. Ноги Короля должны быть прямыми, это верно. Кривые, они могут внушить мысль о несовершенстве Короля.

Он подошел к правой стене, взял в руки кисть и, сделав пол-оборота налево, продолжал:

— Музыкой и живописью я занимаюсь в одно время. Смотрите: в пол вделаны клавиши, а инструмент под полом. Ноты записывает механический аппарат, тоже скрытый под полом. Я рисую картину — раз! — Он провел кистью по полотну одного из мольбертов.

— И топаю ногой по клавишам — два! — Раздался очень сильный звук.

— Вот и всё! — сказал он. — Это очень просто и сохраняет время, которого у Королей всегда мало. Бог должен бы удваивать годы земной жизни вождей народа. Мы все так искренно преданы работе для счастья наших подданных, что вовсе не спешим променять это дело на радости жизни вечной... Но я все отвлекаюсь. Мысли Королей текут неустанно, как воды рек. Король обязан думать за всех подданных, и, кроме него, никто не должен делать это... если ему не приказано властью... Теперь я познакомлю вас с новой пьесой... Я только вчера на-топал ее...

Он взял лист нотной бумаги и, водя по нем пальцем, рассказывал:

— Вот шеренга нот среднего регистра... Видите, в каком строгом порядке стоят они? Тра-та-там. Тра-та-там. На следующей линейке они идут в гору, как бы на приступ!.. Идут быстро, рассыпанной цепью... Ра-та-та-та-та! Это очень эффектно. Напоминает о коликах в желудке, потом вы узнаете — почему. Далее, они снова выравниваются в строго прямую линию по команде этой ноты — бумм! Нечто вроде сигнального выстрела... или внезапной спазмы в животе. Здесь они разбились на отдельные группы... десятки ударов! треск костей!.. Эта нота звучит все время непрерывно, как боль вывиха. И, наконец, все ноты дружным натиском в одно место — рррам! ррата-там! Бум! Здесь полный беспорядок в нотах, но это так нужно. Это — финал, картина всеобщего ликования...

— Как называется эта штука? — спросил я, сильно заинтересованный описанием.

— Эта пьеса, — сказал король, — эта пьеса называется: «Рождение Короля». Мой первый опыт проповеди абсолютизма посредством музыки... Неглупо? А?

Он, видимо, был доволен собой. Его усы шевелились очень энергично.

— Среди моих подданных было несколько недурных музыкантов и до меня, но теперь я решил сам заняться этим делом, чтобы все плясали только под мою музыку.

Он пошевелил усами, очевидно, с намерением улыбнуться и, сделав пол-оборота направо, продолжал:

— Теперь смотрите сюда... Как вы думаете, что это такое?

На огромном полотне яркокрасной краской было написано чудовище без головы и со множеством рук. В каждой из них были пучки молниевидного огня. На одном пучке черными буквами было написано: «Анархия», на другом: «Атеизм», третий носил название: «Гибель частной собственности», четвертый: «Зверство»... Чудовище шагало по городам и селам, всюду разбрасывая огненные молнии и зажигая пожары. Маленькие черные люди в смятении и ужасе бежали прочь от него, а сзади чудовища шли ликующей толпой красные люди. Они были без глаз и с ног до головы обросли огненно-рыжей шерстью, подобно гориллам. Художник не пожалел красной краски. Картина поражала глаза своей величиной.

— Ужасно? — спросил король.

— Ужасно! — согласился я.

— Это как раз то, что нужно, — сказал он, и его глаза сделали полный оборот справа налево. — Вы, конечно, поняли мою идею? Ну да, — это социализм. Видите, у него нет головы, он сеет пороки, распространяет анархию и делает людей животными. Ясно, что это социализм. Вот что значит — работать энергично! В то время как нижняя половина моего тела утверждает идею власти Короля, верхняя занята борьбой с главным врагом этой власти. Никогда еще искусство не исполняло своего долга так ревностно, как в мое царствование!

— Но ценят ли подданные тяжелые труды вашего величества? — спросил я.

— Ценят ли они меня? — переспросил он, и в голосе его мне послышалась усталость. — Должны бы. Я создал им десятки броненосцев, застроил целые улицы скульптурой, делаю музыку и картины, служу литургии... Но... Иногда мне приходит в голову грешная мысль... Мне кажется, что подданные, которые любят меня, — глупы, а умные — все социалисты. Есть еще либералы. Но, как всегда, либералы слишком многого хотят для себя и слишком мало оставляют Королю, хотя тоже ничего не дают народу. Вообще, они только мешают. Лишь абсолютная власть Короля может спасти народ от социализма. Но, кажется, никто не понимает этого...

Он сложился в двух местах правильными углами и сел. Его глаза задумчиво перекатывались в орбитах слева направо, и по всей фигуре разлилась меланхолия. Видя, что он утомился, я поставил ему мой последний вопрос:

— Что еще скажете вы, ваше величество, по вопросу о божественном происхождении королевской власти?

— Все, что угодно! — быстро отозвался он. — Прежде всего, она непоколебима, и только она одна истинна, ибо она — чудесна! После того, как миллионы народов на протяжении тысяч лет признавали над собой неограниченную власть одного человека, — только одни идиоты могут отрицать ее... это ясно. Я — Король, да, но — я человек, и если я вижу, что люди подчиняются моей воле, я должен признать это чудом... не правда ли? Не могу же я предположить, что именно эти миллионы сплошь состоят из идиотов! Щадя их самолюбие, я хочу думать, что они-то и есть умные люди. Я был бы плохим Королем, если бы думал так дурно о моих подданных. И так как только бог может творить чудеса, ясно, что я избран им для доказательства его силы и моих достоинств. Что можно против этого возразить? Именно здесь скрыта истина, и она тверда, подобно алмазу, потому что за нее большинство...

В его глазах появился влажный блеск удовольствия, но он быстро погас, и его величество вздохнуло, подобно машине военного корабля, выпускающего отработанный пар.

— Не смею задерживать более ваше величество! — сказал я, поднимаясь со стула.

— Хорошо! — милостиво сказал мне вождь великого народа. — Прощайте. Желаю вам... чего бы пожелать вам наиболее приятного? Н-но, желаю вам еще раз в жизни видеть Короля!

Он величаво опустил нижнюю губу и милостиво поднял усы. Я принял это за его поклон и отправился в Зоологический сад посмотреть на умных животных...

Иногда, после беседы с человеком, так страстно хочется дружески приласкать собаку, улыбнуться обезьяне, почтительно снять шляпу перед слоном...

ПРЕКРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

...Я долго ходил по улицам Парижа, прежде чем нашел ее. Все, кого я спрашивал — где она живет? — не могли ответить мне определенно.

Один старик, должно быть, шутя, но почему-то со вздохом — сказал мне, пожав плечами:

— Кто это знает? Когда-то она жила во всей Европе...

— В улице банкиров! — грубо сказал рабочий.

— Идите направо! — говорили другие.

Вокруг меня было шумно и немного неудобно. Всюду на площадях — пушки и солдаты, везде на улицах — рабочие. По обыкновению, принятому за последнее время во всех странах, солдаты стреляли вдоль улиц из ружей, конница, размахивая обнаженными саблями, наезжала на людей, рабочие бросали в солдат камнями. В душном воздухе седого города нервно дрожала злобная брань, разносились резкие слова команды. Кое-где мостовая была выпачкана кровью; люди с пробитыми черепами, сжимая в бессильной ярости свои кулаки, уходили домой; те, которые уже не могли идти, падали на мостовую, и полицейские гуманно тащили их прочь из-под ног лошадей и солдат. На панелях стояли зрители, перекидываясь замечаниями по поводу деталей этой обычной картины жизни христианского города...

Наконец кто-то сказал мне:

— Франция? Направо, у моста Александра III.

Полицейский участок, в котором она жила, представлял собою довольно старое здание, не поражавшее глаза ни роскошью, ни красотой. У двери, в которую я вошел, стояли два солдата в штанах, сшитых из красного знамени Свободы. Над дверью уцелели куски какой-то надписи, можно было прочесть только «Сво... ра... б... а...». Это напоминало о своре банкиров, опозоривших страну Беранже и Жорж Занд. Кругом носился запах плесени, гниения и разврата...

Сердце мое сильно билось. Ведь и я, как все революционеры, во дни моей юности любил эту женщину, которая сама умела любить искренно и много, и так красиво могла делать революции...

Любезно улыбаясь, какой-то человек, весь в черном, напоминая своими манерами маркиза из дорогих сутенеров, провел меня в небольшой, полутемный склеп, где я мог любоваться изяществом стиля модерн современной Франции.

Стены этой комнаты были оклеены разноцветными бумагами русских займов; на полу лежали кожи туземцев из колоний, а на них была артистически вытиснена «Декларация прав человека». Мебель, сделанная из костей народа, погибшего на баррикадах Парижа в битвах за свободу Франции, была обита темной материей с вышитым по ней договором о союзе с русским царем. На стенах висели гербы европейских государств, инкрустированные железом по живому мясу людей: бронированный кулак Германии, петля и нагайка России, нищенская сума Италии, герб Испании — черная сутана католического попа и две его костлявые руки, жадно вцепившиеся в горло испанца. Тут же был и герб Франции — жирный желудок буржуа, с изжеванной фригийской шапкой внутри его...

Плафон на потолке изображал открытый рот короля Германии, его шестьдесят четыре зуба и грозные усы... На окнах висели тяжелые гардины. Было темно, как всегда бывает в гостиных женщин бальзаковского возраста, еще не потерявших надежду пленять мужчин. Густой смешанный запах фальшивой деликатности и духовного разврата кружил голову и стеснял дыхание.

Она вошла и сквозь ресницы взглянула на мою фигуру глазами знатока мужчин.

— Вы говорите по-французски? — спросила она, отвечая на мой поклон жестом актрисы, которая давно уже перестала играть роли королев.

— Нет, сударыня, я говорю только правду! — ответил я.

— Кому это нужно? — спросила она, пожимая плечами. — Кто это слышит? Правда даже в красивых стихах никому не приятна...

Подойдя к окну, она приоткрыла гардину и тотчас же отошла прочь.

— Они всё еще шумят там, на улице? — сказала она недовольно. — Вот дети! Чего им нужно? Не понимаю!

У них есть республика и кабинет министров, какого нет нигде. Один министр был даже социалистом, — разве этого мало для счастья народа?

И, капризно закинув голову назад, она добавила:

— Не правда ли?.. Впрочем, вы пришли говорить...

Она подошла, села рядом со мной и, с фальшивой лаской взглянув в мои глаза, спросила:

— О чем мы будем говорить? О любви? О поэзии? Ах, мой Альфред Мюссэ!.. И мой Леконт-де-Лиль!.. Ро-стан!.. — Глаза ее закатились под лоб, но, встретив зубы немца над головой, она тотчас же опустила их.

Я не мешал ей красиво болтать о поэтах, молча ожидая момента, когда она заговорит о банкирах. Я смотрел на эту женщину, образ которой все рыцари мира еще недавно носили в сердцах. Ее лицо теперь было нездоровым лицом женщины, которая много любила, его живые краски поблекли, стерлись под тысячами поцелуев. Искусво подведенные глаза беспокойно бегали с предмета на предмет, ресницы устало опускались, прикрывая опухшие веки. Морщины на висках и на шее безмолвно говорили о бурях сердца, а зоб и толстый подбородок — об ожирении его. Она обрюзгла, растолстела, и было ясно, что этой женщине теперь гораздо ближе поэзия желудка, а не великая поэзия души, что грубый зов своей утробы она яснее слышит, чем голос духа правды и свободы, гремевший некогда из уст ее по всей земле. От прежней грации и силы ее движений осталась только привычная развязность бойкой бабы, торговки на всемирном рынке. И обаяние великой героини на поле битв за счастье людей она теперь противно заменяла кокетством старой дамы — героини бесчисленных амурных приключений.

Она была одета в тяжелое, темное платье, украшенное кружевами, которые напоминали мне об окиси на статуе Свободы в Нью-Йорке и о клочках симпатий, разорванных изменой Духу Правды.

Ее голос звучал устало, и мне казалось, что говорит она только для того, чтобы позабыть о чем-то важном, честном, что иногда еще колет острой иглой воспоминаний ее холодное, изношенное сердце, в котором ныне нет больше места для бескорыстных чувств.

Я смотрел на нее и молчал, с трудом удерживая в горле тоскливый крик безумной муки при виде этой жалкой агонии духа.

Я думал:

«Да разве это Франция? Та героиня мира, которую мое воображение всегда рисовало мне одетой в пламя ярких мыслей, великих слов о равенстве, о братстве, о свободе?»

— Вы невеселый собеседник! — сказала она мне и утомленно улыбнулась.

— Сударыня! — ответил я. — Всем честным русским людям теперь невесело в гостях у Франции.

— Но почему же? — фальшиво улыбаясь и удивленно подняв ресницы, спросила она. — В моем Париже все веселится... все и всегда!

— Я это видел сейчас на улицах... так веселятся и у нас в России. Кровавая игра солдат с народом — любимый спорт царя России, вашего друга...

— Вы — мрачный человек! — заметила она с гримасой. — Когда народы требуют всего, что имеет король, — король не должен отдавать им даже того, что может... Так рассуждали короли всегда. Почему они будут думать иначе теперь? Нужно проще относиться к жизни. Вы не старик еще — к чему уныние? Когда человек способен любить — жизнь прекрасна. Конечно, Николай II — он... как это сказать? Он очень поддается влиянию дурных людей, но — право, это добрый малый... Ведь вот он дал же вам свободу?..

— Мы взяли у него ее ценою тысяч жизней... И даже после того, как она была вырвана из его рук, — он требует в уплату за нее еще и еще крови. Он хочет, чтобы мы отдали назад эту милостыню, которую он подал под угрозой... И вот теперь вы дали ему денег, чтобы он отнял ее...

— Ах, нет! — возразила она. — Он не отнимет, поверьте мне!.. Он ведь — рыцарь и умеет держать слово. Я это знаю...

— Вы понимаете, что дали деньги на убийства? — спросил я.

Она откинула голову в тень, так, чтобы не было видно лица ее. Потом спокойно сказала:

— Я не могла не дать. Он, этот Николай, единственный, кто может мне помочь, когда вот этот рот захочет откусить мою голову.

Улыбаясь, она указала на потолок, где декоративно блестели зубы немца.

— Эта жадная пасть, говоря правду, немножко разворачивает меня. Но — что же делать? И, наконец, в развороте не все противно...

— Вам не противно опираться на эту руку, всегда по плечу покрытую кровью народа?

— Но — если нет другой руки? Ведь трудно найти руки короля, чистые от крови народа. Сегодня они таковы, а что будет завтра? Я женщина, мне нужен друг. Республика и азиатский деспот, дружески идущие рядом по земле... конечно, это не красиво, хотя оригинально, не так ли? Но вы не понимаете политики, как все поэты... и революционеры... Где политика, там уже нет красоты... Там только желудок и ум, который послушно работает для желудка...

— А вам не кажется, что золотом, которое вы дали этому царю, вы задавили честную славу Франции?

Она посмотрела на меня широко открытыми глазами, усмехнулась и облизнула накрашенные губы кончиком острого языка.

— Вы только поэт! Это — старо, мой друг! Мы живем в суровое время, когда хотя и можно писать стихи, но быть во всем поэтом — по меньшей мере непрактично!

И она засмеялась смехом превосходства.

— Мои Шейлоки сделали, мне кажется, порядочное дело! Они содрали с вашего царя процент, который равен трети его кожи!

— Но ведь, чтобы уплатить такой процент, царь должен будет содрать с народа всю кожу!

— Конечно... то есть вероятно! Но как же иначе? — спросила она, пожав плечами. — Правительства делают политику, народы платят за это своим трудом и кровью — так было всегда! К тому же я — республика и не могу мешать моим банкирам делать то, что им нравится. Только одни социалисты не в состоянии понять, что это нормально. И все так просто... Зачем портить себе кровь, восставая против здравого смысла? Мои Шейлоки дали

много и должны дать еще, чтобы получить обратно хоть что-нибудь... В сущности, они в опасном положении... если победит... не царь...

Она побоялась сказать то слово, которое сделало ее славу...

— Они могут остаться нищими... И даже если он победит... Я думаю, они не скоро получат свои проценты. А ведь они — мои дети, — не правда ли? Богатые люди — самые твердые камни в здании государства... Они его фундамент. Поэты — это орнамент, маленькие украшения фасада... и можно обойтись без них... Они ведь не увеличивают прочность постройки... Народ только почва, на которой стоит дом, революционеры — просто сумасшедшие... и — продолжая сравнения — можно сказать, что армия — свора собак, охраняющих имущество, покой жильцов дома...

— А в нем живут Шейлоки? — спросил я.

— Они и все другие люди, которые считают помещение удобным для себя. Но бросим это! Когда политика невыгодна — она скучна!

Я встал и молча поклонился.

— Уходите? — безразлично спросила она.

— Мне нечего здесь делать! — сказал я и ушел от этой сводни царя с банкирами.

Я не увидел той, которую желал увидеть, я видел только трусливую, циничную кокетку, которая за деньги, неискренно и хладнокровно, отдается вору и палачам.

Я шел по улицам великого Парижа, который в этот день наемные солдаты — собаки старой и жадной бабы — держали в плену своих штыков и пушек, я видел, как французы, за углами улиц, подобно верным псам правды и свободы, молча считали силы своих врагов, готовые омыть своей кровью постыдную грязь с лица республики... Я чувствовал, что в их сердцах рождается, растет и крепнет дух старой Франции, великой матери Вольтера и Гюго, дух Франции, посеявшей цветы свободы всюду, куда достигли крики ее детей — поэтов и борцов!

Я шел по улицам Парижа, и сердце мое пело гимн Франции, с которой я беседовал в темном склепе.

Кто не любил тебя всем сердцем на утре дней своих?

В годы юности, когда душа человека преклоняет колена пред богинями Красоты и Свободы, — светлым храмом этих богинь сердцу казалась лишь ты, о великая Франция!

Франция! Это милое слово звучало для всех, кто честен и смел, как родное имя страстно любимой невесты. Сколько великих дней в прошлом твоём! Твои битвы — лучшие праздники народов, и страдания твои — великие уроки для них.

Сколько красоты и силы было в твоих поисках справедливости, сколько честной крови пролито тобой в битвах ради торжества свободы! Неужели навсегда иссякла эта кровь?

Франция! Ты была колокольной мира, с высоты которой по всей земле разнеслись однажды три удара колокола справедливости, раздался три крика, разбудившие вековой сон народов — Свобода, Равенство, Братство!

Твой сын Вольтер, человек с лицом дьявола, всю жизнь, как титан, боролся с пошлостью. Крепок был яд его мудрого смеха! Даже попы, которые сожрали тысячи книг, не портя своего желудка, отравлялись насмерть одной страницей Вольтера, даже королей, защитников лжи, он заставлял уважать правду. Велика была сила и смелость его ударов по лицу лжи. Франция! Ты должна пожалеть, что его уже нет: он теперь дал бы тебе пощечину. Не обижайся! Пощечина такого великого сына, как он, — это честь для такой продажной матери, как ты...

Твой сын Гюго — один из крупнейших алмазов венца твоей славы. Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека. Он всюду создавал героев и создавал их своими книгами не менее, чем ты сама, за все то время, когда ты, Франция, шла впереди народов со знаменем свободы в руке, с веселой улыбкой на прекрасном лице, с надеждой на победу правды и добра в честных глазах. Он учил всех людей любить жизнь, красоту, правду и Францию. Хорошо для тебя, что он мертв теперь, — живой, он не простил бы подлости даже Франции, которую любил, как юноша, даже тогда, когда его волосы стали белыми...

Флобер — жрец красоты, эллин девятнадцатого века, научивший писателей всех стран уважать силу пера, по-

нимать красоту его, он, волшебник слова, объективный, как солнце, освещавший грязь улицы и дорогие кружева одинаково ярким светом, — даже Флобер, для которого правда была в красоте и красота в правде, не простил бы тебе твоей жадности, отвернулся бы от тебя с презрением!

И все лучшие дети твои — не с тобой. Со стыдом за тебя, содержанка банкиров, опустили они честные глаза свои, чтобы не видеть жирного лица твоего. Ты стала противной торговкой. Те, которые учились у тебя умирать за честь и свободу, — теперь не поймут тебя и с болью в душе отвернутся от тебя.

Франция! Жадность к золоту опозорила тебя, связь с банкирами развратила честную душу твою, залила грязью и пошлостью огонь ее.

И вот ты, мать Свободы, ты, Жанна д'Арк, дала силу животным для того, чтобы они еще раз попытались раздавить людей.

Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?

Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе и культуре для целой страны. И если даже это время будет только одним днем — твое преступление не станет от этого меньше. Но ты остановила движение к свободе не на один день. Твоим золотом — прольется снова кровь русского народа.

Пусть эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда истасканные щеки твоего лживого лица.

Возлюбленная моя!

Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!

РУССКИЙ ЦАРЬ

...В Царском Селе принимают не очень ласково, но оригинально.

Как только я вошел, меня окружила толпа жандармов, и руки их тотчас же с настойчивой пытливостью начали путешествовать по пустыням моих карманов.

— Господа! — любезно сказал я им, — я знал, куда иду, и не взял с собой ни копейки!..

Но они не обратили на эти слова ни малейшего внимания, продолжая ощупывать мое платье, обувь, волосы, заглядывая мне в рот и всюду, куда может достигнуть глаз человеческий. Приемная, в которой происходило это исследование, была убрана просто, но со вкусом: у каждого окна стоял пулемет, дулом на улицу, перед дверью — скорострельная пушка, у стен — стойки с ружьями. Обыскивали артистически, видно было, что люди занимаются делом не только знакомым, но и любимым. Я вертелся в их руках, как мяч. Наконец, один из них отступил от меня шага на три в сторону, окинул мою фигуру взглядом и командовал мне:

— Раздевайтесь!

— То есть — как? — спросил я.

— Совершенно! — категорически заявил он.

— Благодарю вас! — сказал я. — Если вы хотите меня мыть — это лишнее, я брал сегодня ванну...

— Без шуток! — повторил он, прицеливаясь мне в голову из револьвера. Это нисколько не удивило его товарищей, напротив, — они тотчас же бросились на меня и в один миг сняли с моего тела платье, точно кожу с апельсина. Начальник их снова молча и тщательно осмотрел мое тело и, когда, наконец, все убедились, что со мной нет бомбы и я обладаю шеей, вполне удобной для того, чтобы повесить меня, — сказали мне:

— Идите!

— А... одеться — можно?..

— Не нужно!

— Но, позвольте...

— Не рассуждать! Марш!

Двое из них, обнажив сабли, встали у меня с боков, третий пошел сзади, держа револьвер на уровне моего затылка. И мы молча пошли по залам дворца.

В каждом из них сидели и стояли люди, вооруженные от пяток до зубов. Картина моего шествия была, видимо, привычной для них, — только один, облизывая губы, спросил у моих спутников:

— Пороть или вешать?

— Журналист! — ответили ему.

— А... значит — вешать! — решил он.

Меня провели в большую комнату без окон и с одной дверью, той, в которую я вошел. В потолке горела матовая лампа, обливая комнату ровным, мутным светом. Под лампой стояла небольшая пушка, и, кроме нее, в комнате не было ничего. Эта скромная обстановка на месте роскоши, которую я ожидал встретить, не понравилась мне. В ней было что-то унылое, что-то отягчало душу мою невеселыми предчувствиями.

— Нечего здесь рассматривать! — заметил мне конвойный с револьвером.

— Я вижу... — ответил я.

Мои конвоиры крепко привязали меня животом к дулу пушки, но руки оставили свободными. Затем один из них прицепил к замку пушки шнурок электрического провода с сонеткой на конце, отнес его к стене комнаты впереди меня и там положил на пол. Его товарищи ощупали веревки, соединявшие меня с дулом.

— Руки вверх! — скомандовали мне.

Я поднял руки. Все трое обошли вокруг меня и исчезли. Заскрипела дверь сзади меня. Кто-то спокойно сказал:

— Готово!

Наступила тишина. Я чувствовал, как на голове у меня растут волосы. Сталь пушки, упираясь мне в живот, распространяла по всему телу дрожь холода. Голые стены с трех сторон угрюмо смотрели на меня. Я думал:

«Неужели это последнее мое интервью?»

И мне становилось скучно при этой мысли. Мне захотелось опустить руку и погладить сталь пушки, как гладят собак...

Но в это время под полом, впереди меня, раздался странный шум — как будто кто-то вздыхал глубоким вздохом усталости. Один из квадратов пола вдруг исчез, в отверстии явилась небольшая рука и быстро схватила сонетку. И вслед за нею передо мною выскочил из-под пола, как пробка из бутылки, сам русский царь со всеми своими титулами и весь в железе.

От неожиданности я вздрогнул, и руки мои опустились.

— Руки вверх! — раздался тревожный голос царя.

Я увидел, что палец его готов нажать кнопку сонетки, и мои руки взлетели к потолку, подобно крыльям мельницы под ударом вихря.

— Вот так! — сказал царь, и на лице его отразилось нечто подобное улыбке. — Когда Мы видим руки подданного около карманов, Нам кажется, что он хочет бросить в Нас бомбу, даже тогда, когда он намерен дать Нам рубль...

— Ваше величество! — сказал я, — со мной нет карманов...

— Да, да! Мы видим, — ответил он, — но все же держите руки вверх... Люди стали так же изобретательны, как и злы...

— О да, ваше величество! — искренно согласился я.

— Вас не очень стесняют эти маленькие предосторожности, принятые для охранения Нашей жизни? — спросил он.

— Нет! Не беспокойтесь, пожалуйста!.. Я привык... — отвечал я ему, не сводя глаз с его пальца, лежавшего на кнопке сонетки. Ничтожное движение одного сустава — и мне в желудок выплется из жерла пушки штук триста картечи. Ожидая каждый миг такого угощения, — невольно делаешься галантным.

— Как видите — Нам самим не очень удобно, но Наш долг перед богом приказывает Нам страдать! — сказал он, грустно качая головой.

Весь с головы до ног закованный в броню, подобно древнему рыцарю, он, как все властители народа в наши дни, сидел на троне из штыков. Но костюм его был слишком тяжел, и трон не казался прочным. При неосторожных движениях царя штыки колебались, угрожая развалиться, и он неловко балансировал на них.

— Мы читали ваше интервью с Василием Федоровичем, королем Германии и братом Нашим, — заговорил царь, мечтательно полускрыв глаза. — Вот король! Он король даже тогда, когда у него расстроен желудок... А Мы не можем сказать это про себя! — вздохнув, прибавил он и поднял налечник шлема тщательно вымытой левой рукой, потом достал откуда-то из-под брони бумажку и, бегая по ней глазами, — заговорил:

— Ум человеческий — убийца богов и королей — имеет в короле Германии непобедимого соперника... Да,

это король! Он твердо знает, что верною подругой вождей народа всегда была богиня Глупости...

— И лжи, ваше величество! — добавил я.

Он взглянул на меня и сухо произнес:

— Речь Царя не должно прерывать!.. Да, вы хорошо, правдиво написали о короле Василии Федоровиче... Однако это не дает вам права перебивать Наши речи... Всякий должен знать свое место!.. Царь — на троне, подданный — у его ног. Но — не смущайтесь этим замечанием — Мы понимаем, что вы не можете припасть к Нашим ногам... И знаем Мы, — прибавил он, вздохнув, — что прошло то время, когда подданные бросали к ногам королей свои сердца... как рассказывают об этом придворные историки... Но придворные историки стали непопулярны в народе... вот где ясно виден вред грамотности!.. Подданные швыряют в ноги Царей всякую дрянь... Это называется прогресс техники!.. Сколько силы воли и мудрости должны иметь Цари, чтобы задерживать течение времени, чтобы вводить поток мыслей в русло почтения и страха пред богом и Царем... — Он вздохнул, тревожным жестом поднял руки к лицу и, прищурив глаза, внимательно осмотрел их, двигая пальцами. Ноздри его нервно вздрагивали, точно обоняли какой-то острый, колющий запах.

Лицо царя совсем не поражало величием. Это было лицо человека прежде всего болезненно трусливого, а потом уже злого и неумного...

Его руки бессильно упали, обе сразу, на его колена — железо налокотников задело о броню, наполнив комнату холодным, резким звуком. Царь вздрогнул, оглянулся и продолжал, скользя глазами по бумажке:

— Вот, говорят, что руки у Царя всегда в крови народа... какая ложь! Как это можно видеть? Ведь Мы не сами льем эту кровь?.. К тому же Мы каждый день, раз по пяти, а иногда и больше, моем руки в воде, горячей и с духами, чтобы даже запах крови был не слышен... да! О! Как бы Мы хотели, чтобы кто-нибудь поведал миру правду о Нас. Благодаря дурацкой болтовне газет Европа к Нам относится предубежденно и несправедливо... Никто не знает, как искренно тревожит Нас судьба народа Нашего... как жжет Нам сердце мысль, что он,

народ, самим богом отданный во власть Нам, — ныне восстает против бога, отрицая власть Царя.

— Я могу правдиво повторить все, что вы скажете, ваше величество, — предложил я.

Он внимательно посмотрел на меня и красноречиво указал глазами на сонетку в своей руке.

— Да, вы поставлены в такое положение, в котором можно говорить только правду!

И, вынув из-под брони бумажку, стал читать по ней:

«В газетах пишут, что Мы убиваем невинных десятками и сотнями, — неправда это, как все, что напечатано в газетах и десять лет тому назад, вчера, сегодня и даже завтра и через год в них напечатают, все это ложь и будет ложью, если не послужит во славу доброте и мудрости Царя России. Европа Нас считает деспотом, тираном, злым гением России, чудовищем, которое сосет ее живую кровь и гложет мясо русского народа»...

Он замолчал, читая про себя, потом пожал плечами и вполголоса заметил:

— Зачем он это написал? Дурак!.. Гм... да, вот где начало...

«...Разумным людям всем известно, что всякий честный Государь, власть над народом получивший с неба из рук бладыки мира, — обязан сохранять свой божий дар во что бы то ни стало. А для сего Царям необходимо и убивать и вешать всех, кто дерзновенно отрицает святое право Царской власти над жизнью и имуществом людей. Царь, как наместник бога на земле, есть верный пастырь своего народа. Источник мудрости, дарованный от бога, — Он должен охранять сердца людей от вредных мыслей, которые в них сеет дьявол. Для всякого Царя необходимо, чтобы народ его был целомудренно наивен и все, что вытекает из смысла Царской власти, он принимал как милость, ниспосланную с неба, — молитвенно, покорно и безмолвно»...

Царь прервал чтение, закрыл глаза и, улыбаясь довольною улыбкой, с минуту помолчал. Потом вздохнул с наслаждением и воскликнул:

— Как хорошо написал, бестия! Большой талант — чужие мысли излагает так, как будто бы он с ними ро-

дился!.. Да, недаром из полка его прогнали за шулерство... каналью!..

— Могу я узнать, ваше величество, кто автор этой поэмы? — спросил я у царя.

— Один жандармский офицер... большой прохвост... как, впрочем, все жандармы из поэтов... Мы хотели прочитать эту речь перед Думой, как Нашу тронную... но Нам сказали, что поэзии в политике — не место. Притом же эти члены Думы — народ покуда еще дикий, неприрученный... глядят, как волки, и, видимо, совсем не понимают, что значит — Царь! Все они — ребята довольно прилично одетые, но не имеют орденов и потому — неблаговоспитаны. Со временем Мы, может быть, дадим им ордена... если это поможет им исправить свои недостатки. Мы все-таки сказали им речь, написанную кратко и доступно для их ума одним лакеем Нашим... Лакеи — самый верноподданный народ; воруют — много, но престолу служат — как лакеи. Потом хотели Мы их разогнать из Думы, но Нам министры отсоветовали, — рано, говорят... Наш Трепов, как искренний радикал, рекомендует расстрелять их... но с этим можно и не торопиться, Мы думаем... Теперь Мы через вас пускаем эту речь в печать, чтобы весь мир знал правду о вожде русского народа. Будем продолжать... Где Мы остановились... «молитвенно, покорно и безмолвно»... ага! Попробуем читать на память...

Он закрыл глаза и продолжал:

«Мы повелели убивать» — не то! Забыл... «Мы убивали народ без счета» — нет, не так! Речь без бумажки трудно говорить!.. К тому же Нам теперь необходимо говорить ритмической прозой — она лучше затемняет смысл речи и придает ей величие... А научиться этому трудно. Ну... продолжаем:

«Доверенный владыки неба по управлению народом на земле, — Царь должен быть и строг и грозен, но — справедлив. Молва о том, что будто Нами, Царем России, какие-то «невинные» убиты, — конечно — клевета. Мы лично никого не убиваем, Нам некогда заняться этим делом... Рука Царя не обладает ни временем, ни силой для истребления народных масс. Крестьяне и рабочие в России убиты солдатами и казаками. Солдаты и казаки,

Мы полагаем, прекрасно видят, кто прав, кто виноват: убитые — их братья и отцы. По долгу службы избивая своих родных, они, наверно, знают, кто должен быть убит, кто изувечен, кто — только разорен... И, наконец, — невинно убиенный, он — в рай идет! Зачем же тут кричать о зверствах, преступлениях»... и прочее? Не всякий может в рай попасть так дешево и быстро, как верноподданный Царя России, наместника Христова на земле и сына православной церкви... И — далее: «что значит для страны с таким огромным населением хотя бы миллион убитых? А Мы за целый год трудов по укрощению народной воли убили меньше полумиллиона... И все-таки газеты всей Европы кричат, что Мы — тиран, Мы — изверг... Нас в Италию социалисты не пустили, предполагая освистать... Свистать Царю! Да разве это плохой актер? Вы позабыли, как недурно Мы играли роль доброго Царя и Миротворца почти пять лет? И вся Европа верила, что Мы действительно «добрый малый»...

Здесь царь остановился, подумал и сказал, нахмутив брови:

— Ну, это лишнее... Как смеет он, Наш подданный, оправдывать деяния своего владыки? Осел!.. И почему он тут поставил многоточие? Поэт, а знаки препинания неверно ставит... идиот! Дальше...

«Армяне на Кавказе перебиты руками верноподданных татар. Но этому событию был придан вид вражды национальной, и нужно было верить, что так оно и есть, что это — правда. Но как могло случиться, что армяне и татары, века проживши вместе, как друзья, вдруг сделались непримиримыми врагами? Что ж тут мудреного? Ведь и землетрясения бывают тоже вдруг... Когда султан турецкий заставил курдов и своих солдат уничтожать армян — их уничтожили десятки тысяч, а шуму было меньше... Подумайте, — ну где тут справедливость? Евреев перебили? Но — ведь не всех же! И потом: причина избия евреев лежит в прогрессе христианства. Сознавшие себя детьми Христа и православной церкви немедленно же начинают истреблять евреев за то, что не хотят они признать за истину учение Христово о милосердии и о любви ко всем. Это ясно для каждого, кто не социалист. Идею христианства годами долгими в народе развивали

чиновники, шпионы и попы, и вот — идея эта дает свои плоды... При чем тут Мы? Еще писаки дерзкие Нам ставят в вину кровавый день... девятого января»...

Царь замолчал и, прочитав про себя несколько строк, недовольно заметил:

— Он снова не выдержал ритма... какая небрежность! Это надо заметить. У вас нет карандаша? — обратился он ко мне, но тотчас же вскричал: — Не надо! Не надо! Руки... не двигайте руками!

Он отметил неправильность ритма речи ногтем на булавке и продолжал:

«Но обвинять Царя за это»... гм!.. болван! «за это дело — разумный человек не должен. Мы — Царь. И если Мы велели стрелять в народ, то, значит, у Нас причины были стрелять. А если бы Мы пожелали беседовать с народом, то Мы бы стали беседовать. Надеемся, что это ясно! Народ не должен забывать, что в руки Царские господь вложил не только скипетр и державу, но также меч, то есть штыки и пушки».

Царь остановился и сказал:

— Здесь он забыл о пулеметах... вот bestия рассеянная! Штыки, и пушки, и пулеметы... да...

«Употреблять сии орудия войны и мира Царь может, как Он хочет, а потому девятым января колоть глаза Нам незачем. Мы правы всегда. Мы, может быть, и сами не понимаем, зачем перестреляли в этот день так много верноподданных... но то, чего не понимает Царь, — понятно богу. Царь лишь орудие в его святых руках, как человек — орудие в руках земного бога, то есть Царя. И все, что недоступно порою разуму Царя, должно быть признано внушеньем бога, а то, чего не понимают люди, понятно только разуму Царя»...

Николай II поднял голову, увенчанную тяжелым шлемом, тщательно осмотрел руку, вытер ею пот со лба и сказал, щелкнув пальцем по бумаге:

— Вы подумайте над этим! Гора мудрости! Мы даже сами не можем уловить здесь смысла... но чувствуем, что это превосходно! Каналья, написавшая такую речь, будет министром внутренних дел, вы увидите. Он еще молод теперь, но уже состоит на содержании у двух старых графинь и одной балерины, близкой к Нашему двору... Но —

вы не вздумайте сообщать газетам и эти интимные подробности!.. Это Наше частное дело... слышите?

— Ваше величество, — сказал я, — у меня опускаются руки!

— А вы можете двигать ими?

— Не могу...

— Опустите их... Однако, если хоть одна рука у вас пошевелится, — заранее прошу Нас извинить! — но Мы лишим вас живота! Жизнь Наша нужна русскому народу, он так дорого платит за нее!.. Кончим речь... Где Мы остановились? Да, вот...

«Вот краткий список Наших скромных дел, которые газетчики раздули до размеров преступлений Ивана Грозного и прочих государей, несчастье которых было в том, что подданные их не признавали всей необъятной власти, ниспосланной от господа царям. Все остальное, что Мы совершили, ничтожно, и не стоит вспоминать о тех деяниях, без коих власть Царская не может быть крепка, народы счастливы и мирны... Так, например, от время и до время необходимо расстрелять рабочих, дабы убить их подлые мечты о главенстве рабочего народа над обеспеченным и праздным людом, опорой государства. Крестьяне требуют, чтоб их порою секли или стреляли в них из ружей. Это должно их убедить, что Государь не забывает и о них, что пред Его лицом — все равны! Купцы, дворяне, духовенство, рабочие и мужики в Моей демократической стране — все равные права имеют пред законом на штык и петлю. А Мы имеем право гордиться этим. Мы Нашу речь закончим напоминанием о том, что только бог, помазавший Царя на царство, имеет власть судить Его дела»... Вот и все! Кратко, сильно, всем понятно... Вы запомнили?

— Да, — ответил я.

Николай II поднял палец вверх и продолжал:

— Но, после всего сказанного, Мы все-таки конституционалист...

Он вздохнул.

— Потому что абсолютному монарху теперь никто не дает денег... Вот Мы завели у себя парламент... Н-да! С этим можно помириться... если члены парламента будут, как Мы им приказали, ревностно служить отечеству

и немедленно же увеличат налоги... Но они, кажется, не понимают своих ролей...

Он вытащил откуда-то еще бумажку и сообщил по ней:

«В чем смысл истинной конституции? В том, что между Царем и народом встают несколько десятков людей и вся тяжесть ответственности за управление народом, которая падала на голову монарха, отныне падает на головы этих господ». Это должны быть твердые головы... и эластичные спины. Ибо, когда бьют по голове, — нужно быстро наклониться... Мы это знаем...

— Вы о японской шишке вспомнили, ваше величество? — спросил я.

— Япония? — сказал он гордо. — Будь у Нас деньги, хорошая армия и талантливый полководец — Мы отплатили бы Японии за эту опухоль на Нашей голове... Да, так вот... Дума... Если она намеревается вести себя и впредь так дерзко, как начала... от нее не будет пользы отечеству!.. Мы разгоним ее штыками Нашей доброй гвардии...

— Но, ваше величество, народ... — начал я.

Он перебил меня, подняв палец вверх, и вытащил еще бумажку из-под шлема. Он был набит бумажками, как поросенок кашей.

«Народ есть воск в руках Царя — и только! Против народа, который дерзнет встать на защиту Думы, — у нас есть верноподданные, которые покажут Нам преданность свою Царю... Татары уже испорчены влиянием враждебных Нам веяний... но у Нас есть калмыки, башкиры и киргизы... Стоит им позволить, и они начнут и жечь, и грабить, и убивать не хуже казаков. Все это примет вид внезапно вспыхнувшей вражды племен и даст Нам право сказать Европе: «Когда Мы были неограниченным монархом — Мы своею сильною рукой умели сдерживать инстинкты дикие, а конституция ослабила узду — и вот, смотрите, к чему ведет свобода, которой жаждут всегда и всюду одни бунтовщики! Отсюда — простой и ясный вывод: Россия слишком некультурна и дика для европейских форм правления, она может благоденствовать только под скипетром Царя, в руках которого — сосредоточена вся власть... Покуда существует вера в бога —

абсолютизм Царя всегда докажешь, покуда существуют дикари — Царь власть свою сумеет и поддержать и доказать»...

Он замолчал, кротко улыбнулся мне и сказал:

— Мамаша и Победоносцев — они Нас прекрасно обучили думать по-царски!.. К тому же Нам помогут... великие князья, придворные... а сколько губернаторов, чиновников, воров, убийц, шпионов при конституции останутся без дела! Они ведь понимают, что для них законность и порядок — петля. И разве можно ожидать, что эти люди пойдут с народом против Царя? Нет, Мы еще поцарствуем немножко.

Он даже развеселился, но это не сделало его лица красивее и не прогнало тревогу из беспокойных глаз.

— Но, ваше величество, а где же вы возьмете денег?

— Деньги? Деньги достанет Дума. Под это учреждение дают в Европе по восемьдесят восемь за сто, хотя оно не стоит и десяти, Нам кажется...

— А если Думу вы разгоните?

— Тогда продам Василию Федоровичу Польшу... Быть может — Францию ему Мы продадим, когда она не станет давать Нам денег... Зачем она тогда, не правда ли? Кавказ продать полезно... Он очень много Нам стоит, но ничего не дает, все только беспокойства, восстания, бунты... Сибирь — американцы купят, — ссылая людей в Архангельск можно, там очень много места для этого. Прохладно и пустынно... Россию можно округлить, подобно яблоку, и так зажать ее в кулак, что она, наконец, успокоится...

Он замолчал, задумался. Его бледные губы вздрагивали, пальцы рук шевелились, как ножки паука, а глаза все бегали по стенам, и уши двигались, как уши кролика.

— Быть может, Мы уступим для начала... Да, может быть! Нам многие советуют, чтобы Мы дали им немного из того, что они просят... И, когда они начнут делить подачку, — тогда Мы нападём на них врасплох... и руки Наших верноподданных сумеют вырвать языки из глоток этих дерзких болтунов, которые считают, что воля безграмотного и голодного народа превыше воли Самодержца, Помазанника божия... и прочее, и прочее...

Он немножко взволновался, его бескровное лицо вновь вспотело... Успокоясь и отерев его дрожащими руками, он закончил:

— Ну, достаточно однако! Мы все поведали для мира, все, что Нам написали на бумажке... и даже несколько лишнего... Но лишнего из уст Царя никто не слышит! Вы слышали лишь только то, что Нами прочитано было с бумажки... Ступайте благовестить миру о мудрости и доброте сердца того, кто наградил вас счастьем беседы с Ним наедине. Идите!

Он бросил в сторону сонетку и, прежде чем я мог пожелать ему счастливого пути, провалился под пол вместе с троном.

Но передо мною в полутьме этой комнаты все еще блестя его тщательно вымытые руки и беспокойно бегали глаза. Сквозь них был виден мрак его души, сморщенной тревогами жизни, как печеное яблоко. Какой-то серый тепленький кисель наполнял эту душу. В нем медленно копошились маленькие червячки честолюбия и, как испуганная ящерица, метался страх за жизнь.

Душа ничтожная, душа презренная, опившаяся кровью голодного народа, больная страхом, маленькая, жадная душа — коптела предо мной подобно огарку свечи, наполняя страну мою смрадом духовного разврата и преступлений...

ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

...Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми.

Мне казалось, что у каждого из них по крайней мере три желудка и полтора ста штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с шести часов утра и до двенадцати ночи все время, без отдыха — ест. Он истребляет самую дорогую пищу: гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пуддинги, кэки и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает

ее. Наконец, он совершенно теряет энергию, и, обли- того потом, задыхающегося, негры уносят его спать. А наутро, с шести часов, он снова начинает свою мучи- тельную жизнь.

Однако и такое напряжение сил не позволяет ему про- есть даже половину процентов с капитала.

Разумеется, такая жизнь тяжела. Но — что же делать? Какой смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть больше, чем обыкновенный человек?

Мне казалось, он должен носить белье из парчи, каб- луки его сапог подбиты золотыми гвоздями, а на голове, вместо шляпы, что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук сшит из самого дорогого бархата, имеет не менее пяти- десяти футов длины и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше трехсот штук. По праздникам он надевает сразу восемь сюртуков и шесть пар брюк. Ко- нечно это и неудобно, и стесняет... Но, будучи таким бо- гатым, нельзя же одеваться, как все...

Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно можно спрятать церковь, здание сената и все, что нужно... Однако, представляя емкость живота такого джентльмена подобной трюму хорошего морского парохода, — я не мог вообразить длину ноги и брюк этого существа. Но я ду- мал, что одеяло, под которым он спит, должно быть не меньше квадратной мили. И если он жует табак, то, разумеется, самый лучший и фунта по два сразу. А если нюхает, так не меньше фунта на один прием. Деньги тре- буют, чтобы их тратили...

Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и волшебной силой удлиняться по желанию: если он, сидя в Нью-Йорке, почувствует, что где-то в Сибири вырос дол- лар, — он протягивает руку через Берингов пролив и сры- вает любимое растение, не сходя с места.

Странно, что при всем этом я не мог представить — какой вид имеет голова чудовища. Более того, голова казалась мне совершенно лишней при этой массе муску- лов и кости, одушевленной влечением выжимать из всего золото. Вообще мое представление о миллионере не имело законченной формы. В кратких словах, это были прежде всего длинные эластичные руки. Они охватили весь зем- ной шар, приблизили его к большой, темной пасти, и эта

пасть сосет, грызет и жует нашу планету, обливая ее жадной слюной, как горячую печеную картофелину...

Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив миллионера, увидел, что это самый обыкновенный человек.

Передо мной сидел в глубоком кресле длинный, сухой старик, спокойно сложив на животе нормального размера коричневые сморщенные руки обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные челюсти, они были усажены золотыми зубами. Верхняя губа — бритая, бескровная и тонкая — плотно прилипла к его жевательной машинке, и когда старик говорил, она почти не двигалась. Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был лишен волос. Казалось, что этому лицу немного не хватало кожи и все оно — красноватое, неподвижное и гладкое — напоминало о лице новорожденного ребенка. Трудно было определить — начинает это существо свою жизнь или уже подошло к ее концу... Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы и зубы — это все золото, какое было на нем. Взятые вместе, оно весило, вероятно, менее полуфунта. В общем этот человек напоминал собой старого слугу из аристократического дома Европы...

Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была солидная, вот все, что можно сказать о ней.

«Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны...» — вот какую мысль вызывала мебель.

— Это вы... миллионер? — спросил я, не веря своим глазам.

— О, да! — ответил он, убежденно кивая головой.

Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду.

— Сколько вы можете съесть мяса за завтраком? — поставил я ему вопрос.

— Я не ем мяса! — объявил он. — Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая — вот все...

Его невинные глаза младенца тускло блеснули передо мной, как две большие капли мутной воды, и я не видел в них ни одной искры лжи.

— Хорошо! — сказал я в недоумении. — Но будьте искренны, скажите мне откровенно — сколько раз в день едите вы?

— Два! — спокойно ответил он. — Завтрак и обед — это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супу, белое мясо и что-нибудь сладкое. Фрукты. Чашка кофе. Сигара...

Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на меня глазами святого. Я перевел дух и сказал:

— Но если это правда, — что же вы делаете с вашими деньгами?

Тогда он немного приподнял плечи, его глаза пошевелились в орбитах, и он ответил:

— Я делаю ими еще деньги.

— Зачем?

— Чтобы сделать еще деньги...

— Зачем? — повторил я.

Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла, и с оттенком некоторого любопытства спросил:

— Вы — сумасшедший?

— А вы? — ответил я вопросом.

Старик наклонил голову и сквозь золото зубов протянул:

— Забавный малый... Я, может быть, первый раз вижу такого...

После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным человеком. В его галстухе я заметил булавку с небольшим бриллиантом. Имей этот камень величину каблука, я еще понял бы что-нибудь.

— Чем же вы занимаетесь? — спросил я.

— Делаю деньги! — кратко сказал он, подняв плечи.

— Фальшивый монетчик? — с радостью воскликнул я; мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но тут он начал негромко икать. Все его тело вздрагивало, как будто невидимая рука щекотала его подмышками. Его глаза часто мигали.

— Это весело! — сказал он, успокоясь и обливая мое лицо влагой довольного взгляда. — Спросите еще что-нибудь! — предложил он и зачем-то надул щеки.

Я подумал и твердо поставил ему вопрос:

— Как вы делаете деньги?

— А! Понимаю! — сказал он, кивая головой. — Это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я его доставляю на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать дальше, а все остальное берешь себе как тариф за провоз. Очень просто.

— Фермеры довольны этим?

— Не все, я думаю! — сказал он с детской простотой. — Но, говорят, все люди ничем и никогда не могут быть довольны. Всегда есть чудачки, которые ворчат...

— Правительство не мешает вам? — скромно спросил я.

— Правительство? — повторил он и задумался, потирая пальцами лоб. Потом, как бы вспомнив что-то, кивнул головой. — Ага... Это те... в Вашингтоне. Нет, они не мешают. Это очень добрые ребята... Среди них есть кое-кто из моего клуба. Но их редко видишь... Поэтому иногда забываешь о них. Нет, они не мешают, — повторил он и тотчас же с любопытством спросил: — А разве есть правительства, которые мешают людям делать деньги?

Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его мудростью.

— Нет, — тихо сказал я, — я не о том... Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный грабеж...

— Н-но! — возразил он. — Это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела...

Моя скромность увеличивалась перед этой спокойной мудростью ребенка.

— Но разве разорение одним человеком многих — частное дело? — вежливо осведомился я.

— Разорение? — повторил он, широко открыв глаза. — Разорение — это когда дороги рабочие руки. И когда стачка. Но у нас есть эмигранты. Они всегда понижают плату рабочим и охотно замещают стачечников. Когда их наберется в страну достаточно для того, чтобы они дешево работали и много покупали, — все будет хорошо.

Он несколько оживился и стал менее похож на старика и младенца, смешанных в одном лице. Его тонкие, темные пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих ушах.

— Правительство? Это, пожалуй, интересный вопрос, да. Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи: в стране должно быть столько народа, сколько мне нужно для того, чтобы он купил у меня все, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался. Но — ни одного лишнего! Тогда — не будет социалистов. И стачек. Правительство не должно брать высоких налогов. Все, что может дать народ, — я сам возьму. Вот что я называю — хорошее правительство.

«Он обнаруживает глупость — это несомненный признак сознания своего величия, — подумал я. — Пожалуй, он действительно король...»

— Мне нужно, — продолжал он уверенным и твердым тоном, — чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает за небольшую плату разных философов, которые не менее восьми часов каждое воскресенье учат народ уважать законы. Если для этого недостаточно философов — пускайте в дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты. Потребитель и рабочий обязаны уважать законы. Вот и все! — закончил он, играя пальцами.

«Нет, он не глуп, едва ли он король!» — подумал я и спросил: — Вы довольны современным правительством?

Он ответил не сразу.

— Оно делает меньше, чем может. Я говорю: эмигрантов нужно пока пускать в страну. Но у нас есть политическая свобода, которой они пользуются, — за это нужно заплатить. Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы пятьсот долларов. Человек, у которого есть пятьсот долларов, в десять раз лучше того, который имеет только пятьдесят... Дурные люди — бродяги, нищие, больные и прочие лентяи — нигде не нужны...

— Но ведь это сократит приток эмигрантов... — сказал я.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Со временем я предложу совершенно закрыть для них двери в страну. А пока пусть каждый привезет

немного золота... Это полезно для страны. Потом, необходимо увеличить срок для получения гражданских прав. Впоследствии его придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать для американцев, — работают, но совсем не следует давать им права американских граждан. Американцев уже довольно сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том, чтобы население страны увеличивалось. Все это — дело правительства. Его необходимо поставить иначе. Члены правительства все должны быть акционерами в промышленных предприятиях — тогда они скорее и легче поймут интересы страны. Теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить их в необходимости для меня... разных мелочей. Тогда это будет лишнее...

Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил:

— Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота.

Теперь, когда его политические взгляды были достаточно ясны, я спросил его:

— А как вы думаете о религии?

— О! — воскликнул он, ударив себя по колену и энергично двигая бровями. — Очень хорошо думаю! Религия — это необходимо народу. Я искренно верю в это. И даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви... да, как же!

— А что вы говорите? — спросил я.

— Все, что может сказать в церкви истинный христианин, все! — убежденно сказал он. — Я проповедую, конечно, в бедном приходе — бедняки всегда нуждаются в добром слове и отеческом поучении... Я говорю им...

Лицо его на минуту приняло младенческое выражение, но, вслед за тем, он плотно сжал губы и поднял глаза к потолку, где амуры стыдливо закрывали обнаженное тело толстой женщины с розовой кожей иоркширской свиньи. Бесцветные глаза его отразили в своей глубине пестроту красок на потолке и заблестели разноцветными искрами. Он тихо начал:

— Братья и сестры во Христе! Не поддавайтесь внушениям хитрого Дьявола зависти, гоните прочь от себя все земное. Жизнь на земле кратковременна: человек только до сорока лет хороший работник, после сорока

его уже не принимают на фабрики. Жизнь — непрочна. Вы работаете, — неверное движение руки — и машина дробит вам кости, — солнечный удар — и готово! Вас везде стерегут болезни, всюду несчастья! Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома, — куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит апостол Иаков, брат апостола Иуды. Братья! Вы не должны ценить земную жизнь, она — создание Дьявола, похитителя душ. Царство ваше, о милые дети Христа, не от мира сего, как и царство Отца вашего, — оно на небесах. И если вы терпеливо, без жалоб, без ропота, тихо окончите ваш земной путь, он примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле — вечным блаженством. Эта жизнь — только чистилище для ваших душ, и чем больше вы страдаете здесь, тем большее блаженство ждет вас там, — как сказал сам апостол Иуда.

Он указал рукою в потолок, подумал и продолжал, холодно и твердо:

— Да, дорогие братья и сестры! Вся эта жизнь пуста и ничтожна, если мы не приносим ее в жертву любви к ближнему, кто бы он ни был. Не отдавайте сердца во власть бесам зависти! Чему вы можете завидовать? Земные блага — это призраки, это игрушки Дьявола. Мы все умрем — богатые и бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики улиц. В прохладных садах рая, быть может, углекопы станут царями, а царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья и бумажки от конфет, которыми вы будете питаться каждый день. Братья! Чего желать на земле, в этом темном лесу греха, где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и кротости, терпите молча всё, что выпадет вам на долю. Любите всех и даже унижающих вас...

Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал:

— Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди — посланники Дьявола, господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны, они бедны любовью к ним. «Возлюбите богатого, ибо он есть избранник божий!» — воскликнул Иуда, брат господень, первосвященник храма. Не вни-

майте проповеди равенства и других измышлений Дьявола. Что значит равенство здесь, на земле? Стремиться только сравняться друг с другом в чистоте души пред лицом бога вашего. Несите терпеливо крест ваш, и покорность облегчит вам эту ношу. С вами бог, дети мои, и больше вам ничего не нужно!

Старик замолчал, расширив рот, и, блестя золотом зубов, с торжеством посмотрел на меня.

— Вы хорошо пользуетесь религией! — заметил я.

— О, да! Я знаю цену ей, — сказал он. — Повторяю вам — религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле все принадлежит Дьяволу, говорит она. О человек, если хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь, на земле! Ты насладишься жизнью после смерти — на небе все для тебя! Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да. Религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трения частей, тем легче задача машиниста...

«Да, он король!» — решил я и почтительно спросил у этого недавнего потомка свинопаса:

— А вы себя считаете христианином?

— О, да, конечно! — воскликнул он с полным убеждением. — Но, — он поднял руку вверх и внушительно сказал: — я в то же время американец, и, как таковой, я строгий моралист...

Его лицо приняло выражение драматическое: он оттопырил губы и подвинул уши к носу.

— Что вы хотите сказать?.. — понизив голос, осведомился я.

— Пусть это будет между нами! — тихо предупредил он. — Для американца невозможно признать Христа!

— Невозможно? — шопотом спросил я после паузы.

— Конечно, нет! — подтвердил он тоже шопотом.

— А почему? — спросил я, помолчав.

— Он — незаконнорожденный! — Старик подмигнул мне глазом и оглянулся вокруг. — Вы понимаете? Незаконнорожденный в Америке не может быть не только богом, но даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень строги! А если бы мы признали

Христа — нам пришлось бы признавать всех незаконно-рожденных порядочными людьми... даже если это дети негра и белой. Подумайте, как это ужасно! А?

Должно быть, это было действительно ужасно — глаза старика позеленели и стали круглыми, как у совы. Он с усилием подтянул нижнюю губу вверх и плотно приклеил ее к зубам. Вероятно, он полагал, что эта гримаса сделает его лицо внушительным и строгим.

— А негра вы никак не можете признать за человека? — осведомился я, подавленный моралью демократической страны.

— Вот наивный малый! — воскликнул он с сожалением. — Да ведь они же черные! И от них пахнет. Мы линчуем негра, лишь только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень строги, если дело касается морали...

Он внушал мне теперь то почтение, с которым невольно относишься к несвежему трупу. Но я взялся за дело и должен исполнить его до конца. Я продолжал ставить вопросы, желая ускорить процесс истязания правды, свободы, разума и всего светлого, во что я верю.

— Как вы относитесь к социалистам?

— Они-то и есть слуги Дьявола! — быстро отозвался он, ударив себя ладонью по колену. — Социалисты — песок в машине жизни, песок, который, проникая всюду, расстраивает правильную работу механизма. У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они родятся. Значит — люди в Вашингтоне не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишать социалистов гражданских прав. Это уже кое-что. Я говорю — правительство должно стоять ближе к жизни. Для этого все его члены должны быть набираемы в среде миллионов. Так!

— Вы очень цельный человек! — сказал я.

— О, да! — согласился он, утвердительно кивая головой. Теперь с его лица совершенно исчезло все детское и на щеках явились глубокие морщины.

Мне захотелось спросить его об искусстве.

— Как вы относитесь... — начал я, но он поднял палец и заговорил сам:

— В голове социалиста — атеизм, в животе у него — анархизм. Его душа окрылена Дьяволом крыльями безумия и злобы... Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше религии и солдат. Религия — против атеизма, солдаты — для анархии. Сначала — насыпьте в голову социалиста свинца церковных проповедей. Если это не вылечит его — пусть солдаты набросают ему свинца в живот!..

Он убежденно кивнул головой и твердо сказал:

— Велика сила Дьявола!

— О, да! — охотно согласился я.

Впервые наблюдал я силу влияния Желтого Дьявола — Золота — в такой яркой форме. Сухие, просверленные подагрой и ревматизмом кости старика, его слабое, истощенное тело в мешке старой кожи, вся эта небольшая куча ветхого хлама была теперь воодушевлена холодной и жесткой волей Желтого Отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как две новые монеты, и весь он стал крепче и суше. Теперь он еще больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин.

— Что вы думаете об искусстве? — спросил я.

Он взглянул на меня, провел рукой по своему лицу и стер с него выражение жесткой злобы. Снова что-то младенческое явилось на этом лице.

— Как вы сказали? — спросил он.

— Что вы думаете об искусстве?

— О! — спокойно отозвался он. — Я не думаю о нем, я просто покупаю его...

— Мне это известно. Но, может быть, у вас есть свои взгляды и требования к нему?

— А! Конечно, я имею требования... Оно должно быть забавно, это искусство, — вот чего я требую. Нужно, чтобы я смеялся. В моем деле мало смешного. Необходимо вспрыснуть мозг иногда чем-нибудь успокаивающим... а иногда возбуждающим энергию тела. Когда искусство делают на потолке или на стенах, оно должно возбуждать аппетит... Рекламы следует писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы реклама схватила вас за нос издали, еще за милю от нее, и сразу привела, куда она зовет. Тогда она оправдывает деньги. Статуи или вазы — всегда лучше из бронзы, чем из мрамора или

фарфора: прислуга не так часто ломает бронзу, как фарфор. Очень хорошо — бои петухов и травля крыс. Это я видел в Лондоне... очень хорошо! Бокс — тоже хорошо, но не следует допускать убийства... Музыка должна быть патриотична. Марш — это всегда хорошо, но лучший марш — американский. Америка — лучшая страна мира, — вот почему американская музыка лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где хорошие люди. Американцы — лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро придет весь мир...

Я слушал, как самодовольно болтал этот больной ребенок, и с благодарностью думал о дикарях Тасмании. Говорят, и они тоже людоеды, но у них все-таки развито эстетическое чувство.

— Вы бываете в театре? — спросил я старого раба Желтого Дьявола, чтобы остановить его хвастовство страшной, которую он осквернил своей жизнью.

— Театр? О, да! Я знаю, это тоже искусство! — уверенно сказал он.

— А что вам нравится в театре?

— Хорошо, когда много молодых дам декольте, а вы сидите выше их! — ответил он, подумав.

— Что вы любите больше всего в театре? — спросил я, приходя в отчаяние.

— О! — воскликнул он, раздвинув рот во всю ширину щек. — Конечно, артисток, как все люди... Если артистки красивы и молоды — они всегда искусны. Но трудно угадать сразу, которая действительно молода. Они все так хорошо притворяются. Я понимаю, это их ремесло. Но иногда думаешь — ага, вот это девушка! Потом оказывается, что ей пятьдесят лет и она имела не менее двухсот любовников. Это уже неприятно... Артистки цирка лучше артисток театра. Они почти всегда моложе и более гибки...

Он, видимо, был хорошим знатоком в этой области. Даже я, закоренелый грешник, всю жизнь утопавший в пороках, многое узнал от него только впервые.

— А как вам нравятся стихи? — спросил я его.

— Стихи? — переспросил он, опуская глаза к сапогам и наморщив лоб. Подумал и, вскинув голову, показал

мне все зубы сразу. — Стихи? О, да! Мне очень нравятся стихи. Жизнь будет очень весела, когда все начнут печатать рекламы в стихах.

— Кто ваш любимый поэт? — поспешил я поставить другой вопрос.

Старик взглянул на меня в недоумении и медленно спросил:

— Как вы сказали?

Я повторил вопрос.

— Гм... вы очень забавный малый! — сказал он, с сомнением качая головой. — За что же буду я любить поэта? И зачем нужно любить его?

— Извините меня! — произнес я, отирая пот со лба. — Я хотел спросить вас, какая ваша любимая книга? Я исключаю книжку чеков...

— О! Это другое дело! — согласился он. — Я люблю две книги — Библию и Главную Бухгалтерскую. Они обе одинаково вдохновляют ум. Уже когда берешь их в руки, — чувствуешь, что в них сила, которая дает тебе все, что нужно.

«Он издевается надо мной!» — подумал я и внимательно взглянул в его лицо. Нет. Его глаза убивали всякое сомнение в искренности этого младенца. Он сидел в кресле, как высохшее ядро ореха в своей скорлупе, и было видно, что он уверен в истине своих слов.

— Да! — продолжал он, рассматривая ногти. — Это вполне хорошие книги! Одну написали пророки, другую создал я сам. В моей книге мало слов. В ней цифры. Они рассказывают о том, что может сделать человек, если захочет работать честно и усердно. После моей смерти правительство должно бы опубликовать мою книгу. Пусть люди видят, как нужно идти, чтобы подняться на эту высоту.

И торжественным жестом победителя он обвел вокруг себя.

Я чувствовал, что пора прекратить беседу. Не всякая голова способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами.

— Может быть, вы скажете что-нибудь о науке? — тихо спросил я.

— Наука? — он поднял палец, глаза и посмотрел в потолок. Затем вынул часы, взглянул, который час, закрыл крышку и, намотав цепочку на палец, покачал часами в воздухе. После всего этого он вздохнул и заговорил:

— Наука... да, я знаю! Это — книги. Если в них хорошо пишут об Америке — книги полезны. Но в книгах редко пишут правду. Эти... поэты, которые делают книги, — мало зарабатывают, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому читать книги... Да, поэты злы, потому что у них не покупают книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг. Сытый человек всегда добр и весел. Если вообще нужны книги об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут сделаны все книги, какие нужны для Америки... Вот и все.

— Вы несколько узко определяете науку! — заметил я. Он опустил веки и задумался. Потом вновь открыл глаза и уверенно продолжал:

— Ну да, учителя, философы... это тоже наука. Профессора, акушерки, дантисты, я знаю. Адвокаты, доктора, инженеры. All right. Это необходимо. Хорошие науки... не должны учить дурному... Но — учитель дочери моей сказал мне однажды, что существуют социальные науки... Этого я не понимаю. Я думаю, это вредно. Хорошая наука не может быть сделана социалистом. Социалисты вовсе не должны делать науку. Науку, которая полезна или забавна, делает Эдисон, да. Фонограф, синематограф — это полезно. А когда много книг с науками — это лишнее. Людям не следует читать книг, которые могут возбудить в уме... разные сомнения. Все на земле идет как нужно... и вовсе незачем путать книги в дела...

Я встал.

— О! вы уходите? — спросил он.

— Да! — сказал я. — Быть может, теперь, когда я ухожу, вы, наконец, все-таки объясните мне — какой смысл быть миллионером?

Он начал икать и дрыгать ногами вместо ответа. Может быть, такова была его манера смеяться?

— Это привычка! — воскликнул он, переводя дух.

— Что привычка? — спросил я.

— Быть миллионером... это привычка!

Я подумал и поставил ему мой последний вопрос:

— Вы думаете, что бродяги, курильщики опиума и миллионеры — явления одного порядка?

Это, должно быть, обидело его. Он сделал круглые глаза, окрасил их желчью в зеленый цвет и сухо ответил:

— Я думаю, что вы плохо воспитаны.

— До свиданья! — сказал я.

Он любезно проводил меня до крыльца и остался стоять на верхней ступеньке лестницы, внимательно рассматривая носки своих сапог. Перед его домом лежала площадка, поросшая густою, ровно подстриженной травой. Я шагал по ней и наслаждался мыслью о том, что больше уже не увижу этого человека.

— Галло! — услышал я сзади себя.

Обернулся. Он стоял там, на крыльце, и смотрел на меня.

— А что, у вас в Европе есть лишние короли? — медленно спросил он.

— Мне кажется, они все лишние! — ответил я.

Он сплюнул направо и сказал:

— Я думаю нанять для себя пару хороших королей, а?

— Зачем это вам?

— Забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот здесь...

Он указал на площадку перед домом и добавил тоном вопроса:

— От часа до половины второго каждый день, а? После завтрака приятно отдать полчаса искусству... хорошо.

Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все усилия, чтобы осуществить свое желание.

— Зачем вам нужны короли для этой цели? — осведомился я.

— Этого здесь еще ни у кого нет! — кратко объяснил он.

— Но ведь короли дерутся только чужими руками! — сказал я и пошел.

— Галло! — позвал он в другой раз.

Я снова остановился. Он все еще стоял на старом месте, сунув руки в карманы. На лице его выразалось что-то мечтательное.

— Вы что? — спросил я.

Он пожевал губами и медленно сказал:

— А как вы думаете, сколько это будет стоить? — два короля для бокса, каждый день полчаса, в течение трех месяцев, э?

ЖРЕЦ МОРАЛИ

...Он пришел ко мне поздно вечером и, подозрительно оглянув мою комнату, негромко спросил:

— Могу я поговорить с вами полчаса наедине?

В тоне его голоса и во всей сутуловатой, худой фигуре было что-то таинственное и тревожное. Он сел на стул так осторожно, точно боялся, что мебель не сдержит его длинных и острых костей.

— Вы можете опустить штору на окне? — тихо спросил он.

— Пожалуйста! — сказал я и тотчас исполнил его желание.

Благодарно кивнув мне головой, он подмигнул в сторону окна и еще тише заметил:

— Всегда следят!

— Кто?

— Репортеры, разумеется!

Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень прилично, даже щеголевато, он все-таки производил впечатление бедняка. Его лысый, угловатый череп блестел скромно и корректно. Чисто выбритое, очень худое лицо, серые, виновато улыбающиеся глаза, полуприкрытые светлыми ресницами. Когда он поднимал ресницы и смотрел прямо в лицо мне, я чувствовал себя перед какой-то туманной, неглубокой пустотой. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь правой руки на колено, а левую, с котелком в ней, опустил к полу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно сжатых губ были устало опущены — признак, что этот человек дорого заплатил за свой костюм.

— Позвольте вам представиться, — вздохнув и покосившись на окно, начал он, — я, так сказать, профессиональный грешник...

Я сделал вид, что не расслышал его слов, и наружно спокойно спросил:

— Как?

— Я — профессиональный грешник, — повторил он буква в букву и добавил: — Моя специальность — преступления против общественной морали...

В тоне этой фразы звучала только скромность, я не уловил даже тени раскаяния в словах и на лице.

— Вы... не хотите ли стакан воды? — предложил я ему.

— Нет, благодарю вас! — отказался он, и виноватые глаза его с улыбкой остановились на моей фигуре.

— Вы, кажется, не вполне ясно понимаете меня?

— Нет, почему же! — возразил я, скрывая, по примеру европейских журналистов, невежество под маской развязности. Но он мне, очевидно, не поверил. Покачивая котелком в воздухе и скромно улыбаясь, он заговорил:

— Я приведу вам несколько фактов из моей деятельности, чтобы вам было понятно, кто я...

Здесь он вздохнул и опустил голову. И снова я был удивлен тем, что в этом вздохе было только утомление.

— Помните, — начал он, тихо покачивая шляпой, — в газетах писали о человеке... то есть о пьянице? Скандал в театре?

— Это господин из первого ряда, который во время патетической сцены встал, надел шляпу и начал кричать извозчика? — спросил я.

— Да! — подтвердил он и любезно добавил: — Это — я. Заметка под заголовком «Зверь, истязатель детей» — тоже мною вызвана, как и другая — «Муж, продающий свою жену»... Человек, преследовавший на улице даму нескромными предложениями, — это тоже я... Вообще, обо мне пишут не менее одного раза в неделю и всякий раз, когда требуется доказать испорченность нравов...

Все это он сказал негромко, очень внятно, но без хвастовства. Я ничего не понимал, но мне не хотелось показать ему это. Как все писатели, я тоже делаю всегда вид, будто знаю жизнь и людей, точно свои пять пальцев.

— Гм! — сказал я тоном философа. — Что же, вам доставляет удовольствие этот род занятий?

— Когда я был молод — это забавляло меня, не скрою, — ответил он. — Но теперь мне уже сорок пять лет, я женат, имею двух дочерей... В таком положении очень неудобно, когда вас два-три в неделю изображают в газетах как источник порока и разврата. Постоянно следят за вами репортеры, чтобы вы точно и вовремя выполняли свои обязанности...

Я закашлялся, чтобы скрыть недоумение. Потом тоном сострадания спросил:

— Это у вас болезнь?

Он отрицательно качнул головой, помахал себе в лицо шляпой, как веером, и ответил:

— Нет, профессия. Я уже сказал вам, что моя специальность — мелкие скандалы на улицах и в публичных местах... Другие товарищи в нашем бюро занимаются более ответственными и крупными делами, например: оскорбление религиозного чувства, совращение женщин и девиц, кражи на сумму не выше тысячи долларов... — Он вздохнул, оглянулся вокруг и пояснил: — И прочие поступки против нравственности... а я делаю только мелкие скандалы...

Он говорил, как ремесленник о своем ремесле. Это меня начинало раздражать, и я саркастически спросил:

— Вас не удовлетворяет это?

— Нет! — просто ответил он.

Его простота обезоруживала и возбуждала острое любопытство. Помолчав, я поставил ему вопрос:

— Сидели в тюрьме?

— Три раза. А вообще я действую в размерах штрафа. Но штрафы платит, конечно, бюро... — объяснил он.

— Бюро? — невольно повторил я.

— О, да! Согласитесь, что мне самому невозможно платить штрафы! — с улыбкою сказал он. — Пятьдесят долларов в неделю — это очень немного для семьи в четыре человека...

— Дайте мне подумать об этом, — сказал я, встав со стула.

— Пожалуйста! — согласился он.

Я начал ходить по комнате взад и вперед мимо него, напряженно вспоминая все формы психических заболеваний. Мне хотелось определить характер его болезни,

но я не мог. Было ясно одно — это не мания величия. Он следил за мной с любезной улыбкой на худом, истощенном лице и терпеливо ждал.

— Итак, бюро? — спросил я, останавливаясь против него.

— Да, — сказал он.

— Много служащих?

— В этом городе — сто двадцать пять мужчин и семьдесят пять женщин...

— В этом городе? Значит... и в других городах — тоже бюро?

— Во всей стране, конечно! — сказал он, покровительственно улыбаясь.

Мне стало жалко себя.

— Но... что же они... — нерешительно спросил я, — чем же они занимаются, эти бюро?

— Нарушают законы нравственности, — скромно ответил он, встал со стула, сел в кресло, потянулся и с откровенным любопытством стал рассматривать мое лицо. Очевидно, я казался ему дикарем, и он переставал стесняться.

«Чорт побери! — подумалось мне. — Не надо показывать, что я ничего не понимаю...» — И, потирая руки, я оживленно сказал: — Это интересно! Очень интересно!.. Только... зачем это?

— Что? — улыбаясь, спросил он.

— Да эти бюро для нарушения законов морали?

Он засмеялся добродушным смехом взрослого над глупостью ребенка. Я посмотрел на него и подумал, что, действительно, источником всех неприятностей в жизни является невежество.

— Как вы полагаете, надо жить, а? — спросил он.

— Конечно!

— И надо жить приятно?

— О, разумеется!

Этот человек встал, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— А разве можно наслаждаться жизнью, не нарушая законов морали, а?

Он отступил от меня, подмигнул мне, снова развалился в кресле, как вареная рыба на блюде, вынул сигару

и закурил ее, не спросив моего разрешения. Потом продолжал:

— Кому приятно кушать землянику с карболовой кислотой?

И он бросил горящую спичку на пол.

Уж это всегда так, — сознав свое преимущество над ближним, человек сразу становится свиньей по отношению к нему.

— Мне трудно понять вас! — сознался я, глядя в его лицо.

Он улыбнулся и сказал:

— Я был лучшего мнения о ваших способностях...

Становясь все свободнее в своих манерах, он сбросил пепел сигары прямо на пол, полузакрыв глаза и, следя сквозь ресницы за струями дыма своей сигары, заговорил тоном знатока дела:

— Вы мало знакомы с моралью — вот что я вижу...

— Нет, я иногда сталкивался с ней, — скромно возразил я.

Он вынул сигару изо рта, посмотрел на конец ее и философски заметил:

— Удариться лбом об стену — это еще не значит изучить стену.

— Да, я согласен с этим. Но почему-то я всегда отскакиваю от морали, как мяч от стены...

— Здесь виден недостаток воспитания! — сказал он резонерски.

— Очень может быть, — согласился я. — Самым отчаянным моралистом, которого я знал, был мой дед. Он ведал все пути в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему под руку. Истина была известна только ему одному, и он усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего семейства. Он прекрасно знал все, чего хочет бог от человека, и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден, зол, постоянно лгал, занимался ростовщичеством и, обладая жестокостью труса, — особенность души всех моралистов и каждого, — в свободное и удобное время бил своих домашних чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая сделать его мягче, — однажды выбросил старика из окна,

другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились, но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом. А мне с той поры мораль кажется несколько противной... Может быть, вы скажете что-нибудь такое, что может помирить меня с нею? — предложил я ему.

Он вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— У меня нет времени читать вам лекцию! Но, если я пришел к вам, все равно. Начатое — нужно кончать. Может быть, вы сумеете что-нибудь сделать для меня... Я буду краток...

Он снова полузакрыв глаза и начал говорить внушительным тоном:

— Мораль необходима для вас — это нужно помнить! Почему она необходима? Потому что она ограждает ваш личный покой, ваши права и ваше имущество — иначе сказать, она защищает интересы «ближнего». «Ближний» — это всегда вы и более никто, понимаете? Если у вас есть красивая жена, вы говорите всем окружающим вас: «Не пожелай жены ближнего твоего». Если у человека есть деньги, воля, рабы, ослы и сам он не идиот — он моралист. Мораль выгодна для вас, когда вы имеете все, что вам нужно, и желаете сохранить это для себя одного; она невыгодна, если у вас нет ничего лишнего, кроме волос на голове.

Он погладил рукой свой голый череп и продолжал:

— Мораль — это страж ваших интересов, вы стараетесь поставить его в души людей, окружающих вас. На улицах вы ставите полицейских и сыщиков, внутрь человека вы всовываете целый ряд принципов, которые должны врасти в его мозг и связать в нем, задушить, уничтожить все враждебные вам мысли, все угрожающие вашим правам желания. Мораль всего строже там, где экономические противоречия нагляднее. Чем больше у меня денег, тем более я строгий моралист. Вот почему в Америке, где так много богатых, — ими исповедуется мораль во сто лошадиных сил. Понятно?

— Да, — сказал я, — но зачем же бюро?

— Подождите! — возразил он, внушительно подняв руку. — Итак, мораль имеет целью внушить всем людям, чтобы они оставили вас в покое. Но если у вас много денег — у вас множество желаний и полная возможность

осуществить их, — так? Однако большинство желаний ваших нельзя осуществить, не нарушая принципов морали... Как же быть? Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам: это и неловко, да и люди могут не поверить. Ведь они не все глупы... Например: вы сидите в ресторане, пьете шампанское и целуете очень красивую женщину, хотя она не жена вам... С той точки зрения, которую вы считаете обязательной для всех, — подобные занятия являются безнравственными. Но лично для вас — такая трата времени необходима: это ваша милая привычка, она дает вам массу наслаждений. И пред вами встает вопрос: как примирить проповедь воздержания от сладких пороков с вашей любовью к ним? Другой пример: вы говорите всем — не укради! Ибо вам крайне будет неприятно, если вас начнут обкрадывать, — не так ли? Но в то же время, хотя у вас и есть деньги, — вам нестерпимо хочется украсть еще немного. Третий: вы строго исповедуете принцип — не убий! Потому что жизнь вам дорога, она приятна, полна наслаждений. Вдруг в ваших угольных копиях рабочие требуют увеличения платы. Вы невольно вызываете солдат, и — трах! — несколько десятков рабочих убито. Или: вам некуда сбывать товар. Вы указываете на этот факт вашему правительству и убеждаете его открыть для вас новый рынок. Правительство любезно посылает небольшую армию куда-нибудь в Азию, Африку и исполняет ваше желание, перебив несколько сотен или тысяч туземцев... Все это плохо гармонирует с вашей проповедью человеколюбия, воздержания и целомудрия. Но, избивая рабочих или туземцев, вы можете оправдать себя указанием на интересы государства, которое не может существовать, если люди не станут подчиняться вашим интересам. Государство — это вы, если вы богатый человек, разумеется. Вам гораздо труднее в мелочах, — в разврате, воровстве и прочем. Вообще, позиция богатого человека — трагическая позиция. Ему положительно необходимо, чтобы все любили его, все воздерживались от покушений на целость его имущества, чтобы никто не нарушал его привычек и все относились целомудренно к его жене, сестре, дочерям. В то же время для него не только нет необходимости любить людей, воздерживаться от воровства, целомудренно относиться

к женщинам и так далее — напротив! Все это только стесняет его личную деятельность и безусловно вредно для успеха его работ. Обычно — вся его жизнь сплошное воровство, он грабит тысячи людей, целую страну, это необходимо для роста капитала, то есть для прогресса страны, — вы понимаете? Он развращает женщин десятками, — это очень приятное развлечение для праздного человека. И кого ему любить? Все люди делятся для него на две группы — одну он обворовывает, другая конкурирует с ним в этом занятии.

Довольный своим знанием вопроса оратор улыбнулся и, бросив окурочек сигары в угол комнаты, продолжал:

— Итак: мораль полезна богатому и вредна всем людям, но, в то же время, она не нужна ему и необходима для всех. Вот почему моралисты стараются вколотить принципы морали внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстуки и перчатки. Далее: как убедить людей в необходимости для них подчинения законам морали? Никому не выгодно быть честным среди жуликов. Но если невозможно убедить — гипнотизируйте! Это всегда удастся...

Он утвердительно кивнул головой и, подмигнув мне, повторил:

— Невозможно убедить — гипнотизируйте!

Затем он положил свою руку на колено мне, заглянул в лицо мое и, понизив голос, продолжал:

— Дальнейшее — между нами, хорошо?

Я кивнул головой.

— Бюро, в котором я служу, занимается гипнозом общественного мнения. Это одно из оригинальнейших учреждений Америки — прошу заметить! — с гордостью сказал он.

Я еще раз наклонил голову.

— Вы знаете, что наша страна, — говорил он, — живет только одним стремлением — делать деньги. Здесь все хотят быть богатыми, и человек для человека только материал, из которого всегда можно выжать несколько крупинок золота. И вся жизнь есть процесс выжимания золота из мяса и крови человека. Народ в этой стране — как и везде, я слышал — руда, из которой добывают желтый металл, прогресс — это концентрация физической энергии

масс, то есть кристаллизация мяса, костей и нервов человека в золото. Жизнь построена очень просто...

— Это ваш личный взгляд? — спросил я.

— Это? Конечно, нет! — сказал он с гордостью. — Это просто чья-то фантазия... Я не помню, как она попала в мою голову... Я пользуюсь ею, только когда говорю с людьми ненормальными... Продолжаю. Народу здесь некогда заниматься пороками — для этого не остается свободного времени. Часы напряженной работы так истощают человека, что он уже не имеет ни сил, ни желания согрешить в час отдыха. Людям некогда думать, у них нет силы желать, они живут только работой, для работы, и это делает их жизнь очень нравственной. Разве иногда, в праздник, несколько ребят повесят пару негров, но это — не против морали, потому что негр — не белый, к тому же их здесь много, этих негров. Все ведут себя более или менее прилично, и на общем сером фоне этой неподвижной жизни, забитой в тесные рамки старой пуританской морали, всякое нарушение ее принципов выступает резко, как пятно сажки. Это — хорошо, но это — дурно. Высшие классы общества могут гордиться поведением низших, но в то же время такое поведение стесняет свободу действий богатых. Они имеют деньги — значит, они имеют право жить как хотят, не считаясь с моралью. Богатые — жадны, сытые — чувственны, праздные — порочны. Бурьян растет на жирной почве, разврат — на почве пресыщения. Что же делать? Отрицать мораль? Это — невозможно, ибо это — глупо. Если тебе выгодно, чтобы люди были нравственны, — умей скрывать свои пороки... Вот и все! В этом не много нового...

Он оглянулся и еще понизил голос.

— И вот представители высшего общества в Нью-Йорке напали на одну удивительно счастливую мысль. Они решили учредить в стране тайное общество для явного нарушения законов морали. Был собран, путем вкладов, солидный капитал, и в разных городах страны открыты — негласно, разумеется — бюро для гипноза общественного мнения. Наняли разных людей, вроде вашего покорного слуги, и возложили на них обязанность совершать преступления против нравственности. Во главе каждого бюро стоит надежный и опытный человек, руко-

волящий действиями служащих и распределяющий занятия... обыкновенно он редактор какой-нибудь газеты.

— Я не понимаю целей бюро! — тоскливо сказал я.

— Очень просто! — отозвался он. И вдруг его лицо приняло выражение тревоги и нервного ожидания чего-то. Он встал и, заложив руки за спину, начал медленно ходить по комнате.

— Очень просто! — повторил он. — Я уже сказал вам, что низшие классы, по недостатку времени, мало грешат. А ведь необходимо, чтобы нравственность нарушалась — нельзя же оставлять ее бесплодной старой девой. Нужно, чтобы всегда кричали о нравственности, это оглушает общество, не позволяя ему слышать правду. Если в реку набросать массу мелких щеп, среди них может незаметно для вашего глаза проплыть большое бревно. Или если вы неосторожно вытащили бумажник из кармана вашего соседа, но своевременно обратите внимание публики на мальчишку, который украл горсть орехов, — это может спасти вас от скандала. Только кричите громче — вор! Наше бюро занимается тем, чтобы создавать массу мелких скандалов для прикрытия крупных преступлений.

Он вздохнул, остановился среди комнаты и помолчал.

— Например, в городе разносится слух о том, что одно уважаемое и почтенное лицо бьет свою жену. Бюро немедленно поручает мне и нескольким товарищам побить наших жен. Мы — бьем. Жены, конечно, посвящены в дело и кричат очень громко. Об этом пишут все газеты, и шум, поднятый ими, заставляет забыть о слухах по поводу отношений почтенного лица к его жене. Какое значение имеют слухи, когда налицо факты? Или: начинают говорить о подкупе сенаторов. Бюро немедленно организует ряд подкупов полицейских чинов и разоблачает их продажность перед публикой. Снова слухи исчезают перед фактами. Некто из высшего общества оскорбил женщину. Тотчас же в ресторанах, на улицах создается ряд оскорблений женщин. Поступок представителя высшего света совершенно исчезает в ряду однородных поступков. И так всегда, во всем. Крупная кража засыпается кучей мелких краж, и вообще все крупные преступления подавляются гиродами мелочей. Вот — деятельность бюро.

Он подошел к окну, осторожно взглянул на улицу и снова сел на стул, продолжая тихим голосом:

— Бюро ограждает высший класс американского общества от суда народа и, в то же время, постоянными криками о нарушении законов морали забивает народу голову мелкими скандалами, организованными для прикрытия порочности богатых. Народ находится всегда в состоянии гипноза, ему нет времени думать самостоятельно, и он только слушает газеты. Газеты принадлежат миллионерам, бюро организовано ими же... Вы понимаете? Это очень оригинально...

Он замолчал, задумался, низко наклонив голову.

— Благодарю вас! — сказал я ему. — Вы сообщили мне очень много интересного.

Он поднял голову и уныло взглянул на меня.

— Д-да, это интересно, конечно! — медленно и задумчиво произнес он. — Но — меня это уже утомляет. Я семейный человек, три года тому назад я построил себе дом... мне хочется немного отдохнуть. Это трудное дело — моя служба. Поддерживать в обществе уважение к законам морали — о! это, право, нелегко! Вы подумайте, мне вреден алкоголь, но я должен напиваться, я люблю жену и тихую жизнь в семье — и должен ходить по ресторанам, скандалить... и постоянно видеть себя в газетах... хотя под чужим именем, конечно, но все-таки... однажды откроется мое собственное имя, и тогда... придется уехать из города... Я нуждаюсь в совете... Я пришел к вам узнать ваше мнение по моему делу... очень запутанное дело!

— Говорите! — предложил я.

— Видите ли что, — начал он, — за последнее время среди представителей высших классов общества в южных штатах заводят любовниц — негритянских девушек... По две и по три сразу. Об этом начали говорить. Жены недовольны поведением мужей. В некоторых газетах получены письма женщин с разоблачением деятельности их мужей. Возможен громкий скандал. Бюро немедленно же принялось за организацию ряда «контр-фактов», как это у нас называется. Тринадцать агентов — и в их числе я — немедленно должны завести любовниц-негритянок. По две и даже по три сразу...

Он нервно вскочил со стула и, приложив руку к карману сюртука, заявил:

— Я не могу сделать это! Я люблю жену... и она мне не позволит, вот что главное! Наконец — если бы одна!

— Откажитесь! — посоветовал я.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— А кто же мне уплатит пятьдесят долларов за неделю? И награду в случае успеха? Нет, этот совет вы оставьте для себя... Американец не отказывается от денег даже на другой день после своей смерти. Посоветуйте что-нибудь другое.

— Мне трудно! — сказал я.

— Гм! Почему трудно? Вы, европейцы, очень легкомысленны в вопросах нравственности... ваша развращенность нам известна!

Он сказал это с твердой уверенностью в правде своих слов.

— Вот что, — продолжал он, наклонясь ко мне, — вероятно, у вас есть знакомые европейцы? Я уверен, что есть!

— Зачем вам? — спросил я.

— Зачем? — Он отступил от меня на шаг и встал в драматическую позу. — Я положительно не могу взять на себя дело с негритянками. Судите сами: жена мне не позволит, и я ее люблю. Нет, я не могу...

Он энергично потряс головой, провел рукой по своей лысине и вкрадчиво продолжал:

— Может быть, вы могли бы мне рекомендовать на это дело европейца? Они отрицают нравственность, им все равно! Кого-нибудь из бедных эмигрантов, а? Я плачу десять долларов в неделю, хорошо? Я буду сам ходить по улицам с негритянками... вообще я все сделаю сам, он должен позаботиться только о том, чтобы родились дети... Вопрос нужно решить сегодня же вечером... Вы подумайте, какой скандал может разгореться, если это дело в южных штатах не завалить своевременно разным хламом! В интересах торжества нравственности — необходимо торопиться...

...Когда он убежал из комнаты, я подошел к окну и приложил ушибленную о его череп руку к стеклу, чтобы охладить ее.

Он стоял под окном и делал мне какие-то знаки.

— Что вам угодно? — спросил я, открывая раму.

— Я забыл взять шляпу! — сказал он скромно.

Подняв с полу котелок, я выбросил его на улицу. И, закрывая окно, услышал деловой вопрос:

— А если я дам пятнадцать долларов в неделю? Это хорошая плата!

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ

— Пойдем со мной к источникам истины! — смеясь, сказал мне Дьявол и привел меня на кладбище.

И когда мы медленно кружились с ним по узким дорожкам среди старых камней и чугунных плит над могилами, он говорил утомленным голосом старого профессора, которому надоела бесплодная проповедь его мудрости.

— Под ногами твоими, — говорил он мне, — лежат творцы законов, которые руководят тобой, ты попираешь подошвой сапога прах плотников и кузнецов, которые построили клетку для зверя внутри тебя.

Он смеялся при этом острым смехом презрения к людям, обливая траву могил и плесень памятников зеленоватым блеском холодного взгляда тоскливых глаз. Жирная земля мертвых приставала к ногам моим тяжелыми комьями, и было трудно идти по тропинкам, среди памятников над могилами житейской мудрости.

— Что же ты, человек, не поклонись благодарно праху тех, которые создали душу твою? — спрашивал Дьявол голосом, подобным сырому дуновению ветра осени, и голос его вызывал дрожь в теле моем и в сердце моем, полном тоскливого возбуждения. Тихо качались печальные ветви деревьев над старыми могилами людей, прикасаясь, холодные и влажные, к моему лицу.

— Воздай должное фальшивомонетчикам! Это они наплодили тучи маленьких, серых мыслей — мелкую монету твоего ума, они создали привычки твои, предрассудки и все, чем ты живешь. Благодарим их — у тебя огромное наследство после мертвецов!

Желтые листья медленно падали на голову мою и опускались под ноги. Земля кладбища жадно чмокала, поглощая свежую пищу — мертвые листья осенних дней.

— Вот здесь лежит портной, одевавший души людей в тяжелые, серые ризы предубеждений, — хочешь посмотреть на него?

Я молча наклонил голову. Дьявол ударил ногой в старую, изъеденную ржавчиной плиту над одной из могил, ударил и сказал:

— Эй, книжник! Вставай...

Плита поднялась, и, вздыхая густым вздохом потревоженной грязи, открылась неглубокая могила, точно сгнившее портмоне. В сыром мраке ее раздался брызгливый голос:

— Кто же будит мертвецов после двенадцати?

— Видишь? — усмехаясь, спросил Дьявол. — Творцы законов жизни верны себе, даже когда они сгнили.

— А, это вы, Хозяин! — сказал скелет, садясь на край могилы, и он независимо кивнул Дьяволу пустым черепом.

— Да, это я! — ответил Дьявол. — Вот я привел к тебе одного из друзей моих... Он поглупел среди людей, которых ты научил мудрости, и теперь пришел к первоисточнику ее, чтобы вылечить от заразы...

Я смотрел на мудреца с должным почтением. На костях его черепа уже не было мяса, но выражение самодовольства еще не успело сгнить на его лице. Каждая кость тускло светилась сознанием своей принадлежности к системе костей исключительно совершенной, единственной в своем роде...

— Что ты сделал на земле, Расскажи нам! — предложил Дьявол.

Мертвец внушительно и гордо оправил костями рук темные лохмотья савана и мяса, нищенски висевшие на его ребрах. Потом он гордо поднял кости правой руки на уровень плеча и, указывая голым суставом пальца во тьму кладбища, заговорил бесстрастно и ровно:

— Я написал десять больших книг, которые внушили людям великую идею преимущества белой расы над цветной...

— В переводе на язык правды, — сказал Дьявол, — это звучит так: я, бесплодная старая дева, всю жизнь вязала тупой иглой моего ума из ветхих шерстинок поношенных идей дурацкие колпаки для тех, кто любит держать свой череп в покое и тепле...

— Вы не боитесь обидеть его? — тихонько спросил я Дьявола.

— О! — воскликнул он. — Мудрецы и при жизни плохо слышат правду!

— Только белая раса, — продолжал мудрец, — могла создать такую сложную цивилизацию и выработать столь строгие принципы нравственности, этим она обязана цвету своей кожи, химическому составу крови, что я и доказал...

— Он это доказал! — повторил Дьявол, утвердительно кивая головой. — Нет варвара, более убежденного в своем праве быть жестоким, чем европеец...

— Христианство и гуманизм созданы белыми, — продолжал мертвец.

— Расой ангелов, которой должна принадлежать вся земля, — перебил его Дьявол. — Вот почему они так усердно окрашивают ее в свой любимый цвет — красный цвет крови...

— Они создали богатейшую литературу, изумительную технику, — считал мертвец, двигая костяными пальцем...

— Три десятка хороших книг и бесчисленное количество орудий для истребления людей... — пояснил Дьявол, смеясь. — Где жизнь раздроблена более, чем среди этой расы, и где человек низведен так низко, как среди белых?

— Быть может, Дьявол не всегда прав? — спросил я.

— Искусство европейцев достигло неизмеримой высоты, — бормотал скелет сухо и скучно.

— Быть может, Дьявол хотел бы ошибиться! — воскликнул мой спутник. — Ведь это скучно — всегда быть правым. Но люди живут только для того, чтобы питать презрение мое... Посевы зерен пошлости и лжи дают самый богатый урожай на земле. Вот он, сеятель, перед вами. Как все они — он не родил что-либо новое, он только воскрешал трупы старых предрассудков, одевая их в одежды новых слов... Что сделано на земле? Выстроены дворцы для немногих, церкви и фабрики для множества. В церквях убивают души, на фабриках — тела, это для того, чтобы дворцы стояли незыблемо... Посылают людей глубоко в землю за углем и золотом — и оплачивают позорный труд куском хлеба с приправой свинца и железа.

— Вы — социалист? — спросил я Дьявола.

— Я хочу гармонии! — ответил он. — Мне противно, когда человека, существо по природе своей цельное, дробят на ничтожные куски, делают из него орудие для жадной руки другого. Я не хочу раба, рабство противно духу моему... И за это меня сбросили с неба. Где есть авторитеты, там неизбежно духовное рабство, там всегда будет пышно цвести плесень лжи... Пусть земля — вся живет! Пусть она вся горит весь день, хотя бы к ночи только пепел остался от нее. Необходимо, чтобы однажды все люди влюбились... Любовь, как чудесный сон, снится только один раз, но в этом однажды — весь смысл бытия...

Скелет стоял, прислонясь к черному камню, и ветер тихо ныл в пустой клетке его ребер.

— Ему, должно быть, холодно и неудобно! — сказал я Дьяволу.

— Мне приятно посмотреть на ученого, который освободился от всего лишнего. Его скелет — скелет его идеи... Я вижу, как она была оригинальна... Рядом с ним лежат остатки другого сеятеля истины. Разбудим и его. При жизни все они любят покой и трудятся ради создания норм для мыслей, для чувства, для жизни — искажают новорожденные идеи и делают уютные гробики для них. Но — умирая, они хотят, чтобы о них не забывали... Компрачикос — вставайте! Вот я привел вам человека, которому нужен гроб для его мысли.

И снова предо мной явился из земли пустой и голый череп, беззубый, желтый, но все-таки лоснящийся самодовольством. Должно быть, он уже давно лежал в земле — его кости были свободны от мяса. Он встал у камня над своей могилой, и ребра его рисовались на черном камне, как нашивки на мундире камергера.

— Где он хранит свои идеи? — спросил я.

— В костях, мой друг, в костях! У них идеи — вроде ревматизма и подагры — глубоко проникают в ребра.

— Как идет моя книга, Хозяин? — глухо спросил скелет.

— Она еще лежит, профессор! — ответил Дьявол.

— Что ж, разве люди разучились читать? — сказал профессор, подумав.

— Нет, глупости они читают попрежнему — вполне охотно... но глупость скучная — иногда долго ждет их внимания... Профессор, — обратился Дьявол ко мне, — всю жизнь измерял черепа женщин, чтобы доказать, что женщина не человек. Он измерял сотни черепов, считал зубы, измерял уши, взвешивал мертвые мозги. Работа с мертвым мозгом была любимейшей работой профессора, об этом свидетельствуют все его книги. Вы их читали?

— Я не хожу в храмы через кабаки, — ответил я. — И я не умею изучать человека по книгам — люди в них всегда дробы, а я плохо знаю арифметику. Но я думаю, что человек без бороды и в юбке — не лучше и не хуже человека с бородою, в брюках и с усами...

— Да, — сказал Дьявол, — пошлость и глупость вторгаются в мозги независимо от костюма и количества волос на голове. Но все же вопрос о женщине интересно поставлен.

И Дьявол по обыкновению засмеялся. Он всегда смеется — вот почему с ним приятно беседовать. Кто умеет и может смеяться на кладбище, тот — поверьте! — любит и жизнь и людей...

— Одни, которым женщина необходима лишь как жена и рабыня, утверждают, что она — не человек! — продолжал он. — Другие, не отказываясь пользоваться ею как женщиной, хотели бы широко эксплуатировать ее рабочую энергию и утверждают, что она вполне пригодна для того, чтобы работать всюду наравне с мужчиной, то есть для него. Конечно, и те и другие, изнасиловав девушку, не пускают ее в свое общество, — они убеждены, что после их прикосновения к ней она становится навсегда грязной... Нет, женский вопрос очень забавен! Я люблю, когда люди наивно лгут, — они тогда похожи на детей, и есть надежда, что со временем они вырастут...

По лицу Дьявола было видно, что он не хочет сказать нечто лестное о людях в будущем. Но я сам могу сказать о них много нелестного в настоящем, и, не желая, чтобы Чорт конкурировал со мной в этом приятном и легком занятии, — я прервал его речь:

— Говорят — куда чорт сам не поспеет, туда женщину пошлет, — это правда?

Он пожал плечами и ответил:

— Случается... если под рукой нет достаточно умного и подлого мужчины...

— Мне почему-то кажется, что вы разлюбили зло? — спросил я.

— Зла больше нет! — ответил он, вздыхая. — Есть только пошлость! Когда-то зло было красивой силой. А теперь... даже если убивают людей — это делают пошло, — им сначала связывают руки. Злодеев нет — остались палачи. Палач — всегда раб. Это рука и топор, приводимые в движение силой страха, толчками опасений... Ведь убивают тех, кого боятся...

Два скелета стояли рядом над своими могилами, и на кости их тихо падали осенние листья. Ветер уныло играл на струнах их ребер и гудел в пустоте черепов. Тьма, сырая и пахучая, смотрела из глубоких впадин глаз. Оба они вздрагивали. Мне было жалко их.

— Пусть они уйдут на свое место! — сказал я Дьяволу.

— А ты гуманист даже на кладбище! — воскликнул он. — Так. Гуманизм более уместен среди трупов — здесь он никого не обижает. На фабриках, на площадях и улицах городов, в тюрьмах и шахтах, среди живых людей — гуманизм смешон и даже может возбудить злобу. Здесь некому над ним смеяться — мертвецы всегда серьезны. И я уверен, что им приятно слышать о гуманизме — ведь это их мертворожденное дитя... А все-таки не идиоты были те, которые хотели поставить на сцену жизни эту красивую кулису, чтобы скрыть за нею мрачный ужас истязания людей, холодную жестокость кучки сильных... силою глупости всех...

И Дьявол хохотал резким смехом зловещей правды.

В темном небе вздрагивали звезды, неподвижно стояли черные камни над могилами прошлого. Но его гнилой запах просачивался сквозь землю, и ветер уносил дыхание мертвецов в сонные улицы города, объятого тишиною ночи.

— Здесь не мало лежит гуманистов, — продолжал Дьявол, широким жестом указав на могилы вокруг себя. — Некоторые из них были даже искренны... в жизни множество забавных недоразумений, и, может быть, не это самое смешное... А рядом с ними, дружески и мирно, лежат

учителя жизни другого типа — те, которые пытались подвести солидный фундамент под старое здание лжи, так кропотливо, с таким трудом воздвигнутое тысячами тысяч мертвецов...

Откуда-то издалека донеслись звуки песни... Два-три веселых крика, вздрагивая, проплыли над кладбищем. Должно быть, какой-то гуляка беззаботно шел во тьме к своей могиле.

— Вот под этим тяжелым камнем гордо гниет прах мудреца, который учил, что общество есть организм, подобный... обезьяне или свинье, не помню. Это хорошо для людей, которые хотят считать себя мозгами организма! Почти все политики и предводители воровских шаек — сторонники этой теории. Если я мозг, я двигаю руками, как хочу, я всегда сумею подавить инстинктивное сопротивление мускулов моей царственной власти — да! А здесь лежит прах человека, который звал людей назад, ко времени, когда они ходили на четвереньках и пожирали червей. «Это были самые счастливые дни жизни», — усердно доказывал он. Ходить на двух ногах, в хорошем скюртуке, и советовать людям: обрастайте снова шерстью, — это ли не оригинально? Читать стихи, слушать музыку, бывать в музеях, переноситься в день за сотни верст и проповедовать для всех простую жизнь в лесах, на четырех лапах — право, недурно! А этот успокаивал людей и оправдывал их жизнь тем, что доказывал — преступники не люди, они — больная воля, особый, антисоциальный тип. Они — враги законов и морали по природе, значит, с ними не стоит церемониться. От преступлений лечит только смерть. Это — умно! Возложить на одного преступления всех, заранее признав его естественным вместилищем порока и органическим носителем злой воли, — разве это глупо? Всегда есть в жизни некто, оправдывающий уродливое строение жизни, искажающее душу. Мудрые и сморкаются не без смысла. Да, кладбища богаты идеями для лучшего устройства жизни городов...

Дьявол оглянулся вокруг. Белая церковь, как палец скелета-колосса, молча поднималась из тучной нивы мертвых к темному небу, безмолвной ниве звезд. Густая толпа камней над источниками мудрости, одетая в ризы плесени,

окужала эту трубу, разносившую по пустыням вселенной едкий дым человеческих жалоб и молитв. Ветер, напоенный жирным запахом тления, тихо качал ветвями деревьев, срывая умершие листья. И они бесшумно падали на жилища творцов жизни...

— Мы устроим теперь небольшой парад мертвецов, репетицию Страшного Суда! — говорил Дьявол, шагая впереди меня по змеиной тропе, среди холмов и камней. — Ты знаешь, Страшный Суд будет! Он будет на земле, и день его — лучший день ее! Он наступит, этот день, когда люди сознают все преступления, совершенные против них учителями и законодателями жизни, теми, которые разорвали человека на ничтожные куски бессмысленного мяса и костей. Все, что живет теперь под именем людей, — это части, цельный человек еще не создан. Он возникнет из пепла опыта, пережитого миром, и, поглотив опыт мира, как море лучи солнца, он загорится над землей, как еще солнце. Я это увижу! Ибо я создаю человека, я создам его!

Старик немного хвастался и впадал в несвойственный для чорта лиризм. Я извинил ему это. Что поделаешь? Жизнь искажает даже дьявола, окисляя своими ядами крепко скованную душу его. К тому же, у всех голова кругла, а мысли угловаты, и каждый, глядя в зеркало, видит красавца.

Остановясь среди могил, Дьявол крикнул голосом владыки:

— Кто здесь мудрый и честный человек?..

Был момент молчания, потом — вдруг — земля всколыхнулась под ногами моими, и точно сугробы грязного снега покрыли холмы кладбища. Как будто тысячи молний взрыли ее изнутри, или в недрах ее судорожно повернулось некое чудовище-гигант. Все вокруг зацвело желто-ваато-грязным цветом, всюду, точно стебли сухих трав под ветром, закачались скелеты, наполняя тишину трением костей и сухими толчками суставов друг о друга и плиты могил. Толкая друг друга, скелеты вылезали на камни, всюду мелькали черепа, похожие на одуванчики, плотная сеть ребер тесной клеткой окужала меня, напряженно вздрагивали голени под тяжестью уродливо разверстных костей таза, и все вокруг кипело в безмолвной суете...

Холодный смех Дьявола покрыл безличные звуки.

— Смотри — они все вылезли, все до одного! — сказал он. — И даже городские дурачки — среди них! Стошнило землю, и вот она изрыгнула из недр своих мертвую мудрость людей...

Влажный шум быстро рос — казалось, чья-то невидимая рука жадно роется в сыром мусоре, сметенном дворником в угол двора.

— Вот как много было в жизни честных и мудрых людей! — воскликнул Дьявол, широко простирая свои крылья над тысячами обломков, теснивших его со всех сторон.

— Кто из вас больше всех сделал людям добра? — громко спросил он.

Все вокруг зашипело, подобно грибам, когда их жарят в сметане на большой сковороде.

— Позвольте мне пройти вперед! — тоскливо закричал кто-то.

— Это я, Хозяин, я здесь! Это я доказал, что единица — ноль в сумме общества!

— Я пошел дальше его! — возражали откуда-то издали. — Я учил, что все общество — сумма нолей и потому массы должны подчиняться воле групп.

— А во главе групп стоит единица — и это я! — торжественно крикнул некто.

— Почему — вы? — раздалось несколько гревожных голосов.

— Мой дядя был король!

— Ах, это дядюшке вашего высочества преждевременно отрубили голову?

— Короли теряют головы всегда во-время! — гордо ответили кости потомка костей, когда-то сидевших на троне.

— Ого-о! — раздался довольный шопот. — Среди нас есть короли! Это встретишь не на всяком кладбище...

Влажные шопоты и трение костей сливались в один клубок, становясь все гуще, тяжелее.

— Посмотрите — правда ли, что кости королей голубого цвета? — торопливо спросил маленький скелет с кривым позвоночником.

— Позвольте вам сказать... — внушительно начал какой-то скелет, сидевший верхом на памятнике.

— Лучший пластырь для мозолей — мой! — крикнул кто-то сзади него.

— Я тот самый архитектор...

Но широкий и низенький скелет, расталкивая всех короткими костями рук, кричал, заглушая шелест мертвых голосов:

— Братие во Христе! Не я ли это врач ваш духовный, не я ли лечил пластырем кроткого утешения мозоли ваших душ, натертые печальями вашей жизни?

— Страданий нет! — заявил кто-то раздраженно. — Все существует только в представлении.

— Тот архитектор, который изобрел низкие двери...

— А я — бумагу для истребления мух!..

— ...для того, чтобы люди, входя в дом, невольно склоняли голову перед хозяином его... — раздавался назойливый голос.

— Не мне ли принадлежит первенство, братие? Это я поил души ваши, алкавшие забвения печалей, млеком и медом размышлений моих о тщете всего земного!

— Все, что есть, — установлено раз навсегда! — прожужжал чей-то глухой голос.

Скелет с одной ногой, сидевший на сером камне, поднял голень, вытянул ее и почему-то крикнул:

— Разумеется, так!

Кладбище превратилось в рынок, где каждый выхватывал свой товар. В темную пустыню ночной тишины вливалась мутная река подавленных криков, поток грязного хвастовства, душного самолюбия. Как будто туча комаров кружилась над гнилым болотом и пела, ныла и жужжала, наполняя воздух всеми отравками, всеми ядами могил. Все толпились вокруг Дьявола, остановив на лице его темные впадины глаз и стиснутые зубы свои, — точно он был покупателем старья. Воскресали одна за другой мертвые мысли и кружились в воздухе, как жалкие осенние листья.

Дьявол смотрел на это кипение зелеными глазами, и его взгляд изливал на груды костей фосфорически мерцающий холодный свет.

Скелет, сидевший на земле у ног его, говорил, поднимая кости руки выше черепа и плавно качая ими в воздухе:

— Каждая женщина должна принадлежать одному мужчине...

Но в его шопот влетался другой звук, слова его речи странно обнимались с другими словами.

— Только мертвому ведома истина!..

И кружились медленно еще слова:

— Отец, говорил я, подобен пауку...

— Жизнь наша на земле — хаос заблуждений и тьма крошечная!

— Я трижды был женат, и все три раза — законно...

— Всю жизнь он неустанно тклет паутину благополучия семьи...

— И каждый раз на одной женщине...

И вдруг откуда-то явился скелет, пронзительно скрипевший своими желтыми и ноздреватыми костями. Он поднял к глазам Дьявола свое полуразрушенное лицо и заявил:

— Я умер от сифилиса, да! Но я все-таки уважал мораль! Когда жена моя изменила мне — я сам предал гнусный поступок ее на суд закона и общества...

Но его оттолкнули, затерли костями, и снова, как тихий вой ветра в трубе, раздались смешанные голоса:

— Я изобрел электрический стул! Он убивает людей без страданий.

— За гробом, утешал я людей, вас ждет блаженство вечное...

— Отец дает детям жизнь и пищу... человек становится таковым после того, как он стал отцом, а до этого времени — он только член семьи...

Череп, формой похожий на яйцо, с кусками мяса на лице, говорил через головы других:

— Я доказал, что искусство должно подчиняться комплексу мнений и взглядов, привычек и потребностей общества...

Другой скелет, сидя верхом на памятнике, изображавшем сломанное дерево, возражал:

— Свобода может существовать только как анархия!

— Искусство — это приятное лекарство для души, усталой от жизни и труда...

— Это я утверждал, что жизнь есть труд! — доносилось издали.

— Пусть книга будет красива, как те коробочки с пилюлями, которые дают в аптеках...

— Все люди должны работать, некоторые обязаны наблюдать за работой... ее плодами пользуется всякий, предназначенный для этого достоинствами своими и услугами...

— Красиво и человеколюбиво должно быть искусство... Когда я устаю, оно поет мне песни отдыха...

— А я люблю, — заговорил Дьявол, — свободное искусство, которое не служит иному богу, кроме богини красоты. Особенно люблю его, когда оно, как целомудренный юноша, мечтая о бессмертной красоте, весь полный жажды насладиться ею, срывает пестрые одежды с тела жизни... и она является пред ним, как старая распутница, вся в морщинах и язвах на истрепанной коже. Безумный гнев, тоску о красоте и ненависть к стоящему болоту жизни — это я люблю в искусстве... Друзья хорошего поэта — женщина и чорт...

С колокольни сорвался стонущий крик меди и поплыл над городом мертвых, невидимо и плавно качаясь во тьме, точно большая птица с прозрачными крыльями... Должно быть, сонный сторож неверной и вялою рукой лениво дернул веревку колокола. Медный звук плавился в воздухе и умирал. Но раньше чем погас его последний трепет, раздался новый резкий звук разбуженного колокола ночи. Тихо колебался душный воздух, и сквозь печальный гул дрожащей меди просачивался шорох костей, шелест сухих голосов.

И снова я слышал скучные речи назойливой глупости, клейкие слова мертвой пошлости, нахальный говор торжествующей лжи, раздраженный ропот самомнения. Ожили все мысли, которыми живут люди в городах, но не было ни одной из тех, которыми они могут гордиться. Звенели все ржавые цепи, которыми окована душа жизни, но не вспыхнула ни одна из молний, гордо освещающих мрак души человека.

— Где же герои? — спросил я Дьявола.

— Они — скромны, и могилы их забыты. При жизни душили их, и на кладбище они задавлены мертвыми костями! — ответил он, качая крыльями, чтобы разогнать жирный запах гниения, окружавший нас темной тучей,

в которой рылись, как черви, однотонные, серые голоса мертвецов.

Сапожник говорил, что он первый из всех людей своего цеха имеет право на благодарность потомства — это он изобрел сапоги с узкими носками. Ученый, описавший в своей книге тысячу разных пауков, утверждал, что он величайший ученый. Изобретатель искусственного молока раздраженно ныл, отталкивая от себя изобретателя скорострельной пушки, который упорно толковал всем вокруг пользу своей работы для мира. Тысячи тонких и влажных бечевек стягивали мозг, впиваясь в него, как змеи. И все мертвые, о чем бы они ни говорили, говорили, как строгие моралисты, как тюремщики жизни, влюбленные в свое дело.

— Довольно! — сказал Дьявол. — Мне надоело это... Мне надоело все и на кладбищах мертвых и в городах, кладбищах для живых... Вы, стражи истины! В могилы!..

Он крикнул железным голосом владыки, которому противна его власть.

Тогда пепельно-серая и желтая масса праха вдруг зашнпела, закружилась и вскипела, как пыль под ударом вихря. Земля раскрыла тысячи темных пастей и, чмокая, лениво, как сытая свинья, снова проглотила извергнутую пищу свою, чтобы переваривать ее далее... Все вдруг исчезло, камни пошатнулись и твердо встали внась на свои места. Остался только душный запах, хватавший за горло тяжелой и влажной рукой.

Дьявол сел на одну из могил и, поставив локти на свои колена, обнял голову длинными пальцами черных рук. Его глаза неподвижно остановились в темной дали, в толпе камней и могил... Над головой его горели звезды, в посветлевшем небе тихо плавали медные звуки колокола и будили ночь.

— Ты видел? — сказал он мне. — На зыбкой, на ядовитой, на цепкой почве всей этой глупой плесени, нехитрой лжи и липкой пошлости — построено тесное и темное здание законов жизни, клетка, в которую вы все загнаны покойниками, как овцы... Лень и трусость думать скрепляет гибкими обручами вашу тюрьму. Истинные хозяева жизни вашей — всегда мертвецы, и хотя тобой правят живые люди, но вдохновляют их покойники. Источниками

мудрости житейской являются могилы. Я говорю: ваш здравый смысл — цветок, вспоенный соками трупов. Быстро сгнивая в земле, покойник хочет вечно жить в душе живого человека. Тонкий и сухой прах мертвых мыслей свободно проникает в мозг живых, и вот почему ваши проповедники мудрости — всегда проповедники смерти духа!

Дьявол поднял голову свою, и зеленые глаза его остановились на моем лице двумя холодными звездами.

— Что проповедают на земле громче всего, что хотят утвердить на ней неизбежно? Раздробление жизни. Законность разнообразия положений для людей и необходимость единства душ для них. Квадратное однообразие всех душ, чтобы можно было удобно укладывать людей, как кирпичи, во все геометрические фигуры, удобные для нескольких владельцев жизни. Эта лицемерная проповедь примирения горького чувства поработанных с жестокой и лживой волей ума поработителей — вызвана гнусным желанием умертвить творческий дух протеста, эта проповедь — только подлое стремление построить из камней лжи склеп для свободы духа...

Светало. И на небе, побледневшем в ожидании солнца, тихо меркли звезды. Но все ярче разгорались глаза Дьявола.

— Что нужно проповедовать людям для жизни красивой и целостной? Однообразие положений для всех людей и различие всех душ. Тогда жизнь будет кустом цветов, объединенных на корне уважения всех к свободе каждого, тогда она будет костром, горящим на почве общего всем чувства дружбы и общего стремления подняться выше... Тогда будут бороться мысли, но люди останутся товарищами. Это невозможно? Это должно быть, потому что этого еще не было!

— Вот наступает день! — продолжал Дьявол, посмотрев на восток. — Но кому солнце принесет радость, если ночь спит в самом сердце человека? Людям нет времени воспринять солнце, большинство хочет только хлеба, одни заняты тем, чтобы дать его возможно меньше, другие одиноко ходят в суете жизни и всё ищут свободы, и не могут найти ее среди неустанной борьбы за хлеб. И в отчаянии, несчастные, озлобленные одиночеством, они

начинают примирять непримиримое. И так тонут лучшие люди в тине грубой лжи, сначала искренно не замечая своей измены самим себе, затем сознательно изменяя своей вере, своим исканиям...

Он встал и мощно расправил крылья.

— Пойду и я по дороге моих ожиданий навстречу прекрасных возможностей...

И, сопровождаемый унылым пением колокола, — умирающими звуками меди, — он полетел на запад...

Когда я рассказал этот сон одному американцу, более других похожему на человека, он сначала задумался, а потом воскликнул, улыбаясь:

— А, понимаю! Дьявол был агентом фирмы кремационных печей! Конечно, так! Все, что он говорил, — доказывает необходимость сжигать трупы... Но, знаете, какой прекрасный агент! Чтобы служить своей фирме — он даже во сне является людям...

ПОСЛАНИЕ В ПРОСТРАНСТВО

...Не унижай сердца твоего ненавистью к тем, которые, когда сила твоя была нужна для них, звали тебя:

— Герой!

А теперь, когда ты оставил их, чтобы идти дальше к свободе твоей, зовут тебя:

— Варвар!

Береги ненависть твою для врага сильного, гнев твой против достойного, брось нищему духом только презрение твое — если хочешь быть великодушен даже к ничтожному!

Что они? Ночь была временем славы их, среди сонного молчания рабов говорили они, рабы поклонились им, и рабы признали их вождями — что тебе до них, если сам ты не раб?

Осторожно звучала их речь о благе свободы, и негромко было слово их против насилия, не от их речей так красна заря возрождения, твоего сердца кровью окрашены великие дни!

Охраняя душный мрак иступленного насилия, черные птицы не пугались голоса их. Разве эти люди были во тьме ночи путеводными звездами? Они мелькали, как огни над болотами, и кто пошел за ними — заблудился в цепкой тине противоречий, и уже погибли все они в грязи жалких вожделений своих.

Они всегда умеют во-время присосаться к силе, чтобы питать дряблое тело свое живым соком ее — только это и могут они!

Ты — сила, созидаящая все на земле! И когда ты не знал этого, но был нужен им, чтобы освободить их из цепей неволи и насилия, они лицемерно восклицали пред лицом твоим:

— Ты — сила, созидаящая все!

И толкали тебя вперед на борьбу, веруя, что ты победишь, ты уничтожишь старых, истощенных насильников и тогда дашь им, новым, свободу насиловать тебя и на плечах твоих строить жалкое благополучие свое.

Но, победив однажды, ты захотел бороться до полного освобождения твоего из плена паразитов, и теперь, когда, открыв глаза, ты видишь созданное тобой и требуешь права своего быть хозяином жизни, они злобно кричат тебе:

— Варвар, идущий не созидать, а разрушать!

Им хочется, чтобы ты всегда созидал и созидал только для них, — усмехнись, если хочешь, слепоте паразитов твоих, но сохрани гнев твой для достойного врага.

Они взяли твоей сильной рукой несколько нищенских крох свободы для себя, они взяли ее у тебя, точно воры и нищие, но и того не могут удержать слабые руки их, ибо старые насильники еще имеют звериную силу бороться за первенство подлости своей, первенство насилия над тобой, Человек!

— Иди! Ты — неистощимая сила, созидаящая все, неиссякаемый источник творчества, тобою рождаются и боги и герои, что тебе, если черви дерзко ползают по голеним твоим? Страхни их во-время с тела твоего, дабы не проникли они, жадные и хитрые, на грудь твою...

И даже для того, чтобы плюнуть им презрительно в жадные, трусливые души, не оглядываясь на них.

Ибо и плевков презрения твоего будет честью и пищей паразитам твоим.

— Иди!

Все храмы на земле созданы твоими руками — иди дальше, чтобы создать храм истины, свободы, справедливости!

Иди, товарищ!

СОЛДАТЫ

ПАТРУЛЬ

Над городом угрюмо висит холодная, немая тьма и тишина. Звезд нет, и не видно неба, бездонный мрак насторожился и как будто чутко ждет чего-то... Легкие, сухие снежинки медленно кружатся в воздухе, точно боясь упасть на темные камни пустынных улиц.

Ночь полна затаенного страха; в тишине и мраке, пропитанном холодом, напряглось, беззвучно дрожит нечто угрюмое и щекочет сердце ледяными иглами...

Придавленные тьмой дома осели в землю, стали ниже; в их тусклых окнах не видно света. Кажется, что там, внутри, за каменными стенами, неподвижно притаились люди, объятые холодом и темным страхом. Они смотрят перед собой, не мигая, широко открытыми глазами и, с трудом сдерживая трепет ужаса в сердце, безнадежно прислушиваются, молча ждут света, звука...

А с темных улиц слепым оком смотрит в окна жадный черный зверь...

Целый день в городе гудели пушки, сухо и зло трещали ружья, на улицах валялись трупы, смерть жадно упивалась стонами раненых.

Посередине маленькой площади, где скрещиваются две улицы, горит костер... Четыре солдата неподвижно, точно серые камни, стоят вокруг него; отблески пламени трепетно ползают по их шинелям, играют на лицах, кажется, что все четыре фигуры судорожно дрожат и странными

гримасами что-то рассказывают друг другу. Сверкая на штыках, пламя течет по металлу, точно кровь; острые полоски стали извиваются, стремятся кверху белыми и розовыми струйками...

На огонь и солдат отовсюду давит тьма...

Один из них, низенький, рябой, с широким носом и маленькими глазами без бровей, поправил штыком головни в костре; рой красных искр пугливо взлетел во тьму и исчез. Рябой солдат стал вытирать штык полый шинели. Высокий, тонкий человек, без усов на круглом лице, сунул ружье подмышку и, вложив руки в рукава шинели, медленно пошел прочь от костра. Солдат с большими рыжими усами, коренастый, краснощекий, отмахнул руками дым от лица и хрипящим голосом заметил:

— А вот ежели накалить штык, да в брюхо, какому-нибудь...

— И холодный — хорошо! — негромко отозвался рябой. Голова его покачнулась.

Пожирая дерево, огонь ласково свистит, его разноцветные языки летят кверху и, сплетаясь друг с другом, гибко наклоняются к земле. Белые снежинки падают в костер. Рыжий солдат сильно дышит через нос, сдувая снег с усов. Четвертый, худой и скуластый, не отрываясь, смотрит в огонь круглыми, темными глазами.

— Ну, и много положили сегодня народу! — вдруг тихо восклицает рябой, раздвигая губы в широкую улыбку. И, еще тише, он медленно тянет: — А-а-йй...

Уныло шипит сырая головня. Где-то очень далеко родился странный, стонущий звук. Рыжий и рябой настожились, глядя во тьму, огонь играл на их лицах, и уши опасно вздрагивали, ожидая еще звука. Скуластый солдат не двигаясь, упорно глядя в огонь.

— Да-а... — сказал рыжий густо и громко.

Рябой вздрогнул, быстро оглянулся. И скуластый вдруг вскинул голову, вопросительно глядя в лицо рыжего. Потом вполголоса спросил у него:

— Ты — что?

Рыжий помедлил и ответил:

— Так...

Тогда скуластый солдат мигнул сразу обоими глазами и заговорил негромко и быстро:

— Вчера пензенский солдатик нашей роты земляка видел... Земляк говорит ему: «У нас, говорит, теперь бунтуют. Мужики, говорит, жгут помещиков... Будто говорят: ладно, будет вам, попили нашей крови, теперь — уходите... Да. Земля не ваша, она богова, земля-то. Она, значит, для тех, кто может сам на ней работать, для мужиков она... Уходите, говорят, а то всех пожжем». Вот...

— Этого нельзя! — хрипло сказал рыжий, шевеля усами. — Этого начальство не позволит...

— Конечно-о! — протянул рябой и, позевывая, открыл глубокий, темный рот с мелкими плотными зубами.

— Что делается? — снова опустив голову, спросил скуластый и, глядя в огонь, сам себе ответил: — Ломается жизнь...

Во тьме мелькает фигура четвертого солдата. Он ходит вокруг костра бесшумно, широкими кругами, точно ястреб. Приклад его ружья зажат подмышкой, штык опущен к земле; покачиваясь, он холодно блестит, будто ищет, нюхает между камнями мостовой. Солдат крепко уперся подбородком в грудь и тоже смотрит в землю, как бы следя за колебаниями тонкой полоски стали.

Рыжий зорко оглянулся, кашлянул, угрюмо наморщил лоб и, сильно понизив свой хриплый голос, заговорил:

— Мужик, — разве он собака или кто? Он с голоду издыхает, и это ему — обидно...

— Известно! — сказал рябой солдат.

Рыжий сурово взглянул на него и наставительно продолжал:

— Можно было терпеть — он жил смирно. Но ежели помощи нет? И человек освирепел... Мужика я понимаю...

— Ну, конечно! — вполголоса воскликнул рябой, лицо его радостно расплылось. — Все говорят: один работник есть на земле — мужик... И которые бунтуют — тоже так говорят...

Рябой широко обвел вокруг себя рукой и, таинственно наклонясь к рыжему, тихо вскричал:

— Нету никуда ходу мужику.

— В солдаты гонят! — пробормотал скуластый солдат.

Рыжий стукнул прикладом ружья по земле и строго спросил:

— А зачем городские бунтуют?

— Избаловались, конечно! — сказал рябой. — Сколько нашему брату муки из-за них. Голоду, холоду...

— Греха тоже... — тихо перебил скуластый солдат речь рыжего. А он, постукивая прикладом в такт своим словам, настойчиво и жестко говорил.

— Этих всех уничтожить, — батальонный правильно говорил. Которых перебить, которых в Сибирь. На, живи, сукин сын, вот тебе — снег! Больше ничего...

Взбросил ружье на плечо и твердыми шагами пошел вокруг костра.

Скуластый солдат снова поднял голову и, задумчиво улыбаясь, сказал:

— Ежели бы господ всех... как-нибудь эдак... Всех...

Сказал, вздрогнул, зябко пожал плечами, оглянулся вокруг и тоскливо продолжал, странно пониженным голосом:

— Снаружи жжет, а внутри холодно мне... Сердце дрожит даже...

— Ходи! — сказал рыжий, топая ногами. — Вон, Яковлев — ходит.

Движением головы он указал на фигуру солдата, мелькавшую во тьме.

Скуластый солдат посмотрел на Яковлева и, вздохнув, тихо заметил:

— Тошно ему...

— Из-за лавочника? — спросил рябой.

— Ну, да, — тихо ответил скуластый. — Земляки они, одной волости. Письма Яковлеву из села на лавочника шли. И племянница у него... Яковлев говорил: «Кончу службу — посватаюсь...»

— Ничего не поделаешь! — сурово сказал рыжий.

А рябой зевнул, повел плечами и подтвердил громко, высоким голосом:

— Солдат обязан убивать врагов, присягу положил на себя в этом.

Яковлев неустанно кружился во мраке, то приближаясь к огню костра, то снова исчезая. Когда раздались резкие и острые слова рябого, звуки шагов вдруг исчезли.

— Слаб ты сердцем, Семен! — заметил рябой солдат.

— Ежели бы лавочник бунтовал... — возразил Семен и хотел, должно быть, еще что-то сказать — взмахнул рукой, — но рыжий подошел к нему вплоть и раздраженно, хрипло заговорил:

— А как понять — кто бунтует? Все бунтуют!.. У меня дядя в дворниках живет, денег имеет сот пять, был степенный мужик...

Вдруг где-то близко раздался сухой и краткий звук, подобный выстрелу, солдаты вскинули ружья, крепко сжимая пальцами холодные стволы. Вытянув шеи, они смотрели во тьму, как насторожившиеся собаки, усы рыжего выжидающе шевелились, рябой поднял плечи. Во тьме мерно застучали шаги Яковлева, он не торопясь подошел к огню, окинул всех быстрым взглядом и пробормотал:

— Дверь хлопнула... а то — вывеска...

Губы у него плотно сжаты. На остром лице сухо сверкают овальные серые глаза и вздрагивают тонкие ноздри. Поправив ногой догоравшие головни, он сел на корточки перед огнем.

— Малов! — сказал рыжий тоном приказания, — ступай за дровами... Там вон, — он ткнул рукой во тьму, — ящики сложены у лавочки...

Рябой солдат вскинул ружье на плечо и пошел.

— Оставь ружье-то... мешать будет, — заметил рыжий.

— Без ружья боязно! — отозвался солдат, исчезая во тьме.

Над костром все кружатся, летают снежинки, их уже много упало на землю, темные камни мостовой стали серыми. Сумрачно смотрят во тьму слепые окна домов, тонут в мраке высокие стены. Костер догорает, печально шипят головни. Трое солдат долго и безмолвно смотрят на уголья.

— Теперь, должно быть, часа три, — угрюмо говорит рыжий. — Долго еще нам торчать...

И снова молчание.

— О, господи! — громко шепчет Семен и, вздохнув, спрашивает тихо и участливо: — Что, Яковлев, тошно?

Яковлев молчит, не двигаясь.

Семен зябко повел плечами и с жалкой улыбкой в глазах, глядя в лицо рыжего солдата, монотонно заговорил, точно рассказывая сказку:

— Гляжу я — лежит она у фонаря, рукой за фонарь схватилась, обняла его, щеки белые-белые, а глаза — открыты...

— Ну, завел волынку! — угрюмо бормочет рыжий.

Семен смотрит на уголья, прищулив глаза, и продолжает:

— И лет ей будет... с двадцать, видно...

— Говорил ты про это! — укоризненно воскликнул рыжий. — Ну, чего язву ковырять?

Семен смотрит в лицо ему и виновато усмехается.

— Жалко мне бабочку, видишь ты... Молодая такая, веселая, видно, была, по глазам-то... Думаю себе — эх, ты, милёна! Была бы ты жива, познакомились бы мы с тобой, и ходил бы я к тебе по праздникам на квартиру, и целовал бы я твои...

— Будет! — сказал Яковлев, искося и снизу вверх глядя на рассказчика острым, колющим взглядом.

Семен виновато согнул спину и, помолчав, снова начал:

— Жалко, братцы... Лежит она, как спит, ни крови, ничего! Может, она просто — шла...

— А — не ходи! — сурово крикнул рыжий и матерно выругался.

— Может, ее господа послали? — как бы упрасывая его, сказал Семен.

— Нас тоже господа посылают! Мы виноваты? — раздраженно захрипел рыжий. — Иди, как ты принял присягу... — Он снова скверно выругался. — Все посылают народ друг на дружку...

И еще одно ругательство прозвучало в воздухе. Яковлев поднял глаза, усмехаясь взглянул в лицо рыжего и вдруг отчетливо, отдельно спросил:

— Что есть солдат?

Во тьме раздался громкий треск, скрипящий стон. Семен вздрогнул.

— Малов старается, сволочь! — сказал рыжий, шевеля усами. — Хороший солдат. Прикажет ему ротный живого младенца сожрать — он сожрет...

— А ты? — спросил Яковлев.

— Его послали ящик взять, — продолжал рыжий, — а он там крушит чего-то. Видно, ларь ломает, животная.

— А ты — сожрешь? — повторил Яковлев.

Рыжий взглянул на него и, переступив с ноги на ногу, угрюмо ответил:

— Я, брат, в августе срок кончаю...

— Это все равно! — сказал Яковлев, оскалив зубы. — Ротный заставит — и ты сожрешь младенца, да еще собственного... Что есть солдат?

Он сухо засмеялся. Рыжий взглянул на него, стукнул о камни прикладом ружья и, круто повернув шею, крикнул во тьму:

— Малов! Скорей...

— Озорник он, Малов! — вполголоса заговорил Семен. — Давеча, когда стреляли в бунтующих, он все в брюхо поровил... Я говорю — Малов, зачем же безобразить? Ты бей в ноги. А он говорит — я в студентов все катаю...

Семен вздохнул и так же монотонно, бесцветно продолжал:

— А я так думаю — студенты хороший народ. У нас в деревне двое на даче жили, так они куда угодно с мужиками. И выпить согласны, и объяснят все... книжки давали читать... Веселые люди, ей-богу. Потом приехал к ним какой-то штатский, а за ним, в ту ночь, жандармы из города... Увезли их всех трех... Мужики даже очень жалели...

Яковлев вдруг поднялся на ноги и, глядя в лицо рыжего солдата неподвижным взглядом — побелевшими глазами, — тяжело заговорил:

— Солдат есть зверь...

Рыжий опустил усы и брови, глядя на Яковлева

— Солдат есть уничтожитель, — продолжал Яковлев сквозь зубы и тоже выругался крепким, матерным словом.

— Это зачем же ты так? — строго спросил рыжий.

— Мы, Михаил Евсенч, не слыхали никаких этих слов! — просительно сказал Семен. — Это ты, Яковлев, с тоски... так уж...

Яковлев выпрямился и твердо стоял против товарищей, снова плотно сжав губы. Только ноздри у него дрожали.

— Ежели Малов узнает про твои речи, он донесет ротному, пропадешь ты, Яковлев, да! — внушительно сказал рыжий.

— А ты не донесешь? — спросил Яковлев, снова оскалив зубы.

Рыжий переступил с ноги на ногу, взглянул вверх и повторил:

— За такие слова не помилуют... брат!

— Ты — донесешь! — твердо заявил Яковлев, упрямый и злой.

— Мне дела нет ни до чего, — угрюмо сказал рыжий. — Я, значит, обязанность исполнил, а летом в запас...

— Мы все пропали! — вполголоса, но сильно крикнул Яковлев. — Тебе что дядя твой сказал?

— Отстань, Яковлев! — попросил Семен.

— Не твое дело... Хотя бы и дядя...

— Убийца ты, сказал он...

— А ты? — спросил рыжий и еще раз обругался. Спор принял острый, прыгающий характер. Они точно плевали в лицо друг другу кипящими злобой плевками кратких слов. Семен беспомощно вертел головой и с сожалением чмокал губами.

— И я! — сказал Яковлев.

— Так ты — тоже сволочь...

— Губитель человеческий...

— А ты?

— Братцы, будет! — просил Семен.

— И я! Ну?

— Ага! Так как же ты можешь...

— Не надо, братцы!

Сопровождая каждое слово матерной руганью, солдаты наступали друг на друга, один — болезненно бледный — весь дрожал, другой грозно ошетирил усы и, надувая толстые красные щеки, гневно пыхтел.

— Малов бежит! — сказал Семен с испугом. — Перестаньте, ради Христа...

И в то же время из тьмы раздался пугливый крик Малова:

— Михаил Евсеич! Они форточки открывают...

— Стой! — сказал рыжий. — Смирно!

И он заорал во всю грудь:

— Закрывать форточки, эй! Стрелять будем...

Из мрака выбежал, согнувшись и держа ружье наперевес, Малов и, задыхаясь, быстро заговорил:

— Я там, — это, — делаю, а они... открывают окно, слышу. Это — чтобы стрелять меня...

— Имеют право! — глухо сказал Яковлев.

— Ах вы, мать...

Малов быстро вскинул ружье к плечу, раздался сухой треск, — раз, два. Лицо солдата было бледно, ружье в его руках дрожало, и штык рыл воздух. Рыжий солдат тоже приложился и, прислушиваясь, замер.

— Э, сволочь! — тихо сказал Яковлев, подбивая ствол ударом руки кверху. Раздался еще выстрел. Рыжий быстро опустил ружье и потрянул Малова, схватив его за плечо.

— Перестань, ты...

Малов закачался на ногах и, видя, что все товарищи спокойны, смущенно заговорил:

— Ну и наро-од! Православного человека, солдата престолу-отечеству, — из окошка стрелять, а?

— Трус! Почудилось тебе, — раздраженно сказал рыжий.

Малов завертелся, махая рукой.

— Ничего не почудилось! И не трус. Кому же охота помирать? — забормотал он, ковыряя пальцем замок ружья.

— Сами себя боитесь, — усмехаясь, молвил Яковлев.

Замолчали. И все четверо неподвижно смотрели на грудь красных углей у своих ног.

— Ну? — сказал рыжий. — Не самому же мне идти за дровами. Яковлев, ступай...

Яковлев молча сунул ружье Семену и, не торопясь, пошел. Малов взглянул вслед ему, погладил ствол ружья левой рукой, потом поправил фуражку и сказал:

— Один он не снесет всего, сколько я наломал, конечно!

И тоже шагнул прочь от костра, держа ружье на плече. Но сейчас же обернулся и радостно объявил:

— Я там целую лавочку расковырял, ей-богу!

У костра остались две свинцовые фигуры и следили, как уголья одевались серым пеплом. Семен погладил рукавом шинели ствол ружья, тихонько кашлянул и спросил:

— Михаил Евсеич! Видит все это бог?

Рыжий солдат долго шевелил усами, прежде чем глухо и уверенно ответил:

— Бог — должен все видеть, такая есть его обязанность...

Потом он потер подбородок и, тряхнув головой, продолжал с упреком:

— А Яковлев — напрасно это! Обижать меня не за что! Али я хуже других, а?

Они снова замолчали. Там, во тьме, скрипели и хлопали о землю доски. Семен поднял голову, посмотрел в небо, черное, холодное, все во власти тьмы...

Солдат вздохнул и грустно, тихо сказал:

— А может, и нет бога...

Рыжий солдат, тяжело подняв на него глаза, грубо крикнул:

— Не ври!

И начал сгребать уголья в кучу сапогом. Но скоро оставил это, не окончив, оглянулся вокруг и, шевеля усами, хрипло проговорил:

— Надо понять — человек я или нет? Это надо понять, а потом уж...

Он замолчал, закусил усы и снова крепко потер подбородок.

Семен взглянул на него, опустил глаза и осторожно, тихо, но упрямо заявил:

— Однако другие говорят — нет его...

Рыжий не ответил.

Становилось все холоднее. Снег перестал падать, и, должно быть, от этого тьма стала неподвижнее и гуще.

Вдали дрожал какой-то странный звук, неуловимый, точно тень...

ИЗ ПОВЕСТИ

I

...Вера вышла на опушку леса — узкая тропа потерялась, незаметно сползая по крутому обрыву в круглую котловину.

Омут, в золотых лучах заката, был подобен чаше, полной темнокрасного вина. Молодые сосны — точно медные струны исполинской арфы; их крепкий запах сытно

напоил воздух и ощущался в нем ясно, как звук. В стройной неподвижности стволов, в живом блеске янтарных капель смолы на красноватой коре чувствовалось тугое напряжение роста; сочно-зеленые лапы ветвей тихо качались, их отражения гладили зеркало омута; был слышен дремотный шорох хвои, стучал дятел, в кустах у плотины пели малиновки, и где-то звенел ручей.

Над черным хаосом обугленных развалин мельницы курился прозрачный, синий дым, разбросанно торчали бревна, доски, на грудях кирпича и угля сверкали куски стекол, и что-то удивленное мелькало в их разноцветном блеске. Щедро облитая горячим солнцем, ласково окутанная сизыми дымами, мельница жила тихо угасавшею жизнью, печальной и странно красивой. И все вокруг мягко краснело, одетое в парчевые тени, в огненные пятна тусклого золота, все было насыщено задумчивой, спокойной песнью весны и жизни, — вечер был красив, как влюбленный юноша.

На плотине, свесив ноги, сдвинув фуражку на затылок, сидел солдат в белой рубашке, с удилищем в руках; он наклонился над водой, точно готовясь прыгнуть в нее. Длинный, гибкий прут ежеминутно рассекал воздух, взлетая вверх, солдат смешно размахивал руками, пятки его глухо стучали по сырым бревнам плотины, — резко белый и суетливый, он был лишним в тихой гармонии красок вечера.

Неприязненно сдвинув брови, Вера напомнила себе: «Бил мужиков».

Но это не вызвало в ней того чувства, которое она должна была бы испытывать к солдату.

«Если подойти к нему, он, наверное, скажет дерзость», — лениво подумала девушка и, сорвав бархатный лист буковицы, погладила им щеку. В следующую минуту она спускалась вниз, черпая ботинками мелкий песок.

— Вот так караси, барышня! — крикнул солдат навстречу ей. — Смотрите-ка!

Поднял левой рукой ведро и протянул Вере.

В мутной воде бились толстые, золотые рыбы с глупыми мордами, мелькали удивленные круглые глаза. Вера, улыбаясь, наклонилась над ведром, рыба метну-

лась и обрызгала ей лицо и грудь водою, а солдат засмеялся.

— Здоровенные звери!

Снова закинул удочку, наклонился над омутом, поднял левую руку вверх и замер, полуоткрыв рот. Лицо у него было пухлое, круглое, карие глаза светились добродушно, весело, верхняя губа — вздернута, и светлые усы на ней росли неровными пучками. Над головой его толклись комары, они садились на шею, на щеки, на нос — солдат мотал головою, как лошадь, кривил губы, старался согнать комаров сильной струей свистящего дыхания, а левую руку все время неподвижно держал в воздухе.

— Эх! — крикнул он, дернув удилице; тело его подавалось вперед.

Вера вздрогнула и быстро сказала:

— Вы упадете в воду...

— Сорвался, окаянный! — с досадой и сожалением сказал солдат. Потом, надевая червяка на крюк, заговорил, качая головой:

— Упаду, сказали? Никак! А и упаду — разве беда? Я — с Волги, казанский, на воде родился, плаваю вроде шуки, мне бы во флот надо, а не в пехоту...

Говорил он быстро, охотно, звонким теноровым голосом и неотрывно смотрел в воду подстерегающим взглядом охотника.

Вера почувствовала, что ей грустно и обидно думать, что он сек мужиков розгами.

— Вы из экономии? — спросила она негромко.

— Из нее! — отозвался солдат. — Двадцать три человека пригнали нас, пехоты... Чай, скоро назад погонят, в лагери — чего тут делать? Все уже кончилось, смирно стало. А жить здесь — не больно весело — мужики глядят волками и бабы тоже... Ничего не дают и продавать не хотят. Обиделись!

Он громко вздохнул.

— Послушайте, — печально спросила Вера, — неужели и вы тоже били их?

Солдат взглянул на нее, покачал головой и невесело ответил:

— Я? Нет... Я — не бил. Я — за ноги держал. Одного — старого, старик древний! Начальство говорит — он самый главный заводчик всему этому делу...

Он отвернулся к воде и задумчиво, но рассудительно добавил, как бы говоря сам себе:

— Чай, поди-ка, это ошибка — что же он может, этакий старичок?

— Вам его жалко? — резко спросила Вера. Добродушие солдата возмущало ее, в ней росло острое желание придавить этого человека сознанием его вины перед людьми.

— А как же? — пробормотал солдат. — И собаку жалко, не токмо человека. Одного когда пороли, плакал он — не виноват, говорит, простите, не буду — плакал! А другой — только зубом скрипит, молчит, не охнул, — ну, его и забили! Встать с земли не мог, подняли на ноги, а изо рта у него кровь — губу, что ли, прикусил он, или так, с натуги это? Даже не понять — отчего кровь изо рта? По зубам его не били...

Теперь солдат говорил тихо, раздумчиво и дергал головой снизу вверх. В его словах Вера не слышала сожаления. Она молча, острым взглядом неприязненно прищуренных глаз, рассматривала солдата, тихонько покусывая губы, искала какое-то сильное слово, чтобы ударить в сердце ему и надолго поселить в нем жгучую боль.

— А рыба-то перестала клевать! — озабоченно и негромко воскликнул он. — Она не любит разговоров, рыба! А может — уж поздно!

Он поднял голову, взглянул на небо и улыбнулся, продолжая:

— Хорош вечерок! Ну-ка еще?

Забросил крючок в омут, посмотрел на Веру и сообщил ей:

— Привычек здешней рыбы не знаю — первый раз ловлю. А у нее разные привычки — тут она так, там — иначе живет. А вот солдату везде одинаково трудно, особенно же пехоте!

— А крестьянам разве не трудно? — сухо спросила Вера.

— Кто говорит — не трудно! — воскликнул солдат, пожав плечами, и со смешной напыщенностью поучи-

тельно добавил: — Ну, начали они дерзко поступать, например — усадьбу поджигали, сено спалили, мельницу — это зачем? Авдеев говорит — дикость это, потому как все есть человеческая работа и надо ее жалеть. Работу, говорит, надо ценить без обиды, а не истреблять зря...

Он пристально взглянул в лицо Веры и строго спросил:

— А вы кто здесь будете?

— Я? Подруга учительницы.

— М-м...

— А что?

— Так. Во время пожара здесь были?

— Нет.

Солдат отвернулся и стал следить за поплавком. Вера почувствовала себя задетой его вопросами, в них явно звучало подозрение. Она решительно опустила на бревно сзади солдата и выше его и негромко, мягко, но строго заговорила:

— Вы понимаете то, что вас заставляют делать?

Девушка несколько недель агитировала среди рабочих в городе, считала себя опытной, но ей впервые приходилось говорить солдату, ее щекотал острый холодок опасности, это возбуждало.

В начале ее речи солдат молча и удивленно посмотрел на нее и невнятно буркнул что-то, потом он отвернулся к спокойному лицу омута и согнул шею, а спустя минуту громко засопел, обиженно заметив:

— Разве я один?

И взмахнул удилищем слишком резко.

Вера убежденно и горячо говорила о преступной, циничной силе, которая, хитро и расчетливо защищая свою власть, ставит людей друг против друга врагами, будит в них звериные чувства и пользуется ими, точно камнями, для избияния простой и ясной правды жизни, так жадно нужной людям, — правды, о которой тоскует вся тяжкая, больная от усталости и злобы человеческая жизнь.

Солдат бесшумно, не торопясь положил удилище на черную, засыпанную углями землю плотины и долго сидел неподвижно, глядя вдаль по течению реки, уходившей в лес.

— Авдеев тоже так говорит! — вдруг заметил он и встал на ноги; лицо у него было озабоченное, а глаза суетливо и радостно бегали по сторонам.

— То же самое, как есть! — торопливо повторил он. — Вы подождите! Он сюда придет — за рыбой, вы при нем скажите, а?

Беспокойно оглядываясь, он прижал обе руки к груди, болезненно сморщил лицо и громко чмокнул губами, качая головой.

— Али не чувствуешь? Ах ты, господи! Как же нет? А что делать? Приказывают! Идут на усмирение солдаты, и каждый понимает, куда и для чего. И все злятся, нарочно даже разжигают злость, чтобы забыть себя. Ругают дорогой мужиков — дескать, из-за них, сволочей, шагаем по жару, от них нам беспокойство. Надо быть злым — приказано!

«Какой ничтожный он!» — невольно подумала девушка, разглядывая солдата недобрыми глазами, и легкость победы была неприятна ей.

— И, конечно, бывает, верно вы сказали, ты идешь усмирять бунт, а дома у тебя — свои бунтуют! У нас в третьей роте саратовский солдатик чуть не помешался в уме — он человека заколол во время бунта, а дома у него старшего брата в каторгу заслали, а младшего засекли, умер, тоже за бунт, — вот вам! Ты бьешь здесь, а твоих — дома, и везде — солдаты! Казаки тоже, ну, как-зак — он чужой, не русский, дома у него бунта нет, он — другой жизни. А нашему брату каково? Сечешь человека, а думаешь — может, отца твоего теперь тоже секут? Чай, и мы люди, барышня, а вы вините нас, дескать — звери, — ну, господи же! Уж какой закон, если русский русского бьет насмерть! За это в тюрьму сажают. Конечно, народ озлился, помещиков жгет, и это непорядок, а — однако земли-то мужику надобно!?

Слова сыпались из его рта торопливо, он мигал глазами, точно ослепленный, оглядывался по сторонам, махая правой рукой, и топтался на месте, похожий на пойманную рыбу.

— Вот приду я домой, — говорил он, — а к чему приду? Земли у нас с братом три с половиной — как

обернешься с ней? У брата двое ребят. Да, скажем, я женюсь, тоже и дети — чего будет?

Все, что он говорил, казалось Вере эгоизмом мужика и глупостью солдата, она слушала холодно, искала в его словах звуки искренней скорби человека, не находила их, и в ней росло чувство недовольства собой.

«Ну — разбудила я в нем крестьянина, какой же в этом смысл?» — с досадой спросила она себя.

А солдат все говорил, быстро перескакивая с одного на другое, и было трудно следить за его бессвязною речью.

В лесу родился протяжный, печальный звук.

— Кто-то идет, — сказала Вера, вставая. Солдат замолчал, поднял голову и, глядя в небо, стал слушать.

Лес был наполнен тенями ночи, они смотрели на плотину и воду омута сквозь ветви сосен уже черные, но еще боялись выйти на открытое пространство.

— Это Авдеев поет, — сказал солдат тихонько. Мягкий голос выбивался из леса и задумчиво плыл в тишине.

— Хорошая песня, — молвил солдат, — Авдеев у нас в роте первый по голосу, только он невеселый. Вот вы ему скажите — он понимает...

Вере хотелось уйти, но она почувствовала, что это будет неловко, и села снова на бревно, усталая и недовольная собой.

Э-эх, да по но-очам она...

Солдат снова вскинул голову, закрыл глаза, неожиданно, вполголоса подхватил замиравшие звуки песни:

Ма-атушка моя родная-а...

И, улыбаясь, заметил:

— И я тоже люблю песни петь...

А из лесу ему ответили грустно и безнадежно:

В поле выходила, ждала-ожидала...

Покачивая головой, солдат одним дыханием протяжно вывел:

Эх, да ожидала сына беглого домой...

На гладкой воде омута появился чуть заметный белый серп луны и гордо засверкала большая звезда.

С конца плотины крикнули:

— Эй, Шамов!

— Эй! — отозвался солдат.

Засунув руки в карманы, медленно шел высокий, серый человек. Вера, не видя его лица, чувствовала чужой взгляд, догадывалась о первой мысли идущего при виде ее, и эта мысль была обидна ей.

— Много наловил?

— Много...

— А кто это с тобой?

— Учительша. Вот, браток...

— Здравствуйте! — сказал Авдеев, прикладывая руку к фуражке.

Вера кивнула головой, — мягкий голос прозвучал небрежно и неласково.

Плотная стена сосен медленно подвигалась на плотину, уступая напору теней, а сзади, с другого берега, веяло холодом. Вместе с тьмою сгущалась и тишина, теплый воздух становился влажным, затруднял дыхание, сердце билось тяжело, жуткая неловкость обнимала тело. Быстро, негромко и точно жалуюсь товарищу, Шамов говорил, указывая рукой на Веру:

— Вот, видишь ты, подошла она ко мне и попрекает: вы, говорит, зачем людей бьете...

— Угу, — неопределенно буркнул Авдеев, присел на корточки и, засучив рукав рубахи, сунул руку в ведро с рыбой.

— Али, говорит, не видите, обманывают вас, солдат-пехоту? — обиженно рассказывал Шамов. Голос его жужжал все тише и опутывал девушку предчувствием опасности.

— Речи — известные, — хмуро сказал Авдеев, выпрямился, осмотрел Веру с ног до головы, вытирая мокрые руки о свои шаровары так, точно готовился драться.

Она почувствовала, что в голове у нее все спуталось и она не может понять, как нужно говорить с этим человеком. В его темном лице без усов, с большим носом и резко очерченными скулами, было что-то птичье и хищное. Высокий, с маленькой головой на тонкой шее и большим лбом, из-под которого холодно смотрели синие, нежные глаза, — этот солдат казался стариком.

— Речи известные, — повторил он, и Вера видела усмешку на его лице. Он закашлялся, вздохнул.

— Вот так, брат Шамов, нас, дураков, и обрабатывают...

— Что вы хотите сказать? — спросила Вера. Она ждала, что вопрос ее прозвучит вызывающе и строго, но это не вышло у нее. Почему-то задрожали ноги, девушка едва сдержала желание уйти прочь от солдат.

Авдеев опустил голову, харкнул и плюнул под ноги себе.

— Это я не вам говорю, а вот ему, товарищу, — ответил он, не взглянув на Веру, и продолжал: — Наговорят солдату обидного, заденут за сердце, намутят голову, и человек погибнет, сделавшись как пьяный. Крови дать чужим речам он не может, дружбы им не находит, грызут они ему сердце, бередят немую душу, — коли он только запьет, забуянит с этого, то — ладно! Кончается дело карцером или переводом в штрафные. А бывает, что с таких речей начнет человек сам говорить с товарищами что-то, — тут уж его засадят на суд, а то и без суда — в дисциплинарный. Значит, погибнет человек за чужое слово. И даже — ты знаешь — расстреливали нашего брата за бунты, а кто к бунту подбивал — где они? Они — бегают, прячутся...

Солдат говорил негромко, на его лице все время дрожала хмурая улыбка, она была противна Вере. В ее памяти ярко вспыхнули образы людей, которых она уважала всей силой юного сердца, полного пламенной веры в их скромное мужество, в их готовность на все муки ради торжества разума и правды. Солдат оскорблял этих людей и ее вместе с ними — в груди ее закипело возмущение.

«Они меня схватят и отведут к начальству», — мелькнула острая мысль.

На секунду тоска и страх сжали сердце, но раздражающее лицо Авдеева, насмешливый упрек его речи вызвали острое желание проучить человека, который смел издеваться над тем, чего не знал.

— Вы лжете! — с грубостью, не свойственной ей, и неожиданной для себя силой сказала она, мельком взглянув на Шамова, который смущенно почесывал искусанную

комарами шею и переминался с ноги на ногу. — Никто не бегают и не прячется, если это нужно для успеха дела. Тех, которые погибли, говоря вам о правде, больше, чем вас... чем людей, которые слышат правду и не верят, не могут понять ее, рабы!

Торопясь сказать возможно больше и сильнее, она почти не видела солдат, в глазах ее поплыл красноватый туман, сердцу не хватало крови, а в груди тихо рос, путая мысли, темный страх.

«Они будут меня бить...»

И за этой мыслью, без слов, голо стояла другая, еще более страшная и обессиливающая. Напрягаясь, чтобы заглушить предчувствия, разрушавшие ее возбуждение, она говорила все громче, почти кричала и ждала, что в следующую минуту голос ее порвется, слов не хватит и она не устоит на ногах против солдат, немых и неясных, как два серые облака.

— Я сказал, что было, — вдруг прервал Авдеев ее речь, — приходили люди, смущали человека и скрывались — это почему? Я могу думать — значит, когда им тесно жить, — идут они к нам, темным людям, и говорят — вам тоже тесно, давайте вместе дружно разрабатываем дорогу, чтобы свободно было всем идти. Говорят — всем, а думают — нам! И покуда человек работает с ними — брат, а добились они своего — он им враг... Не человеческое это у вас.

В темноту вечера ворвался тревожный металлический крик, солдат замолчал, и несколько секунд молчания показались Вере невыносимо долгими.

— Идем, — тихо сказал Шамов, — горнист играет...

Авдеев не ответил, он стоял, опустив голову и глубоко сунув в карманы руки. Вера невольно следила за ними, ожидая враждебного движения.

— Это неправда! — сказала она.

— Я так думаю! — возразил солдат, дернув плечами. — Я могу думать так, есть причина...

И, снова усмехаясь, он взглянул на Веру холодным взглядом синих глаз.

— Если вы приносите правду — говорите ее всем, а не одному, не двум, — вот придите да всем нам и скажите сразу — нуте-ка?!

Этот вызов, насмешливый и лишенный веры в честь людей, снова оскорбил Веру. Она выпрямилась.

— Хорошо, я приду!

Шамов громко засопел и быстро сказал:

— Никак нельзя...

Его товарищ вынул одну руку из кармана, поправил фуражку.

— Идем, Шамов. Прощайте, барышня...

Вера шагнула к нему и звенящим голосом крикнула:

— Вы не смеее теперь отказываться! Вы оскорбили людей...

Солдаты двинулись друг к другу, Шамов успокоительно молвил:

— Он пошутил, — господи, что вы?

Но Вера настойчиво и дерзко крикнула:

— Нет, вы должны собраться все вместе, и я приду — слышите?

— Все не такие, как мы, — усмехаясь, заметил Авдеев.

— Мне все равно! — сказала девушка.

— Идем! — прошептал Шамов.

— Завтра в это время я буду здесь, — продолжала Вера настойчиво и строго.

Она повернулась спиной к солдатам и пошла в лес, оттуда смотрела ночь глубокими и грустными глазами. Девушку снова обнял страх; остановясь, она сказала более ласково и мягко:

— Вы должны прийти, ведь вам хочется верить в хороших людей?

Солдаты шептались о чем-то. Во тьме раздался голос Авдеева:

— Это опасно для вас.

Ей показалось, что он все еще усмехается своей невежливой усмешкой. И, не найдя, что ответить ему, она негромко повторила:

— Мне все равно.

Не ответив, солдаты зашагали по плотине, был слышен тревожный шопот Шамова, потом раздался голос Авдеева:

— Форсит!

Ей захотелось крикнуть: «Негодяй!»

— Не придет...

Поняв, что он нарочно дразнит ее, издевается над нею, она крикнула, почти угрожая:

— Я — приду!

Белое пятно скрылось, проглоченное лесом. Стало тихо и жутко.

Вера поднималась по обрыву, песок под ногами осыпался и сердито шуршал, мешая идти — она хваталась руками за ветви и стволы деревьев, сползала вниз и снова торопливо лезла, не оглядываясь назад, до боли возмущенная и полная жуткого трепета. На верху обрыва она села на песок и, поправляя растрепавшиеся волосы, подумала печально и обиженно:

«Какая я неловкая, глупая. И — боюсь».

По ее щекам потекли слезы, она замерла в тяжелой думе о себе, маленькой и бессильной, о великой правде, которая жила в ее душе, о солдате, издевавшемся над нею.

«Я не могла его зажечь. Не умела, жалкая. А он — понимает что-то... Они не схватили меня — почему?»

Она долго смотрела на черную воду омута, на звезды, ярко отраженные в ней, и сквозь слезы ей казалось, что вокруг нее трепещут странные, бледные искры большого и яркого, повсюду рассеянного огня.

От развалин мельницы пахло дымом. В лесу гулко крикнула сова. По небу тихо плыли облака, белые, пышные, подобные крылатым коням. Ночь склеила сосны в плотную массу, лес стал похож на гору, и все вокруг казалось полным напряженной думою о дне и солнце.

II

Вечер был такой же цветистый и ласковый, как вчера, так же краснела тихая вода омута и курили сосны теплым благовонием смол, — только больше дымились развалины мельницы, да в глубине леса кто-то стучал топором, и воздух, принимая удары, гулко ухал. Над водою мелькали голубые стрекозы, плескалась рыба, однозвучно разливался серебряный звон ручья.

Сидя на бугре в душной тени сосен, Вера сумрачно и беспокойно ожидала солдат; песок, нагретый солнцем,

излучал теплоту, девушке было жарко, но сойти вниз на плотину не хотелось и не хотелось смотреть туда.

Она плохо спала ночь, целый день думала о солдатах и теперь ощущала нехорошую усталость мозга, тревожную неуверенность в своей силе. Напрягая непослушную мысль, она старалась сложить в уме простую речь солдатам, подбирала сильные, образные слова, но их строй все время разрывали, вторгаясь в него, посторонние задачи думы и, раздражая, еще более обессиливали.

«Я покажусь им глупой и ничтожной», — хмурия брови, думала она. Невольно все ее тело вздрогнуло при мысли о возможности грубого насилия над нею.

«Может быть, они не придут?» — спросила она себя и тотчас же упрекнула за малодушие. Но это не помогло ей — она чувствовала, что темная мысль готова превратиться в уверенность и раздавить ее душу.

— Скорее бы! — тоскливо воскликнула она, боясь, что уйдет, не дождавшись солдат.

Вызывая на помощь остатки самолюбия, еще не совсем убитого страхом, она хотела убедить себя:

«Если я боюсь — значит, не верю...»

И неожиданно для себя закончила свою мысль:

«Тогда, конечно, лучше уйти...»

И встала, уступая силе инстинкта, с которым разум уже не мог бороться.

На плотине появилось двое солдат. Вера поняла, что это вчерашние, они шли быстро, а увидав светлое пятно ее платья на желтом фоне песка, пошли еще быстрее.

Вере показалось, что лицо Авдеева победно усмехается, это укололо ее.

«Не посмели пригласить других... А если придут еще — я скажу им, — вот я одна перед вами, меня защищает только правда, которую вы должны знать...»

— Здравствуйте, барышня! — невесело поздоровался Шамов, его товарищ молча приложил руку к фуражке и не взглянул на Веру.

— А еще — придут? — спросила она громче, чем было нужно.

— Придут! — повторил Шамов, вздыхая.

Все трое помолчали, не глядя друг на друга, потом Шамов неровно и беспокойно сказал:

— Пятеро придут, только, видите ли, барышня...

— Оставь, Григорий, — сухо посоветовал Авдеев.

— Нет, я желаю сказать честно! Видите ли, барышня, народ — дикий, то есть солдаты, например... Некоторые даже совсем злой народ! И к тому же голодные мужчины, значит...

— Сна это без тебя понимает, — заметил Авдеев и отвернулся в сторону, кашляя.

Вера понимала, но сегодня костлявый солдат раздражал ее еще более, чем вчера, он будил острое желание спорить с ним и победить его, сознание опасности исчезало, сгорая во враждебном чувстве к этому человеку.

— К тому же начальство внушает нам, чтобы хватать, — тихо говорил Шамов.

Вере хотелось сказать:

«Я — не боюсь!»

Но она удержала неверные слова, и это внушило ей доверие к себе, на миг приятно взволновало.

— Когда я скажу вам все, что надо, вы можете отвести меня к начальству, — сказала она тихо, но внятно.

— Ах, господи! — воскликнул Шамов. — Я не про то...

Вере показалось, что Авдеев искоса взглянул на нее и в его холодных глазах сверкнуло что-то новое.

А Шамов, суетясь, тревожно говорил:

— Только бы, значит, все обошлось тихо. Я сяду позади вас, барышня, за спину к вам, значит, на всякий случай...

— Какой случай? — строго спросила Вера.

— Ерунду говоришь, Григорий, — заметил ему товарищ. — Зачем зря пугать человека?

И усмехнулся.

— Я ничего не боюсь! — сказала Вера, и теперь это было правдой. Авдеев кивнул головой.

— Эх, — воскликнул Шамов, — идут уж...

Из леса вышло трое солдат, а за ними еще один — в такт шагу он громко хлестал прутком по голенищу сапога. Все шли не торопясь, казалось, что они крадутся, как большие белые собаки, окружая гнездо зверя. Разговаривали о чем-то, и голоса их звучали негромко,

секретно; смеялись, и этот смех подозрительно, тихими прыжками приближался к Вере. Она чувствовала, что бледнеет, ноги в коленях охватила судорога, и на минуту замерло сердце. Но Авдеев смотрел на нее подстерегающим взглядом.

— Это все? — спросила она, чтобы услышать свой голос.

— Должен быть еще один, — ответил Шамов.

Солдаты подошли, остановились, — на всех лицах Вера видела одинаково неприятно-слащавую улыбку. Толсторожий солдат с короткими черными усами басом сказал:

— Здравия желаем, мамзель!

Вера молча наклонила голову, а он оскалил большие белые зубы.

— Где же мы расположимся? — торопливо спросил Шамов.

Толсторожий жирно засмеялся, его товарищи переглянулись улыбаясь, один из них, рыжеватый, хитро подмигнул Шамову.

Девушка чувствовала себя среди врагов, ее внимание обострялось, она замечала все жесты, взгляды, понимала мысли этих людей и напряженно ждала чего-то от Авдеева, незаметно следя за ним. Он по очереди осмотрел каждого и деловито сказал:

— Идемте под обрыв, — в кустах нас не видно будет.

— Ах, чужак! — крикнул солдат с черными усами. Он, как и Авдеев, тоже все время держал руки в карманах, — это возбуждало у Веры острое отвращение к нему. Глаза у него были круглые, темные и матовые, он смотрел прямо в лицо неподвижным, мертвым взглядом и все улыбался какой-то странно снисходительной, поганой улыбкой. Незаметно появился еще солдат, угрюмый, неуклюжий, в серой от грязи рубаше, он остановился в стороне и смотрел оттуда на Веру исподлобья, заложив руки за спину.

У нее кружилась голова, страстное желание скорее начать и кончить затеянное быстро толкало ее вперед, в густую тень ивняка, на песчаную отмель речки. Рядом с нею шел Шамов, низко наклоня голову.

Пришли, тяжело опустились на землю. Авдеев молча сел рядом с Верой, Шамов сзади и немного сбоку. Его горячее, тревожное дыхание шевелило волосы за ухом девушки, и близость этого человека была приятна ей.

— Ну-с, какими ж делами займемся? — осведомился черноусый, негромко и лениво.

— Погоди, Исаев! — попросил его Шамов. — Сейчас всё это... как следует!

Вера вздохнула. Перед нею плотным полукругом сидели крепкие фигуры мужчин, от них шел запах луку, пота, она видела себя беззащитной, как заяц. По ее телу медленно, как два большие жука, ползали тяжелые глаза Исаева, рыжий солдат что-то шептал в ухо ему, а тот, который пришел последним, чесал себе плечо, громко чмокал и тоже смотрел на нее тусклыми глазами, точно ждал милостыни, но не надеялся, что ее дадут. Другие солдаты зачем-то оглядывались по сторонам, подозрительно прислушиваясь к тишине.

Понимая чувство, которое владело их голодными телами, оскорбленная и униженная этим чувством, Вера с отчаянием в душе, но громко и горячо начала, не отдавая себе отчета в словах и не веря, что она заставит их слушать себя:

— Солдаты, вы та сила, на которой держится все зло жизни...

— То есть, как это? — строго спросил Исаев.

Поняв цель его вопроса, она не ответила ему.

— Вы люди, обманутые страшнее других, — обманут весь народ, но вас обманывают хуже...

— Кто это? — спросил рыжий солдат, подмигивая Исаеву.

Тот сказал грубо и громко:

— Объясните, требуем!

А солдат в грязной рубахе встал на колени и, полуоткрыв рот, уставился в лицо девушки взглядом, в котором теперь загорелось что-то жадное.

— Не перебивайте, братцы! — взмахнув руками, попросил Шамов.

— Я объясню вам все, что знаю, — дрогнувшим голосом сказала Вера.

— А много знаете? — спросил рыжий.

Кто-то противно хихикнул.

Авдеев, нахмутив брови и медленно двигая тонкой шеей, снова по очереди осмотрел солдат.

Несколько секунд все молчали — темная стена взаимного непонимания росла все выше, готовая каждый миг обрушиться на людей и погасить в них слабые проблески человеческого. Исаев, не торопясь, взял пальцами рукав Вериной кофточки и потянул его к себе, спрашивая:

— Почему ситчик брали, мамзель?

Вздрогнув, она рванула рукой, ее глаза скользнули по тупому и жадному лицу, и страх железным обручем сжал мускулы ее ног. Ей захотелось сделаться маленькой, как мышь, и выскользнуть из кольца враждебных людей; от усилия сдвинуть себя в крепкий ком неодолимо твердых мускулов она почувствовала в теле ноющую боль.

— Не смейте меня трогать! — сказала она неожиданно для себя спокойно и твердо, сознавая, что это спокойствие рождено отчаянием. — Когда я скажу вам то, что вы должны знать...

Она не могла договорить — кто-то странно замычал, засопел, все беспокойно задвигались, она видела, как откровенно обнимают ее голодные глаза. Поняв инстинктом, что ее беспомощность еще более раздражает сладострастие животных, вдруг встала, выпрямилась и громко, нервно заговорила.

Они покачнулись все сразу, подняли головы — ей показалось, что солдаты удивлены смелостью ее, и, внутренне поднимаясь все выше над ними, чувствуя возможность спасения, Вера осыпала их резкими словами порицания, желая внушить им внимание к ней.

Она говорила каким-то пророческим голосом, неестественно и не похоже на себя, понимала, что так она не овладеет ими, безуспешно напрягала свою волю, но не могла забыть о себе и со страхом слышала, что слова ее звучат холодно и пусто.

Кто-то забормотал:

— Исаев, вот это и значит — против присяги...

— Братцы, разве не верно? — крикнул Шамов, робко спрашивая.

Черный солдат хрипло отозвался:

— Как же верно, если это — к бунту? Ребята, это склонение нас!

— Не допустим! — твердо сказал рыжий, поднимаясь на ноги.

Грязный солдат тоже встал, угрюмо крикнув:

— Подождите, черти!

Вера замолчала, покачнулась, но Шамов поддержал ее, и она услышала его свистящий шопот:

— Говорил я вам — эх, господи! Авдеев — пропали мы с тобой, ей-богу! Ах, барышня...

Спокойно и вразумительно заговорил Авдеев:

— Не бесись, ребята...

Он встал впереди Веры, закрыл ее своим длинным телом и продолжал:

— Вы поглядите на это дело просто, по-человеческому...

— Ты зубы не заговаривай! — крикнул рыжий.

Исаев угрюмо поддержал его:

— Ты, Авдеев, всегда хочешь ролю играть, а сам вроде как сумасшедший...

— Штунда! — насмешливо добавил рыжий.

— Девушка, почти ребенок, — ровно и уверенно продолжал Авдеев, — позвала нас и предлагает слушать правду. Нас — шестеро, и каждый в десять раз сильнее ее, а она не боится и даже обещала, когда, говорит, я вам все, что надо, скажу — заарестуйте и отведите меня к начальству, мне это все равно!

— Когда она это сказала? — недоверчиво спросил грязный солдат.

— Вчера, мне и Шамову. Поэтому — потому, что не боится она, — надо думать, что и вправду известно ей важное для нас, которое ей дороже, чем ее воля, жизнь. Ведь за такие слова она в тюрьму должна идти, а то и в каторгу, это ей известно, но все-таки и этого не боится. Вот — нападает на нас, вы, говорит, звери — это, конечно, она напрасно, но ведь в глаза говорит, и мы можем доказать ей, что она врёт... Но, наверно, не затем она позвала нас, чтобы упрекать, и потому надо прослушать ее до конца концов — пускай говорит, что хочет, мы всё прослушаем и тогда увидим, как надо с ней поступить... Когда нам поп или офицер проповеди свои внушают,

поносят нас всяко — мы молчим, хотя их словам цена нам хорошо известна, а она, может, имеет что-нибудь человеческое для нас, и, справедливости ради, давайте слушать, что нам однажды скажет чужой человек, а не начальство...

Его речь, негромкая, холодная и ровная, вызвала у девушки спутанное чувство благодарности и недоверия к солдату, почему-то сконфузила ее и как будто возвратила ей часть утраченной надежды на победу. Его неожиданная помощь немного задела самолюбие и приподняла подавленную страхом веру в людей и в себя.

Из-за плеча Авдеева она видела недовольные, хмурые лица солдат. Исаев широко расставил ноги, его густые брови сошлись над переносицей, губы были плотно сжаты, и пальцы правой руки, сунутой за пояс, нерешительно шевелились.

— Что она может знать? — спросил он угрюмо.

Авдеев сказал:

— А вот — послушаем.

Отодвинулся в сторону и сухо предложил Вере:

— Говорите...

Она оглянула солдат и заговорила мягче, стараясь сказать свои мысли просто, поняв, что нужно поставить себя на одну плоскость с этими людьми и тогда, может быть, они отдадутся доверчиво и полно ее воле. Говорила, постепенно сама поддаваясь влиянию печали и горечи, которыми пропитана жизнь людей, влиянию обид и унижений, которыми, с такой жестокой щедростью, люди награждают друг друга. Теперь, когда она сама была испугана и обижена, люди стали как будто понятнее, менее страшны, и она внутренне подходила к ним, принося с собою уже не гнев и отвращение, а сознание общности несчастья, равенства горя для всех — и для нее среди них, — горя одинаково позорного и тяжелого.

«Надо все сказать, что знаю! — грустно посоветовала она себе. — Наверное — последний раз говорю...»

Но скоро посторонние мысли оставили ее, она вся погружилась в созерцание картин печальной жизни, ей казалось, что она быстро стареет под тяжестью их, — сама впервые, с такой полнотой, почувствовала унижительное положение людей и ясную необходимость для всех вы-

рваться из плена разрушающих душу и тело тугих петель огромной сети жадности, животной злобы и лжи.

— Насчет деревни — верно! — пробормотал кто-то. Вера узнала угрюмый голос грязного солдата.

Были минуты, когда она забывала о слушателях, говоря как бы для себя самой, спрашивая себя и отвечая, проверяла то, что видела, тем, что читала в книгах, и порою останавливалась, пораженная оскорбительными противоречиями жизни с простейшими требованиями справедливости, и снова говорила, страстно протестуя, опровергая, доказывая, вся охваченная чувством гнева, обиды и тоски.

В одну из таких минут невольного молчания она взглянула на солдат — все они смотрели в разные стороны и показались ей теперь более людьми, чем раньше. Видимо, каждый из них грустно думал о чем-то своем, только Шамов упорно следил за нею широко открытыми глазами. Как сквозь мелкий дождь осени или густой туман, она видела перед собою тела людей, брошенные на землю, — они все стали меньше, казалось Вере. Исаев, слушая, качал головой, точно вол в яре; он смотрел на свою руку, шевеля пальцами, и порою густо и неразумно мычал:

— Конечно... Это так!

А рыжий солдат лег на бок, положил руку под голову, срывая губами листья с ветки ивы, жевал их, морщился и вдруг быстро изменял позу, точно обожженный или испуганный, вскидываясь всем телом.

— Не возись ты, Михайло! — заметил ему Шамов.

— Ступай к чертям! — тихонько пробормотал рыжий.

Кто-то глубоко и тяжело охнул, а в глазах Авдеева разгорался темный огонь, и лицо его еще более похудело.

Вера чувствовала общее внимание к ней, но теперь это не обрадовало ее. И она снова надолго потеряла солдат, перестала их видеть каждого отдельно — перед нею стояло чье-то одно темное, задумчивое, недоумевающее лицо, оно молча слушало и не спорило с волей, подчинявшей его. Она пьянела от возбуждения, ей было теперь одинаково чуждо все, кроме жаркого желания исчерпать до конца впечатления жизни, возмущение ими, сказать всю правду, известную ей, посеять ее глубоко, навсегда,

для вечного роста. Никогда еще мысли ее не были для нее так велики, ценны и красивы, как в этот момент, теперь она любила их с необычайной страстью, и это чувство с одинаковой силой насыщало ее душу и тело горячими волнами гордого сознания своей человеческой ценности — сознания силы противостоять растлевающему влиянию мертвых и уже гниющих форм жизни и способности строить новое, живое, радостное.

Народ встал перед нею, как бесконечная энергия, как первоначальный хаос, и ей казалось, что она, одухотворяя его, создает новый мир разума и красоты.

— В народе — все начала, в его силе все возможности, его трудом кормится вся жизнь, и ему принадлежит право распределять труд свой по справедливости! И мы до той поры будем несчастны, пока народ не почувствует свое право быть владыкою труда своего...

— Верно! — глухо сказал Авдеев, вдруг вскакивая на ноги. — Разве не верно это, братцы? Умертвляют нас, губят и душу и тело... Учат — убивай людей храбро! За что? За несогласие с порядками жизни. Вредной силе служим мы — верно! Не за ту силу должны мы храбро стоять, которая одолела всех и питается живым мясом человеческим, — за свободную жизнь на свободной земле надо нам бороться! Пришло время, которое требует — вставай, человек, чтобы оказались на земле все, как один, — добрые люди, а не звери друг против друга!

Его лицо потемнело, он так странно качался на ногах, точно его толкало изнутри, голос у него охрип, и солдат вдруг глухо закашлял, широко раскрыв горящие глаза.

Тревожное, но приятное чувство, близкое к радости, постепенно овладевало Верой, от усталости у нее кружилась голова.

— Погоди, Авдеев, — попросил грязный солдат, — пускай она еще поговорит...

Вера улыбнулась ему.

— Я все сказала!

— Все! — повторил солдат и вздохнул. — Насчет деревни — хорошо. И все — хорошо! Так я и думал, все — верно...

— Вроде сказки! — пробормотал рыжий. — Эх, дьяволы, дьяволы...

— Что с людьми сделано, братцы, а? — спросил Шамов звонко и тоскливо.

Густо легли на землю, выйдя из леса, тени ночи, в черной массе мельницы сверкали огни.

— Смотрите, опять разгорается! — неожиданно для себя и радостно крикнула Вера.

Солдаты посмотрели, кто-то угрюмо сказал:

— Пускай горит, пес с ней! Она третий день курится.

У ног девушки, согнувшись и обняв колена, сидел Исаев, улыбался большой, неумной, доброй улыбкой и бормотал:

— Чисто разделано!

Авдеев молча растирал себе грудь длинными руками, и все остальные тоже молчали. Вере становилось неловко, говорить она уже не могла и не хотела.

— Надо бы еще раз собраться? — вопросительно и невнятно пробормотал Шамов.

— Надо...

Запел рожок горниста — резкий, медный звук беспокойно метался в лесу, точно искал солдат.

— Айда, ребята?! — грустно предложил чей-то голос.

Трое солдат встали с земли, один спросил:

— Когда же?

— Завтра! — ответил Авдеев.

Вера взглянула на него, одобрительно кивнув головой.

Солдаты быстро пошли, разговаривая.

— Это надо слушать скорее...

— Али забыть боишься?

И голоса утонули в темноте.

— До свидания, барышня! — сказал рыжий солдат, уходя.

— Желаю вам всего доброго! — ответила Вера, — ей хотелось сказать много ласковых слов каждому из них.

Солдат быстро обернулся.

— Покорнейше благодарю!

И веселым голосом спросил:

— Исаев, ты что же?

— Сейчас...

Тяжело двигая свое большое тело, он поднялся на ноги и недоуменно сказал:

— А смелая вы, барышня, ей-богу, право!

Шамов тихо засмеялся.

— Чего смеешься? Али — не смелая!

— Как же нет?

— А — смеешься!

— Так я — с радости...

— Вас как зовут?

— Вера.

— А по батюшке?

— Дмитриевна.

— До свидания, значит, Вера Дмитриевна, до завтра вечером! Смелая вы, ей-богу! И — такая молодая, а уж все объясняете.

Он протянул ей руку и засмеялся.

— А я думал, что, мол, так это она, с жиру, — для баловства с мужчинами...

— Ну, ладно, ты иди! — тихо сказал Авдеев. — Мы с Шамовым проводим ее до дороги.

— До свидания! — повторил Исаев, повернулся к лесу и крикнул: — Эй! Подождите меня!

Шамов, улыбаясь, заметил:

— Он лешего боится, Исаев-то!

— И боюсь! — сказал тот, широко шагая. — А ты — нет? Эй, ребята!

— Идите и вы! — предложил Авдеев Вере.

Ей показалось, что на щеках у него выступили красные пятна.

«Болен?» — утомленно подумала девушка.

Шамов шел сзади нее и радостно говорил:

— А и боялся я — господи! Главное тут — мужчины они — дикие...

Горячая волна крови хлынула в лицо Веры, она строго спросила:

— Вы защитили бы меня?

— Конечно! — быстро согласился Шамов. — Это конечно...

Но он так сказал это, что девушка не поверила ему. Авдеев же, идя рядом с нею, молчал.

— Вы защитили бы меня? — требовательно повторила Вера, заглядывая ему в лицо.

Он ответил не сразу и спокойно:

— Не знаю этого.

Девушка оглянулась — уже ночь пришла, и маленькие огни в развалинах мельницы горели всё веселее.

— Почему не знаете?

— Почему? — повторил Авдеев.

Остановился у обрыва и заявил:

— Дальше мы не пойдем.

— До свидания! — тихонько сказала Вера.

— Завтра! — улыбаясь, отозвался Шамов.

— Дело это я все понимаю, до самой глубины его! — вдруг и громко заговорил Авдеев. — Оно должно расти прямо, без страха. А если кто подался в сторону — кончено! Цены ему нет, и надобности в нем — никакой!

Шамов высунулся вперед и, смеясь, сказал:

— Он — сурьезный у нас...

— Это так! — согласилась Вера, улыбаясь Авдееву.

— Я, можег, обидно скажу, — продолжал он, — только я думаю, что слабого человека лучше замучить, чем чтобы он жил. Жизнь его — на соблазн другим, а смерть — на поучение. Людей убивают, чуть они что начнут. Людям нужны примеры, чтобы им не бояться горькой гибели прежде время, не сдавать в силе, чтобы они делали свое дело упрямо. Верующий нужен, неверующий — нет, так уж пускай после него рассказ останется, погиб, дескать, за веру свою; он от слабости своей погиб, а вид такой будет, что за веру.

Вере было жутко видеть зеленый, холодный блеск его глаз, ее пугал фанатизм солдата, и она не находила в себе желания спорить с ним. Авдеев искоса взглянул на нее и сказал мягче, тише:

— Я говорю не только про вас, а так вообще, потому, что так я думаю. Вашу речь не первую слышу — ну, а человеческого не слыхал. Все — внушают, все заставляют — верь не верь, а поступай по-нашему. Каждый внутри себя — начальство для другого, что бы он ни говорил! А тут не внушать надо, надо объяснить так, чтоб уж я сам видел, что для меня нет другого пути, как против всего в жизни, — совершенно против всего, как все против меня в ней поставлено! Вы тоже начали упрекать нас, — дескать, звери. Это легко сказать о всяком человеке... Но если мы и звери — почему? И хуже ли других? И можно ли нам, без разума, быть лучше? Все это надо

рассказать людям просто, — для того и слово дано вам, чтобы говорить просто, по-человеческому. У всякого свое сердце, и во всяком сердце человеческое найдется, но только когда все кругом виноваты — каждый хочет оправдаться и потому — врет! Сам свою правду скрывает, сам себя душит — так я думаю...

Он договорил свою речь медленно, задумчиво и протянул Вере руку — сухую и горячую.

— До завтра, значит!

— Прощайте! — сказала она, вздрагивая.

Шамов с улыбкой кивнул ей головой.

— Идем скорее!

И оба быстро пошли по плотине, гулко топая ногами.

Стоя у крутого подъема в гору, Вера провожала глазами две белые фигуры до поры, пока они не скрылись в черноте леса.

На развалинах мельницы торопливо трещал огонь и что-то шипело, как бы уговаривая его — тише, тише... Хитрые языки пламени осторожно ползали по грудам сырого дерева, являясь то там, то тут, и на темной воде омута бегали маленькие красные пятна. Над вершинами сосен поднялась луна, серп ее косо смотрел в омут, и его тусклое отражение тихонько скользило по воде туда, где играл огонь...

ТОВАРИЩ!

Сказка

I

В этом городе все было странно, все непонятно. Множество церквей поднимало в небо пестрые, яркие главы свои, но стены и трубы фабрик были выше колоколен, и храмы, задавленные тяжелыми фасадами торговых зданий, терялись в мертвых сетях каменных стен, как причудливые цветы в пыли и мусоре развалин. И когда колокола церквей призывали к молитве — их медные крики, вползая на железо крыш, бессильно исчезали в тесных щелях между домов.

Дома были огромны и часто красивы, люди уродливы и всегда ничтожны, с утра до ночи они суетливо, как серые мыши, бегали по узким, кривым улицам города и жадными глазами искали одни — хлеба, другие — развлечений, третьи — стоя на перекрестках, враждебно и зорко следили, чтобы слабые безропотно подчинялись сильным. Сильными называли богатых, все верили, что только деньги дают человеку власть и свободу. Все хотели власти, ибо все были рабами, роскошь богатых рождала зависть и ненависть бедных, никто не знал музыки лучшей, чем звон золота, и поэтому каждый был врагом другого, а владыкой всех — жестокость.

Над городом порой сияло солнце, но жизнь всегда была темна, и люди — как тени. Ночью они зажигали

много веселых огней, но тогда на улицы выходили голодные женщины продавать за деньги ласки свои, отовсюду бил в ноздри жирный запах разной пищи, и везде, молча и жадно, сверкали злые глаза голодных, а над городом тихо плавал подавленный стон несчастья, и оно не имело силы громко крикнуть о себе.

Всем жилось скучно и тревожно, все были враги и виновные, только редкие чувствовали себя правыми, но они были грубы, как животные, — это были наиболее жестокие...

Все хотели жить, и никто не умел, никто не мог свободно идти по путям желаний своих, и каждый шаг в будущее невольно заставлял обернуться к настоящему, а оно властными и крепкими руками жадного чудовища оставляло человека на пути его и всасывало в липкие объятия свои.

Человек в тоске и недоумении бессильно останавливался перед уродливо искаженным лицом жизни. Тысячами беспомощно грустных глаз она смотрела в сердце ему и просила о чем-то — и тогда умирали в душе светлые образы будущего и стон бессилия человека тонул в нестройном хоре стонов и воплей замученных жизнью, несчастных, жалких людей.

Всегда было скучно, всегда тревожно, порою страшно, а вокруг людей, как тюрьма, неподвижно стоял, отражая живые лучи солнца, этот угрюмый, темный город, противно правильные груды камня, поглотившие храмы.

И музыка жизни была подавленным воплем боли и злобы, тихим шопотом скрытой ненависти, грозным лаем жестокости, сладострастным визгом насилия...

II

Среди мрачной суеты горя и несчастья, в судорожной схватке жадности и нужды, в тинс жалкого себялюбия, по подвалам домов, где жила беднота, создававшая богатство города, невидимо ходили одинокие мечтатели, полные веры в человека, всем чужие и далекие, проповедники возмущения, мятежные искры далекого огня правды.

Они тайно приносили с собой в подвалы всегда плодотворные маленькие семена простого и великого учения и то сурово, с холодным блеском в глазах, то мягко и любовно сеяли эту ясную, жгучую правду в темных сердцах людей-рабов, людей, обращенных силою жадных, волею жестоких в слепые и немые орудия наживы.

И эти темные, загнанные люди недоверчиво прислушивались к музыке новых слов, — музыке, которую давно и смутно ждало их большое сердце, понемногу поднимали свои головы, разрывая петли хитрой лжи, которой опутали их властные и жадные насильники.

В их жизнь, полную глухой, подавленной злобы, в сердца, отравленные многими обидами, в сознание, засоренное пестрой ложью мудрости сильных, — в эту трудную, печальную жизнь, пропитанную горечью унижений, — было брошено простое, светлое слово:

— Товарищ!

Оно не было новым для них, они слышали и сами произносили его, оно звучало до этой поры таким же пустым и тупым звуком, как все знакомые, стертые слова, которые можно забыть и — ничего не потеряешь.

Но теперь оно, ясное и крепкое, звучало иным звуком, в нем пела другая душа, и что-то твердое, сверкающее и многогранное, как алмаз, было в нем. Они приняли его и стали произносить осторожно, бережливо, мягко колышя его в сердце своим, как мать новорожденного колышет в люльке, любуясь им.

И чем глубже смотрели в светлую душу слова, тем светлее, значительнее и ярче казалось им оно.

— Товарищ! — говорили они.

И чувствовали, что это слово пришло объединить весь мир, поднять всех людей его на высоту свободы и связать их новыми узами, крепкими узами уважения друг к другу, уважения к свободе человека, ради свободы его.

Когда это слово вросло в сердца рабов — они перестали быть рабами и однажды заявили городу и всем силам его великое человеческое слово:

— Не хочу!

Тогда остановилась жизнь, ибо это они были силой, дающей ей движение, они и никто больше. Остановилось

течение воды, угас огонь, город погрузился в мрак, и сильные стали как дети.

Страх обнял души насильников, и, задыхаясь в запахе извержений своих, они подавили злобу на мятежников, в недоумении и ужасе перед силой их.

Призрак голода встал перед ними, и дети их жалобно плакали во тьме.

Дома и храмы, объятые мраком, слились в бездушный хаос камня и железа, зловещее молчание залило улицы мертвой влагой своей, остановилась жизнь, ибо сила, рождающая ее, сознала себя, и раб-человек нашел магическое, необоримое слово выражения воли своей — освободился от гнета и увидел воочию власть свою — власть творца.

Дни были днями тоски сильных, тех, которые считали себя владыками жизни, ночи — каждая была как бы тысячью ночей, так густ был мрак, так нищенски скупы и робко сияли огни в мертвом городе, и тогда он, созданный столетиями, чудовище, питавшееся кровью людей, встал перед ними в уродстве ничтожества своего жалкой грудой камня и дерева. Холодно и мрачно смотрели на улицы слепые окна домов, а по улицам бодро ходили истинные хозяева жизни. Они тоже были голодны, и более других, но это было знакомо им, и страдания тела их не достигали остроты страданий хозяев жизни, не угашали огня их душ. Они горели сознанием силы своей, предчувствие победы сверкало в их глазах.

Они ходили по улицам города, мрачной и тесной тюрьмы своей, где их обливали презрением, где наполняли души их обидами, и видели великое значение труда своего, и это возводило их на высоту сознания священного права быть хозяевами жизни, законодателями и творцами ее. И тогда с новой силой, с ослепительной ясностью встало перед ними животворящее, объединяющее слово:

— Товарищ!

Оно звучало среди лживых слов настоящего как радостная весть о будущем, о новой жизни, которая открыта равно для всех впереди — далеко или близко? Они чувствовали, что это в их воле, они приближаются к свободе и они сами отдаляют пришествие ее.

Проститутка, еще вчера полуголодное животное, тоскливо ожидавшее на грязной улице, когда кто-либо придет к ней и грубо купит подневольные ласки за мелкую монету, — и проститутка слышала слово это, но, смущенно улыбаясь, не решалась сама повторить его. К ней подходил человек, каких она не встречала до этого дня, он клал руку на плечо ее и говорил ей языком близкого: — Товарищ!

И она смеялась тихо и застенчиво, чтобы не заплакать от радости, впервые испытанной заплеванным сердцем. На глазах ее, вчера нагло и голодно смотревших на мир тупым взглядом животного, блестели слезы первой чистой радости. Эта радость приобщения отверженных к великой семье трудящихся всего мира сверкала всюду на улицах города, и тусклые очи его домов наблюдали за нею все более зловеще и холодно.

Нищий, которому вчера, чтобы отвязаться от него, бросали жалкую копейку, цену сострадания сытых, — он тоже слышал это слово, и оно было для него первой милостыней, вызвавшей благодарный трепет изъеденного нищетою, жалкого сердца.

Извозчик, смешной парень, которого седоки толкали в шею, чтобы он передал этот удар своей голодной усталой лошади, — этот много раз битый человек, отупевший от грохота колес по камню мостовой, он тоже, широко улыбаясь, сказал прохожему:

— Довезти, что ли, товарищ?

Сказал и испугался. Подобрал вожжи, готовый быстро уехать, и смотрел на прохожего, не умея стереть с широкого, красного лица своего радостной улыбки.

Прохожий взглянул добрыми глазами и ответил, кивнув головой:

— Спасибо, товарищ! Я дойду, недалеко.

— Эх ты, мать честная! — воодушевленно воскликнул извозчик, завертелся на козлах, широко и радостно мигая глазами, и куда-то поехал с треском и криком.

Люди ходили тесными группами по тротуарам, и, как искра, между ними все чаще вспыхивало великое слово, призванное объединить мир:

— Товарищ!

Полицейский, усатый, важный и угрюмый, подошел к толпе, тесно окружившей на углу улицы старика-оратора, и, послушав его речь, не торопясь проговорил:

— Собираться не дозволено... расходитесь, господа...

И, помолчав секунду, опустил глаза в землю и тише добавил:

— Товарищи...

На лицах тех, которые выносили это слово в сердцах своих, вложили в него плоть и кровь и медный, гулкий звук призыва к единению, — на их лицах сверкало гордое чувство юных творцов, и было ясно, что та сила, которую они так щедро влагают в это живое слово, — неистребима, неиссякаема.

Уже где-то против них собирались серые, слепые толпы вооруженных людей и безмолвно строились в ровные линии, — это злоба насильников готовилась отразить волну справедливости.

А в тесных, узких улицах огромного города, среди его безмолвных холодных стен, созданных руками неведомых творцов, все росла и зрела великая вера людей в братство всех со всеми.

— Товарищ!

То там, то тут вспыхивал огонек, призванный разгореться в пламя, которое объемлет землю ярким чувством родства всех людей ее. Объемлет всю землю и сожжет и испепелит злобу, ненависть и жестокость, искажающие нас, объемлет все сердца и сольет их в единое сердце мира, — сердце правдивых, благородных людей, в неразрывно-дружную семью свободных работников.

На улицах мертвого города, созданного рабами, — на улицах города, в котором царила жестокость, росла и крепла вера в человека, в победу его над собой и злом мира.

И в смутном хаосе тревожной, безрадостной жизни яркой, веселой звездой, путеводным огнем в будущее, сверкало простое, ёмкое, как сердце, слово:

— Товарищ!

9-е ЯНВАРЯ

...Толпа напоминала темный вал океана, едва разбуженный первым порывом бури, она текла вперед медленно; серые лица людей были подобны мутно-пенному гребню волны.

Глаза блестели возбужденно, но люди смотрели друг на друга, точно не веря своему решению, удивляясь сами себе. Слова кружились над толпой, как маленькие, серые птицы.

Говорили негромко, серьезно, как бы оправдываясь друг перед другом.

— Нет больше возможности терпеть, вот почему пошли...

— Без причины народ не тронется...

— Разве «он» это не поймет?..

Больше всего говорили о «нем», убеждали друг друга, что «он» — добрый, сердечный и — все поймет... Но в словах, которыми рисовали его образ, не было красок. Чувствовалось, что о «нем» давно — а может быть, и никогда — не думали серьезно, не представляли его себе живым, реальным лицом, не знали, что это такое, и даже плохо понимали — зачем «он» и что может сделать. Но сегодня «он» был нужен, все торопились понять «его» и, не зная того, который существовал в действительности, невольно создавали в воображении своем нечто огромное. Велики были надежды, они требовали великого для опоры своей.

Порою в толпе раздавался дерзкий человеческий голос:

— Товарищи! Не обманывайте сами себя...

Но самообман был необходим, и голос человека заглушался пугливыми и раздраженными всплесками криков.

— Мы желаем открыто...

— Ты, брат, молчи!..

— К тому же, — отец Гапон...

— Он знает!..

Толпа нерешительно плескалась в канале улицы, разбиваясь на отдельные группы; гудела, споря и рассуждая, толкалась о стены домов и снова заливала середину улицы темной, жидкой массой — в ней чувствовалось смутное брожение сомнений, было ясно напряженное ожидание чего-то, что осветило бы путь к цели верою в успех и этой верой связало, сплавило все куски в одно крепкое, стройное тело. Неверие старались скрыть и не могли, замечалось смутное беспокойство и какая-то особенно острая чуткость ко звукам. Шли, осторожно прислушиваясь, заглядывали вперед, чего-то упрямо искали глазами. Голоса тех, кто веровал в свою внутреннюю силу, а не в силу вне себя, — эти голоса вызывали у толпы испуг и раздражение, слишком резкие для существа, убежденного в своем праве состязаться в открытом споре с тою силою, которую оно хотело видеть.

Но, переливаясь из улицы в улицу, масса людей быстро росла, и этот рост внешний постепенно вызывал ощущение внутреннего роста, будил сознание права народа-раба просить у власти внимания к своей нужде.

— Мы тоже люди, как-никак...

— «Он», чай, поймет, — мы просим...

— Должен понять!.. Не бунтуем...

— Опять же, — отец Гапон...

— Товарищи! Свободу не просят...

— Ах, господи!..

— Да погоди ты, брат!..

— Гоните его прочь, дьявола!..

— Отец Гапон лучше знает как...

— Когда людям необходима вера, — она приходит...

Высокий человек в черном пальто, с рыжей заплатой на плече, встал на тумбу и, сняв шапку с лысой головы, начал говорить громко, торжественно, с огнем в глазах и дрожью в голосе. Говорил о «нем», о царе.

Но в слове и тоне сначала чувствовалось что-то искусственно приподнятое, не слышно было того чувства, которое способно, заражая других, создавать почти чудеса. Казалось, человек насилует себя, пытается разбудить и вызвать в памяти образ давно безличный, безжизненный, стертый временем. Он был всегда, всю жизнь, далек от человека, но сейчас он стал необходим ему — в него человек хотел вложить свои надежды.

И они постепенно оживляли мертвеца. Толпа слушала внимательно — человек отражал ее желания, она это чувствовала. И хотя сказочное представление силы явно не сливалось с «его» образом, но все знали, что такая сила есть, должна быть. Оратор воплотил ее в существо, всем известное по картинкам календарей, связал с образом, который знали по сказкам, — а в сказках этот образ был человечен. Слова оратора — громкие, понятные — понятно рисовали существо властное, доброе, справедливое, отечески внимательное к нужде народа.

Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их, заглушая тихий шопот сомнений... Люди торопились поддаться давножданному настроению, стискивали друг друга в огромный ком единокордных тел, и плотность, близость плеч и боков, согревала сердца теплотой уверенности, надежды на успех.

— Не надо нам красных флагов! — кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.

— Мы к отцу идем!..

— Не даст в обиду!

— Красный цвет — цвет нашей крови, товарищи! — упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.

— Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.

— Не надо!..

— Смутьяны, черти!..

— Отец Гапон — с крестом, а он — с флагом

— Молодой еще, но тоже, чтобы командовать...

Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно и тревожно кричали:

— Гони его, который с флагом!..

Теперь двигались быстро, без колебаний и с каждым шагом всё более глубоко заражали друг друга единством настроения, хмелем самообмана. Тольк что созданный, «он» настойчиво будил в памяти старые тени добрых героев — отзвуки сказок, слышанных в детстве, и, насыщая живую силою желания людей веровать, безудержно рос в их воображении...

Кто-то кричал:

— «Он» нас любит!..

И несомненно, что масса людей искренно верила в эту любовь существа, ею же только что созданного.

Когда толпа вылилась из улицы на берег реки и увидела перед собой длинную, ломаную линию солдат, преграждавшую ей путь на мост, — людей не остановила эта тонкая, серая изгородь. В фигурах солдат, четко обрисованных на голубовато-светлом фоне широкой реки, не было ничего угрожающего, они подпрыгивали, согревая озябшие ноги, махали руками, толкали друг друга. Впереди, за рекой, люди видели темный дом — там ждал их «он», царь, хозяин этого дома. Великий и сильный, добрый и любящий, он не мог, конечно, приказать своим солдатам, чтобы они не допускали к нему народ, который его любит и желает говорить с ним о своей нужде.

Но все-таки на многих лицах явилась тень недоумения, и люди впереди толпы немного замедлили свой шаг. Иные оглянулись назад, другие отошли в сторону, и все старались показать друг другу, что о солдатах — они знают, это не удивляет их. Некоторые спокойно поглядывали на золотого ангела, блестевшего высоко в небе над унылой крепостью, другие улыбались. Чей-то голос, соболезнуя, произнес:

— Холодно солдатам!..

— Н-да-а...

— А надо стоять!

— Солдаты — для порядка.

— Спокойно, ребята!.. Смирно!

— Ура, солдаты! — крикнул кто-то.

Офицер в желтом башлыке на плечах выдернул из ножен саблю и тоже что-то кричал встречу толпе, помахивая в воздухе изогнутой полоской стали. Солдаты встали неподвижно плечо к плечу друг с другом.

— Чего это они? — спросила полная женщина.

Ей не ответили. И всем, как-то вдруг, стало трудно идти.

— Назад! — донесся крик офицера.

Несколько человек оглянулось — позади их стояла плотная масса тел, из улицы в нее лилась бесконечным потоком темная река людей; толпа, уступая ее напору, раздавалась, заполняя площадь перед мостом. Несколько человек вышло вперед и, взмахивая белыми платками, пошли навстречу офицеру. Шли и кричали:

— Мы — к государю нашему...

— Вполне спокойно!..

— Назад! Я прикажу стрелять!..

Когда голос офицера долетел до толпы, она ответила гулким эхом удивления. О том, что не допустят до «него», — некоторые из толпы говорили и раньше, но чтобы стали стрелять в народ, который идет к «нему» спокойно, с верою в его силу и доброту, — это нарушало цельность созданного образа. «Он» — сила выше всякой силы, и ему некого бояться, ему незачем отталкивать от себя свой народ штыками и пулями...

Худой, высокий человек с голодным лицом и черными глазами вдруг закричал:

— Стрелять? Не смеешь!..

И, обращаясь к толпе, громко, злобно продолжал;

— Что? Говорил я — не пустят они...

— Кто? Солдаты?

— Не солдаты, а — там...

Он махнул рукой куда-то вдаль.

— Выше которые... вот! Ага? Я же говорил!

— Это еще неизвестно...

— Узнают, зачем идем, — пустят!..

Шум рос. Были слышны гневные крики, раздавались возгласы иронии. Здравый смысл разбился о нелепость преграды и молчал. Движения людей стали первнее, суетливее; от реки веяло острым холодом. Неподвижно блестели острия штыков.

Перекидываясь восклицаниями и подчиняясь напору сзади, люди двигались вперед. Те, которые пошли с платками, свернули в сторону, исчезли в толпе. Но впереди все — мужчины, женщины, подростки — тоже махали белыми платками.

— Какая там стрельба? К чему? — солидно говорил пожилой человек с проседью в бороде. — Просто они не пускают на мост, дескать — идите прямо по льду...

И вдруг в воздухе что-то неровно и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десятками невидимых бичей. На секунду все голоса вдруг как бы замерзли. Масса продолжала тихо подвигаться вперед.

— Холостыми... — не то сказал, не то спросил бесцветный голос.

Но тут и там раздавались стоны, у ног толпы легло несколько тел. Женщина, громко охая, схватилась рукой за грудь и быстрыми шагами пошла вперед, на штыки, вытянутые встречу ей. За нею бросились еще люди и еще, охватывая ее, забегая вперед ее.

И снова треск ружейного залпа, еще более громкий, более неровный. Стоявшие у забора слышали, как дрогнули доски, — точно чьи-то невидимые зубы злобно кусали их. А одна пуля хлестнулась вдоль по дереву забора и, стряхнув с него мелкие щепки, бросила их в лица людей. Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, хватаясь за животы, бежали куда-то прихрамывая, ползли по снегу, и всюду на снегу обильно вспыхнули яркие красные пятна. Они расплзались, дымились, притягивая к себе глаза... Толпа подалась назад, на миг остановилась, оцепенела, и вдруг раздался дикий, потрясающий вой сотен голосов. Он родился и потек по воздуху непрерывной, напряженно дрожащей пестрой тучей криков острой боли, ужаса, протеста, тоскливого недоумения и призывов на помощь.

Наклонив головы, люди группами бросились вперед подбирать мертвых и раненых. Раненые тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг стали иными, и во всех глазах сверкало что-то почти безумное. Паники — того состояния общего черного ужаса, который вдруг охватывает людей, сметает тела, как ветер сухие листья в кучу, и слепо тащит, гонит всех куда-то в диком вихре стремления спрятаться, — этого не было. Был ужас, жгучий, как промерзшее железо, он леденил сердце, стискивал тело и заставлял смотреть широко открытыми глазами на кровь, поглощавшую снег, на окровавленные лица, руки, одежды, на трупы, страшно спокойные в тревожной суете живых. Было едкое возмущение, тоскливо-бессиль-

ная злоба, много растерянности и много странно неподвижных глаз, угрюмо нахмуренных бровей, крепко сжатых кулаков, судорожных жестов и резких слов. Но казалось, что больше всего в груди людей влилось холодного, мертвящего душу изумления. Ведь за несколько ничтожных минут перед этим они шли, ясно видя перед собою цель пути, пред ними величаво стоял сказочный образ, они любовались, влюблялись в него и питали души свои великими надеждами. Два залпа, кровь, трупы, стоны, и — все встали перед серой пустотой, бессильные, с разорванными сердцами.

Топтались на одном месте, точно опутанные чем-то, чего не могли разорвать; одни молча и озабоченно носили раненых, подбирали трупы, другие точно во сне смотрели на их работу, ошеломленно, в странном бездействии. Многие кричали солдатам слова упреков, ругательства и жалобы, размахивали руками, снимали шапки, зачем-то кланялись, грозили чьим-то страшным гневом...

Солдаты стояли неподвижно, опустив ружья к ноге, лица у них были тоже неподвижные, кожа на щеках туго натянулась, скулы остро высунулись. Казалось, что у всех солдат белые глаза и смерзлись губы...

В толпе кто-то кричал истерически громко:

— Ошибка! Ошибка вышла, братцы!.. Не за тех принимаю! Не верьте!.. Иди, братцы, — надо объяснить!..

— Гапон — изменник! — вопил подросток-мальчик, влезая на фонарь.

— Что, товарищи, видите, как встречает вас?..

— Поймай, — это ошибка! Не может этого быть, ты пойми!

— Дай дорогу раненому!..

Двое рабочих и женщина вели высокого худого человека; он был весь в снегу, из рукава его пальто стекала кровь. Лицо у него посинело, заострилось еще более, и темные губы, слабо двигаясь, прошептали:

— Я говорил — не пустят!.. Они его скрывают, — что им — народ!

— Конница!

— Беги!..

Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две половинки деревянных ворот, танцуя и фыркая, между ними

проехали лошади, раздался крик офицера, над головами конницы взвились, разрезав воздух, сабли, серебряными лентами сверкнули, замахнулись все в одну сторону. Толпа стояла и качалась, волнуясь, ожидая, не веря.

Стало тише.

— Ма-арш! — раздался неистовый крик.

Как будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно обернулась кругом под их ногами, все бросились бежать, толкая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солдаты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, мертвых, сверкали сабли, сверкали крики ужаса и боли, порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик избиваемых сливался в гулкий и протяжный стон...

— А-а-а!..

Солдаты взмахивали саблями и опускали их на головы людей, и вслед за ударом тела их наклонялись набок. Лица у них были красные, безглазые. Ржали лошади, страшно оскаливая зубы, взмахивая головами...

Народ загнали в улицы... И тотчас же, как только топот лошадей исчез вдаль, люди остановились задыхаясь, взглянули друг на друга выкатившимися глазами. На многих лицах явились виноватые улыбки, и кто-то засмеялся, крикнув:

— Ну, и бежал же я!..

— Тут — побежишь!.. — ответили ему.

И вдруг со всех сторон посыпались восклицания изумления, испуга, злобы...

— Что же это, братцы, а?

— Убийство идет, православные!

— За что?

— Вот так правительство!

— Рубят, а? Конями топчут...

Недоуменно мялись на месте, делясь друг с другом своим возмущением. Не понимали, что нужно делать, никто не уходил, каждый прижимался к другому, стараясь найти какой-то выход из пестрой путаницы чувств, смотрели с тревожным любопытством друг на друга и — все-таки, более изумленные, чем испуганные, — чего-то ждали, прислушиваясь, оглядываясь. Все были слишком подавлены и разбиты изумлением, оно лежало сверху всех

чувств, мешало слиться настроению более естественному в эти неожиданные, страшные, бессмысленно ненужные минуты, пропитанные кровью невинных...

Молодой голос энергично позвал:

— Эй! Идите подбирать раненых!

Все встрепонулись, быстро пошли к выходу на реку. А навстречу им в улицу вползали по снегу и входили, шатаясь на ногах, изувеченные люди, в крови и снегу. Их брали на руки, несли, останавливали извозчиков, сгоняя седоков, куда-то увозили. Все стали озабочены, угрюмы, молчаливы. Рассматривали раненых взвешивающими глазами, что-то молча измеряли, сравнивали, углубленно искали ответов на страшный вопрос, встававший перед ними неясной, бесформенной, черной тенью. Он уничтожал образ недавно выдуманного героя, царя, источника милости и блага. Но лишь немногие решались вслух сознаться, что этот образ уже разрушен. Сознаться в этом было трудно, — ведь это значило лишить себя единственной надежды...

Шел лысый человек в пальто с рыжей заплатой, его тусклый череп теперь был окрашен кровью, он опустил плечо и голову, ноги у него подламывались. Его вели широкоплечий парень без шапки, с курчавой головой и женщина в разорванной шубке с безжизненным, тупым лицом.

— Погоди, Михайло, — как же это? — бормотал раненый. — Стрелять в народ — не разрешается!.. Не должно это быть, Михайло.

— А — было! — крикнул парень.

— И стреляли... И рубили... — уныло заметила женщина.

— Значит, приказание дано на это, Михайло...

— И было! — злобно крикнул парень. — А ты ду мал — с тобой разговаривать станут? Вина стакан поднесут?

— Погоди, Михайло...

Раненый остановился, опираясь спиной о стену, и закричал:

— Православные!.. За что нас убивают? По какому закону?.. По чьему приказу?

Люди шли мимо него, опускавая головы.

В другом месте на углу у забора собрались несколько десятков, и в середине их чей-то быстрый, задыхающийся голос говорил тревожно и злобно:

— Гапон вчера был у министра, он знал все, что будет, значит — он изменник нам, — он повел нас на смерть!

— Какая ему польза?

— А я — знаю?

Всюду разгоралось волнение, перед всеми вставали вопросы еще неясные, но уже каждый чувствовал их важность, глубину, суровое, настойчивое требование ответа. В огне волнения быстро истлевала вера в помощь извне, надежда на чудесного избавителя от нужды.

Посреди улицы шла женщина, полная, плохо одетая, с добрым лицом матери, с большими, грустными глазами. Она плакала и, поддерживая правой рукой окровавленную левую, говорила:

— Как буду работать? Чем кормить детей?.. Кому жаловаться?.. Православные, где же у народа защитники, если и царь против него?

Ее вопросы, громкие и ясные, разбудили людей, всколыхнули и встревожили их. К ней быстро подходили, бежали со всех сторон и, останавливаясь, слушали ее слова угрюмо и внимательно.

— Значит, народу — нет закона?

У некоторых вырывались вздохи. Другие негромко ругались.

Откуда-то пронесся резкий, злой крик.

— Получил помощь — сыну ногу разбили...

— Петруху — насмерть!..

Криков было много, они хлестали по ушам и, все чаще вызывая мстительное эхо, резкие отзвуки, будили чувство озлобления, сознание необходимости защищаться от убийц. На бледных лицах выступало некое решение.

— Товарищи! Мы все-таки идем в город... может, чего-нибудь добьемся... Идемте, понемногу!

— Перебьют...

— Давайте говорить солдатам, — может, они поймут, что нет закона убивать народ!

— А может, есть, — почему мы знаем?

Толпа медленно, но неуклонно изменялась, перерождаясь в народ. Молодежь расходилась небольшими

М. ГОРЬКИЙ

Topograph

плотной.

сербия

57560

4

ΠΡΩΤ

солдат направили п

400

группами, все они шли в одну сторону, снова к реке. И всё несли раненых, убитых, пахло теплой кровью, раздавались стоны, возгласы.

— Якову Зимину — прямо в лоб...

— Спасибо батюшке-царю!

— Да-а, — встретил!

Раздалось несколько крепких слов. Даже за одно из них четверть часа тому назад толпа разорвала бы в клочья.

Маленькая девочка бежала и кричала всем:

— Не видали маму?

Люди молча оглядывались на нее и уступали ей дорогу.

Потом раздался голос женщины с раздробленной рукой:

— Здесь, здесь я...

Улица пустела. Молодежь уходила все быстрее. Пожилые люди угрюмо, не спеша, тоже шли куда-то по двое и по трое, исподлобья глядя вслед молодым. Говорили мало... Лишь порой кто-нибудь, не сдержав горечи, восклицал негромко:

— Значит, народ отбросили теперь?..

— Убийцы проклятые!..

Сожалели об убитых людях и, догадываясь, что убит также один тяжелый, рабский предрассудок, осторожно молчали о нем, не произнося более царапающего ухо имени его, чтобы не тревожить в сердце тоски и гнева...

А может быть, молчали о нем, боясь создать другой на место мертвого...

...Вокруг жилища царя стояли плотной, неразрывной цепью серые солдаты, под окнами дворца на площади расположилась конница, торчали пушки, небольшие и чем-то похожие на пивовок. Запах сена, навоза, лошадиного пота окружал дворец, лязг железа, звон шпор, крики команды, топот лошадей колебался под слепыми окнами дворца.

Против солдат — тысячи безоружных, озлобленных людей топчется на морозе, над толпою — сероватый пар дыхания, точно пыль. Рота солдат опиралась одним флангом о стену здания на углу Невского проспекта, другим — о железную решетку сада, преграждая дорогу на

площадь ко дворцу. Почти вплоть к солдатам штатские, разнообразно одетые люди, большинство рабочих, много женщин и подростков.

— Расходись, господа! — вполголоса говорил фельдфебель. Он ходил вдоль фронта, отодвигая людей от солдат руками и плечом, стараясь не видеть человеческих лиц.

— Почему вы не пускаете? — спрашивали его.

— Куда?

— К царю!

Фельдфебель на секунду остановился и с чувством, похожим на уныние, воскликнул:

— Да я же говорю — нет его!

— Царя нет?

— Ну да! Сказано вам нет, и — ступайте!

— Совсем нет царя? — настойчиво допрашивал иронический голос.

Фельдфебель снова остановился, поднял руку.

— За такие слова — берегись!

И другим тоном объяснил:

— В городе — нет его!

Из толпы ответили:

— Нигде нет!

— Кончился!

— Расстреляли вы его, дьяволы!

— Вы думали — народ убиваете?

— Народ — не убьешь! Его на все хватит...

— Вы царя убили, — понимаете?

— Отойди, господа! Не разговаривай!

— Ты кто? Солдат? Что такое — солдат?

В другом месте старичок с бородкой клином воодушевленно говорил солдатам:

— Вы — люди, мы — тоже! Сейчас вы в шинелях, завтра — в кафтанах. Работать захотите, есть понадобится. Работы нет, есть нечего. Придется и вам, ребята, так же вот, как мы. Стрелять, значит, в вас надо будет? Убивать за то, что голодные будете, а?

Солдатам холодно. Они переминались с ноги на ногу, били подошвами о камни мостовой, терли уши, перебрасывая ружья из руки в руку. Слушая речи, вздыхали, двигали глазами вверх и вниз, чмокали озябшими губами,

сморкались. Лица, посиневшие от холода, однообразно унылы, туповаты, солдатишки — мелкие, в рост своих винтовок с примкнутыми штыками, — одиннадцатая рота 144-го Псковского полка. Некоторые из них, прищуриваясь, как бы целились во что-то, крепко стиснув зубы, должно быть, с трудом сдерживая злобу против массы людей, ради которой приходится мерзнуть. От их серой, скучной линии веяло усталостью, тоской.

Люди, поддаваясь толчкам сзади, порою толкали солдат.

— Тиша! — негромко откликнулся на толчки человек в серой шинели. Толпа все более горячо кричала им что-то. Солдаты слушали мигая, лица кривились неопределенными гримасами, и нечто жалкое, робкое являлось на них.

— Не трог ружо! — крикнул один из них молодому парню в мохнатой шапке. А тот тыкал солдата пальцем в грудь и говорил:

— Ты солдат, а не палач. Тебя позвали защищать Россию от врагов, а заставляют расстреливать народ... Пойми! Народ — это и есть Россия!

— Мы — не стрелям! — ответил солдат.

— Гляди — стоит Россия, русский народ! Он желает видеть своего царя...

Кто-то перебил речь, крикнув:

— Не желает!

— Что в том худого, что народ захотел поговорить с царем о своих делах? Ну, скажи, а?

— Не знаю я! — сказал солдат, сплевывая.

Сосед его добавил:

— Не велено нам разговаривать...

Уныло вздохнул и опустил глаза.

Один солдатик вдруг ласково спросил стоявшего перед ним:

— Земляк, — не рязанский будете?

— Псковский. А что?

— Так. Я — рязанский...

И, широко улыбнувшись, зябко передернул плечами.

Люди колыхались перед ровной серой стеной, бились об нее, как волны реки о камни берега. Отхлынув, снова возвращались. Едва ли многие понимали, зачем они

здесь, чего хотят и ждут? Ясно сознанный цели, определенного намерения не чувствовалось. Было горькое чувство обиды, возмущения, у многих — желание мести, это всех связывало, удерживало на улице, но не на кого было излить эти чувства, некому — мстить... Солдаты не возбуждали злобы, не раздражали — они были просто тупы, несчастны, иззябли, многие не могли сдержать дрожи в теле, тряслись, стучали зубами.

— С шести часов утра стоим! — говорили они. — Просто беда!

— Ложись и — помирай...

— Уйти бы вам, а? И мы бы в казармы, в тепло пошли...

— Чего вы беспокоитесь? Чего ждете? — говорил фельдфебель.

Его слова, солидное лицо и серьезный, уверенный тон охлаждали людей. Во всем, что он говорил, был как бы особый смысл, более глубокий, чем его простые слова.

— Нечего ждать... Только войско из-за вас страдает...

— Стрелять будете в нас? — спросил его молодой человек в башлыке.

Фельдфебель помолчал и спокойно ответил:

— Прикажуг — будем!

Это вызвало взрыв укоризненных замечаний, ругательств, насмешек.

— За что? За что? — спрашивал громче всех высокий рыжий человек.

— Не слушаете приказаний начальства! — объяснил фельдфебель, потирая ухо.

Солдаты слушали говор толпы и уныло мигали. Один тихо воскликнул:

— Горячего бы чего-нибудь теперь!..

— Крови моей — хочешь? — спросил его чей-то злой, тоскливый голос.

— Я — не зверь! — угрюмо и обиженно отозвался солдат.

Много глаз смотрели в широкое, приплюснутое лицо длинной линии солдат с холодным, молчаливым любопытством, с презрением, гадливостью. Но большинство пыталось разогреть их огнем своего возбуждения, пошевелить что-то в крепко сжатых казармою сердцах, в го-

ловах, засоренных хламом казенной выучки. Большинство людей хотело что-нибудь делать, как-нибудь воплотить свои чувства и мысли в жизнь и упрямо билось об эти серые, холодные камни, желавшие одного — согреть свои тела.

Все горячее звучали речи, все более яркие становились слова.

— Солдаты! — говорил плотный мужчина, с большой бородой и голубыми глазами. — Вы дети русского народа. Обеднял народ, забыт он, оставлен без защиты, без работы и хлеба. Вот он пошел сегодня просить царя о помощи, а царь велит вам стрелять в него, убивать. У Троицкого моста — стреляли, убили не меньше сотни. Солдаты! Народ — отцы и братья ваши — хлопочет не только за себя, — а и за вас. Вас ставят против народа, толкают на отцеубийство, братоубийство. Подумайте! Разве вы не понимаете, что против себя идете?

Этот голос, спокойный и ровный, хорошее лицо и седые волосы бороды, весь облик человека и его простые, верные слова, видимо, волновали солдат. Опуская глаза перед его взглядом, они слушали внимательно, иной, покачивая головою, вздыхал, другие хмурили брови, оглядывались, кто-то негромко посоветовал:

— Отойди, — офицер услышит!

Офицер, высокий, белобрысый, с большими усами, медленно шел вдоль фронта и, натягивая на правую руку перчатку, сквозь зубы говорил:

— Ра-азайдись! Па-ашел прочь! Что? Пагавари, — я тебе пагаварю!..

Лицо у него было толстое, красное, глаза круглые, светлые, но без блеска. Он шел не торопясь, твердо ударя ногами в землю, но с его приходом время полетело быстрее, точно каждая секунда торопилась исчезнуть, боясь наполниться чем-то оскорбляющим, гнусным. За ним точно вытягивалась невидимая линейка, равняя фронт солдат, они подбирали животы, выпячивали груди, поглядывали на носки сапог. Некоторые из них указывали людям глазами на офицера и делали сердитые гримасы. Остановясь на фланге, офицер крикнул:

— Смирно-о!

Солдаты всколыхнулись и замерли.

— Приказываю разойтись! — сказал офицер и не торопясь вынул из ножен шашку.

Разойтись было физически невозможно, — толпа густо залила всю маленькую площадь, а из улицы, в тыл ей, все шел и шел народ.

На офицера смотрели с ненавистью, он слышал насмешки, ругательства, но стоял под их ударами твердо, неподвижно. Его взгляд мертво осматривал роту, рыжие брови чуть-чуть вздрагивали. Толпа сильнее зашумела, ее, видимо, раздражало это спокойствие.

— Этот — скомандует!

— Он без команды готов рубить...

— Ишь, вытащил сеledку-то...

— Эй, барин! Убивать — готов?

Разрастался буйный задор, являлось чувство беззаботной удалости, крики звучали громче, насмешки — резче.

Фельдфебель взглянул на офицера, вздрогнул, побледнел и тоже быстро вынул саблю.

Вдруг раздалось зловещее пение рожка. Публика смотрела на горниста — он так странно надул щеки и выкатил глаза, что казалось — лицо его сейчас лопнет, рожок дрожал в его руке и пел слишком долго. Люди заглушили гнусавый, медный крик громким свистом, воем, визгом, возгласами проклятий, словами укоров, стонами тоскливого бессилия, криками отчаяния и удалства, вызванного ощущением возможности умереть в следующий миг и невозможностью избежать смерти. Уйти от нее было некуда. Несколько темных фигур бросились на землю и прижались к ней, иные закрывали руками лица, а седобородый человек, распахнув на груди пальто, выдвинулся вперед всех, глядя на солдат голубыми глазами и говоря им что-то утопавшее в хаосе криков.

Солдаты взмахнули ружьями, взяв на прицел, и все оледенели в однообразной, сторожкой позе, вытянув к толпе штыки.

Было видно, что линия штыков висела в воздухе беспокойно, неровно, — одни слишком поднялись вверх, другие наклонились вниз, лишь немногие смотрели прямо в груди людей, и все они казались мягкими, дрожали и точно таяли, сгибались.

Чей-то голос громко, с ужасом и отвращением крикнул:

— Что вы делаете? Убийцы!

Штыки сильно и неровно дрогнули, испуганно сорвался залп, люди покачнувшись назад, отброшенные звуком, ударами пуль, падениями мертвых и раненых. Некоторые стали молча прыгать через решетку сада. Брызнул еще залп. И еще.

Мальчик, застигнутый пулею на решетке сада, вдруг перегнулся и повис на ней вниз головой. Высокая, стройная женщина с пышными волосами тихо ахнула и мягко упала около него.

— Ах вы, проклятые! — крикнул кто-то.

Стало просторней и тише. Задние убегали в улицы, во дворы, толпа тяжело отступала, повинаясь невидимым толчкам. Между ею и солдатами образовалось несколько сажен земли, сплошь покрытой телами. Одни из них, вставая, быстро отбегали к людям, другие поднимались с тяжелыми усилиями, оставляя за собой пятна крови, они, шатаясь, тоже куда-то шли, и кровь текла вслед за ними. Много людей лежало неподвижно, вверх лицом и вниз и на боку, но все вытянувшись, в странном напряжении тела, схваченного смертью и точно вырывавшегося из рук ее...

Пахло кровью. Запах этот ее напоминал теплое, солонватое дыхание моря вечером, после жаркого дня, он был нездоров, пьянил и возбуждал скверную жажду обонять его долго и много. Он гадко развращает воображение, как это знают мясники, солдаты и другие убийцы по ремеслу.

Толпа, отступая, ахала, проклятия, ругательства и крики боли сливались в пестрый вихрь со свистом, уханьем и стонами, солдаты стояли твердо и были так же неподвижны, как мертвые. Лица у них посерели и губы плотно сжались, точно все эти люди тоже хотели кричать и свистеть, но не решались, сдерживались. Они смотрели прямо перед собой широко открытыми глазами и уже не мигали. В этом взгляде не было заметно что-либо человеческое, казалось, что они не видят ничего, эти опустошенные, мутные точки на серых, вытянутых лицах. Не хотят видеть, может быть, тайно боятся, что, увидав теплую кровь, пролитую ими, еще захотят пролить ее. Ружья дрожали в их руках, штыки колебались, сверлили

воздух. Но эта дрожь тела не могла разбудить тупого бесстрастия в грудях людей, сердца которых были погашены гнетом насилия над волей, мозги туго оклеены противной, гнилой ложью. С земли поднялся бородастый голубоглазый человек и снова начал говорить рыдающим голосом, весь вздрагивая:

— Меня — не убили. Это потому, что я говорил вам святую правду...

Толпа снова угрюмо и медленно подвигалась вперед, убирая мертвых и раненых. Несколько человек встало рядом с тем, который говорил солдатам, и тоже, перебивая его речь, кричали, уговаривали, упрекали, беззлобно, с тоской и состраданием. В голосах все еще звучала наивная вера в победу правдивого слова, желание доказать бессмысленные и безумные жестокости, внушить сознание тягостной ошибки. Старались и хотели заставить солдат понять позор и гадость их невольной роли...

Офицер вынул из чехла револьвер, внимательно осмотрел его и пошел к этой группе людей. Она сторонилась от него не спеша, как сторонятся от камня, который не быстро катится с горы. Голубоглазый бородастый человек не двигался, встречая офицера словами горячей укоризны, широким жестом указывая на кровь вокруг.

— Чем это оправдать, подумайте? Нет оправдания!

Офицер встал перед ним, озабоченно насупил брови, вытянул руку. Выстрела не было слышно, был виден дым, он окружил руку убийцы раз, два и три. После третьего раза человек согнул ноги, запрокинулся назад, взмахивая правой рукой, и упал. К убийце бросились со всех сторон, — он отступал, махая шашкой, совал ко всем свой револьвер... Какой-то подросток упал под ноги ему, он его ткнул шашкой в живот. Кричал ревущим голосом, прыгал во все стороны, как упрямая лошадь. Кто-то бросил ему шапкой в лицо, бросали комьями окровавленного снега. К нему подбежал фельдфебель и несколько солдат, выставив вперед штыки, — тогда нападавшие разбежались. Победитель грозил саблём вслед им, а потом вдруг опустил ее и еще раз воткнул в тело подростка, ползавшего у его ног, теряя кровь.

И снова гнусаво запел рожок. Люди быстро очищали площадь пред этим звуком, а он тонко извивался в возду-

хе и точно дочерчивал пустые глаза солдат, храбрость офицера, его красную на конце шашку, растрепавшиеся усы...

Живой, красный цвет крови раздражал глаза и притягивал их к себе, возбуждая хмельное и злобное желание видеть его больше, видеть всюду. Солдаты как-то насторожились, двигали шеями и, кажется, искали глазами еще живых целей для своих пуль...

Офицер стоял на фланге и, взмахивая шашкой, что-то кричал, отрывисто, гневно, дико.

С разных концов в ответ ему неслись крики:

— Палач!

— Мерзавец!

Он начал приводить в порядок свои усы.

Раздался еще залп, другой...

Улицы были набиты народом, как мешки зерном. Здесь было меньше рабочих, преобладали мелкие торговцы, служащие. Уже некоторые из них видели кровь и трупы, иных била полиция. Их вывела из домов на улицу тревога, и они всюду сеяли ее, преувеличивая внешний ужас дня. Мужчины, женщины, подростки — все тревожно оглядывались, прислушиваясь ожидали. Рассказывали друг другу об убийствах, охали, ругались, расспрашивали легко раненых рабочих, порою понижали голоса до шопота и долго говорили друг другу что-то тайное. Никто не понимал, что надо делать, и никто не уходил домой. Чувствовали и догадывались, что за этими убийствами есть еще что-то важное, более глубокое и трагическое для них, чем сотни убитых и раненых людей, чужих им.

До этого дня они жили почти безотчетно, какими-то неясными, неизвестно когда, незаметно как сложившимися представлениями о власти, законе, начальстве, о своих правах. Бесформенность этих представлений не мешала им опутать мозг густой, плотной сетью, покрыть его толстой, скользкой коркой; люди привыкли думать, что в жизни есть некая сила, призванная и способная защищать их, есть — закон. Эта привычка давала уверенность в безопасности и ограждала от беспокойных мыслей. С нею жилось недурно, и, несмотря на то, что жизнь

десятками мелких уколов, царапин и толчков, а иногда серьезными ударами, тревожила эти туманные представления, они были крепки, вязки и сохраняли свою мертвую цельность, быстро заращая все трещины и царапины.

А сегодня сразу мозг обнажился, вздрогнул и грудь наполнилась тревогой, холодом. Все устоявшееся, привычное опрокинулось, разбилось, исчезло. Все, более или менее ясно, чувствовали себя тоскливо и страшно одинокими, беззащитными пред силой цинической и жестокой, не знающей ни права, ни закона. В ее руках были все жизни, и она могла безотчетно сеять смерть в массе людей, могла уничтожать живых, как ей хотелось и сколько ей было угодно. Никто не мог ее сдержать. Ни с кем она не хотела говорить. Была всевластна и спокойно показывала безмерность своей власти, бессмысленно заваливая улицы города трупами, заливая их кровью. Ее кровавый, безумный каприз был ясно виден. Он внушал единодушную тревогу, едкий страх, опустошавший душу. И настойчиво будил разум, понуждая его создавать планы новой защиты личности, новых построений для охраны жизни.

Низко опустив голову, качая окровавленными руками, шел какой-то плотный, коренастый человек. Его пальто спереди было обильно залито кровью.

— Вы ранены? — спросили его.

— Нет.

— А кровь?

— Не моя это! — не останавливаясь, ответил он. И вдруг остановился, оглянулся и заговорил странно громко:

— Это не моя кровь, господа, — это кровь тех, которые верили!..

Не кончив, он двинулся дальше, снова опустив голову.

В толпу, помахивая нагайками, въехал отряд конных. От них отскакивали во все стороны, давя друг друга и налезая на стены. Солдаты были пьяны, они бессмысленно улыбались, качаясь в седлах, иногда, как бы нехотя, били нагайками по головам и плечам. Один ушибленный упал, но тотчас, вскочив на ноги, спросил:

— За что? Э-эх ты, зверь!

Солдат быстро схватил из-за плеча винтовку и выстрелил в него с руки, не останавливая лошадь. Человек снова упал. Солдат засмеялся.

— Что делают? — в страхе кричал почтенный, прилично одетый господин, обращая во все стороны искаженное лицо. — Господа! Вы видите?

Непрерывным потоком струился глухой, возбужденный шум голосов, в муках страха, в тревоге отчаяния — рождалось что-то медленно и незаметно объединявшее воскресшую из мертвых, не привыкшую работать, неумелую мысль.

Но находились люди мира.

— Позвольте, зачем он обругал солдата?

— Солдат — ударил!

— Он должен был посторониться!

В углублении ворот две женщины и студент перевязывали простреленную руку рабочего. Он морщился, хмуро поглядывая вокруг, и говорил окружающим:

— Никаких тайных намерений не было у нас, об этом говорят только подлецы да сыщики. Мы шли открыто. Министры знали, зачем идем, у них есть копии нашей петиции. Сказали бы, подлецы, что, мол, нельзя, не идите. Имели время сказать нам это, — мы не сегодня собрались... Все знали — и полиция и министры, — что мы пойдем. Разбойники...

— О чем вы просили? — серьезно, вдумчиво осведомился седой и сухонький старик.

— Просили, чтобы царь выборных позвал от народа и с ними правил делами, а не с чиновниками. Разорили Россию, сволочи, ограбили всех.

— Действительно... контроль необходим! — заметил старичок.

Рабочему перевязали рану, осторожно спустили рукав платья.

— Спасибо, господа! Я говорил товарищам — зря мы идем! Не будет толку... Теперь — доказано это.

Он осторожно засунул руку между пуговицами пальто и не спеша пошел прочь.

— Вы слышите, как они рассуждают? Это, батенька мой...

— Н-да-а! Хотя все-таки такую бойню устраивать...

— Сегодня — его, завтра — меня могут...

— Н-да-а...

В другом месте горячо спорили:

— Он мог не знать!

— Тогда — зачем он?

Но люди, которые пробовали воскресить мертвеца, были уже редки, незаметны. Они возбуждали озлобление своими попытками воскресить умерший призрак. На них набрасывались, как на врагов, и они испуганно исчезали.

В улицу въехала, стискивая людей, батарея артиллерии. Солдаты сидели на лошадях и передках, задумчиво глядя вперед, через головы людей. Толпа мялась, уступая дорогу, окутывалась угрюмым молчанием. Звенела упряжь, грохотали ящики, пушки, кивая хоботами, внимательно смотрели в землю, как бы нюхая ее. Этот поезд напоминал о похоронах.

Где-то раздался треск выстрелов. Люди замерли, прислушались. Кто-то тихо сказал:

— Еще!..

И вдруг по улице пробежал внезапный трепет оживления.

— Где, где?

— На острове... На Васильевском...

— Вы слышите?

— Да неужели?

— Честное слово! Оружейный магазин захватили...

— Ого?

— Спилили телеграфные столбы, построили баррикаду...

— Н-да-а... вот как?

— Много их?

— Много!

— Эх, — хоть отплатили бы за кровь невинную!..

— Идем туда!

— Иван Иванович, идемте, а?

— Н-да-а... это, знаете...

Над толпой выросла фигура человека, и в сумраке звучно загудел призыв:

— Кто хочет драться за свободу? За народ, за право человека на жизнь, на труд? Кто хочет умереть в бою за будущее — иди на помощь!

Одни шли к нему, и среди улицы образовалось плотное ядро густо сомкнутых тел, другие спешно отходили куда-то прочь.

— Вы видите, как раздражен народ.

— Вполне законно, вполне!

— Безумства будут... ай-ай-ай!

Люди таяли в сумраке вечера, расходились по домам и несли с собой незнакомую им тревогу, пугающее ощущение одиночества, полупроснувшееся сознание драмы своей жизни, бесправной, бессмысленной жизни рабов... И готовность немедленно приспособиться ко всему, что будет выгодно, удобно...

Становилось страшно. Тьма разрывала связь между людьми, — слабую связь внешнего интереса. И каждый, кто не имел огня в груди, спешил скорее в свой привычный угол.

Темнело. Но огни не загорались...

— Драгуны! — крикнул хриплый голос.

Из-за угла вдруг вывернулся небольшой конный отряд, несколько секунд лошади нерешительно топтались на месте и вдруг помчались на людей. Солдаты странно завывали, заревели, и было в этом звуке что-то нечеловеческое, темное, слепое, непонятно близкое тоскливому отчаянию. Во тьме и люди и лошади стали мельче и черней. Шашки блестели тускло, криков было меньше, и больше слышалось ударов.

— Бей их чем попало, товарищи! Кровь за кровь, — бей!

— Беги!..

— Не смей, солдат! Я тебе не мужик!

— Товарищи, камнями!

Опрокидывая маленькие темные фигуры, лошади прыгали, ржали, храпели, звенела сталь, раздавалась команда.

— От-деление...

Пела труба, торопливо и нервно. Бежали люди, толкая друг друга, падая. Улица пустела, а посреди нее на земле явились темные бугры, и где-то в глубине, за поворотом, раздавался тяжелый, быстрый топот лошадей...

— Вы ранены, товарищ?

— Отсекли ухо... кажется...

— Что сделаешь с голыми руками!..

В пустой улице гулко отдалось эхо выстрелов.

— Не устали еще, — дьяволы!

Молчание. Торопливые шаги. Так странно, что мало звуков и нет движения в этой улице. Отовсюду несется глухой, влажный гул, — точно море влилось в город.

Где-то близко тихий стон колеблется во тьме... Кто-то бежит и дышит тяжело, прерывисто.

Тревожный вопрос:

— Что, ранен?.. Яков?

— Постой, ничего! — отвечает хриплый голос.

Из-за угла, где скрылись драгуны, снова является толпа и густо, чернó течет во всю ширину улицы. Некто, идущий впереди и неотделимый от толпы во тьме, говорит:

— Сегодня с нас взяли кровью обязательство — отныне мы должны быть гражданами.

Нервно всхлипнув, его перебил другой голос:

— Да, — показали себя отцы наши!

И кто-то, угрожая, произнес:

— Мы не забудем этот день!

Шли быстро, плотной кучей, говорили многие сразу, голоса хаотично сливались в угрюмый, темный гул. Порою кто-нибудь, возвысив голос до крика, заглушал на минуту всех.

— Сколько перебито людей!

— За что?

— Нет! Нам невозможно забыть этот день!..

Со стороны раздался надорванный и хриплый возглас, зловещий, как пророчество.

— Забудете, рабы! Что вам — чужая кровь?

— Молчи, Яков...

Стало темнее и тише. Люди шли, оглядываясь в сторону голоса, ворчали.

Из окна дома на улицу осторожно падал желтый свет. В пятне его у фонаря были видны двое черных людей. Один, сидя на земле, опирался спиной о фонарь, другой, наклонясь над ним, должно быть, хотел поднять его. И снова кто-то из них сказал, глухо и грустно:

— Рабы...

МАТЬ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Каждый день над рабочей слободкой, в дымном, масляном воздухе, дрожал и ревел фабричный гудок, и, послушные зову, из маленьких серых домов выбегали на улицу, точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощеной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных, квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами. Раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух, а встречу людям плыли иные звуки — тяжелая возня машин, ворчание пара. Угрюмо и строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки.

Вечером, когда садилось солнце и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, — фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость, — на сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых.

День проглочен фабрикой, машины высосали из мускулов людей столько силы, сколько им было нужно. День

бесследно вычеркнут из жизни, человек сделал еще шаг к своей могиле, но он видел близко перед собой наслаждение отдыха, радости дымного кабака и — был доволен.

По праздникам спали часов до десяти, потом люди солидные и женатые одевались в свое лучшее платье и шли слушать обедню, попутно ругая молодежь за ее равнодушие к церкви. Из церкви возвращались домой, ели пироги и снова ложились спать — до вечера.

Усталость, накопленная годами, лишала людей аппетита, и для того, чтобы есть, много пили, раздражая желудок острыми ожогами водки.

Вечером лениво гуляли по улицам, и тот, кто имел галоши, надевал их, если даже было сухо, а имея дождевой зонтик, носил его с собой, хотя бы светило солнце.

Встречаясь друг с другом, говорили о фабрике, о машинах, ругали мастеров, — говорили и думали только о том, что связано с работой. Одинокие искры неумелой, бессильной мысли едва мерцали в скучном однообразии дней. Возвращаясь домой, ссорились с женами и часто били их, не щадя кулаков. Молодежь сидела в трактирах или устраивала вечеринки друг у друга, играла на гармониках, пела похабные, некрасивые песни, танцевала, сквернословила и пила. Истомленные трудом люди пьянели быстро, и во всех грудях пробуждалось непонятное, болезненное раздражение. Оно требовало выхода. И, цепко хватаясь за каждую возможность разрядить это тревожное чувство, люди, из-за пустяков, бросались друг на друга с озлоблением зверей. Возникали кровавые драки. Порою они кончались тяжкими увечьями, изредка — убийством.

В отношениях людей всего больше было чувства подстерегающей злобы, оно было такое же застарелое, как и неизлечимая усталость мускулов. Люди рождались с этою болезнью души, наследуя ее от отцов, и она черною тенью сопровождала их до могилы, побуждая в течение жизни к ряду поступков, отвратительных своей бесцельной жестокостью.

По праздникам молодежь являлась домой поздно ночью в разорванной одежде, в грязи и пыли, с разбитыми лицами, злорадно хвастаясь нанесенными товари-

шам ударами, или оскорбленная, в гнев или слезах обиды, пьяная и жалкая, несчастная и противная. Иногда парней приводили домой матери, отцы. Они отыскивали их где-нибудь под забором на улице или в кабаках бесчувственно пьяными, скверно ругали, били кулаками мягкие, разжиженные водкой тела детей, потом более или менее заботливо укладывали их спать, чтобы рано утром, когда в воздухе темным ручьем потечет сердитый рез гудка, разбудить их для работы.

Ругали и били детей тяжело, но пьянство и драки молодежи казались старикам вполне законным явлением, — когда отцы были молоды, они тоже пили и дрались, их тоже били матери и отцы. Жизнь всегда была такова, — она ровно и медленно текла куда-то мутным потоком годы и годы и вся была связана крепкими, давними привычками думать и делать одно и то же изо дня в день. И никто не имел желания попытаться изменить ее.

Иногда в слободку приходили откуда-то посторонние люди. Сначала они обращали на себя внимание просто тем, что были чужие, затем возбуждали к себе легкий, внешний интерес рассказами о местах, где они работали, потом новизна стиралась с них, к ним привыкали, и они становились незаметными. Из их рассказов было ясно: жизнь рабочего везде одинакова. А если это так — о чем же разговаривать?

Но иногда некоторые из них говорили что-то неслыханное в слободке. С ними не спорили, но слушали их странные речи недоверчиво. Эти речи у одних возбуждали слепое раздражение, у других смутную тревогу, третьих беспокоила легкая тень надежды на что-то неясное, и они начинали больше пить, чтобы изгнать ненужную, мешающую тревогу.

Заметив в чужом необычное, слобожане долго не могли забыть ему это и относились к человеку, не похожему на них, с безотчетным опасением. Они точно боялись, что человек бросит в жизнь что-нибудь такое, что нарушит ее уныло правильный ход, хотя тяжелый, но спокойный. Люди привыкли, чтобы жизнь давила их всегда с одинаковой силой и, не ожидая никаких изменений к лучшему, считали все изменения способными только увеличить гнет.

От людей, которые говорили новое, слобожане молча сторонились. Тогда эти люди исчезали, снова уходя куда-то, а оставаясь на фабрике, они жили в стороне, если не умели слиться в одно целое с однообразной массой слобожан...

Пожив такой жизнью лет пятьдесят — человек умирал.

II

Так жил и Михаил Власов, слесарь, волосатый, угрюмый, с маленькими глазами; они смотрели из-под густых бровей подозрительно, с нехорошей усмешкой. Лучший слесарь на фабрике и первый силач в слободке, он держался с начальством грубо и поэтому зарабатывал мало, каждый праздник кого-нибудь избивал, и все его не любили, боялись. Его тоже пробовали бить, но безуспешно. Когда Власов видел, что на него идут люди, он хватал в руки камень, доску, кусок железа и, широко расставив ноги, молча ожидал врагов. Лицо его, заросшее от глаз до шеи черной бородой, и волосатые руки внушали всем страх. Особенно боялись его глаз, — маленькие, острые, они сверлили людей, точно стальные буравчики, и каждый, кто встречался с их взглядом, чувствовал перед собой дикую силу, недоступную страху, готовую бить беспощадно.

— Ну, расходись, сволочь! — глухо говорил он. Сквозь густые волосы на его лице сверкали крупные, желтые зубы. Люди расходились, ругая его трусливо воющей руганью.

— Сволочь! — кратко говорил он вслед им, и глаза его блестели острой, как шило, усмешкой. Потом, держа голову вызывающе прямо, он шел следом за ними и вызывал:

— Ну, — кто смерти хочет?

Никто не хотел.

Говорил он мало, и «сволочь» — было его любимое слово. Им он называл начальство фабрики и полицию, с ним он обращался к жене.

— Ты, сволочь, не видишь — штаны разорвались!

Когда Павлу, сыну его, было четырнадцать лет — Власову захотелось оттащить его за волосы. Но Павел взял в руки тяжелый молоток и кратко сказал:

— Не тронь...

— Чего? — спросил отец, надвигаясь на высокую, тонкую фигуру сына, как тень на березу.

— Будет! — сказал Павел. — Больше я не дамся...

И взмахнул молотком.

Отец посмотрел на него, спрятав за спину мохнатые руки и, усмехаясь, проговорил:

— Ладно...

Потом, тяжело вздохнув, добавил:

— Эх ты, сволочь...

Вскоре после этого он сказал жене:

— Денег с меня больше не спрашивай, тебя Пашка прокормит...

— А ты всё пропивать будешь? — осмелилась она спросить.

— Не твое дело, сволочь! Я любовницу заведу...

Любовницы он не завел, но с того времени, почти два года, вплоть до смерти своей, не замечал сына и не говорил с ним.

Была у него собака, такая же большая и мохнатая, как сам он. Она каждый день провожала его на фабрику и каждый вечер ждала у ворот. По праздникам Власов отправлялся ходить по кабакам. Ходил он молча и, точно желая найти кого-то, царапал своими глазами лица людей. И собака весь день ходила за ним, опустив большой, пышный хвост. Возвращаясь домой пьяный, он садился ужинать и кормил собаку из своей чашки. Он ее не бил, не ругал, но и не ласкал никогда. После ужина он сбрасывал посуду со стола на пол, если жена не успевала во-время убрать ее, ставил перед собой бутылку водки и, опираясь спиной о стену, глухим голосом, наводившим тоску, выл песню, широко открывая рот и закрыв глаза. Заунывные, некрасивые звуки путались в его ушах, сбивая с них хлебные крошки, слесарь расправлял волосы бороды и усов толстыми пальцами и — пел. Слова песни были какие-то непонятные, растянутые, мелодия напоминала о зимнем вое волков. Пел он до поры, пока в бутылке была водка, а потом валился боком на лавку или

опускал голову на стол и так спал до гудка. Собака лежала рядом с ним.

Умер он от грыжи. Дней пять, весь почерневший, он ворочался на постели, плотно закрыв глаза, и скрипел зубами. Иногда говорил жене:

— Дай мышьяку, отрави...

Доктор велел поставить Михаилу припарки, но сказал, что необходима операция и больного нужно сегодня же везти в больницу.

— Пошел к чорту, — я сам умру!.. Сволочь! — прохрипел Михаил.

А когда доктор ушел и жена со слезами стала уговаривать его согласиться на операцию, он сжал кулак и, погрозив ей, заявил:

— Выздоровлю — тебе хуже будет!

Он умер утром, в те минуты, когда гудок звал на работу. В гробу лежал с открытым ртом, но брови у него были сердито нахмурены. Хоронили его жена, сын, собака, старый пьяница и вор Данила Весовщиков, прогнанный с фабрики, и несколько слободских нищих. Жена плакала тихо и немного, Павел — не плакал. Слобожане, встречая на улице гроб, останавливались и, крестясь, говорили друг другу:

— Чай, Палагея-то рада-радешенька, что помер он...

Некоторые поправляли:

— Не помер, а — издох...

Когда гроб зарыли, — люди ушли, а собака осталась и, сидя на свежей земле, долго молча нюхала могилу. Через несколько дней кто-то убил ее...

III

Спустя недели две после смерти отца, в воскресенье, Павел Власов пришел домой сильно пьяный. Качаясь, он пролез в передний угол и, ударив кулаком по столу, как это делал отец, крикнул матери:

— Ужинать!

Мать подошла к нему, села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь. Он, упираясь рукой в плечо ей, сопротивлялся и кричал:

— Мамаша, — живо!..

— Дурачок ты! — печально и ласково сказала мать, одолевая его сопротивление.

— И — курить буду! Дай мне отцову трубку... — тяжело двигая непослушным языком, бормотал Павел.

Он напился впервые. Водка ослабила его тело, но не погасила сознания, и в голове стучал вопрос:

«Пьян? Пьян?»

Его смущали ласки матери и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был.

А мать гладила рукой его потные, спутанные волосы и тихо говорила:

— Не надо бы этого тебе...

Его начало тошнить. После бурного припадка рвоты мать уложила его в постель, накрыв бледный лоб мокрым полотенцем. Он немного отрезвел, но все под ним и вокруг него волнообразно качалось, у него отяжелели веки и, ощущая во рту скверный, горький вкус, он смотрел сквозь ресницы на большое лицо матери и бессвязно думал:

«Видно, рано еще мне. Другие пьют и — ничего, а меня тошнит...»

Откуда-то издали доносился мягкий голос матери:

— Каким кормильцем ты будешь мне, если пить начнешь...

Плотно закрыв глаза, он сказал:

— Все пьют...

Мать тяжело вздохнула. Он был прав. Она сама знала, что кроме кабака, людям негде почерпнуть радости. Но все-таки сказала:

— А ты — не пей! За тебя, сколько надо, отец выпил. И меня он намучил довольно... так уж ты бы пожалел мать-то, а?

Слушая печальные, мягкие слова, Павел вспоминал, что при жизни отца мать была незаметна в доме, молчалива и всегда жила в тревожном ожидании побоев. Избегая встреч с отцом, он мало бывал дома последнее время, отвык от матери и теперь, постепенно трезвея, пристально смотрел на нее.

Была она высокая, немного сутулая, ее тело, разбитое долгой работой и побоями мужа, двигалось бесшумно и как-то боком, точно она всегда боялась задеть что-то. Широкое, овальное лицо, изрезанное морщинами и одутловатое, освещалось темными глазами, тревожно-грустными, как у большинства женщин в слободке. Над правой бровью был глубокий шрам, он немного поднимал бровь кверху, казалось, что и правое ухо у нее выше левого, это придавало ее лицу такое выражение, как будто она всегда пугливо прислушивалась. В густых, темных волосах блестели седые пряди. Вся она была мягкая, печальная, покорная...

И по щекам ее медленно текли слезы.

— Не плачь! — тихо попросил сын. — Дай мне пить.

— Я тебе воды со льдом принесу...

Но когда она воротилась, он уже заснул. Она стояла над ним минуту, ковш в ее руке дрожал, и лед тихо бился о жесть. Поставив ковш на стол, она молча опустилась на колени перед образами. В стекла окон бились звуки пьяной жизни. Во тьме и сырости осеннего вечера визжала гармоника, кто-то громко пел, кто-то ругался гнилыми словами, тревожно звучали раздраженные, усталые голоса женщин...

Жизнь в маленьком доме Власовых потекла более тихо и спокойно, чем прежде, и несколько иначе, чем везде в слободе. Дом их стоял на краю слободы, у невысокого, но крутого спуска к болоту. Третью дома занимала кухня и отгороженная от нее тонкой переборкой маленькая комнатка, в которой спала мать. Остальные две трети — квадратная комната с двумя окнами; в одном углу ее — кровать Павла, в переднем — стол и две лавки. Несколько стульев, комод для белья, на нем маленькое зеркало, сундук с платьем, часы на стене и две иконы в углу — вот и все.

Павел сделал все, что надо молодому парню: купил гармонику, рубашку с накрахмаленной грудью, яркий галстук, галоши, трость и стал такой же, как все подростки его лет. Ходил на вечеринки, выучился танцевать кадрили и польку, по праздникам возвращался домой выпивши и всегда сильно страдал от водки. Наутро болела голова, мучила изжога, лицо было бледное, скучное.

Однажды мать спросила его:

— Ну что, весело тебе было вчера?

Он ответил с угрюмым раздражением:

— Тоска зеленая! Я лучше удить рыбу буду. Или — куплю себе ружье.

Работал он усердно, без прогулов и штрафов, был молчалив, и голубые, большие, как у матери, глаза его смотрели недовольно. Он не купил себе ружья и не стал удить рыбу, но заметно начал уклоняться с торной дороги всех: реже посещал вечеринки и хотя, по праздникам, куда-то уходил, но возвращался трезвый. Мать, зорко следя за ним, видела, что смуглое лицо сына становится острее, глаза смотрят все более серьезно и губы его сжались странно строго. Казалось, он молча сердится на что-то или его сосет болезнь. Раньше к нему заходили товарищи, теперь, не заставая его дома, они перестали являться. Матери было приятно видеть, что сын ее становится не похожим на фабричную молодежь, но когда она заметила, что он сосредоточенно и упрямо выплывает куда-то в сторону из темного потока жизни, — это вызвало в душе ее чувство смутного опасения.

— Ты, может, нездоров, Павлуша? — спрашивала она его иногда.

— Нет, я здоров! — отвечал он.

— Худой ты очень! — вздохнув, говорила мать.

Он начал приносить книги и старался читать их незаметно, а прочитав, куда-то прятал. Иногда он выписывал из книжек что-то на отдельную бумажку и тоже прятал ее...

Говорили они мало и мало видели друг друга. Утром он молча пил чай и уходил на работу, в полдень являлся обедать, за столом перекидывались незначительными словами, и снова он исчезал вплоть до вечера. А вечером тщательно умывался, ужинал и после долго читал свои книги. По праздникам уходил с утра, возвращался поздно ночью. Она знала, что он ходит в город, бывает там в театре, но к нему из города никто не приходил. Ей казалось, что с течением времени сын говорит все меньше, и, в то же время, она замечала, что порою он употребляет какие-то новые слова, непонятные ей, а привычные для нее, грубые и резкие выражения — выпадают из его речи. В поведении его явилось много мелочей, обращавших на

себя ее внимание: он бросил щегольство, стал больше заботиться о чистоте тела и платья, двигался свободнее, ловчей и, становясь наружно проще, мягче, возбуждал у матери тревожное внимание. И в отношении к матери было что-то новое: он иногда подметал пол в комнате, сам убирал по праздникам свою постель, вообще старался облегчить ее труд. Никто в слободе не делал этого...

Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел.

Матери понравилась картина, но она подумала:

«Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Все больше становилось книг на полке, красиво сделанной Павлу товарищем-столяром. Комната приняла приятный вид.

Он говорил ей «вы» и называл «мамаша», но иногда, вдруг, обращался к ней ласково:

— Ты, мать, пожалуйста, не беспокойся, я поздно ворочусь домой...

Ей это нравилось, в его словах она чувствовала что-то серьезное и крепкое.

Но росла ее тревога. Не становясь от времени яснее, она все более остро щекотала сердце предчувствием чего-то необычного. Порою у матери являлось недовольство сыном, она думала:

«Все люди — как люди, а он — как монах. Уж очень строг. Не по годам это...»

Иногда она думала:

«Может, он девицу себе завел какую-нибудь?»

Но возня с девицами требует денег, а он отдавал ей свой заработок почти весь.

Так шли недели, месяцы и незаметно прошло два года странной, молчаливой жизни, полной смутных дум и опасений, все возраставших.

IV

Однажды после ужина Павел опустил занавеску на окне, сел в угол и стал читать, повесив на стенку над своей головой жестяную лампу. Мать убрала посуду и, выйдя

из кухни, осторожно подошла к нему. Он поднял голову, вопросительно взглянул ей в лицо.

— Ничего, Паша, это я так! — поспешно сказала она и ушла, смущенно двигая бровями. Но, постояв среди кухни минуту неподвижно, задумчивая, озабоченная, она чисто вымыла руки и снова вышла к сыну.

— Хочу я спросить тебя, — тихонько сказала она, — что ты все читаешь?

Он сложил книжку.

— Ты — сядь, мамаша...

Мать грузно опустилась рядом с ним и выпрямилась, насторожилась, ожидая чего-то важного.

Не глядя на нее, негромко и почему-то очень сурово, Павел заговорил:

— Я читаю запрещенные книги. Их запрещают читать потому, что они говорят правду о нашей, рабочей жизни... Они печатаются тихонько, тайно, и если их у меня найдут — меня посадят в тюрьму, — в тюрьму за то, что я хочу знать правду. Поняла?

Ей вдруг стало трудно дышать. Широко открыв глаза, она смотрела на сына, он казался ей чуждым. У него был другой голос — ниже, гуще и звучнее. Он щипал пальцами тонкие, пушистые усы и странно, исподлобья смотрел куда-то в угол. Ей стало страшно за сына и жалко его.

— Зачем же ты это, Паша? — проговорила она.

Он поднял голову, взглянул на нее и негромко, спокойно ответил:

— Хочу знать правду.

Голос его звучал тихо, но твердо, глаза блестели упрямо. Она сердцем поняла, что сын ее обрек себя навсегда чему-то тайному и страшному. Все в жизни казалось ей неизбежным, она привыкла подчиняться не думая и теперь только заплакала тихонько, не находя слов в сердце, сжатом горем и тоской.

— Не плачь! — говорил Павел ласково и тихо, а ей казалось, что он прощается. — Подумай, какую жизнью мы живем? Тебе сорок лет, — а разве ты жила? Отец тебя бил, — я теперь-понимаю, что он на твоих боках вымещал свое горе, — горе своей жизни; оно давило его, а он не понимал — откуда оно? Он работал тридцать лет, начал

работать, когда вся фабрика помещалась в двух корпусах, а теперь их — семь!

Она слушала его со страхом и жадно. Глаза сына горели красиво и светло; опираясь грудью на стол, он подвинулся ближе к ней и говорил прямо в лицо, мокрое от слез, свою первую речь о правде, понятой им. Со всею силой юности и жаром ученика, гордого знаниями, свято верующего в их истину, он говорил о том, что было ясно для него, — говорил не столько для матери, сколько проверяя самого себя. Порою он останавливался, не находя слов, и тогда видел перед собой огорченное лицо, на котором тускло блестели затуманенные слезами, добрые глаза. Они смотрели со страхом, с недоумением. Ему было жалко мать, он начинал говорить снова, но уже о ней, о ее жизни.

— Какие радости ты знала? — спрашивал он. — Чем ты можешь помянуть прожитое?

Она слушала и печально качала головой, чувствуя что-то новое, неведомое ей, скорбное и радостное, — оно мягко ласкало ее наболевшее сердце. Такие речи о себе, о своей жизни она слышала впервые, и они будили в ней давно уснувшие, неясные думы, тихо раздували угасшие чувства смутного недовольства жизнью, — думы и чувства дальней молодости. Она говорила о жизни с подругами, говорила подолгу, обо всем, но все — и она сама — только жаловались, никто не объяснял, почему жизнь так тяжела и трудна. А вот теперь перед нею сидит ее сын, и то, что говорят его глаза, лицо, слова, — все это задевает за сердце, наполняя его чувством гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее страданиях, жалеет ее.

Матерей — не жалеют.

Она это знала. Все, что говорил сын о женской жизни, — была горькая, знакомая правда, и в груди у нее тихо трепетал клубок ощущений, все более согревавший ее незнакомой лаской.

— Что же ты хочешь делать? — спросила она, перебивая его речь.

— Учиться, а потом — учить других. Нам, рабочим, надо учиться. Мы должны узнать, должны понять — отчего жизнь так тяжела для нас.

Ей было сладко видеть, что его голубые глаза, всегда серьезные и строгие, теперь горели так мягко и ласково. На ее губах явилась довольная, тихая улыбка, хотя в морщинах щек еще дрожали слезы. В ней колебалось двойственное чувство гордости сыном, который так хорошо видит горе жизни, но она не могла забыть о его молодости и о том, что он говорит не так, как все, что он один решил вступить в спор с этой привычной для всех — и для нее — жизнью. Ей хотелось сказать ему: «Милый, что ты можешь сделать?»

Но она боялась помешать себе любоваться сыном, который вдруг открылся перед нею таким умным... хотя немного чужим для нее.

Павел видел улыбку на губах матери, внимание на лице, любовь в ее глазах, ему казалось, что он заставил ее понять свою правду, и юная гордость силою слова возвышала его веру в себя. Охваченный возбуждением, он говорил, то усмехаясь, то хмурия брови, порою в его словах звучала ненависть, и когда мать слышала ее звенящие, жесткие слова, она, пугаясь, качала головой и тихо спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

— Так! — отвечал он твердо и крепко. И рассказывал ей о людях, которые, желая добра народу, сеяли в нем правду, а за это враги жизни ловили их, как зверей, сажали в тюрьмы, посылали на каторгу...

— Я таких людей видел! — горячо воскликнул он. — Это лучшие люди на земле!

В ней эти люди возбуждали страх, она снова хотела спросить сына: «Так ли?»

Но не решалась и, замирая, слушала рассказы о людях, непонятных ей, научивших ее сына говорить и думать столь опасно для него. Наконец она сказала ему:

— Скоро светать будет, лег бы ты, уснул!

— Да, я сейчас лягу! — согласился он. И, наклонясь к ней, спросил: — Поняла ты меня?

— Поняла! — вздохнув, ответила она. Из глаз ее снова покатились слезы, и, всхлипнув, она добавила: — Пропадешь ты!

Он встал, прошелся по комнате, потом сказал:

— Ну, вот, ты теперь знаешь, что я делаю, куда хожу, я тебе все сказал! Я прошу тебя, мать, если ты меня любишь — не мешай мне!..

— Голубчик ты мой! — воскликнула она. — Может, — лучше бы для меня не знать ничего!

Он взял ее руку и крепко стиснул в своих.

Ее потрясло слово «мать», сказанное им с горячей силой, и это пожатие руки, новое и странное.

— Ничего я не буду делать! — прерывающимся голосом сказала она. — Только береги ты себя, береги!

Не зная, чего нужно беречься, она тоскливо прибавила:

— Худеешь ты все...

И, обняв его крепкое, стройное тело ласкающим теплым взглядом, заговорила торопливо и тихо:

— Бог с тобой! Живи как хочешь, не буду я тебе мешать. Только об одном прошу — не говори с людьми без страха! Опасаться надо людей — ненавидят все друг друга! Живут жадностью, живут завистью. Все рады зло сделать. Как начнешь ты их обличать да судить — возненавидят они тебя, погубят!

Сын стоял в дверях, слушая тоскливую речь, а когда мать кончила, он, улыбаясь, сказал:

— Люди плохи, да. Но когда я узнал, что на свете есть правда, — люди стали лучше!..

Он снова улыбнулся и продолжал:

— Сам не понимаю, как это вышло! С детства всех боялся, стал подрастать — начал ненавидеть, которых за подлость, которых — не знаю за что, так, просто! А теперь все для меня по-другому встали, — жалко всех, что ли? Не могу понять, но сердце стало мягче, когда узнал, что не все виноваты в грязи своей...

Он замолчал, точно прислушиваясь к чему-то в себе, потом негромко и вдумчиво сказал:

— Вот как дышит правда!

Она взглянула на него и тихо молвила:

— Опасно ты переменялся, о, господи!

Когда он лег и уснул, мать осторожно встала со своей постели и тихо подошла к нему. Павел лежал кверху грудью, и на белой подушке четко рисовалось его смуглое, упрямое и строгое лицо. Прижав руки к груди, мать,

босая и в одной рубашке, стояла у его постели, губы ее беззвучно двигались, а из глаз медленно и ровно одна за другой текли большие, мутные слезы.

И снова они стали жить молча, далекие и близкие друг другу.

V

Однажды среди недели, в праздник, Павел, уходя из дома, сказал матери:

— В субботу у меня будут гости из города.

— Из города? — повторила мать и — вдруг — всхлинула.

— Ну, о чем, мамаша? — недовольно воскликнул Павел.

Она, утирая лицо фартуком, ответила, вздыхая:

— Не знаю, — так уж...

— Боишься?

— Боюсь! — созналась она.

Он наклонился к ее лицу и сердито — точно его отец — проговорил:

— От страха все мы и пропадаем! А те, кто командуют нами, пользуются нашим страхом и еще больше запугивают нас.

Мать тоскливо взвыла:

— Не сердись! Как мне не бояться! Всю жизнь в страхе жила, — вся душа обросла страхом!

Негромко и мягче он сказал:

— Ты прости меня, — иначе нельзя!

И ушел.

Три дня у нее дрожало сердце, замирая каждый раз, как она вспоминала, что в дом придут какие-то чужие люди, страшные. Это они указали сыну дорогу, по которой он идет...

В субботу, вечером, Павел пришел с фабрики, умылся, переоделся и, снова уходя куда-то, сказал, не глядя на мать:

— Придут — скажи, что я сейчас ворочусь. И, пожалуйста, не бойся...

Она бессильно опустилась на лавку. Сын хмуро взглянул на нее и предложил

— Может быть, ты .. уйдешь куда-нибудь?

Это ее обидело. Отрицательно качнув головой, она сказала

— Нет. Зачем же?

Был конец ноября. Днем на мерзлую землю выпал сухой, мелкий снег, и теперь было слышно, как он скрипит под ногами уходившего сына. К стеклам окна неподвижно прислонилась густая тьма, враждебно подстерегая что-то. Мать, упираясь руками в лавку, сидела и, глядя на дверь, ждала...

Ей казалось, что во тьме со всех сторон к дому осторожно крадутся, согнувшись и оглядываясь по сторонам, люди, странно одетые, недобрые. Вот кто-то уже ходит вокруг дома, шарит руками по стене.

Стал слышен свист. Он извивался в тишине тонкой струйкой, печальный и мелодичный, задумчиво плутал в пустыне тьмы, искал чего-то, приближался. И вдруг исчез под окном, точно воткнувшись в дерево стены.

В сенях зашаркали чьи-то ноги, мать вздрогнула и, напряженно подняв брови, встала.

Дверь отворили. Сначала в комнату всунулась голова в большой, мохнатой шапке, потом, согнувшись, медленно пролезло длинное тело, выпрямилось, не торопясь подняло левую руку и, шумно вздохнув, густым, грудным голосом сказал:

— Добрый вечер!

Мать молча поклонилась.

— А Павла дома нету?

Человек медленно снял меховую куртку, поднял одну ногу, смахнул шапкой снег с сапога, потом то же сделал с другой ногой, бросил шапку в угол и, качаясь на длинных ногах, пошел в комнату. Подошел к стулу, осмотрел его, как бы убеждаясь в прочности, наконец сел и, прикрыв рот рукой, зевнул. Голова у него была правильно круглая и гладко острижена, бритые щеки и длинные усы концами вниз. Внимательно осмотрев комнату большими, рыпуклыми глазами серого цвета, он положил ногу на ногу и, качаясь на стуле, спросил.

— Что ж это ваша хата, или — занимаете?

И слово это казалось ей гудящим, пустымъ, оно зву-
чало, какъ треснувшій глиняный горшокъ.

— Такъ ихъ! — одобительно ^{про}шепталъ Сизовъ.

~~— Мертвые они какие-то! — веди нас, веди нас! — она.~~

— Душманоти!

— Как пример? — на него — действительно, увидела Гити
Самочеловека на личном суде. Уже говорил другой адво-
кат, маленький, с острым, бледным и насмешливым ли-
цом, а судьи мшались ему.

Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал, что-то о протоколе, потом, увидав, заговорила старичек-защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал рѣчь.

— Ковырай! — заметил Сизов. — Расковыривай...

В зал зарождалось оживление, сверкали боевой задор, адвокат ~~ни с того ни с сего~~ ^и ~~схватил~~ ^{раздражал} острым словом старую кожу судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее ~~и~~ ^и ~~надулись~~ ^{надулись} и распухли, чтобы отражать колкие и разрывные щелчки слов ~~всей массой~~ ^{всей массой} ~~молчали~~ ^{молчали}.

~~Мать отделила за щипы, и ей казалось, что они все из-за щипов, только боясь, чтобы удары ртутной лампы не падали еще в их гробах, не нарушили их безбрачия.~~

Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперед. Павел заговорил спокойно:

— Человек в партии, я признаю только судья своей партии и буду говорить не в защиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты — попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. — Прокурор назвал наше выступление под знаменем социал-демократии — бунтом против верховной власти и все время рассматривал нас, как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас царь не является единст-

самодеятеліе

Мать, сидя против него, ответила:

— Нанимаем.

— Неважная хата! — заметил он.

— Паша скоро придет, вы подождите! — тихо попросила мать.

— Да я уже и жду! — спокойно сказал длинный человек.

Его спокойствие, мягкий голос и простота лица ободрили мать. Человек смотрел на нее открыто, доброжелательно, в глубине его прозрачных глаз играла веселая искра, а во всей фигуре, угловатой, сутулой, с длинными ногами, было что-то забавное и располагающее к нему. Одет он был в синюю рубашку и черные шаровары, сунутое в сапоги. Ей захотелось спросить его — кто он, откуда, давно ли знает ее сына, но вдруг он весь покачнулся и сам спросил ее:

— Кто ж это лоб пробил вам, ненько?

Спросил он ласково, с ясной улыбкой в глазах, но — женщину обидел этот вопрос. Она поджала губы и, помолчав, с холодной вежливостью осведомилась:

— А вам какое дело до этого, батюшка мой?

Он мотнулся к ней всем телом:

— Да вы не сердчайте, чего же! Я потому спросил, что у матери моей приемной тоже голова была пробита, со всем вот так, как ваша. Ей, видите, сожитель пробил, сапожник, колодкой. Она была прачка, а он сапожник. Она, — уже после того как приняла меня за сына, — нашла его где-то, пьяницу, на свое великое горе. Бил он ее, скажу вам! У меня со страху кожа лопалась...

Мать почувствовала себя обезоруженной его откровенностью, и ей подумалось, что, пожалуй, Павел рассердится на нее за неласковый ответ этому чудаку. Виногато улыбаясь, она сказала:

— Я не рассердилась, а уж очень вы сразу... спросили. Муженек это угостил меня, царство ему небесное! Вы не татарин будете?

Человек дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку. Потом он серьезно сказал:

— Нет еще.

— Говор у вас как будто не русский! — объяснила мать улыбаясь, поняв его шутку.

— Он — лучше русского! — весело кивнув головой, сказал гость. — Я хохол, из города Канева.

— А давно здесь?

— В городе жил около года, а теперь перешел к вам на фабрику, месяц тому назад. Здесь людей хороших нашел, — сына вашего и других. Здесь — поживу! — говорил он, дергая усы.

Он ей нравился и, повинаясь желанию заплатить ему чем-нибудь за его слова о сыне, она предложила:

— Может, чайку выпьете?

— Что же я один угощаться буду? — ответил он, подняв плечи. — Вот уже когда все соберутся, вы и почествуйте...

Он напомнил ей об ее страхе.

«Кабы все такие были!» — горячо пожелала она.

Снова раздались шаги в сенях, дверь торопливо отворилась — мать снова встала. Но к ее удивлению в кухню вошла девушка небольшого роста, с простым лицом крестьянки и толстой косой светлых волос. Она тихо спросила:

— Не опоздала я?

— Да нет же! — ответил хохол, выглядывая из комнаты. — Пешком?

— Конечно! Вы — мать Павла Михайловича? Здравствуйте! Меня зовут — Наташа...

— А по батюшке? — спросила мать.

— Васильевна. А вас?

— Пелагея Ниловна.

— Ну вот мы и знакомы...

— Да! — сказала мать, легко вздохнув и с улыбкой рассматривая девушку.

Хохол помогал ей раздеваться и спрашивал:

— Холодно?

— В поле — очень! Ветер...

Голос у нее был сочный, ясный, рот маленький, пухлый, и вся она была круглая, свежая. Раздевшись, она крепко потерла румяные щеки маленькими, красными от холода руками и быстро прошла в комнату, звучно топая по полу каблуками ботинок.

«Без галош ходит!» — мелькнуло в голове матери.

— Да-а, — протянула девушка, вздрагивая. — Иззябла я... ух как!

— А вот я вам сейчас самоварчик согрею! — заторопилась мать, уходя в кухню. — Сейчас...

Ей показалось, что она давно знает эту девушку и любит ее хорошей, жалостливой любовью матери. Улыбаясь, она прислушивалась к разговору в комнате.

— Вы что скучный, Находка? — спрашивала девушка.

— А — так, — негромко ответил хохол. — У вдовы глаза хорошие, мне и подумалось, что, может, у матери моей такие же? Я, знаете, о матери часто думаю, и все мне кажется, что она жива.

— Вы говорили — умерла?

— То — приемная умерла. А я — о родной. Кажется мне, что она где-нибудь в Киеве милостыню собирает. И водку пьет. А пьяную ее полицейские по щекам бьют.

«Ах ты, сердечный!» — подумала мать и вздохнула.

Наташа заговорила что-то быстро, горячо и негромко. Снова раздался звучный голос хохла.

— Э, вы еще молоды, товарищ, мало луку ели! Родить — трудно, научить человека добру еще труднее...

«Ишь ты!» — внутренне воскликнула мать, и ей захотелось сказать хохлу что-то ласковое. Но дверь неторопливо отворилась, и вошел Николай Весовщиков, сын старого вора Данилы, известный всей слободе нелюдим. Он всегда угрюмо сторонился людей, и над ним издевались за это. Она удивленно спросила его:

— Ты что, Николай?

Он вытер широкой ладонью рябое, скуластое лицо и, не здороваясь, глухо спросил:

— Павел дома?

— Нет.

Он заглянул в комнату, пошел туда, говоря:

— Здравствуйте, товарищи...

«Этот?» — неприятно подумала мать и очень удивилась, видя, что Наташа протягивает ему руку ласково и радостно.

Потом пришли двое парней, почти еще мальчики. Одного из них мать знала, — это племянник старого фабричного рабочего Сизова — Федор, остролицый, с высоким лбом и курчавыми волосами. Другой, гладко причесан-

ный и скромный, был незнаком ей, но тоже не страшен. Наконец явился Павел и с ним два молодых человека, она знала их, оба — фабричные. Сын ласково сказал ей:

— Самовар поставила? Вот спасибо!

— Может, водочки купить? — предложила она, не зная, как выразить ему свою благодарность за что-то, чего еще не понимала.

— Нет, это лишнее! — отозвался Павел, дружелюбно улыбаясь ей.

Ей вдруг подумалось, что сын нарочно преувеличил опасность собрания, чтобы подшутить над ней.

— Вот это и есть — запрещенные люди? — тихонько спросила она.

— Эти самые! — ответил Павел, проходя в комнату.

— Эх ты!.. — проводила она его ласковым восклицанием, а про себя снисходительно подумала: «Дитя еще!»

VI

Самовар вскипел, мать внесла его в комнату. Гости сидели тесным кружком у стола, а Наташа, с книжкой в руках, поместилась в углу, под лампой.

— Чтобы понять, отчего люди живут так плохо... — говорила Наташа.

— И отчего они сами плохи, — вставил хохол.

— ...Нужно посмотреть, как они начали жить...

— Посмотрите, милые, посмотрите! — пробормотала мать, заваривая чай.

Все замолчали.

— Вы что, мамаша? — спросил Павел, хмуря брови.

— Я? — Она оглянулась и, видя, что все смотрят на нее, смущенно объяснила: — Я так, про себя, — поглядите, мол!

Наташа засмеялась, и Павел усмехнулся, а хохол сказал:

— Спасибо вам, ненько, за чай!

— Не пили, а уж благодарите! — отозвалась она и, взглянув на сына, спросила: — Я ведь не помешаю?

Ответила Наташа:

— Как же вы, хозяйка, можете помешать гостям?

И детски жалобно попросила:

— Голубушка! Дайте мне скорее чаю! Вся трясусь, страшно ноги иззябли!

— Сейчас, сейчас! — торопливо воскликнула мать

Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в желтой обложке, с картинками. Мать, стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. Звучный голос сливался с тонкой, задумчивой песней самовара, в комнате красивой лентой вился рассказ о диких людях, которые жили в пещерах и убивали камнями зверей. Это было похоже на сказку, и мать несколько раз взглянула на сына, желая его спросить — что же в этой истории запретного? Но скоро она утомилась следить за рассказом и стала рассматривать гостей, незаметно для сына и для них.

Павел сидел рядом с Наташей; он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и понизив голос, говорила что-то от себя, не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. Хохол навалился широкою грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. Весовщиков сидел на стуле прямо, точно деревянный, упираясь ладонями в колена, и его рябое лицо без бровей, с тонкими губами, было неподвижно, как маска. Не мигая узкими глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в блестящей меди самовара, и, казалось, не дышал. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги, а его товарищ согнулся, поставив локти на колена, и, подпирая скулы ладонями, задумчиво улыбался. Один из парней, пришедших с Павлом, был рыжий, кудрявый, с веселыми зелеными глазами, ему, должно быть, хотелось что-то сказать, и он нетерпеливо двигался; другой, светловолосый, коротко стриженный, гладил себя ладонью по голове и смотрел в пол, лица его не было видно. В комнате было как-то особенно хорошо. Мать чувствовала это особенное, неведомое ей и, под журчание голоса Наташи, вспоминала шумные вечеринки своей молодости, грубые слова парней, от которых всегда пахло перегорелой вод-

кой, их циничные шутки. Вспоминала, — и щемящее чувство жалости к себе тихо трогало ее сердце.

Припомнилось сватовство покойника мужа. На одной из вечеринок он поймал ее в темных сенях и, прижав всем телом к стене, спросил глухо и сердито:

— Замуж за меня пойдешь?

Ей было больно и обидно, а он больно мял ее груди, сопел и дышал ей в лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону.

— Куда! — зарычал он. — Ты — отвечай, ну?

Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала.

Кто-то открыл дверь в сени, он не спеша выпустил ее, сказав:

— В воскресенье сваху пришлю...

И прислал.

Мать закрыла глаза, тяжело вздохнув.

— Мне не то надо знать, как люди жили, а как надо жить! — раздался в комнате недовольный голос Весовщикова.

— Вот именно! — поддержал его рыжий, вставая.

— Не согласен! — крикнул Федя.

Вспыхнул спор, засверкали слова, точно языки огня в костре. Мать не понимала, о чем кричат. Все лица загорелись румянцем возбуждения, но никто не злился, не говорил знакомых ей резких слов.

«Барышни стесняются!» — решила она.

Ей нравилось серьезное лицо Наташи, внимательно наблюдавшей за всеми, точно эти парни были детьми для нее.

— Подождите, товарищи! — вдруг сказала она. И все они замолчали, глядя на нее.

— Правы те, которые говорят — мы должны всё знать. Нам нужно зажечь себя самих светом разума, чтобы темные люди видели нас, нам нужно на все ответить честно и верно. Нужно знать всю правду, всю ложь...

Хохол слушал и качал головою в такт ее словам. Весовщиков, рыжий и приведенный Павлом фабричный стояли все трое тесной группой и почему-то не нравились матери.

Когда Наташа замолчала, встал Павел и спокойно спросил:

— Разве мы хотим быть только сытыми? Нет! — сам себе ответил он, твердо глядя в сторону троих. — Мы должны показать тем, кто сидит на наших шеях и закрывает нам глаза, что мы всё видим, — мы не глупы, не звери, не только есть хотим, — мы хотим жить, как достойно людей! Мы должны показать врагам, что наша каторжная жизнь, которую они нам навязали, не мешает нам сравняться с ними в уме и даже встать выше их!..

Мать слушала его, и в груди ее дрожала гордость — вот как он складно говорит!

— Сытых немало, честных нет! — говорил хохол. — Мы должны построить мостик через болото этой гниющей жизни к будущему царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи!

— Пришла пора драться, так некогда руки лечить! — глухо возразил Весовщиков.

Было уже за полночь, когда они стали расходиться. Первыми ушли Весовщиков и рыжий, это снова не понравилось матери.

«Ишь, заторопились!» — недружелюбно кланяясь им, подумала она.

— Вы проводите меня, Находка? — спросила Наташа.

— А как же! — ответил хохол.

Когда Наташа одевалась в кухне, мать сказала ей:

— Чулочки-то у вас тонки для такого времени! Уж вы позвольте, я вам шерстяные свяжу?

— Спасибо, Пелагея Ниловна! Они кусаются, шерстяные! — ответила Наташа, смеясь.

— А я вам такие, что не будут кусаться! — сказала Власова.

Наташа смотрела на нее, немного прищутив глаза, и этот пристальный взгляд сконфузил мать.

— Вы извините мою глупость, — я ведь от души! — тихо добавила она.

— Славная вы какая! — тоже негромко отозвалась Наташа, быстро пожав ее руку.

— Доброй ночи, ненько! — заглянув ей в глаза, сказал хохол, согнулся и вышел в сени вслед за Наташей.

Мать посмотрела на сына — он стоял у двери в комнату и улыбался.

— Ты что смеешься? — смущенно спросила она.

— Так, — весело!

— Конечно, я старая и глупая, но хорошее и я понимаю! — с легкой обидой заметила она.

— Вот и славно! — отозвался он. — Вы бы ложились, пора!..

— Сейчас лягу!

Она суетилась вокруг стола, убирая посуду, довольная, даже вспотев от приятного волнения, — она была рада, что все было так хорошо и мирно кончилось.

— Хорошо ты придумал, Павлуша! — говорила она. — Хохол очень милый! И барышня, — ах, какая умница! Кто такая?

— Учительница! — кратко ответил Павел, расхаживая по комнате.

— То-то — бедная! Одета плохо, — ах, как плохо! Долго ли простудиться? Родители-то где у ней?..

— В Москве! — сказал Павел и, остановясь против матери, серьезно, негромко заговорил:

— Вот, смотри: ее отец — богатый, торгует железом, имеет несколько домов. За то, что она пошла этой дорогой, он — прогнал ее. Она воспитывалась в тепле, ее баловали всем, чего она хотела, а сейчас вот пойдет семь верст ночью, одна...

Это поразило мать. Она стояла среди комнаты и, удивленно двигая бровями, молча смотрела на сына. Потом тихо спросила:

— В город пойдет?

— В город.

— Аа-ай! И — не боится?

— Вот — не боится! — усмехнулся Павел.

— Да зачем? Ночевала бы здесь, — легла бы со мной!

— Неудобно! Ее могут увидеть завтра утром здесь, а это не нужно нам.

Мать, задумчиво взглянув в окно, тихо спросила:

— Не понимаю я, Паша, что тут — опасного, запрещенного? Ведь ничего дурного нет, а?

Она не была уверена в этом, ей хотелось услышать от сына утвердительный ответ. Он, спокойно глядя ей в глаза, твердо заявил:

— Дурного — нет. А все-таки для всех нас впереди — тюрьма. Ты уж так и знай...

У нее дрогнули руки. Упавшим голосом она проговорила:

— А может быть, — бог даст, как-нибудь обойдется?..

— Нет! — ласково сказал сын. — Я тебя обманывать не могу. Не обойдется!

Он улыбнулся.

— Ложись, устала ведь. Покойной ночи!

Оставшись одна, она подошла к окну и встала перед ним, глядя на улицу. За окном было холодно и мутно. Играл ветер, сдувая снег с крыш маленьких сонных домов, бился о стены и что-то торопливо шептал, падал на землю и гнал вдоль улицы белые облака сухих снежинок...

— Иисусе Христе, помилуй нас! — тихо прошептала мать.

В сердце закипали слезы и, подобно ночной бабочке, слепо и жалобно трепетало ожидание горя, о котором так спокойно, уверенно говорил сын. Перед глазами ее встала плоская, снежная равнина. Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый, косматый. Посреди равнины одиноко идет, качаясь, небольшая, темная фигурка девушки. Ветер путается у нее в ногах, раздувает юбку, бросает ей в лицо колючие снежинки. Трудно идти, маленькие ноги вязнут в снегу. Холодно и боязно. Девушка наклонилась вперед и — точно былинка среди мутной равнины, в резвой игре осеннего ветра. Справа от нее, на болоте, темной стеной стоит лес, там уныло шумят тонкие, голые березы и осины. Где-то далеко впереди тускло мелькают огни города...

— Господи — помилуй! — прошептала мать, вздрогнув от страха...

VII

Дни скользили один за другим, как бусы четок, слагаясь в недели, месяцы. Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью длинной, пологой лестницы, — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей.

Появлялись новые люди. В маленькой комнате Власовых становилось тесно и душно. Приходила Наташа, иззябшая, усталая, но всегда неисчерпаемо веселая и живая. Мать связала ей чулки и сама надела на маленькие ноги. Наташа сначала смеялась, а потом вдруг замолчала, задумалась и тихонько сказала:

— У меня няня была, — тоже удивительно добрая! Как странно, Пелагея Ниловна, — рабочий народ живет такой трудной, такой обидной жизнью, а ведь у него больше сердца, больше доброты, чем у тех!

И махнула рукой, указывая куда-то вдаль, очень далеко от нее.

— Вот какая вы! — сказала Власова. — Родителей лишили и всего, — она не умела закончить своей мысли, вздохнула и замолчала, глядя в лицо Наташи, чувствуя к ней благодарность за что-то. Она сидела на полу перед ней, а девушка задумчиво улыбалась, наклонив голову.

— Родителей лишилась? — повторила она. — Это — ничего! Отец у меня такой грубый, брат тоже. И — пьяница. Старшая сестра — несчастная... Вышла замуж за человека много старше ее... Очень богатый, скучный, жадный. Маму — жалко! Она у меня простая, как вы. Маленькая такая, точно мышка, так же быстро бежит и всех боится. Иногда — так хочется видеть ее...

— Бедная вы моя! — грустно качая головой, сказала мать.

Девушка быстро вскинула голову и протянула руку, как бы отталкивая что-то.

— О, нет! Я порой чувствую такую радость, такое счастье!

У нее побледнело лицо и синие глаза ярко вспыхнули. Положив руки на плечи матери, она глубоким голосом сказала тихо и внушительно:

— Если бы вы знали... если бы вы поняли, какое великое дело делаем мы!..

Что-то близкое зависти коснулось сердца Власовой. Поднимаясь с пола, она грустно проговорила:

— Стара уж я для этого, неграмотна...

...Павел говорил все чаще, больше, все горячее спорил и — худел. Матери казалось, что, когда он говорит с На-

ташей или смотрит на нее, — его строгие глаза блестят мягче, голос звучит ласковее и весь он становится проще. «Дай господи!» — думала она. И улыбалась.

Всегда на собраниях, чуть только споры начинали принимать слишком горячий и бурный характер, вставал хохол и, раскачиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то простое и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее. Весовщиков постоянно угрюмо торопил всех куда-то, он и рыжий, которого звали Самойлов, первые начинали все споры. С ними соглашался круглоголовый, белобрысый, точно вымытый щелоком, Иван Букин. Яков Сомов, гладкий и чистый, говорил мало, тихим, серьезным голосом, он и большелобый Федя Мазин всегда стояли в спорах на стороне Павла и хохла.

Иногда вместо Наташи являлся из города Николай Иванович, человек в очках, с маленькой, светлой бородкой, уроженец какой-то дальней губернии, — он говорил особенным — на о — говорком. Он вообще весь был какой-то далекий. Рассказывал он о простых вещах — о семейной жизни, о детях, о торговле, о полиции, о ценах на хлеб и мясо — обо всем, чем люди живут изо дня в день. И во всем он открывал фальшь, путаницу, что-то глупое, порою смешное, всегда — явно не выгодное людям. Матери казалось, что он прибыл откуда-то издалека, из другого царства, там все живут честной и легкой жизнью, а здесь — все чужое ему, он не может привыкнуть к этой жизни, принять ее, как необходимую, она не нравится ему и возбуждает в нем спокойное, упрямое желание перестроить все на свой лад. Лицо у него было желтоватое, вокруг глаз тонкие, лучистые морщинки, голос тихий, а руки всегда теплые. Здороваясь с Власовой, он обнимая всю ее руку крепкими пальцами, и после такого рукопожатия на душе становилось легче, спокойнее.

Являлись и еще люди из города, чаще других — высокая стройная барышня с огромными глазами на худом, бледном лице. Ее звали Сашенька. В ее походке и движениях было что-то мужское, она сердито хмурила густые, темные брови, а когда говорила — тонкие ноздри ее прямого носа вздрагивали.

Сашенька первая сказала громко и резко:

— Мы — социалисты...

Когда мать услышала это слово, она в молчаливом испуге уставилась в лицо барышни. Она слышала, что социалисты убили царя. Это было во дни ее молодости; тогда говорили, что помещики, желая отомстить царю за то, что он освободил крестьян, дали зарок не стричь себе волос до поры, пока они не убьют его, за это их и называли социалистами. И теперь она не могла понять — почему же социалист сын ее и товарищи его?

Когда все разошлись, она спросила Павла:

— Павлуша, разве ты социалист?

— Да! — сказал он, стоя перед нею, как всегда, прямо и твердо. — А что?

Мать тяжело вздохнула и, опустив глаза, спросила:

— Так ли, Павлуша? Ведь они — против царя, ведь они убили одного.

Павел прошелся по комнате, погладил рукой щеку и, усмехнувшись, сказал:

— Нам это не нужно!

Он долго говорил ей что-то тихим, серьезным голосом. Она смотрела ему в лицо и думала:

«Он не делает ничего худого, он не может!»

А потом страшное слово стало повторяться все чаще, острота его стерлась, и оно сделалось таким же привычным ее уху, как десятки других непонятных слов. Но Сашенька не нравилась ей, и, когда она являлась, мать чувствовала себя тревожно, неловко...

Однажды она сказала хохлу, недовольно поджимая губы:

— Что-то уж очень строга Сашенька! Все приказывает — вы и то должны, вы и это должны...

Хохол громко засмеялся.

— Верно взято! Вы, ненько, в глаз попали! Павел, а?

И, подмигивая матери, сказал с усмешкой в глазах:

— Дворянство!

Павел сухо заметил:

— Она хороший человек.

— Это верно! — подтвердил хохол. — Только не понимает, что она — должна, а мы — хотим и можем!

Они заспорили о чем-то непонятном.

Мать заметила также, что Сашенька наиболее строго относится к Павлу, иногда она даже кричит на него. Павел, усмехаясь, молчал и смотрел в лицо девушки тем мягким взглядом, каким ранее он смотрел в лицо Наташи. Это тоже не нравилось матери.

Иногда мать поражало настроение буйной радости, вдруг и дружно овладевавшее всеми. Обыкновенно это было в те вечера, когда они читали в газетах о рабочем народе за границей. Тогда глаза у всех блестели радостью, все становилось странно, как-то по-детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по плечам.

— Молодцы товарищи немцы! — кричал кто-нибудь, точно опьяненный своим весельем.

— Да здравствуют рабочие Италии! — кричали в другой раз.

И, посылая эти крики куда-то вдаль, друзьям, которые не знали их и не могли понять их языка, они, казалось, были уверены, что люди, неведомые им, слышат и понимают их восторг.

Хохол говорил, блестя глазами, полный всех обнимавшего чувства любви:

— Хорошо бы написать им туда, а? Чтобы знали они, что в России живут у них друзья, которые веруют и исповедуют одну религию с ними, живут люди одних целей и радуются их победам!

И все мечтательно, с улыбками на лицах, долго говорили о французах, англичанах и шведах как о своих друзьях, о близких сердцу людях, которых они уважают, живут их радостями, чувствуют горе.

В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли. Это чувство сливало всех в одну душу, волнуя и мать; хотя было оно непонятно ей, но выпрямляло ее своей силой, радостной и юной, охмеляющей и полной надежд.

— Какие вы! — сказала она хохлу как-то раз. — Все вам товарищи — армяне, и евреи, и австрияки, — за всех печаль и радость!

— За всех, моя ненько, за всех! — воскликнул хохол. — Для нас нет наций, нет племен, есть только това-

риши, только враги. Все рабочие — наши товарищи, все богатые, все правительства — наши враги. Когда окинешь добрыми глазами землю, когда увидишь, как нас, рабочих, много, сколько силы мы несем, — такая радость обнимает сердце, такой великий праздник в груди! И так же, ненько, чувствует француз и немец, когда они взглянут на жизнь, и так же радуется итальянец. Мы все — дети одной матери — непобедимой мысли о братстве рабочего народа всех стран земли. Она греет нас, она солнце на небе справедливости, а это небо — в сердце рабочего, и кто бы он ни был, как бы ни называл себя, социалист — наш брат по духу всегда, ныне и присно и во веки веков!

Эта детская, но крепкая вера все чаще возникала среди них, все возвышалась и росла в своей могучей силе. И когда мать видела ее, она невольно чувствовала, что воистину в мире родилось что-то великое и светлое, подобное солнцу неба, видимого ею.

Часто пели песни. Простые, всем известные песни пели громко и весело, но иногда запевали новые, как-то особенно складные, но невеселые и необычные по напевам. Их пели вполголоса, серьезно, точно церковное. Лица певцов бледнели, разгорались, и в звучных словах чувствовалась большая сила.

Особенно одна из новых песен тревожила и волновала женщину. В этой песне не слышно было печального раздумья души, обиженной и одиноко блуждающей по темным тропам горестных недоумений, стонов души, забитой нуждой, запуганной страхом, безличной и бесцветной. И не звучали в ней тоскливые вздохи силы, смутно жаждущей простора, вызывающие крики задорной удалы, безразлично готовой сокрушить и злое и доброе. В ней не было слепого чувства мести и обиды, которое способно все разрушить, бессильное что-нибудь создать, — в этой песне не слышно было ничего от старого, рабьего мира.

Резкие слова и суровый напев ее не нравились матери, но за словами и напевом было нечто большее, оно заглушало звук и слово своею силой и будило в сердце предчувствие чего-то необъятного для мысли. Это нечто она видела на лицах, в глазах молодежи, она чувствовала в их грудях и, поддаваясь силе песни, не умещавшейся

в словах и звуках, всегда слушала ее с особенным вниманием, с тревогой более глубокой, чем все другие песни.

Эту песню пели тише других, но она звучала сильнее всех и обнимала людей, как воздух мартовского дня — первого дня грядущей весны.

— Пора нам это на улице запеть! — угрюмо говорил Весовщиков.

Когда его отец снова что-то украл и сел в тюрьму, Николай спокойно заявил товарищам:

— Теперь у меня можно собираться...

Почти каждый вечер после работы у Павла сидел кто-нибудь из товарищей, и они читали, что-то выписывали из книг, озабоченные, не успевшие умыться. Ужинали и пили чай с книжками в руках, и все более непонятны для матери были их речи.

— Нам нужна газета! — часто говорил Павел.

Жизнь становилась торопливой и лихорадочной, люди все быстрее перебежали от одной книги к другой, точно пчелы с цветка на цветок.

— Поговаривают про нас! — сказал однажды Весовщиков. — Должны мы скоро провалиться...

— На то и перепел, чтобы в сети попасть! — отозвался хохол.

Он все больше нравился матери. Когда он называл ее «ненько», это слово точно гладило ее щеки мягкой, детской рукой. По воскресеньям, если Павлу было некогда, он колол дрова, однажды пришел с доской на плече и, взяв топор, быстро и ловко переменял сгнившую ступень на крыльце, другой раз так же незаметно починил завалившийся забор. Работая, он свистел, и свист у него был красиво печальный.

Однажды мать сказала сыну:

— Давай, возьмем хохла себе в нахлебники? Лучше будет обоим вам — не бегать друг к другу.

— Зачем вам стеснять себя? — спросил Павел, пожимая плечами.

— Ну, вот еще! Всю жизнь стеснялась, не зная для чего, — для хорошего человека можно!

— Делайте, как хотите! — отозвался сын. — Коли он переедет — я буду рад...

И хохол перебрался к ним.

VIII

Маленький дом на окраине слободки будил внимание людей; стены его уже шупали десятки подозрительных взглядов. Над ним беспокойно реяли пестрые крылья молвы, — люди старались спугнуть, обнаружить что-то, притаившееся за стенами дома над оврагом. По ночам заглядывали в окна, иногда кто-то стучал в стекло и быстро, пугливо убежал прочь.

Однажды Власову остановил на улице трактирщик Бегунцов, благообразный старичок, всегда носивший черную шелковую косынку на красной, дряблой шее, а на груди толстый плюшевый жилет лилового цвета. На его носу, остром и блестящем, сидели черепаховые очки, и за это его звали — Костяные Глаза.

Остановив Власову, он одним дыханием и не ожидая ответов закидал ее трескучими и сухими словами.

— Пелагея Ниловна, как здравствуете? Сынок как? Женить не собираетесь, а? Юноша в полной силе для супружества. Женить сына пораньше — родителям спокойнее. В семье человек лучше сохраняется и духом и плотию, в семье он — вроде гриба в уксусе! Я бы на вашем месте женил его. Время наше требует строгого надзора за существом человека, люди начинают жить из своей головы. В мыслях разброд пошел, и поступки достойны порицания. Божию церковь молодежь обходит, публичных мест чуждается и, собираясь тайно, по углам — шепчет. Зачем шепчут, позвольте узнать? Зачем бегут людей? Все, чего человек не смеет сказать при людях — в трактире, например, — что это такое есть? Тайна! Тайне же место — наша святая, равноапостольная церковь. Все же другие тайности, по углам совершаемые, — от заблуждения ума! Желаю вам доброго здоровья!

Вычурно изогнутой рукой он снял картуз, взмахнул им в воздухе и ушел, оставив мать в недоумении.

Соседка Власовых, Марья Корсунова, вдова кузнеца, торговавшая у ворот фабрики съестным, встретив мать на базаре, тоже сказала:

— Поглядывай за сыном, Пелагея!

— Что такое? — спросила мать.

— Слух идет! — таинственно сообщила Марья. — Нехороший, мать ты моя! Будто он устраивает артель такую, вроде хлыстов. Секты — называется это. Сечь будут друг друга, как хлысты...

— Полно, Марья, ерунду пороть!

— Не тот врёт, кто порет, а тот, кто шьет! — отозвалась торговка.

Мать передавала сыну все эти разговоры, он молча пожимал плечами, а хохол смеялся своим густым, мягким смехом.

— Девицы тоже очень обижаются на вас! — говорила она. — Женихи вы для всякой девушки завидные и работники все хорошие, непьющие, а внимания на девиц не обращаете! Говорят, будто ходят к вам из города барышни зазорного поведения...

— Ну, конечно! — брезгливо сморщив лицо, воскликнул Павел.

— На болоте все гнилью пахнет! — вздохнув, молвил хохол. — А вы бы, ненько, объяснили им, дурочкам, что такое замужество, чтобы не торопились они изломать себе кости...

— Эх, батюшка! — сказала мать. — Они горе видят, они понимают, да ведь деваться им некуда, кроме этого!

— Плохо понимают, а то бы нашли путь! — заметил Павел.

Мать взглянула на его строгое лицо.

— А вы — поучите их! Позвали бы которых поумнее к себе...

— Это неудобно! — сухо отозвался сын.

— А если попробовать? — спросил хохол.

Павел помолчал и ответил:

— Начнутся прогулки парочками, потом некоторые поженятся, вот и все!

Мать задумалась. Монашеская суровость Павла смущала ее. Она видела, что его советов слушают даже те товарищи, которые — как хохол — старше его годами, но ей казалось, что все боятся его и никто не любит за эту сухость.

Как-то раз, когда она легла спать, а сын и хохол еще читали, она подслушала сквозь тонкую переборку их тихий разговор.

— Нравится мне Наташа, знаешь? — вдруг тихо воскликнул хохол.

— Знаю! — не сразу ответил Павел.

Было слышно, как хохол медленно встал и начал ходить. По полу шаркали его босые ноги. И раздался тихий, заунывный свист. Потом снова загудел его голос:

— А замечает она это?

Павел молчал.

— Как ты думаешь? — понизив голос, спросил хохол.

— Замечает! — ответил Павел. — Поэтому и отказалась заниматься у нас...

Хохол тяжело возил ноги по полу, и снова в комнате дрожал его тихий свист. Потом он спросил:

— А если я скажу ей...

— Что?

— Что вот я... — тихо начал хохол.

— Зачем? — прервал его Павел.

Мать услышала, что хохол остановился, и почувствовала, что он усмехается.

— Да я, видишь, полагаю, что если любишь девушку, то надо же ей сказать об этом, иначе не будет никакого толка!

Павел громко захлопнул книгу. Был слышен его вопрос:

— А какого толка ты ждешь?

Оба долго молчали.

— Ну? — спросил хохол.

— Надо, Андрей, ясно представлять себе, чего хочешь, — заговорил Павел медленно. — Положим, и она тебя любит, — я этого не думаю, — но положим, так! И вы — поженитесь. Интересный брак — интеллигентка и рабочий! Родятся дети, работать тебе надо будет одному... и — много. Жизнь ваша станет жизнью из-за куска хлеба, для детей, для квартиры; для дела — вас больше нет. Обоих нет!

Стало тихо. Потом Павел заговорил как будто мягче.

— Ты лучше брось все это, Андрей. И не смущай ее...

Тихо. Отчетливо стучит маятник часов, мерно отсекая секунды.

Хохол сказал:

— Половина сердца — любит, половина ненавидит, разве ж это сердце, а?

Зашелестели страницы книги — должно быть, Павел снова начал читать. Мать лежала, закрыв глаза, и боялась пошевелиться. Ей было до слез жаль хохла, но еще более сына. Она думала о нем:

«Милый ты мой...»

Вдруг хохол спросил:

— Так — молчать?

— Это — честнее, — тихо сказал Павел.

— По этой дороге и пойдем! — сказал хохол. И через несколько секунд продолжал грустно и тихо: — Трудно тебе будет, Паша, когда ты сам вот так...

— Мне уже трудно...

О стены дома шаркал ветер. Четко считал уходящее время маятник часов.

— Над этим — не посмеешься! — медленно проговорил хохол.

Мать ткнулась лицом в подушку и беззвучно заплакала.

Наутро Андрей показался матери ниже ростом и еще милее. А сын, как всегда, худ, прям и молчалив. Раньше мать называла хохла Андрей Онисимович, а сегодня, не замечая, сказала ему:

— Вам, Андрюша, сапоги-то починить надо бы, — так вы ноги простудите!

— А я в получку новые куплю! — ответил он, засмеялся и вдруг, положив ей на плечо свою длинную руку, спросил: — А может, вы и есть родная моя мать? Только вам не хочется в том признаться людям, как я очень некрасивый, а?

Она молча похлопала его по руке. Ей хотелось сказать ему много ласковых слов, но сердце ее было стиснуто жалостью, и слова не шли с языка.

В слободке говорили о социалистах, которые разбрасывают написанные синими чернилами листки. В этих листках зло писали о порядках на фабрике, о стачках рабочих в Петербурге и в южной России, рабочие призывались к объединению и борьбе за свои интересы.

Пожилые люди, имевшие на фабрике хороший заработок, ругались:

— Смутьяны! За такие дела надо морду бить!

И носили листки в контору. Молодежь читала прокламации с увлечением:

— Правда!

Большинство, забитое работой и ко всему равнодушное, лениво отзывалось:

— Ничего не будет, — разве можно?

Но листки волновали людей, и, если их не было нецелю, люди уже говорили друг другу:

— Бросили, видно, печатать...

А в понедельник листки снова появлялись, и снова рабочие глухо шумели.

В трактире и на фабрике замечали новых, никому не известных людей. Они выпрашивали, рассматривали, нюхали и сразу бросались всем в глаза, одни — подозрительной осторожностью, другие — излишней навязчивостью.

Мать понимала, что этот шум поднят работой ее сына. Она видела, как люди стягивались вокруг него. И опасения за судьбу Павла сливались с гордостью за него.

Как-то вечером Марья Корсунова постучала с улицы в окно, и, когда мать открыла раму, она громким шопотом заговорила:

— Держись, Пелагея, доигрались голубчики! Ночью сегодня обыск решен у вас, у Мазина, у Весовщикова...

Толстые губы Марьи торопливо шлепались одна о другую, мясистый нос сопел, глаза мигали и косились из стороны в сторону, выслеживая кого-то на улице.

— А я ничего не знаю, и ничего я тебе не говорила и даже не видела тебя сегодня, — слышишь?

Она исчезла.

Мать, закрыв окно, медленно опустилась на стул. Но сознание опасности, грозившей сыну, быстро подняло ее на ноги, она живо оделась, зачем-то плотно укутала голову шалью и побежала к Феде Мазину, — он был болен и не работал. Когда она пришла к нему, он сидел под окном, читая книгу, и качал левой рукой правую, оттопырив большой палец. Узнав новость, он быстро вскочил, его лицо побледнело.

— Вот те и раз... — пробормотал он.

— Что надо делать-то? — дрожащей рукой отирая с лица пот, спрашивала Власова.

— Погодите, — вы не бойтесь! — ответил Федя, поглаживая здоровой рукой курчавые волосы.

— Да ведь вы сами-то боитесь! — воскликнула она.

— Я? — Щеки его вспыхнули румянцем, и, смущенно улыбаясь, он сказал: — Да-а, чорт... Надо Павлу сказать. Я сейчас пошлю к нему! Вы идите, — ничего! Ведь бить не будут?

Возвратясь домой, она собрала все книжки и, прижав их к груди, долго ходила по дому, заглядывая в печь, под печку, даже в кадку с водой. Ей казалось, что Павел сейчас же бросит работу и придет домой, а он не шел. Наконец, усталая, она села в кухне на лавку, подложив под себя книги, и так, боясь встать, просидела до поры, пока не пришли с фабрики Павел и хохол.

— Знаете? — воскликнула она, не вставая.

— Знаем! — улыбаясь, сказал Павел. — Боишься?

— Так боюсь, так боюсь!..

— Не надо бояться! — сказал хохол. — Это — ничему не помогает.

— Даже самовар не поставила! — заметил Павел.

Мать встала и, указывая на книжки, виновато объяснила:

— Да я вот все с ними...

Сын и хохол засмеялись, это ободрило ее. Павел отобрал несколько книг и понес их прятать на двор, а хохол, ставя самовар, говорил:

— Совсем ничего нет страшного, ненько, только стыдно за людей, что они пустяками занимаются. Придут взрослые мужчины с саблями на боку, со шпорами на сапогах и роются везде. Под кровать заглянут и под

печку, погреб есть — в погреб полезут, на чердак сходят. Там им на рожи паутина садится, они фыркают. Скучно им, стыдно, оттого они делают вид, будто очень злые люди и сердятся на вас. Поганая работа, они же понимают! Один раз порыли у меня всё, сконфузились и ушли просто, а другой раз захватили и меня с собой. Посадили в тюрьму, месяца четыре сидел я. Сидишь-сидишь, позовут к себе, проведут по улице с солдатами, спросят что-нибудь. Народ они неумный, говорят несуразное такое, поговорят — опять велют солдатам в тюрьму отвести. Так и водят туда и сюда, — надо же им жалованье свое оправдать! А потом выпустят на волю, — вот и все!

— Как вы всегда говорите, Андрюша! — воскликнула мать.

Стоя на коленях около самовара, он усердно дул в трубу, но тут поднял свое лицо, красное от напряжения, и, обеими руками расправляя усы, спросил:

— А как говорю?

— Да будто вас никто никогда не обижал...

Он встал и, тряхнув головой, заговорил, улыбаясь:

— Разве же есть где на земле необиженная душа? Меня столько обижали, что я уже устал обижаться. Что поделаешь, если люди не могут иначе? Обиды мешают дело делать, останавливаться около них — даром время терять. Такая жизнь! Я прежде, бывало, сердился на людей, а подумал, — вижу — не стоит. Всякий боится, как бы сосед не ударил, ну и старается поскорее сам в ухо дать. Такая жизнь, ненько моя!

Речь его лилась спокойно и отталкивала куда-то в сторону тревогу ожидания обыска, выпуклые глаза светло улыбались, и весь он, хотя и нескладный, был такой гибкий.

Мать вздохнула и тепло пожелала ему:

— Дал бы вам бог счастья, Андрюша!

Хохол широко шагнул к самовару, снова сел на корточки перед ним и тихо побормотал:

— Дадут счастья — не откажусь, просить — не стану!

Вошел Павел со двора, уверенно сказал:

— Не найдут! — и стал умываться.

Потом, крепко и тщательно вытирая руки, заговорил:

— Если вы, мамаша, покажете им, что испугались, они подумают: значит, в этом доме что-то есть, коли она так дрожит. Вы ведь понимаете — дурного мы не хотим, на нашей стороне правда, и всю жизнь мы будем работать для нее — вот вся наша вина! Чего же бояться?

— Я, Паша, скреплюсь, — пообещала она. И вслед за тем у нее тоскливо вырвалось: — Уж скорее бы приходили они!

А они не пришли в эту ночь, и наутро, предупреждая возможность шуток над ее страхом, мать первая стала шутить над собой:

— Прежде страха испугалась!

Х

Они явились почти через месяц после тревожной ночи. У Павла сидел Николай Весовщиков, и, втроем с Андреем, они говорили о своей газете. Было поздно, около полуночи. Мать уже легла и, засыпая, сквозь дрему слышала озабоченные, тихие голоса. Вот Андрей, осторожно шагая, прошел через кухню, тихо притворил за собой дверь. В сенях загремело железное ведро. И вдруг дверь широко распахнулась — хохол шагнул в кухню, громко шепнув:

— Шпоры звенят!

Мать вскочила с постели, дрожащими руками хватая платье, но в двери из комнаты явился Павел и спокойно сказал:

— Вы лежите, — вам нездоровится!

В сенях был слышен осторожный шорох. Павел подошел к двери и, толкнув ее рукой, спросил:

— Кто там?

В дверь странно быстро вернулась высокая, серая фигура, за ней другая, двое жандармов оттеснили Павла, встали по бокам у него, и прозвучал высокий, насмешливый голос:

— Не те, кого вы ждали, а?

Это сказал высокий, тонкий офицер с черными, редкими усами. У постели матери появился слободский полицейский Федякин и, приложив одну руку к фуражке,

а другою указывая в лицо матери, сказал, сделав страшные глаза:

— Вот это мать его, ваше благородие! — И, махнув рукой на Павла, прибавил: — А это — он самый!

— Павел Власов? — спросил офицер, прищутив глаза, и, когда Павел молча кивнул головой, он заявил, крутя ус: — Я должен произвести обыск у тебя. Старуха, встань! Там — кто? — спросил он, заглядывая в комнату, и порывисто шагнул к двери.

— Ваши фамилии? — раздался его голос.

Из сеней вышли двое понятых — старый литейщик Тверяков и его постоялец, кочегар Рыбин, солидный, черный мужик. Он густо и громко сказал:

— Здравствуй, Ниловна!

Она одевалась и, чтобы придать себе бодрости, тихонько говорила:

— Что уж это! Приходят ночью, — люди спать легли, а они приходят!..

В комнате было тесно и почему-то сильно пахло ваксой. Двое жандармов и слободский пристав Рыскин, громко топая ногами, снимали с полки книги и складывали их на стол перед офицером. Другие двое стучали кулаками по стенам, заглядывали под стулья, один неуклюже лез на печь. Хохол и Весовщиков, тесно прижавшись друг к другу, стояли в углу. Рябое лицо Николая покрылось красными пятнами, его маленькие, серые глаза не отрываясь смотрели на офицера. Хохол крутил усы, и, когда мать вошла в комнату, он, усмехнувшись, ласково кивнул ей головой.

Стараясь подавить свой страх, она двигалась не боком, как всегда, а прямо, грудью вперед, — это придавало ее фигуре смешную и напыщенную важность. Она громко топала ногами, а брови у нее дрожали...

Офицер быстро хватал книги тонкими пальцами белой руки, перелистывал их, встряхивал и ловким движением кисти отбрасывал в сторону. Порою книга мягко шлепалась на пол. Все молчали, было слышно тяжелое сопение вспотевших жандармов, звякали шпоры, иногда раздавался негромкий вопрос:

— Здесь смотрел?

Мать встала рядом с Павлом у стены, сложила руки на груди, как это сделал он, и тоже смотрела на офицера. У нее вздрагивало под коленями и глаза застилал сухой туман.

Вдруг среди молчания раздался режущий ухо голос Николая:

— А зачем это нужно — бросать книги на пол?

Мать вздрогнула. Тверяков качнул головой, точно его толкнули в затылок, а Рыбчин крикнул и внимательно посмотрел на Николая.

Офицер прищурил глаза и воткнул их на секунду в рябое, неподвижное лицо. Пальцы его еще быстрее стали перебрасывать страницы книг. Порою он так широко открывал свои большие, серые глаза, как будто ему было невыносимо больно и он готов крикнуть громким криком бессильной злобы на эту боль.

— Солдат! — снова сказал Весовщиков. — Подними книги...

Все жандармы обернулись к нему, потом посмотрели на офицера. Он снова поднял голову и, окинув широкую фигуру Николая испытующим взглядом, протянул в нос: — Н-но... поднимите...

Один жандарм нагнулся и, искоса глядя на Весовщикова, стал подбирать с пола растрепанные книги...

— Молчать бы Николаю-то! — тихо шепнула мать Павлу.

Он пожал плечами. Хохол опустил голову.

— Кто это читает библию?

— Я! — сказал Павел.

— А чьи все эти книги?

— Мои! — ответил Павел.

— Так! — сказал офицер, откидываясь на спинку стула. Хрустнул пальцами тонких рук, вытянул под столом ноги, поправил усы и спросил Николая:

— Это ты — Андрей Находка?

— Я! — ответил Николай, подвигаясь вперед. Хохол вытянул руку, взял его за плечо и отодвинул назад.

— Он ошибся! Я — Андрей!..

Офицер, подняв руку и грозя Весовщикову маленьким пальцем, сказал:

— Смотри ты у меня!

Он начал рыться в своих бумагах.

С улицы в окно бездушными глазами смотрела светлая, лунная ночь. Кто-то медленно ходил за окном, скрипел снег.

— Ты, Находка, привлекался уже к дознанию по политическим преступлениям? — спросил офицер.

— В Ростове привлекался, и в Саратове... Только там жандармы говорили мне — «вы»...

Офицер мигнул правым глазом, потер его и, оскалив мелкие зубы, заговорил:

— А не известно ли вам, Находка, именно вам, — кто те мерзавцы, которые разбрасывают на фабрике преступные воззвания, а?

Хохол покачнулся на ногах и, широко улыбаясь, хотел что-то сказать, но — вновь прозвучал раздражающий голос Николая:

— Мы мерзавцев первый раз видим...

Наступило молчание, все остановилось на секунду.

Шрам на лице матери побелел, и правая бровь всползла вверх. У Рыбина странно задрожала его черная борода; опустив глаза, он стал медленно расчесывать ее пальцами.

— Выведите вон этого скота! — сказал офицер.

Двое жандармов взяли Николая под руки, грубо повели его в кухню. Там он остановился, крепко упираясь ногами в пол, и крикнул:

— Стойте... я оденусь!

Со двора явился пристав и сказал:

— Ничего нет, всё осмотрели!

— Ну, разумеется! — воскликнул офицер, усмехаясь. — Здесь — опытный человек...

Мать слушала его слабый, вздрагивающий и ломкий голос и, со страхом глядя в желтое лицо, чувствовала в этом человеке врага без жалости, с сердцем, полным барского презрения к людям. Она мало видела таких людей и почти забыла, что они есть.

«Вот кого потревожили!» — думала она.

— Вас, господин Андрей Онисимов Находка, незаконнорожденный, я арестую!

— За что? — спокойно спросил хохол.

— Это я вам после скажу! — со злой вежливостью ответил офицер. И, обратясь к Власовой, спросил: — Ты грамотна?

— Нет! — ответил Павел.

— Я не тебя спрашиваю! — строго сказал офицер и снова спросил: — Старуха, — отвечай!

Мать, невольно отдаваясь чувству ненависти к этому человеку, вдруг, точно прыгнув в холодную воду, охваченная дрожью, выпрямилась, шрам ее побагровел, и бровь низко опустилась.

— Вы не кричите! — заговорила она, протянув к нему руку. — Вы еще молодой человек, вы горя не знаете...

— Успокойтесь, мамаша! — остановил ее Павел.

— погоди, Павел! — крикнула мать, порываясь к столу. — Зачем вы людей хватаете?

— Это вас не касается, — молчать! — крикнул офицер, вставая. — Введите арестованного Весовщикова!

И начал читать какую-то бумагу, подняв ее к лицу. Ввели Николая.

— Шапку снять! — крикнул офицер, прервав чтение.

Рыбин подошел к Власовой и, толкнув ее плечом, тихонько сказал:

— Не горячись, мать...

— Как же я сниму шапку, если меня за руки держат? — спросил Николай, заглушая чтение протокола.

Офицер бросил бумагу на стол.

— Подписать!

Мать смотрела, как подписывают протокол, ее возбуждение погасло, сердце упало, на глаза навернулись слезы обиды, бессилия. Этими слезами она плакала двадцать лет своего замужества, но последние годы почти забыла их разъедающий вкус; офицер посмотрел на нее и, брезгливо сморщив лицо, заметил:

— Вы преждевременно ревете, сударыня! Смотрите, вам не хватит слез впоследствии!

Снова озлобляясь, она сказала:

— У матери на все слез хватит, на все! Коли у вас есть мать — она это знает, да!

Офицер торопливо укладывал бумаги в новенький портфель с блестящим замком.

— Марш! — скомандовал он.

— До свиданья, Андрей, до свиданья, Николай! — тепло и тихо говорил Павел, пожимая товарищам руки.

— Вот именно — до свиданья! — усмехаясь, повторил офицер.

Весовщиков тяжело сопел. Его толстая шея налилась кровью, глаза сверкали жесткой злобой. Хохол блестел улыбками, кивал головой и что-то говорил матери, она крестила его и тоже говорила:

— Бог видит правых...

Наконец толпа людей в серых шинелях вывалилась в сени и, прозвенев шпорами, исчезла. Последним вышел Рыбин, он окинул Павла внимательным взглядом темных глаз, задумчиво сказал:

— Н-ну, прощайте!

И, покашливая в бороду, неторопливо вышел в сени.

Заложив руки за спину, Павел медленно ходил по комнате, перешагивая через книги и белье, валявшееся на полу, и говорил угрюмо:

— Видишь, — как это делается?..

Недоуменно рассматривая развороченную комнату, мать тоскливо прошептала:

— Зачем Николай грубил ему?..

— Испугался, должно быть, — тихо сказал Павел.

— Пришли, схватили, увели, — бормотала мать, разводя руками.

Сын остался дома, сердце ее стало биться спокойнее, а мысль стояла неподвижно перед фактом и не могла обнять его.

— Насмехается этот желтый, грозит...

— Хорошо, мать! — вдруг решительно сказал Павел. — Давай, уберем все это...

Он сказал ей «мать» и «ты», как говорил только тогда, когда вставал ближе к ней. Она подвинулась к нему, заглянула в его лицо и тихонько спросила:

— Обидели тебя?

— Да! — ответил он. — Это тяжело! Лучше бы с ними...

Ей показалось, что у него на глазах слезы, и, желая утешить, смутно чувствуя его боль, она, вздохнув, сказала:

— Погоди, возьмут и тебя!..

— Возьмут! — отозвался он.

Помолчав, мать грустно заметила:

— Экий ты, Паша, суровый! Хоть бы ты когда-нибудь утешил меня! А то — я скажу страшно, а ты еще страшнее.

Он взглянул на нее, подошел и тихо проговорил:

— Не умею я, мама! Надо тебе привыкнуть к этому.

Она вздохнула и, помолчав, заговорила, сдерживая дрожь страха:

— А может, они пытаются людей? Рвут тело, ломают косточки? Как подумаю я об этом, Паша, милый, страшно!..

— Они душу ломают... Это больнее — когда душу грязными руками...

XI

На другой день стало известно, что арестованы Букин, Самойлов, Сомов и еще пятеро. Вечером забегал Федя Мазин — у него тоже был обыск, и, довольный этим, он чувствовал себя героем.

— Боялся, Федя? — спросила мать.

Он побледнел, лицо его заострилось, ноздри дрогнули.

— Боялся, что ударит офицер! Он — чернобородый, толстый, пальцы у него в шерсти, а на носу — черные очки, точно — безглазый. Кричал, топал ногами! В тюрьме сгною, говорит! А меня никогда не били, ни отец, ни мать, я — один сын, они меня любили.

Он закрыл на миг глаза, сжал губы, быстрым жестом обеих рук взбил волосы на голове и, глядя на Павла покрасневшими глазами, сказал:

— Если меня когда-нибудь ударят, я весь, как нож, воткнушу в человека, — зубами буду грызть, — пусть уж сразу добьют!

— Тонкий ты, худенький! — воскликнула мать. — Куда тебе драться?

— Буду! — тихо ответил Федя.

Когда он ушел, мать сказала Павлу:

— Этот раньше всех сломится!..

Павел промолчал.

Через несколько минут дверь в кухню медленно открылась, вошел Рыбин.

— Здравствуйте! — усмехаясь, молвил он. — Вот — опять я. Вчера привели, а сегодня — сам пришел! — Он сильно потряс руку Павла, взял мать за плечо и спросил: — Чаем напоишь?

Павел молча рассматривал его смуглое, широкое лицо в густой, черной бороде и темные глаза. В спокойном взгляде светилось что-то значительное.

Мать ушла в кухню ставить самовар. Рыбин сел, погладил бороду и, положив локти на стол, окинул Павла темным взглядом.

— Так вот! — сказал он, как бы продолжая прерванный разговор. — Мне с тобой надо поговорить открыто. Я тебя долго оглядывал. Живем мы почти рядом; вижу — народу к тебе ходит много, а пьянства и безобразия нет. Это первое. Если люди не безобразят, они сразу заметны — что такое? Вот. Я сам глаза людям намял тем, что живу в стороне.

Речь его лилась тяжело, но свободно, он гладил бороду черной рукою и пристально смотрел в лицо Павла.

— Заговорили про тебя. Мои хозяева зовут еретиком — в церковь ты не ходишь. Я тоже не хожу. Потом явились листки эти. Это ты их придумал?

— Я! — ответил Павел.

— Уж и ты! — тревожно воскликнула мать, выглядывая из кухни. — Не один ты!

Павел усмехнулся. Рыбин тоже.

— Так! — сказал он.

Мать громко потянула носом воздух и ушла, немного обиженная тем, что они не обратили внимания на ее слова.

— Листки — это хорошо придумано. Они народ беспокоят. Девятнадцать было?

— Да! — ответил Павел.

— Значит, — все я читал! Так. Есть в них непонятное, есть лишнее, — ну, когда человек много говорит, ему слов с десяток и зря сказать приходится...

Рыбин улыбнулся, — зубы у него были белые и крепкие.

— Потом — обыск. Это меня расположило больше всего. И ты, и хохол, и Николай — все вы обнаружили...

Не находя нужного слова, он замолчал, взглянул в окно, постукал пальцами по столу.

— Обнаружили решение ваше. Дескать ты, ваше благородие, делай свое дело, а мы будем делать — свое. Хохол тоже хороший парень. Иной раз слушаю я, как он на фабрике говорит, и думаю — этого не сомнешь, его только смерть одолеет. Жилистый человек! Ты мне, Павел, веришь?

— Верю! — сказал Павел, кивнув головой.

— Вот. Гляди — мне сорок лет, я вдвое старше тебя, в двадцать раз больше видел. В солдатах три года с лишком шагал, женат был два раза, одна померла, другую бросил. На Кавказе был, духоборцев знаю. Они, брат, жизнь не одолеют, нет!

Мать жадно слушала его крепкую речь; было приятно видеть, что к сыну пришел пожилой человек и говорит с ним, точно исповедует. Но ей казалось, что Павел ведет себя слишком сухо с гостем, и, чтобы смягчить его отношение, она спросила Рыбина:

— Может, поесть хочешь, Михайло Иванович?

— Спасибо, мать! Я поужинал. Так вот, Павел, ты, значит, думаешь, что жизнь идет незаконно?

Павел встал и начал ходить по комнате, заложив руки за спину.

— Она верно идет! — говорил он. — Вот она привела вас ко мне с открытой душой. Нас, которые всю жизнь работают, она соединяет понемногу; будет время — соединит всех! Несправедливо, тяжело построена она для нас, но сама же и открывает нам глаза на свой горький смысл, сама указывает человеку, как ускорить ее ход.

— Верно! — прервал его Рыбин. — Человека надо обновить. Если опаршивеет — своди его в баню, — вымой, надень чистую одежду — выздоровеет! Так! А как же изнутри очистить человека? Во!

Павел заговорил горячо и резко о начальстве, о фабрике, о том, как за границей рабочие отстаивают свои права. Рыбин порой ударял пальцем по столу, как бы ставя точку. Не однажды он восклицал:

— Так!

И раз, засмеявшись, тихо сказал:

— Э-эх, молод ты! Мало знаешь людей!

Тогда Павел, остановясь против него, серьезно заметил:

— Не будем говорить о старости и о молодости! Посмотрим лучше, чьи мысли вернее.

— Значит, по-твоему, и богом обманули нас? Так. Я тоже думаю, что религия наша — фальшивая.

Тут вмешалась мать. Когда сын говорил о боге и обо всем, что она связывала с своей верой в него, что было дорого и свято для нее, она всегда искала встретить его глаза; ей хотелось молча попросить сына, чтобы он не царапал ей сердце острыми и резкими словами неверия. Но за неверием его ей чувствовалась вера, и это успокаивало ее.

«Где мне понять мысли его?» — думала она.

Ей казалось, что Рыбину, пожилому человеку, тоже неприятно и обидно слушать речи Павла. Но когда Рыбин спокойно поставил Павлу свой вопрос, она не стерпела и кратко, но настойчиво сказала:

— Насчет господа — вы бы поосторожнее! Вы — как хотите! — Переведя дыхание, она с силой, еще большей, продолжала: — А мне, старухе, опереться будет не на что в тоске моей, если вы господа бога у меня отнимете!

Глаза ее налились слезами. Она мыла посуду, и пальцы у нее дрожали.

— Вы нас не поняли, мамаша! — тихо и ласково сказал Павел.

— Ты прости, мать! — медленно и густо прибавил Рыбин и, усмехаясь, посмотрел на Павла. — Забыл я, что стара ты для того, чтобы тебе бородавки срезать...

— Я говорил, — продолжал Павел, — не о том добром и милостивом боге, в которого вы веруете, а о том, которым попы грозят нам, как палкой, — о боге, именем которого хотят заставить всех людей подчиниться злой воле немногих...

— Вот так, да! — воскликнул Рыбин, стукнув пальцами по столу. — Они и бога подменили нам, они все, что у них в руках, против нас направляют! Ты помни, мать, бог создал человека по образу и подобию своему, — значит, он подобен человеку, если человек ему подобен! А мы — не богу подобны, но диким зверям. В церкви нам пугало показывают... Переменить бога надо, мать, очистить его! В ложь и в клевету одели его, исказили лицо ему, чтобы души нам убить!..

Он говорил тихо, но каждое слово его речи падало на голову матери тяжелым, оглушающим ударом. И его лицо, в черной раме бороды, большое, траурное, пугало ее. Темный блеск глаз был невыносим, он будил ноющий страх в сердце.

— Нет, я лучше уйду! — сказала она, отрицательно качая головой. — Слушать это — нет моих сил!

И быстро ушла в кухню, сопровождаемая словами Рыбина:

— Вот, Павел! Не в голове, а в сердце — начало! Это есть такое место в душе человеческой, на котором ничего другого не вырастет...

— Только разум освободит человека! — твердо сказал Павел.

— Разум силы не дает! — возражал Рыбин громко и настойчиво. — Сердце дает силу, — а не голова, вот!

Мать разделась и легла в постель, не молясь. Ей было холодно, неприятно. И Рыбин, который показался ей сначала таким солидным, умным, теперь возбуждал у нее чувство вражды.

«Еретик! Смутьян! — думала она, слушая его голос. — Тоже, — пришел, — понадобилось!»

А он говорил уверенно и спокойно:

— Свято место не должно быть пусто. Там, где бог живет, — место наболевшее. Ежели выпадает он из души, — рана будет в ней — вот! Надо, Павел, веру новую придумать... надо сотворить бога — друга людям!

— Вот — был Христос! — воскликнул Павел.

— Христос был не тверд духом. Пронеси, говорит, мимо меня чашу. Кесаря признавал. Бог не может признавать власти человеческой над людьми, он — вся власть! Он душу свою не делит: это — божеское, это — человеческое... А он — торговлю признавал, брак признавал. И смоковницу проклял неправильно, — разве по своей воле не родила она? Душа тоже не по своей воле добром неплодна, — сам ли я посеял злобу в ней? Вот!

В комнате непрерывно звучали два голоса, обнимаясь и борясь друг с другом в возбужденной игре. Шагал Павел, скрипел пол под его ногами. Когда он говорил, все звуки тонули в его речи, а когда спокойно и медленно лился тяжелый голос Рыбина, — был слышен стук

маятника и тихий треск мороза, щупавшего стены дома острыми когтями.

— Скажу тебе по-своему, по-кочегарски: бог — подобен огню. Так! Живет он в сердце. Сказано: бог — слово, а слово — дух...

— Разум! — настойчиво сказал Павел.

— Так! Значит — бог в сердце и в разуме, а — не в церкви! Церковь — могила бога.

Мать заснула и не слышала, когда ушел Рыбин.

Но он стал приходить часто, и, если у Павла был кто-либо из товарищей, Рыбин садился в угол и молчал, лишь изредка говоря:

— Вот. Так!

А однажды, глядя на всех из угла темным взглядом, он угрюмо сказал:

— Надо говорить о том, что есть, а что будет — нам неизвестно, — вот! Когда народ освободится, он сам увидит, как лучше. Довольно много ему в голову вколачивали, чего он не желал совсем, — будет! Пусть сам сообразит. Может, он захочет все отвергнуть, — всю жизнь и все науки, может, он увидит, что все противу него направлено, — как, примерно, бог церковный. Вы только передайте ему все книги в руки, а уж он сам ответит, — вот!

Но если Павел был один, они тотчас же вступали в бесконечный, но всегда спокойный спор, и мать, тревожно слушая их речи, следила за ними, стараясь понять — что говорят они? Порою ей казалось, что широкоплечий, чернобородый мужик и ее сын, стройный, крепкий, — оба ослепли. Они тычутся из стороны в сторону в поисках выхода, хватаются за все сильными, но слепыми руками, трясут, передвигают с места на место, роняют на пол и дают упавшее ногами. Задевают за все, ощупывают каждое и отбрасывают от себя, не теряя веры и надежды...

Они приучили ее слышать слова, страшные своей прямотой и смелостью, но эти слова уже не били ее с той силой, как первый раз, — она научилась отталкивать их. И порой за словами, отрицавшими бога, она чувствовала крепкую веру в него же. Тогда она улыбалась тихой, всепрощающей улыбкой. И хотя Рыбин не нравился ей, но уже не возбуждал вражды.

Раз в неделю она носила в тюрьму белье и книги для хохла, однажды ей дали свидание с ним, и, придя домой, она умиленно рассказывала:

— Он и там — как дома. Со всеми — ласковый, все с ним шутят. Трудно ему, тяжело, а — показать не хочет...

— Так и надо! — заметил Рыбин. — Мы все в горе, как в коже, — горем дышим, горем одеваемся. Хвастать тут нечем. Не у всех замазаны глаза, иные сами их закрывают, — вот! А коли глуп — терпи!..

XII

Серый, маленький дом Власовых все более и более притягивал внимание слободки. В этом внимании было много подозрительной осторожности и бессознательной вражды, но зарождалось и доверчивое любопытство. Иногда приходил какой-то человек и, осторожно оглядываясь, говорил Павлу:

— Ну-ка, брат, ты тут книги читаешь, законы-то известны тебе. Так вот, объясни ты...

И рассказывал Павлу о какой-нибудь несправедливости полиции или администрации фабрики. В сложных случаях Павел давал человеку записку в город к знакомому адвокату, а когда мог — объяснял дело сам.

Постепенно в людях возникало уважение к молодому, серьезному человеку, который обо всем говорил просто и смело, глядя на все и все слушая со вниманием, которое упрямо рылось в путанице каждого частного случая и всегда, всюду находило какую-то общую, бесконечную нить, тысячами крепких петель связывавшую людей.

Особенно поднялся Павел в глазах людей после истории с «болотной копеей».

За фабрикой, почти окружая ее гнилым кольцом, тянулось обширное болото, поросшее ельником и березой. Летом оно дышало густыми, желтыми испарениями и на слободку с него летели тучи комаров, сея лихорадки. Болото принадлежало фабрике, и новый директор, желая извлечь из него пользу, задумал осушить его, а кстати выбрать торф. Указывая рабочим, что эта мера оздоровит местность и улучшит условия жизни для всех, директор

распорядился вычитать из их заработка копейку с рубля на осушение болота.

Рабочие заволновались. Особенно обидело их, что служащие не входили в число плательщиков нового налога.

Павел был болен в субботу, когда вывесили объявление директора о сборе копейки; он не работал и не знал ничего об этом. На другой день, после обедни, к нему пришел благообразный старик, литейщик Сизов, высокий и злой слесарь Махотин и рассказали ему о решении директора.

— Собрались мы, которые постарше, — степенно говорил Сизов, — поговорили об этом, и вот, послали нас товарищи к тебе спросить, — как ты у нас человек знающий, — есть такой закон, чтобы директору нашей копейкой с комарами воевать?

— Сообрази! — сказал Махотин, сверкая узкими глазами. — Четыре года тому назад они, жулье, на баню собирали. Три тысячи восемьсот было собрано. Где они? Бани — нет!

Павел объяснил несправедливость налога и явную выгоду этой затеи для фабрики; они оба, нахмурившись, ушли. Проводив их, мать сказала, усмехаясь:

— Вот, Паша, и старики стали к тебе за умом ходить.

Не отвечая, озабоченный Павел сел за стол и начал что-то писать. Через несколько минут он сказал ей:

— Я тебя прошу: поезжай в город, отдай эту записку...

— Это опасное? — спросила она.

— Да. Там печатают для нас газету. Необходимо, чтобы история с копейкой попала в номер...

— Ну-ну! — отозвалась она. — Я сейчас...

Это было первое поручение, данное ей сыном. Она обрадовалась, что он открыто сказал ей, в чем дело.

— Это я понимаю, Паша! — говорила она, одеваясь. — Это уж они грабят! Как человека-то зовут, — Егор Иванович?

Она воротилась поздно вечером, усталая, но довольная.

— Сашеньку видела! — говорила она сыну. — Кланяется тебе. А этот Егор Иванович простой такой, шутник! Смешно говорит.

— Я рад, что они тебе нравятся! — тихо сказал Павел.

— Простые люди, Паша! Хорошо, когда люди простые! И все уважают тебя...

В понедельник Павел снова не пошел работать, у него болела голова. Но в обед прибежал Федя Мазин, взволнованный, счастливый, и, задыхаясь от усталости, сообщил:

— Идем! Вся фабрика поднялась. За тобой послали. Сизов и Махотин говорят, что лучше всех можешь объяснить. Что делается!

Павел молча стал одеваться.

— Бабы прибежали — визжат!

— Я тоже пойду! — заявила мать. — Что они там затеяли? Я пойду!

— Иди! — сказал Павел.

По улице шли быстро и молча. Мать задыхалась от волнения и чувствовала — надвигается что-то важное. В воротах фабрики стояла толпа женщин, крикливо ругаясь. Когда они трое проскользнули во двор, то сразу попали в густую, черную, возбужденно гудевшую толпу. Мать видела, что все головы были обращены в одну сторону, к стене кузнечного цеха, где, на груде старого железа и фоне красного кирпича, стояли, размахивая руками, Сизов, Махотин, Вялов и еще человек пять пожилых, влиятельных рабочих.

— Власов идет! — крикнул кто-то.

— Власов? Давай его сюда...

— Тише! — кричали сразу в нескольких местах.

И где-то близко раздавался ровный голос Рыбина:

— Не за копейку надо стоять, а — за справедливость, — вот! Дорога нам не копейка наша, — она не круглее других, но — она тяжелее, — в ней крови человеческой больше, чем в директорском рубле, — вот! И не копейкой дорожим, — кровью, правдой, — вот!

Слова его падали на толпу и высекали горячие восклицания:

— Верно, Рыбин!

— Правильно, кочегар!

— Власов пришел!

Заглушая тяжелую возню машин, трудные вздохи пара и шелест проводов, голоса сливались в шумный

вихрь. Отовсюду торопливо бежали люди, размахивая руками, разжигая друг друга горячими, колкими словами. Раздражение, всегда дремотно таившееся в усталых грудях, просыпалось, требовало выхода, торжествуя летало по воздуху, все шире расправляя темные крылья, все крепче охватывая людей, увлекая их за собой, сталкивая друг с другом, перерождаясь в пламенную злобу. Над толпой колыхалась туча копоти и пыли, облитые потом лица горели, кожа щек плакала черными слезами. На темных лицах сверкали глаза, блестели зубы.

Там, где стояли Сизов и Махотин, появился Павел и прозвучал его крик:

— Товарищи!

Мать видела, что лицо у него побледнело и губы дрожат; она невольно двинулась вперед, расталкивая толпу. Ей говорили раздраженно:

— Куда лезешь?

Толкали ее. Но это не останавливало мать; раздвигая людей плечами и локтями, она медленно протискивалась все ближе к сыну, повинаясь желанию встать рядом с ним.

А Павел, выбросив из груди слово, в которое он привык вкладывать глубокий и важный смысл, почувствовал, что горло ему сжала спазма боевой радости; охватило желание бросить людям свое сердце, зажженное огнем мечты о правде.

— Товарищи! — повторил он, черпая в этом слове восторг и силу. — Мы — те люди, которые строят церкви и фабрики, куют цепи и деньги, мы — та живая сила, которая кормит и забавляет всех от пеленок до гроба...

— Вот! — крикнул Рыбин.

— Мы всегда и везде — первые в работе и на последнем месте в жизни. Кто заботится о нас? Кто хочет нам добра? Кто считает нас людьми? Никто!

— Никто! — отозвался, точно эхо, чей-то голос.

Павел, овладевая собой, стал говорить проще, спокойнее, толпа медленно подвигалась к нему, складываясь в темное, тысячеглавое тело. Она смотрела в его лицо сотнями внимательных глаз, всасывала его слова.

— Мы не добьемся лучшей доли, покуда не почувствуем себя товарищами, семьей друзей, крепко свя-

занных одним желанием — желанием бороться за наши права.

— Говори о деле! — грубо закричали где-то рядом с матерью.

— Не мешай! — негромко раздались два возгласа в разных местах.

Закопченные лица хмурились недоверчиво, угрюмо; десятки глаз смотрели в лицо Павла серьезно, вдумчиво.

— Социалист, а — не дурак! — заметил кто-то.

— Ух! Смело говорит! — толкнув мать в плечо, сказал высокий, кривой рабочий.

— Пора, товарищи, понять, что никто, кроме нас самих, не поможет нам! Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!

— Дело говорит, ребята! — крикнул Махотин.

И, широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком.

— Надо вызвать директора! — продолжал Павел.

По толпе точно вихрем ударило. Она закачалась, и десятки голосов сразу крикнули:

— Директора сюда!

— Депутатов послать за ним!

Мать протолкалась вперед и смотрела на сына снизу вверх, полна гордости: Павел стоял среди старых, уважаемых рабочих, все его слушали и соглашались с ним. Ей нравилось, что он не злится, не ругается, как другие.

Точно град на железо, сыпались отрывистые восклицания, ругательства, злые слова. Павел смотрел на людей сверху и искал среди них чего-то широко открытыми глазами.

— Депутатов!

— Сизова!

— Власова!

— Рыбина! У него зубы страшные!

Вдруг в толпе раздались негромкие восклицания.

— Сам идет!..

— Директор!..

Толпа расступилась, давая дорогу высокому человеку с острой бородкой и длинным лицом.

— Позвольте! — говорил он, отстраняя рабочих с своей дороги коротким жестом руки, но не дотрагиваясь до

них. Глаза у него были прищурены, и взглядом опытного владыки людей он испытующе шупал лица рабочих. Перед ним снимали шапки, кланялись ему, — он шел, не отвечая на поклоны, и сеял в толпе тишину, смущение, конфузливые улыбки и негромкие восклицания, в которых уже слышалось раскаяние детей, сознающих, что они нашалили.

Вот он прошел мимо матери, скользнув по ее лицу строгими глазами, остановился перед грудой железа. Кто-то сверху протянул ему руку — он не взял ее, свободно, сильным движением тела влез наверх, встал впереди Павла и Сизова и спросил:

— Это — что за сборище? Почему бросили работу?

Несколько секунд было тихо. Головы людей покачивались, точно колосья. Сизов, махнув в воздухе картузом, повел плечами и опустил голову.

— Я спрашиваю! — крикнул директор.

Павел встал рядом с ним и громко сказал, указывая на Сизова и Рыбина:

— Мы трое уполномочены товарищами потребовать, чтобы вы отменили свое распоряжение о вычете копейки...

— Почему? — спросил директор, не взглянув на Павла.

— Мы не считаем справедливым такой налог на нас! — громко сказал Павел.

— Вы что же, в моем намерении осушить болото видите только желание эксплуатировать рабочих, а не заботу об улучшении их быта? Да?

— Да! — ответил Павел.

— И вы тоже? — спросил директор Рыбина.

— Все одинаково! — ответил Рыбин.

— А вы, почтенный? — обратился директор к Сизову.

— Да и я тоже попрошу: уж вы оставьте копеечку-то при нас!

И, снова наклонив голову, Сизов виновато улыбнулся.

Директор медленно обвел глазами толпу, пожал плечами. Потом испытующе оглядел Павла и заметил ему:

— Вы кажетесь довольно интеллигентным человеком — неужели и вы не понимаете пользу этой меры?

Павел громко ответил:

— Если фабрика осушит болото за свой счет — это все поймут!

— Фабрика не занимается филантропией! — сухо заметил директор. — Я приказываю всем немедленно встать на работу!

И он начал спускаться вниз, осторожно ощупывая ногой железо и не глядя ни на кого.

В толпе раздался недовольный гул.

— Что? — спросил директор, остановясь.

Все замолчали, только откуда-то издали раздался одинокий голос:

— Работай сам!..

— Если через пятнадцать минут вы не начнете работать — я прикажу записать всем штраф! — сухо и внятно ответил директор.

Он снова пошел сквозь толпу, но теперь сзади него возникал глухой ропот, и чем глубже уходила его фигура, тем выше поднимались крики.

— Говори с ним!

— Вот те и права! Эх, судьбишка...

Обращались к Павлу, крича ему:

— Эй, законник, что делать теперь?

— Говорил ты, говорил, а он пришел — все стер!

— Ну-ка, Власов, как быть?

Когда крики стали настойчивее, Павел заявил:

— Я предлагаю, товарищи, бросить работу до поры, пока он не откажется от копейки...

Возбужденно запрыгали слова.

— Нашел дураков!

— Стачка?

— Из-за копейки-то?

— А что? Ну, и стачка!

— Всех за это — в шею...

— А кто работать будет?

— Найдутся!

— Иуды?

XIII

Павел сошел вниз и встал рядом с матерью.

Все вокруг загудели, споря друг с другом, волнуясь, вскрикивая.

— Не свяжешь стачку! — сказал Рыбин, подходя к Павлу. — Хоть и жаден народ, да труслив. Сотни три

встанут на твою сторону, не больше. Этакую кучу навоза на одни вилы не поднимешь...

Павел молчал. Перед ним колыхалось огромное, черное лицо толпы и требовательно смотрело ему в глаза. Сердце стучало тревожно. Власову казалось, что его слова исчезли бесследно в людях, точно редкие капли дождя, упавшие на землю, истощенную долгой засухой.

Он пошел домой, грустный, усталый. Сзади него шли мать и Сизов, а рядом шагал Рыбин и гудел в ухо:

— Ты хорошо говоришь, да — не сердцу, — вот! Надо в сердце, в самую глубину искру бросить. Не возмешь людей разумом, не по ноге обувь — тонка, узка!

Сизов говорил матери:

— Пора нам, старикам, на погост, Ниловна! Начинается новый народ. Что мы жили? На коленках ползали и всё в землю кланялись. А теперь люди, — не то опаматовались, не то — еще хуже ошибаются, ну — не похожи на нас. Вот она, молодежь-то, говорит с директором, как с равным... да-а! До свидания, Павел Михайлов, хорошо ты, брат, за людей стоишь! Дай бог тебе, — может, найдешь ходы-выходы, — дай бог!

Он ушел.

— Да, умирайте-ка! — бормотал Рыбин. — Вы уж и теперь не люди, а — замазка, вами щели замазывать. Видал ты, Павел, кто кричал, чтобы тебя в депутаты? Те, которые говорят, что ты социалист, смутьян, — вот! — они! Дескать, прогонят его — туда ему и дорога.

— Они, по-своему, правы! — сказал Павел.

— И волки правы, когда товарища рвут...

Лицо у Рыбина было угрюмое, голос необычно вздрагивал.

— Не поверят люди голому слову, — страдать надо, в крови омыть слово...

Весь день Павел ходил сумрачный, усталый, странно обеспокоенный, глаза у него горели и точно искали чего-то. Мать, заметив это, осторожно спросила:

— Ты что, Паша, а?

— Голова болит, — задумчиво сказал он.

— Лег бы, — а я доктора позову...

Он взглянул на нее и торопливо ответил:

— Нет, не надо!

И вдруг тихо заговорил:

— Молод, слабосилен я, — вот что! Не поверили мне, не пошли за моей правдой, — значит — не умел я сказать ее!.. Нехорошо мне, — обидно за себя!

Она, глядя в сумрачное лицо его и желая утешить, тихонько сказала:

— Ты — погоди! Сегодня не поняли — завтра поймут...

— Должны понять! — воскликнул он.

— Ведь вот даже я вижу твою правду...

Павел подошел к ней.

— Ты, мать, — хороший человек...

И отвернулся от нее. Она, вздрогнув, как обожженная тихими словами, приложила руку к сердцу и ушла, бережно унося его ласку.

Ночью, когда она спала, а он, лежа в постели, читал книгу, явились жандармы и сердито начали рыться везде, на дворе, на чердаке. Желтолицый офицер вел себя так же, как и в первый раз, — обидно, насмешливо, находя удовольствие в издевательствах, стараясь задеть за сердце. Мать, сидя в углу, молчала, не отрывая глаз от лица сына. Он старался не выдавать своего волнения, но когда офицер смеялся, у него странно шевелились пальцы, и она чувствовала, что ему трудно не отвечать жандарму, тяжело сносить его шутки. Теперь ей не было так страшно, как во время первого обыска, она чувствовала больше ненависти к этим серым ночным гостям со шпорами на ногах, и ненависть поглощала тревогу.

Павел успел шепнуть ей:

— Меня возьмут...

Она, наклонив голову, тихо ответила:

— Понимаю...

Она понимала — его посадят в тюрьму за то, что он говорил сегодня рабочим. Но с тем, что он говорил, соглашались все, и все должны вступить за него, значит — долго держать его не будут...

Ей хотелось обнять его, заплакать, но рядом стоял офицер и, прищулив глаза, смотрел на нее. Губы у него вздрагивали, усы шевелились — Власовой казалось, что

этот человек ждет ее слез, жалоб и просьб. Собрав все силы, стараясь говорить меньше, она сжала руку сына и, задерживая дыхание, медленно, тихо сказала:

— До свиданья, Паша. Все взял, что надо?

— Все. Не скучай...

— Христос с тобой...

Когда его увели, она села на лавку и, закрыв глаза, тихо завывала. Опираясь спиной о стену, как, бывало, делал ее муж, туго связанная тоской и обидным сознанием своего бессилия, она, закинув голову, выла долго и однотонно, выливая в этих звуках боль раненого сердца. А перед нею неподвижным пятном стояло желтое лицо с редкими усами, и прищуренные глаза смотрели с удовольствием. В груди ее черным клубком свивалось ожесточение и злоба на людей, которые отнимают у матери сына за то, что сын ищет правду.

Было холодно, в стекла стучал дождь, казалось, что, в ночи, вокруг дома ходят, подстерегая, серые фигуры с широкими красными лицами без глаз, с длинными руками. Ходят и чуть слышно звякают шпорами.

«Взяли бы и меня», — думала она.

Провыл гудок, требуя людей на работу. Сегодня он был глухо, низко и неуверенно. Отворилась дверь, вошел Рыбин. Он встал перед нею и, стирая ладонью капли дождя с бороды, спросил:

— Увели?

— Увели, проклятые! — вздохнув, ответила она.

— Такое дело! — сказал Рыбин, усмехнувшись. — И меня — обыскали, ощупали, да-а. Изругали... Ну — не обидели однако. Увели, значит, Павла! Директор мигнул, жандарм кивнул, и — нет человека? Они дружно живут. Одни народ доят, а другие — за рога держат...

— Вам бы вступиться за Павла-то! — воскликнула мать, вставая. — Ведь он ради всех пошел.

— Кому вступиться? — спросил Рыбин.

— Всем!

— Ишь — ты! Нет, этого не случится.

Усмехаясь, он вышел своей тяжелой походкой, увеличив горе матери суровой безнадежностью своих слов.

«Вдруг — бить будут, пытаться?..»

Она представляла себе тело сына, избитое, изорванное, в крови, и страх холодной глыбой ложился на грудь, давил ее. Глазам было больно.

Она не топила печь, не варила себе обед и не пила чая, только поздно вечером съела кусок хлеба. И когда легла спать — ей думалось, что никогда еще жизнь ее не была такой одинокой, голой. За последние годы она привыкла жить в постоянном ожидании чего-то важного, доброго. Вокруг нее шумно и бодро вертелась молодежь, и всегда перед нею стояло серьезное лицо сына, творца этой тревожной, но хорошей жизни. А вот нет его, и — ничего нет.

XIV

Медленно прошел день, бессонная ночь и еще более медленно другой день. Она ждала кого-то, но никто не являлся. Наступил вечер. И — ночь. Вздыхал и шаркал по стене холодный дождь, в трубе гудело, под полом возилось что-то. С крыши капала вода, и унылый звук ее падения странно сливался со стуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и все вокруг было ненужным, омертвело в тоске...

В окно тихо стукнули, — раз, два... Она привыкла к этим стукам, они не пугали ее, но теперь вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла ее на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь...

Вошел Самойлов, а за ним еще какой-то человек, с лицом, закрытым воротником пальто, в надвинутой на брови шапке.

— Разбудили мы вас? — не здороваясь, спросил Самойлов, против обыкновения озабоченный и хмурый.

— Не спала я! — ответила она и молча, ожидающими глазами уставилась на них.

Спутник Самойлова, тяжело и хрипло вздыхая, снял шапку и, протянув матери широкую руку с короткими пальцами, сказал ей дружески, как старой знакомой:

— Здравствуйте, мамаша! Не узнали?

— Это вы? — воскликнула Власова, вдруг чему-то радуясь. — Егор Иванович?

— Аз есмь! — ответил он, наклоняя свою большую голову с длинными, как у псаломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось, маленькие серые глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был похож на самовар, — такой же круглый, низенький, с толстой шеей и короткими руками. Лицо лоснилось и блестело, дышал он шумно, и в груди все время что-то булькало, хрипело...

— Пройдите в комнату, я сейчас оденусь! — предложила мать.

— У нас к вам дело есть! — озабоченно сказал Самойлов, исподлобья взглянув на нее.

Егор Иванович прошел в комнату и оттуда говорил.

— Сегодня утром, милая мамаша, из тюрьмы вышел известный вам Николай Иванович...

— Разве он там? — спросила мать.

— Два месяца и одиннадцать дней. Видел там хохла — он кланяется вам, и Павла, который — тоже кланяется, просит вас не беспокоиться и сказать вам, что на пути его местом отдыха человеку всегда служит тюрьма — так уж установлено заботливым начальством нашим. Затем, мамаша, я приступлю к делу. Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера?

— Нет! А разве — кроме Паши? — воскликнула мать.

— Он — сорок девятый! — перебил ее Егор Иванович спокойно. — И надо ждать, что начальство заберет еще человек с десяток! Вот этого господина тоже...

— Да, и меня! — хмуро сказал Самойлов.

Власова почувствовала, что ей стало легче дышать...

«Не один он там!» — мелькнуло у нее в голове.

Одевшись, она вошла в комнату и бодро улыбнулась гостю.

— Наверно, долго держать не будут, если так много забрали...

— Правильно! — сказал Егор Иванович. — А если мы ухитримся испортить им эту обедню, так они и совсем в дураках останутся. Дело стоит так: если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармишки уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла со товарищи, иже с ним ввергнуты в узилище...

— Как же это? — тревожно крикнула мать.

— А очень просто! — мягко сказал Егор Иванович. — Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте: был Павел — были книжки и бумажки, нет Павла — нет ни книжек, ни бумажек! Значит, это он сеял книжечки, ага-а? Ну, и начнут они есть всех, — жандармы любят так окорнать человека, чтобы от него остались одни пустяки!

— Я понимаю, понимаю! — тоскливо сказала мать. — Ах, господи! Как же теперь?

Из кухни раздался голос Самойлова:

— Всех почти выловили, — чорт их возьми!.. Теперь нам нужно дело продолжать попрежнему, не только для дела, — а и для спасения товарищей.

— А — работать некому! — добавил Егор, усмехаясь. — Литература у нас есть превосходного качества, — сам делал!.. А как ее на фабрику внести — сие неизвестно!

— Стали обыскивать всех в воротах! — сказал Самойлов.

Мать чувствовала, что от нее чего-то хотят, ждут, и торопливо спрашивала:

— Ну, так что же? Как же?

Самойлов встал в дверях и сказал:

— Вы, Пелагея Ниловна, знакомы с торговкой Корсуновой...

— Знакома, ну?

— Поговорите с ней, не пронесет ли она?

Мать отрицательно замахала руками.

— Ой, нет! Баба она болтливая, — нет! Как узнают, что через меня, — из этого дома, — нет, нет!

И вдруг, осененная внезапной мыслью, она тихо заговорила:

— Вы мне дайте, дайте — мне! Уж я устрою, я сама найду ход! Я Марью же и попрошу, пусть она меня в помощницы возьмет! Мне хлеб есть надо, работать надо же! Вот я и буду обеды туда носить! Уж я устроюсь!

Прижав руки к груди, она торопливо уверяла, что делает все хорошо, незаметно, и в заключение, торжествуя, воскликнула:

— Они увидят — Павла нет, а рука его даже из острога достигает, — они увидят!

Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил:

— Чудесно, мамаша! Знали бы вы, как это превосходно? Прямо — очаровательно.

— Я в тюрьму, как в кресло сяду, если это удастся! — потирая руки, заметил Самойлов.

— Вы — красавица! — хрипло кричал Егор.

Мать улыбнулась. Ей было ясно: если теперь листки появятся на фабрике, — начальство должно будет понять, что не ее сын распространяет их. И, чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости.

— Когда пойдете на свидание с Павлом, — говорил Егор, — скажите ему, что у него хорошая мать...

— Я его раньше увижу! — усмехаясь, пообещал Самойлов.

— Вы так ему и скажите — я все, что надо, сделаю! Чтобы он знал это!..

— А если его не посадят? — спросил Егор, указывая на Самойлова.

— Ну — что же делать!

Они оба захохотали. И она, поняв свой промах, начала смеяться, тихо и смущенно, немножко лукавая.

— За своим — чужое плохо видно! — сказала она, опустив глаза.

— Это — естественно! — воскликнул Егор. — А насчет Павла вы не беспокойтесь, не грустите. Из тюрьмы он еще лучше воротится. Там отдыхаешь и учишься, а на воле у нашего брата для этого времени нет. Я вот трижды сидел и каждый раз, хотя и с небольшим удовольствием, но с несомненной пользой для ума и сердца.

— Дышите вы тяжело! — сказала она, дружелюбно глядя в его простое лицо.

— На это есть особые причины! — ответил он, подняв палец кверху. — Так, значит, решено, мамаша? Завтра мы вам доставим материала, и снова завертится пила разрушения вековой тьмы. Да здравствует свободное слово, и да здравствует сердце матери! А пока — до свиданья!

— До свиданья! — сказал Самойлов, крепко пожимая руку ей. — А я вот своей матери и заикнуться не могу ни о чем таком, — да!

— Все поймут! — сказала Власова, желая сделать приятное ему.

Когда они ушли, она заперла дверь и, встав на колени среди комнаты, стала молиться под шум дождя. Молилась без слов, одной большой думой о людях, которых ввел Павел в ее жизнь. Они как бы проходили между нею и иконами, проходили все такие простые, странно близкие друг другу и одинокие.

Рано утром она отправилась к Марье Корсуновой.

Торговка, как всегда замасленная и шумная, встретила ее сочувственно.

— Тоскуешь? — спросила она, похлопав мать по плечу жирной рукой. — Брось! Взяли, увезли, эка беда! Ничего худого тут нету. Это раньше было — за кражи в тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать. Павел, может, и не так что-нибудь сказал, но он за всех встал — и все его понимают, не беспокойся! Не все говорят, а все знают, кто хорош. Я все собиралась зайти к тебе, да вот некогда. Стряпаю да торгую, а умру, видно, нищей. Любовники меня одолевают, анафемы! Так и гложут, так и гложут, словно тараканы каравай. Накопишь рублей десяток, явится какой-нибудь еретик — и слижет деньги! Бедовое дело — бабой быть! Поганая должность на земле! Одной жить трудно, вдвоем — нудно!

— А я к тебе в помощницы проситься пришла! — сказала Власова, перебивая ее болтовню.

— Это как? — спросила Марья и, выслушав подругу, утвердительно кивнула головой.

— Можно! Помнишь, ты меня, бывало, от мужа моего прятала? Ну, теперь я тебя от нужды спрячу... Тебе все должны помочь, потому — твой сын за общественное дело пропадает. Хороший парень он у тебя, это все говорят, как одна душа, и все его жалеют. Я скажу — от арестов этих добра начальству не будет, — ты погляди, что на фабрике делается? Нехорошо говорят, милая! Они там, начальники, думают — укусили человека за пятку, далеко не уйдет! Ан выходит так, что десяток ударили — сотни рассердились!

Разговор кончился тем, что на другой день в обед Власова была на фабрике с двумя корчагами Марьиной стряпни, а сама Марья пошла торговать на базар.

Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили:

— За дело взялась, Ниловна?

И одни утешали, доказывая, что Павла скоро выпустят, другие тревожили ее печальное сердце словами соборезнования, третьи озлобленно ругали директора, жандармов, находя в груди ее ответное эхо. Были люди, которые смотрели на нее злорадно, а табельщик Исай Горбов сказал сквозь зубы:

— Кабы я был губернатором, я бы твоего сына — повесил! Не сбивай народ с толку!

От этой злой угрозы на нее повеяло мертвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и, вздохнув, опустила глаза в землю.

На фабрике было беспокойно, рабочие собирались кучками, о чем-то вполголоса говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера, порою раздавались ругательства, раздраженный смех.

Двое полицейских провели мимо нее Самойлова; он шел, сунув одну руку в карман, а другой приглаживая свои рыжеватые волосы.

Его провожала толпа рабочих, человек в сотню, погоняя полицейских руганью и насмешками...

— Гулять пошел, Гриша! — крикнул ему кто-то.

— Почет нашему брату! — поддержал другой. — Со стражей ходим...

И крепко выругался.

— Воров ловить, видно, невыгодно стало! — зло и громко говорил высокий и кривой рабочий. — Начали честных людей таскать...

— Хоть бы ночью таскали! — вторил кто-то из толпы. — А то днем — без стыда, — сволочи!

Полицейские шли угрюмо, быстро, стараясь ничего не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их. Встречу им трое рабочих несли большую полосу железа и, направляя ее на них, кричали:

— Берегитесь, рыбаки!

Проходя мимо Власовой, Самойлов, усмехаясь, кивнул ей головой и сказал:

— Поволокли!

Она молча, низко поклонилась ему, ее трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыбками на лицах; у нее возникала жалостливая любовь матери к ним.

Воротаясь с фабрики, она провела весь день у Марьи, помогая ей в работе и слушая ее болтовню, а поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно. Она долго совалась из угла в угол, не находя себе места, не зная, что делать. И ее беспокоило, что вот уже скоро ночь, а Егор Иванович не несет литературу, как он обещал.

За окном мелькали тяжелые, серые хлопья осеннего снега. Мягко приставая к стеклам, они бесшумно скользили вниз и таяли, оставляя за собой мокрый след. Она думала о сыне...

В дверь осторожно постучались, мать быстро подбежала, сняла крючок, — вошла Сашенька. Мать давно ее не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза, это неестественная полнота девушки.

— Здравствуйте! — сказала она, радуясь, что пришел человек и часть ночи она проведет не в одиночестве. — Давно не видать было вас. Уезжали?

— Нет, я в тюрьме сидела! — ответила девушка, улыбаясь. — Вместе с Николаем Ивановичем, — помните его?

— Как же не помнить! — воскликнула мать. — Мне вчера Егор Иванович говорил, что его выпустили, а про вас я не знала... Никто и не сказал, что вы там...

— Да что же об этом говорить?.. Мне, — пока не пришел Егор Иванович, — переодеться надо! — сказала девушка, оглядываясь.

— Мокрая вы вся...

— Я листовки и книжки принесла...

— Давайте, давайте! — заторопилась мать.

Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с нее, точно листья с дерева, посыпались на пол, шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола и говорила:

— А я смотрю — полная вы такая, думала замуж вышли, ребеночка ждете. Ой-ой, сколько принесли! Неужели пешком?

— Да! — сказала Сашенька. Она теперь снова стала стройной и тонкой, как прежде. Мать видела, что щеки у нее ввалились, глаза стали огромными и под ними легли темные пятна.

— Только что выпустили вас, — вам бы отдохнуть, а вы! — вздохнув и качая головой, сказала мать.

— Нужно! — ответила девушка, вздрагивая. — Скажите, как Павел Михайлович, — ничего?.. Не очень взволновался?

Спрашивая, Сашенька не смотрела на мать; наклонив голову, она поправляла волосы, и пальцы ее дрожали.

— Ничего! — ответила мать. — Да ведь он себя не выдаст.

— Ведь у него крепкое здоровье? — тихо проговорила девушка.

— Не хворал, никогда! — ответила мать. — Дрожите вы вся. Вот я чаем вас напою с вареньем малиновым.

— Это хорошо бы! Только стоит ли вам беспокоиться? Поздно. Давайте, я сама...

— Усталая-то? — укоризненно отозвалась мать, припимаясь возиться около самовара. Саша тоже вышла в кухню, села там на лавку и, закинув руки за голову, заговорила:

— Все-таки, — ослабляет тюрьма. Проклятое безделье! Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много нужно работать, и — сидишь в клетке, как зверь...

— Кто вознаградит вас за все? — спросила мать.

И, вздохнув, ответила сама себе:

— Никто, кроме господ! Вы, поди-ка, тоже не верите в него?

— Нет! — кратко ответила девушка, качнув головой.

— А я вот вам не верю! — вдруг возбуждаясь, заявила мать. И, быстро вытирая запачканные углем руки о фартук, она с глубоким убеждением продолжала: — Не понимаете вы веры вашей! Как можно без веры в бога жить такую жизнь?

В сенях кто-то громко затопал, заворчал, мать вздрогнула, девушка быстро вскочила и торопливо зашептала:

— Не отпирайте! Если это — они, жандармы, вы меня не знаете!.. Я — ошиблась домом, зашла к вам случайно, упала в обморок, вы меня раздели, нашли книги, — понимаете?

— Милая вы моя, — зачем? — умиленно спросила мать.

— Подождите! — прислушиваясь, сказала Сашенька. — Это, кажется, Егор...

Это был он, мокрый и задыхающийся от усталости.

— Ага! Самоварчик? — воскликнул он. — Это лучше всего в жизни, мамаша! Вы уже здесь, Сашенька?

Наполняя маленькую кухню хриплыми звуками, он медленно стаскивал тяжелое пальто и, не останавливаясь, говорил:

— Вот, мамаша, девица неприятная для начальства! Будучи обижена смотрителем тюрьмы, она объявила ему, что уморит себя голодом, если он не извинится перед ней, и восемь дней не кушала, по какой причине едва не протянула ножки. Недурно? Животик-то у меня каков?

Болтая и поддерживая короткими руками безобразно отвисший живот, он прошел в комнату, затворил за собою дверь, но и там продолжал что-то говорить.

— Неужто восемь дней не кушали вы? — удивленно спросила мать.

— Нужно было, чтобы он извинился предо мной! — отвечала девушка, зябко поводя плечами. Ее спокойствие и суровая настойчивость отозвались в душе матери чем-то похожим на упрек.

«Вот как!..» — подумала она и снова спросила: — А если бы умерли?

— Что же поделаешь! — тихо отозвалась девушка. — Он все-таки извинился. Человек не должен прощать обиду.

— Да-а... — медленно отозвалась мать. — А вот нашу сестру всю жизнь обижают...

— Я разгрузился! — объявил Егор, отворяя дверь. — Самоварчик готов? Позвольте, я его втащу...

Он поднял самовар и понес его, говоря:

— Собственноручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов чаю, почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно семьдесят три года. Имел

он восемь пудов весу и был дьячком в селе Воскресенском...

— Вы отца Ивана сын? — воскликнула мать.

— Именно! А почему вам сие известно?

— Да я из Воскресенского!..

— Землячка? Чьих будете?

— Соседи ваши! Серегина я.

— Хромого Нила дочка? Лицо мне знакомое, ибо не однажды драл меня за уши...

Они стояли друг против друга и, осыпая один другого вопросами, смеялись. Сашенька, улыбаясь, посмотрела на них и стала заваривать чай. Стук посуды возвратил мать к настоящему.

— Ой, простите, заговорила! Очень уж приятно земляка видеть...

— Это мне нужно просить прощения за то, что я тут распоряжаюсь! Но уж одиннадцатый час, а мне далеко идти...

— Куда идти? В город? — удивленно спросила мать.

— Да.

— Что вы? Темно, мокро, — устали вы! Ночуйте здесь! Егор Иванович в кухне ляжет, а мы с вами тут...

— Нет, я должна идти! — просто заявила девушка.

— Да, землячка, требуется, чтобы барышня исчезла. Ее здесь знают. И, если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо! — заявил Егор.

— Как же она? Одна пойдет?..

— Пойдет! — сказал Егор, усмехаясь.

Девушка налила себе чаю, взяла кусок ржаного хлеба, посолила и стала есть, задумчиво глядя на мать.

— Как это вы ходите? И вы, и Наташа? Я бы не пошла, — боязно! — сказала Власова.

— Да и она боится! — заметил Егор. — Вы боитесь, Саша?

— Конечно! — ответила девушка.

Мать взглянула на нее, на Егора и тихонько воскликнула:

— Какие вы... строгие!

Выпив чаю, Сашенька молча пожала руку Егора, пошла в кухню, а мать, провожая ее, вышла за нею. В кухне Сашенька сказала:

— Увидите Павла Михайловича — передайте ему мой поклон! Пожалуйста!

А взявшись за скобу двери, вдруг обернувшись, негромко спросив:

— Можно поцеловать вас?

Мать молча обняла ее и горячо поцеловала.

— Спасибо! — тихо сказала девушка и, кивнув головой, ушла.

Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула в окно. Во тьме тяжело падали мокрые хлопья снега.

— А Прозоровых помните? — спросил Егор.

Он сидел, широко расставив ноги, и громко дул на стакан чаю. Лицо у него было красное, потное, довольное.

— Помню, помню! — задумчиво сказала мать, боком подходя к столу. Села и, глядя на Егора печальными глазами, медленно протянула: — Ай-ай-яй! Сашенька-то? Как она дойдет?

— Устанет! — согласился Егор. — Тюрьма ее сильно пошатнула, раньше девица крепче была... К тому же воспитания она нежного... Кажется — уже испортила себе легкие...

— Кто она такая? — тихо осведомилась мать.

— Дочь помещика одного. Отец — большой прохвост, как она говорит. Вам, мамаша, известно, что они хотят пожениться?

— Кто?

— Она и Павел... Но — вот, все не удастся, — он на воле, она в тюрьме, и наоборот!

— Я этого не знала! — помолчав, ответила мать. — Паша о себе ничего не говорит...

Теперь ей стало еще больше жалко девушку, и, с невольной неприязнью взглянув на гостя, она проговорила:

— Вам бы проводить ее!..

— Нельзя! — спокойно ответил Егор. — У меня здесь куча дела, и я с утра должен буду целый день ходить, ходить, ходить. Занятие немилое, при моей одышке...

— Хорошая она девушка, — неопределенно проговорила мать, думая о том, что сообщил ей Егор. Ей было обидно услышать это не от сына, а от чужого человека, и она плотно поджала губы, низко опустив брови.

— Хорошая! — кивнул головой Егор. — Вижу я — вам ее жалко. Напрасно! У вас не хватит сердца, если вы начнете жалеть всех нас, крамольников. Всем живется не очень легко, говоря правду. Вот недавно воротился из ссылки мой товарищ. Когда он ехал через Нижний — жена и ребенок ждали его в Смоленске, а когда он явился в Смоленск — они уже были в московской тюрьме. Теперь очередь жены ехать в Сибирь. У меня тоже была жена, превосходный человек, пять лет такой жизни свели ее в могилу...

Он залпом выпил стакан чаю и продолжал рассказывать. Перечислял годы и месяцы тюремного заключения, ссылки, сообщал о разных несчастьях, об избиениях в тюрьмах, о голоде в Сибири. Мать смотрела на него, слушала и удивлялась, как просто и спокойно он говорил об этой жизни, полной страданий, преследований, издевательств над людьми...

— Но — поговоримте о деле!

Голос его изменился, лицо стало серьезнее. Он начал спрашивать ее, как она думает пронести на фабрику книжки, а мать удивлялась его тонкому знанию разных мелочей.

Кончив с этим, они снова стали вспоминать о своем родном селе; он шутил, а она задумчиво бродила в своем прошлом, и оно казалось ей странно похожим на болото, однообразно усеянное кочками, поросшее тонкой, пугливо дрожащей осинкой, невысокою елью и заплутавшимися среди кочек белыми березами. Березы росли медленно и, простояв лет пять на зыбкой, гнилой почве, падали и гнили. Она смотрела на эту картину, и ей было нестерпимо жалко чего-то. Перед нею стояла фигура девушки с резким, упрямым лицом. Она теперь шла среди мокрых хлопьев снега, одинокая, усталая. А сын сидит в тюрьме. Может быть, он не спит еще, думает... Но думает не о ней, о матери, — у него есть человек ближе нее. Пестрой, спутанной тучей ползли на нее тяжелые мысли и крепко обнимали сердце...

— Устали вы, мамаша! Давайте-ка, ляжем спать! — сказал Егор, улыбаясь.

Она простилась с ним и боком, осторожно прошла в кухню, унося в сердце едкое, горькое чувство.

Попутру, за чаем, Егор спросил ее:

— А если вас сцапают и спросят, откуда вы взяли все эти еретицкие книжки, — вы что скажете?

— «Не ваше дело» — скажу! — ответила она.

— Они с этим ни за что не согласятся! — возразил Егор. — Они глубоко убеждены, что это — именно их дело! И будут спрашивать усердно, долго!

— А я не скажу!

— А вас в тюрьму!

— Ну, что ж? Слава богу — хоть на это гожусь! — сказала она, вздыхая. — Кому я нужна? Никому. А пытаться не будут, говорят...

— Гм! — сказал Егор, внимательно посмотрев на нее. — Пытать — не будут. Но хороший человек должен беречь себя...

— У вас этому не научишься! — ответила мать, усмехаясь.

Егор, помолчав, прошелся по комнате, потом подошел к ней и сказал:

— Трудно, землячка! Чувствую я — очень трудно вам!

— Всем трудно! — махнув рукой, ответила она. — Может, только тем, которые понимают, им — полегче... Но я тоже понемножку понимаю, чего хотят хорошие-то люди...

— А коли вы это понимаете, мамаша, значит, всем вы им нужны — всем! — серьезно сказал Егор.

Она взглянула на него и молча усмехнулась.

В полдень она спокойно и деловито обложила свою грудь книжками и сделала это так ловко и удобно, что Егор с удовольствием щелкнул языком, заявив:

— Зер гут! как говорит хороший немец, когда выпьет ведро пива. Вас, мамаша, не изменила литература: вы остались доброй, пожилой женщиной, полной и высокого роста. Да благословят бесчисленные боги ваше начинание!..

Через полчаса, согнутая тяжестью своей ноши, спокойная и уверенная, она стояла у ворот фабрики. Двое сторожей, раздражаемые насмешками рабочих, грубо ошупывали всех входящих во двор, переругиваясь с ними. В стороне стоял полицейский и тонконогий человек с красным лицом, с быстрыми глазами. Мать, передвигая

коромысло с плеча на плечо, исподлобья следила за ним, чувствуя, что это шпион.

Высокий, кудрявый парень в шапке, сдвинутой на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его:

— Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане!

Один из сторожей ответил:

— У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет...

— Вам и ловить вшей, а не ершей! — откликнулся рабочий.

Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул.

— Меня-то пропустили бы! — попросила мать. — Видите, человек с ношей, спина ломится!

— Иди, иди! — сердито крикнул сторож. — Рассуждает тоже...

Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась.

К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы, и старший, Василий, хмуря брови, громко спросил:

— Пирог есть?

— Завтра принесу! — ответила она.

Это был условленный пароль. Лица братьев просветлели. Иван, не утерпев, воскликнул:

— Эх ты, мать честная...

Василий присел на корточки, заглядывая в корчагу, и в то же время за пазухой у него очутилась пачка листов.

— Иван, — громко говорил он, — не пойдем домой, давай у нее обедать! — А сам быстро засовывал книжки в голенища сапог. — Надо поддержать новую торговку...

— Надо! — согласился Иван и захохотал.

Мать, осторожно оглядываясь, покрикивала:

— Ши, лапша горячая!

И, незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из ее рук, перед нею вспыхивало желтым пятном, точно огонь спички в темной комнате, лицо жандармского офицера, и она мысленно со злорадным чувством говорила ему:

«На-ко тебе, батюшка...»

Передавая следующую пачку, прибавляла удовлетворенно:

«На-ко...»

Подходили рабочие с чашками в руках; когда они были близко, Иван Гусев начинал громко хохотать, и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней:

— Ловко действует Ниловна!

— Нужда заставит и мышей ловить! — угрюмо заметил какой-то кочегар. — Кормильца-то — оторвали. Сво-лочи! Ну-ка, на три копейки лапши. Ничего, мать! Пере-бьешься.

— Спасибо на добром слове! — улыбнулась она ему.

Он, уходя, в сторону ворчал:

— Недорого мне стоит доброе-то слово...

Власова покрикивала:

— Горячее — щи, лапша, похлебка...

И думала о том, как расскажет сыну свой первый опыт, а перед нею все стояло желтое лицо офицера, недо-умевающее и злое. На нем растерянно шевелились черные усы, и из-под верхней, раздраженно вздернутой губы бле-стела белая кость крепко сжатых зубов. В груди ее пти-цею пела радость, брови лукаво вздрагивали, и она, ловко делая свое дело, приговаривала про себя:

— А вот — еще!..

XVI

Вечером, когда она пила чай, за окном раздалось чмо-канье лошадиных копыт по грязи и прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню, к двери, по се-ням кто-то быстро шел, у нее потемнело в глазах и, при-слонясь к косяку, она толкнула дверь ногой.

— Добрый вечер, ненько! — раздался знакомый голос, и на плечи ее легли сухие, длинные руки.

В сердце ее вспыхнули тоска разочарования и — ра-дость видеть Андрея. Вспыхнули, смешались в одно боль-шое, жгучее чувство; оно обняло ее горячей волной, об-няло, подняло, и она ткнулась лицом в грудь Андрея. Он крепко сжал ее, руки его дрожали, мать молча, тихо пла-кала, он гладил ее волосы и говорил, точно пел:

— А не плачьте, ненько, не томите сердца! Честное слово говорю вам — скоро его выпустят! Ничего у них нет против него, все ребята молчат, как вареные рыбы...

Обняв плечи матери, он ввел ее в комнату, а она, прижимаясь к нему, быстрым жестом белки отирала с лица слезы и жадно, всей грудью, глотала его слова.

— Кланяется вам Павел, здоров и весел, как только может быть. Тесно там! Народу — больше сотни нахватали, и наших и городских, в одной камере по трое и по четверо сидят. Начальство тюремное ничего, хорошее, и устало оно — так много задали работы ему чортовы жандармы! Так оно, начальство, не очень строго командует, а все говорит: «Вы уж, господа, потише, не подводите нас!» Ну, и все идет хорошо. Разговаривают, книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма! Старая она, грязная, а — мягкая такая, легкая. Уголовные тоже славный народ, помогают нам много. Выпустили меня, Букина и еще четырех. Скоро и Павла выпустят, уж это верно! Дольше всех Весовщиков будет сидеть, сердятся на него очень. Ругает он всех, не уставая! Жандармы смотреть на него не могут. Пожалуй, попадет он под суд или поколотят его однажды. Павел уговаривает его: «Брось, Николай! Они ведь лучше не будут, если ты обругаешь их!» А он ревет: «Сковырну их с земли, как болячки!» Хорошо держится Павел, ровно, твердо. Скоро его выпустят, говорю вам...

— Скоро! — сказала мать, успокоенная и ласково улыбаясь. — Я знаю, скоро!

— Вот и хорошо, коли знаете! Ну, наливайте же мне чаю, говорите, как жили.

Он смотрел на нее, улыбаясь весь, такой близкий, славный, и в круглых глазах светилась любовная, немного грустная искра.

— Очень я люблю вас, Андрюша! — глубоко вздохнув, сказала мать, разглядывая его худое лицо, смешно поросшее темными кустиками волос.

— С меня немножого довольно. Я знаю, что вы меня любите, — вы всех можете любить, сердце у вас большое! — покачиваясь на стуле, говорил хохол.

— Нет, вас я особенно люблю! — настаивала она. — Была бы у вас мать, завидовали бы ей люди, что сын у нее такой...

Хохол качнул головой и крепко потер ее обеими руками.

— Где-нибудь есть и у меня мать... — тихо сказал он.

— А знаете, что я сегодня сделала? — воскликнула она и торопливо, захлебываясь от удовольствия, немножко прикрашивая, рассказала, как она пронесла на фабрику литературу.

Он сначала удивленно расширил глаза, потом захохотал, двигая ногами, колотил себя пальцами по голове и радостно кричал:

— Ого! Ну, — это не шутка! Это дело! Павел-то будет рад, а? Это — хорошо, ненько! И для Павла и для всех!

Он с восхищением щелкал пальцами, свистал и весь качался, блеснул радостью и возбуждал в ней сильный, полный отзвук.

— Милый вы мой, Андрюша! — заговорила она так, как будто у нее открылось сердце и из него ручьем брызнули, играя, полные тихой радости слова. — Думала я о своей жизни — господи Иисусе Христе! Ну, зачем я жила? Побой... работа... ничего не видела, кроме мужа, ничего не знала, кроме страха! И как рос Паша — не видела, и любила ли его, когда муж жив был, — не знаю! Все заботы мои, все мысли были об одном — чтобы накормить зверя своего вкусно, сытно, во-время угодить ему, чтобы он не угрюмился, не пугал бы побоями, пожалел бы хоть раз. Не помню, чтобы пожалел когда. Бил он меня, точно не жену бьет, а — всех, на кого зло имеет. Двадцать лет так жила, а что было до замужества — не помню! Вспоминаю — и, как слепая, ничего не вижу! Был тут Егор Иванович — мы с ним из одного села, говорит он и то и се, а я — дома помню, людей помню, а как люди жили, что говорили, что у кого случилось — забыла! Пожары помню, — два пожара. Видно, все из меня было выбито, заколочена душа наглухо, ослепла, не слышит...

Она перевела дыхание и, жадно глотая воздух, как рыба, вытщенная из воды, наклонилась вперед и продолжала, понизив голос:

— Помер муж, я схватилась за сына, — а он пошел по этим делам. Вот тут плохо мне стало и жалко его... Пропадет, как я буду жить? Сколько страху, тревоги испытала я, сердце разрывалось, когда думала о его судьбе...

Она замолчала и, тихо качая головой, проговорила значительно:

— Нечистая она, наша бабья любовь!.. Любим мы то, что нам надо. А вот смотрю я на вас, — о матери вы тоскуете, — зачем она вам? И все другие люди за народ страдают, в тюрьмы идут и в Сибирь, умирают... Девушки молодые ходят ночью, одни, по грязи, по снегу, в дождик, — идут семь верст из города к нам. Кто их гонит, кто толкает? Любят они! Вот они — чисто любят! Веруют! Веруют, Андрюша! А я — не умею так! Я люблю свое, близкое!

— Вы можете! — сказал хохол и, отвернув от нее лицо, крепко, как всегда, потер руками голову, щеку и глаза. — Все любят близкое, но — в большом сердце и далекое — близко! Вы много можете. Велико у вас материнское...

— Дай господи! — тихо сказала она. — Я ведь чувствую, — хорошо так жить! Вот я вас люблю, — может я вас люблю лучше, чем Пашу. Он — закрытый... Вот он жениться хочет на Сашеньке, а мне, матери, не сказал про это...

— Неверно! — возразил хохол. — Я знаю это. Неверно. Он ее любит и она его — верно. А жениться — этого не будет, нет! Она бы хотела, да Павел не хочет...

— Вот как? — задумчиво и тихо сказала мать, и глаза ее грустно остановились на лице хохла. — Да. Вот как? Отказываются люди от себя...

— Павел — редкий человек! — тихонько произнес хохол. — Железный человек...

— Теперь вот — сидит он в тюрьме! — вдумчиво продолжала мать. — Тревожно эго, боязно, — а — не так уж! Вся жизнь не такая, и страх другой, — за всех тревожно. И сердце другое, — душа глаза открыла, смотрит: грустно ей и радостно. Не понимаю я многого, и так обидно, горько мне, что в господа бога не веруете вы! Ну, это уж — ничего не поделаешь! Но вижу — хорошие вы люди, да! И обрекли себя на жизнь трудную за народ, на тяжелую жизнь за правду. Правду вашу я тоже поняла: покуда будут богатые — ничего не добьется народ, ни правды, ни радости, ничего! Вот живу я среди вас, иной раз ночью вспомнишь прежнее, силу мою, ногами

затоптанную, молодое сердце мое забитое — жалко мне себя, горько! Но все-таки лучше мне стало жить. Все больше я сама себя вижу...

Хохол встал и, стараясь не шаркать ногами, начал осторожно ходить по комнате, высокий, худой, задумчивый.

— Хорошо сказали вы! — тихо воскликнул он. — Хорошо. Был в Керчи еврей молоденький, писал он стихи и однажды написал такое:

И невинно убиенных —
Сила правды воскресит!..

Его самого полиция там, в Керчи, убила, но это — неважно! Он правду знал и много посеял ее в людях. Так вот вы — невинно убиенный человек...

— Говорю я теперь, — продолжала мать, — говорю, сама себя слушаю, — сама себе не верю. Всю жизнь думала об одном — как бы обойти день стороной, прожить бы его незаметно, чтобы не тронули меня только? А теперь обо всех думаю, может, и не так понимаю я дела ваши, а все мне — близкие, всех жалко, для всех — хорошего хочется. А вам, Андрюша, — особенно!..

Он подошел к ней и сказал:

— Спасибо!

Взял ее руку в свои, крепко стиснул, потряс и быстро отвернулся в сторону. Утомленная волнением, мать не торопясь мыла чашки и молчала, в груди у нее тихо теплилось бодрое, греющее сердце чувство.

Хохол, расхаживая, говорил ей:

— Вот бы, ненько, Весовщикова приласкать вам однажды! Сидит у него отец в тюрьме — поганенький такой старичок. Николай увидит его из окна и ругает. Нехорошо это! Он добрый, Николай, — собак любит, мышей и всякую тварь, а людей — не любит! Вот до чего можно испортить человека!

— Мать у него без вести пропала, отец — вор и пьяница, — задумчиво сказала женщина.

Когда Андрей отправился спать, мать незаметно перекрестила его, а когда он лег и прошло с полчаса времени, она тихонько спросила:

— Не спите, Андрюша?
— Нет, — а что?
— Спокойной ночи!
— Спасибо, ненько, спасибо! — благодарно ответил он.

XVII

На следующий день, когда Ниловна подошла со своей ношей к воротам фабрики, сторожа грубо остановили ее и, приказав поставить корчаги на землю, тщательно осмотрели все.

— Простудите вы у меня кушанье! — спокойно заметила она, в то время, как они грубо ощупывали ее платье.
— Молчи! — угрюмо сказал сторож.

Другой, легонько толкнув ее в плечо, уверенно сказал:

— Я говорю — через забор бросают!

К ней первым подошел старик Сизов и, оглянувшись, негромко спросил:

— Слышала, мать?

— Что?

— Бумажки-то! Опять появились! Прямо — как соли на хлеб насыпали их везде. Вот тебе и аресты и обыски! Мазина, племянника моего, в тюрьму взяли, — ну, и что же? Взяли сына твоего, — ведь вот, теперь видно, что это не они!

Он собрал свою бороду в руку, посмотрел на нее и, отходя, сказал:

— Что не зайдешь ко мне? Чай, скучно одной-то...

Она поблагодарила и, выкрикивая названия кушаний, зорко наблюдала за необычайным оживлением на фабрике. Все были возбуждены, собирались, расходились, перебегали из одного цеха в другой. В воздухе, полном копоти, чувствовалось веяние чего-то бодрого, смелого. То здесь, то там раздавались одобрительные восклицания, насмешливые возгласы. Пожилые рабочие осторожно усмехались. Озабоченно расхаживало начальство, бегали полицейские, и, заметив их, рабочие медленно расходились или, оставаясь на местах, прекращали разговор, молча глядя в озлобленные, раздраженные лица.

Рабочие казались все чисто умытыми. Мелькала высокая фигура старшего Гусева; уточкой ходил его брат и хохотал.

Мимо матери не спеша прошел мастер столярного цеха Вавилов и табельщик Исай. Маленький, щуплый табельщик, закинув голову кверху, согнул шею налево и, глядя в неподвижное, надутое лицо мастера, быстро говорил, трясая бородкой:

— Они, Иван Иванович, хохочут, — им это приятно, хотя дело касается разрушения государства, как сказали господин директор. Тут, Иван Иванович, не полоть, а пахать надо...

Вавилов шел, заложив руки за спину, и пальцы его были крепко сжаты...

— Ты там печатай, сукин сын, что хошь, — громко сказал он, — а про меня — не смей!

Подошел Василий Гусев, заявляя:

— А я опять у тебя обедать буду, вкусно!

И, понизив голос, прищутив глаза, тихонько добавил:

— Попали метко... Эх, мамаша, очень хорошо!

Мать ласково кивнула ему головой. Ей нравилось, что этот парень, первый озорник в слободке, говоря с нею секретно, обращался на вы, нравилось общее возбуждение на фабрике, и она думала про себя:

«А ведь — кабы не я...»

Недалеко остановились трое чернорабочих, и один негромко, с сожалением сказал:

— Нигде не нашел...

— А послушать надо бы! Я неграмотный, но вижу, что попало-таки им под ребро!.. — заметил другой.

Третий оглянулся и предложил:

— Идемте в котельную...

— Действует! — шепнул Гусев, подмигивая.

Ниловна пришла домой веселая.

— Жалуют там люди, что неграмотные они! — сказала она Андрею. — А я вот молодая умела читать, да забыла...

— Поучитесь! — предложил хохол.

— В мои-то годы? Зачем людей смешить...

Но Андрей взял с полки книгу и, указывая концом ножа на букву на обложке, спросил:

— Это что?

— Рцы! — смеясь, ответила она.

— А это?

— Аз...

Ей было неловко и обидно. Показалось, что глаза Андрея смеются над нею скрытым смехом, и она избегала их взглядов. Но голос его звучал мягко и спокойно, лицо было серьезно.

— Неужто вы, Андрюша, в самом деле думаете учить меня? — спросила она, невольно усмехаясь.

— А что ж? — отозвался он. — Коли вы читали — легко вспомнить. Не будет чуда — нет худа, а будет чудо — не худо!

— А то говорят: на образ взглянешь — свят не станешь!

— Э! — кивнув головой, сказал хохол. — Поговорок много. Меньше знаешь — крепче спишь, чем неверно? Поговорками — желудок думает, он из них уздечки для души плетет, чтобы лучше было править ею. А это какая буква?

— Люди! — сказала мать.

— Так! Вот они как растопырились. Ну, а эта?

Напрягая зрение, тяжело двигая бровями, она с усилием вспоминала забытые буквы и, незаметно отдаваясь во власть своих усилий, забылась. Но скоро у нее устали глаза. Сначала явились слезы утомления, а потом часто закапали слезы грусти.

— Грамоте учусь! — всхлипнув, сказала она. — Сорок лет, а я только еще грамоте учиться начала...

— Не надо плакать! — сказал хохол ласково и тихо. — Вы не могли жить иначе, — а вот всё ж таки понимаете, что жили плохо! Тысячи людей могут лучше вас жить, — а живут, как скоты, да еще хвастаются — хорошо живем! А что в том хорошего — и сегодня человек поработал да поел и завтра — поработал да поел, да так все годы свои — работает и ест? Между этим делом народит детей себе и сначала забавляется ими, а как и они тоже много есть начнут, он — сердится, ругает их — скорей, обжоры, растите, работать пора! И хотел бы детей своих сделать домашним скотом, но они начинают работать для своего брюха, — и снова тянут жизнь, как вор

мочало! — Только те настояще — люди, которые сбивают цепи с разума человека. Вот теперь и вы, по силе вашей, за это взялись.

— Ну, что я? — вздохнула она. — Где мне?

— А — как же? Это точно дождик — каждая капля зерно поит. А начнете вы читать...

Он засмеялся, встал и начал ходить по комнате.

— Нет, вы учитесь!.. Павел придет, а вы — эгэ?

— Ах, Андрюша! — сказала мать. — Молодому — все просто. А как поживешь, — горя-то — много, силы-то — мало, а ума — совсем нет...

XVIII

Вечером хохол ушел, она зажгла лампу и села к столу вязать чулок. Но скоро встала, нерешительно прошлась по комнате, вышла в кухню, заперла дверь на крюк и, усиленно двигая бровями, воротилась в комнату. Опустила занавески на окнах и, взяв книгу с полки, снова села к столу, оглянулась, наклонилась над книгой, губы ее зашевелились. Когда с улицы доносился шум, она, вздрогнув, закрывала книгу ладонью, чутко прислушиваясь... И снова, то закрывая глаза, то открывая их, шептала:

— Живете, иже — жи, земля, наш...

Постучались в дверь, мать вскочила, сунула книгу на полку и спросила тревожно:

— Кто там?

— Я...

Вошел Рыбин, солидно погладил бороду и заметил:

— Раньше пускала без спросу людей. Одна? Так. А я думал — хохол дома. Сегодня я его видел... Тюрьма человека не портит.

Сел и сказал матери:

— Давай-ка поговорим...

Он смотрел значительно, таинственно, внушая матери смутное беспокойство.

— Все стоит денег! — начал он своим тяжелым голосом. — Даром не родишься, не умрешь, — вот. И книжки и листочки — стоят денег. Ты знаешь, откуда деньги на книжки идут?

— Не знаю, — тихо сказала мать, чувствуя что-то опасное.

— Так. Я тоже не знаю. Второе — книжки кто составляет?

— Ученые...

— Господа! — молвил Рыбин, и бородатое лицо напряглось, покраснело. — Значит — господа книжки составляют, они раздают. А в книжках этих пишется — против господ. Теперь, — скажи ты мне, — какая им польза тратить деньги для того, чтобы народ против себя поднять, а?

Мать, мигнув глазами, пугливо вскрикнула:

— Что ты думаешь?..

— Ага! — сказал Рыбин и заворочался на стуле медведем. — Вот. Я тоже, как дошел до этой мысли, — холодно стало.

— Узнал что-нибудь?

— Обман! — ответил Рыбин. — Чувствую — обман. Ничего не знаю, а — есть обман. Вот. Господа мудрят чего-то. А мне нужно правду. И я правду понял. А с господами не пойду. Они, когда понадобится, толкнут меня вперед, — да по моим костям, как по мосту, дальше зашагают...

Он точно связывал сердце матери угрюмыми словами.

— Господи! — с тоской воскликнула мать. — Неужто Паша не понимает? И все, которые...

Перед нею замелькали серьезные, честные лица Егора, Николая Ивановича, Сашеньки, сердце у нее встрепнулось.

— Нет, нет! — заговорила она, отрицательно качая головой. — Не могу поверить. Они — за совесть.

— Про кого говоришь? — задумчиво спросил Рыбин.

— Про всех... про всех до единого, кого видела!

— Не туда глядишь, мать, гляди дальше! — сказал Рыбин, опустив голову. — Те, которые близко подошли к нам, они, может, сами ничего не знают. Они верят — так надо! А может — за ними другие есть, которым — лишь бы выгода была? Человек против себя зря не пойдет...

И, с тяжелым убеждением крестьянина, он прибавил:

— Никогда ничего хорошего от господ не будет!

— Что ты надумал? — спросила мать, снова охваченная сомнением.

— Я? — Рыбин взглянул на нее, помолчал и повторил: — От господ надо дальше. Вот.

Потом снова помолчал, угрюмый.

— Хотел я к парням пристегнуться, чтобы вместе с ними. Я в это дело — гожусь, — знаю, что надо сказать людям. Вот. Ну, а теперь я уйду. Не могу я верить, должен уйти.

Он опустил голову, подумал.

— Пойду один по селам, по деревням. Буду бунтовать народ. Надо, чтобы сам народ взялся. Если он поймет — он пути себе откроет. Вот я и буду стараться, чтобы понял — нет у него надежды, кроме себя самого, нету разума, кроме своего. Так-то!

Ей стало жаль его, она почувствовала страх за этого человека. Всегда неприятный ей, теперь он как-то вдруг встал ближе; она тихо сказала:

— Поймают тебя...

Рыбин посмотрел на нее и спокойно ответил:

— Поймают, — выпустят. А я — опять...

— Сами же мужики свяжут. И будешь в тюрьме сидеть...

— Посижу — выйду. Опять пойду. А что до мужиков — раз свяжут, два, да и поймут, — не вязать надо меня, а — слушать. Я скажу им: «Вы мне не верьте, вы только слушайте». А будут слушать — поверят!

Он говорил медленно, как бы ощупывая каждое слово, прежде чем сказать его.

— Я тут, последнее время, много наглотался. Понял кое-что...

— Пропадешь, Михайло Иванович! — грустно качая головой, молвила она.

Темными, глубокими глазами он смотрел на нее, спрашивая и ожидая. Его крепкое тело нагнулось вперед, руки упирались в сиденье стула, смуглое лицо казалось бледным в черной раме бороды.

— А слышала, как Христос про зерно сказал? Не умрешь — не воскреснешь в новом колосе. До смерти мне далеко. Я — хитрый!

Он завозился на стуле и не спеша встал.

— Пойду в трактир, посижу там на людях. Хохол что-то нейдет. Начал хлопотать?

- Да! — сказала мать, улыбаясь.
- Так и надо. Ты ему скажи про меня...

Они медленно пошли плечо к плечу в кухню и, не глядя друг на друга, перекидывались краткими словами.

- Ну, прощай!
- Прощай. Когда расчет берешь?..
- Взял.
- А когда уходишь?
- Завтра. Рано утром. Прощай!

Рыбин согнулся и неохотно, неуклюже вылез в сени. Мать с минуту стояла перед дверью, прислушиваясь к тяжелым шагам и сомнениям, разбуженным в ее груди. Потом тихо повернулась, прошла в комнату и, приподняв занавеску, посмотрела в окно. За стеклом неподвижно стояла черная тьма.

«Ночью живу!» — подумала она.

Ей было жалко степенного мужика — он такой широкий, сильный.

Пришел Андрей, оживленный и веселый.

Когда она рассказала ему о Рыбине, он воскликнул:

— Ну, и пускай ходит по деревням, звонит о правде, будит народ. С нами трудно ему. У него в голове свои, мужицкие, мысли выросли, нашим — тесно там...

— Вот — о господах говорил он, — есть тут что-то! — осторожно заметила мать. — Не обманули бы!

— Задевает? — смеясь, вскричал хохол. — Эх, ненько, деньги! Были бы они у нас! Мы еще всё на чужой счет живем. Вот Николай Иванович получает семьдесят пять рублей в месяц — нам пятьдесят отдает. Так же и другие. Да голодные студенты иной раз пришлют немного, собрав по копейкам. А господа, конечно, разные бывают. Одни — обманут, другие — отстанут, а с нами — самые лучшие пойдут...

Он хлопнул руками и крепко продолжал:

— До нашего праздника — орел не долетит, а все-таки вот мы первого мая небольшой устроим! Весело будет!

Его оживление отталкивало тревогу, посеянную Рыбиным. Хохол ходил по комнате, потирая рукой голову, и, глядя в пол, говорил:

— Знаете, иногда такое живет в сердце, — удивительное! Кажется, везде, куда ты ни придишь, — товарищи,

все горят одним огнем, все веселые, добрые, славные. Без слов друг друга понимают... Живут все хором, а каждое сердце поет свою песню. Все песни, как ручьи, бегут — льются в одну реку, и течет река широко и свободно в море светлых радостей новой жизни.

Мать старалась не двигаться, чтобы не помешать ему, не прерывать его речи. Она слушала его всегда с большим вниманием, чем других, — он говорил проще всех, и его слова сильнее трогали сердце. Павел никогда не говорил о том, что видит впереди. А этот, казалось ей, всегда был там частью своего сердца, в его речах звучала сказка о будущем празднике для всех на земле. Эта сказка освещала для матери смысл жизни и работы ее сына и всех товарищей его.

— А очнешься, — говорил хохол, встряхнув головой, — поглядишь кругом — холодно и грязно! Все устали, обозлились...

С глубокой печалью он продолжал:

— Обидно это, — а надо не верить человеку, надо бояться его и даже — ненавидеть! Двоится человек. Ты бы — только любить хотел, а как это можно? Как простить человеку, если он диким зверем на тебя идет, не признает в тебе живой души и дает пинки в человеческое лицо твоё? Нельзя прощать! Не за себя нельзя, — я за себя все обиды снесу, — но потакать насильникам не хочу, не хочу, чтобы на моей спине других бить учились.

Теперь глаза у него вспыхнули холодным огнем, он упрямо наклонил голову и говорил тверже.

— Я не должен прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколёт она меня, — а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать. И приходится на людей смотреть разное, приходится держать сердце строго, разбирать людей: это — свои, это — чужие. Справедливо — а не утешает!

Мать вспомнила почему-то офицера и Сашеньку. Вздыхая, она сказала:

— Уж какие хлебы из несеянной муки!..

— Тут и горе! — воскликнул хохол.

— Да-а! — сказала мать. В памяти ее теперь встала фигура мужа, угрюмая, тяжелая, точно большой камень, поросший мохом. Она представила себе хохла мужем На-таши и сына женатым на Сашеньке.

— А отчего? — спросил хохол, загораясь. — Это так хорошо видно, что даже смешно. Оттого только, что неровно люди стоят. Так давайте же поровняем всех! Разделим поровну все, что сделано разумом, все, что сработано руками! Не будем держать друг друга в рабстве страха и зависти, в плену жадности и глупости!..

Они часто стали говорить так.

Находку снова приняли на фабрику, он отдавал ей весь свой заработок, и она брала эти деньги так же спокойно, как принимала их из рук Павла.

Иногда Андрей предлагал матери с улыбкой в глазах:

— Почитаем, ненько, а?

Она шутливо, но настойчиво отказывалась, ее смущала эта улыбка, и, немножко обижаясь, она думала:

«Если ты смеешься, — так зачем же?»

И все чаще спрашивала его, что значит то или другое книжное слово, чуждое ей. Спрашивая, она смотрела в сторону, голос ее звучал безразлично. Он догадался, что она потихоньку учится сама, понял ее стыдливость и перестал предлагать ей читать с ним. Скоро она заявила ему:

— Глаза у меня слабеют, Андрюша. Очки бы надо.

— Дело! — отозвался он. — Вот в воскресенье пойду с вами в город, покажу вас доктору, и будут очки...

ХІХ

Она уже трижды ходила просить свидания с Павлом, и каждый раз жандармский генерал, седой старичок с багровыми щеками и большим носом, ласково отказывал ей.

— Через недельку, матушка, не раньше! Через недельку — мы посмотрим, — а сейчас — невозможно...

Он был круглый, сытенький и напоминал ей спелую сливу, немного залежавшуюся и уже покрытую пушистой плесенью. Он всегда ковырял в мелких белых зубах острой желтой палочкой, его небольшие зеленоватые глазки ласково улыбались, голос звучал любезно, дружески.

— Вежливый! — вдумчиво говорила она хохлу. — Все улыбается...

— Да, да! — сказал хохол. — Они — ничего, ласковые, улыбаются. Им скажут: «А ну, вот это умный и честный человек, он опасен нам, повесьте-ка его!» Они улыбаются и повесят, а потом — опять улыбаться будут.

— Тот, который у нас с обыском был, он проще, — сопоставляла мать. — Сразу видно, что собака...

— Все они — не люди, а так, молотки, чтобы оглушать людей. Инструменты. Ими обдeldывают нашего брата, чтобы мы были удобнее. Сами они уже сделаны удобными для управляющей нами руки — могут работать всё, что их заставят, не думая, не спрашивая, зачем это нужно.

Наконец ей дали свидание, и в воскресенье она скромно сидела в углу тюремной канцелярии. Кроме нее в тесной и грязной комнате с низким потолком было еще несколько человек, ожидавших свиданий. Должно быть, они уже не в первый раз были здесь и знали друг друга; между ними лениво и медленно сплетался тихий и липкий, как паутина, разговор.

— Слышали? — говорила полная женщина с дряблым лицом и саквояжем на коленях. — Сегодня за ранней обедней соборный регент мальчику певчему ухо надорвал...

Пожилой человек в мундире отставного военного громко откашлялся и заметил:

— Певчие — сорванцы!

По канцелярии суетливо бегал низенький, лысый человек на коротких ногах, с длинными руками и выдвинутой вперед челюстью. Не останавливаясь, он говорил тревожным и трескучим голосом:

— Жизнь становится дороже, оттого и люди злее. Говядина второй сорт — четырнадцать копеек фунт, хлеб опять стал две с половиной...

Порою входили арестанты, серые, однообразные, в тяжелых кожаных башмаках. Входя в полутемную комнату, они мигали глазами. У одного на ногах звенели кандалы.

Все было странно спокойно и неприятно просто. Казалось, что все издавна привыкли, сжились со своим положением; одни — спокойно сидят, другие — лениво караулят, третьи — аккуратно и устало посещают заключен-

ных. Сердце матери дрожало дрожью нетерпения, она недоуменно смотрела на все вокруг, удивленная этой тяжелой простотой.

Рядом с Власовой сидела маленькая старушка, лицо у нее было сморщенное, а глаза молодые. Повертывая тонкую шею, она вслушивалась в разговор и смотрела на всех странно задорно.

— У вас кто здесь? — тихо спросила ее Власова.

— Сын. Студент, — ответила старушка громко и быстро. — А у вас?

— Тоже сын. Рабочий.

— Как фамилия?

— Власов.

— Не слыхала. Давно сидит?

— Седьмую неделю...

— А мой — десятый месяц! — сказала старушка, и в голосе ее Власова почувствовала что-то странное, похожее на гордость.

— Да, да! — быстро говорил лысый старичок. — Терпение исчезает... Все раздражаются, все кричат, всё возрастает в цене. А люди, согласно сему, дешевеют. Примиряющих голосов не слышно.

— Совершенно верно! — сказал военный. — Безобразие! Нужно, чтобы раздался, наконец, твердый голос — молчать! Вот что нужно. Твердый голос...

Разговор стал общим, оживленным. Каждый торопился сказать свое мнение о жизни, но все говорили вполголоса, и во всех мать чувствовала что-то чужое ей. Дома говорили иначе, понятнее, проще и громче.

Толстый надзиратель с квадратной рыжей бородой крикнул ее фамилию, оглянул ее с ног до головы и, прихрамывая, пошел, сказав ей:

— Иди за мной...

Она шагала, и ей хотелось толкнуть в спину надзирателя, чтобы он шел быстрее. В маленькой комнате стоял Павел, улыбался, протягивал руку. Мать схватила ее, засмеялась, часто мигая глазами, и, не находя слов, тихо говорила:

— Здравствуй... здравствуй...

— Да ты успокойся, мама! — пожимая ее руку, говорил Павел.

— Ничего.

— Мать! — вздохнув, сказал надзиратель. — Между прочим, разойдитесь, — чтобы между вами было состояние...

И громко зевнул. Павел спрашивал ее о здоровье, о доме... Она ждала каких-то других вопросов, искала их в глазах сына и не находила. Он, как всегда, был спокоен, только лицо побледнело, да глаза как будто стали больше.

— Саша кланяется! — сказала она.

У Павла дрогнули веки, лицо стало мягче, он улыбнулся. Острая горечь щипнула сердце матери.

— Скоро ли выпустят они тебя! — заговорила она с обидой и раздражением. — За что посадили? Ведь вот бумажки эти опять появились...

Глаза у Павла радостно блеснули.

— Опять? — быстро спросил он.

— Об этих делах запрещено говорить! — лениво заявил надзиратель. — Можно только о семейном...

— А это разве не семейное? — возразила мать.

— Уж я не знаю. Только — запрещается, — равнодушно настаивал надзиратель.

— Говори, мама, о семейном, — сказал Павел. — Что ты делаешь?

Она, чувствуя в себе какой-то молодой задор, ответила:

— Ношу на фабрику все это...

Остановилась и, улыбаясь, продолжала:

— Щи, кашу, всякую Марьину стряпню, и прочую пишу...

Павел понял. Лицо у него задрожало от сдерживаемого смеха, он взбил волосы и ласково, голосом, какого она еще не слышала от него, сказал:

— Хорошо, что у тебя дело есть, — не скучаешь!

— А когда листки-то эти появились, меня тоже обыскивать стали! — не без хвастовства заявила она.

— Опять про это! — сказал надзиратель, обижаясь. — Я говорю — нельзя! Человека лишили воли, чтобы он ничего не знал, а ты — свое! Надо понимать, чего нельзя.

— Ну, оставь, мама! — сказал Павел. — Матвей Иванович хороший человек, не надо его сердить. Мы с ним

живем дружно. Он сегодня случайно при свидании — обыкновенно присутствует помощник начальника.

— Окончилось свидание! — заявил надзиратель, глядя на часы.

— Ну, спасибо, мама! — сказал Павел. — Спасибо, голубушка. Ты — не беспокойся. Скоро меня выпустят...

Он крепко обнял ее, поцеловал, и, растроганная этим, счастливая, она заплакала.

— Расходитесь! — сказал надзиратель и, провожая мать, забормотал: — Не плачь, — выпустят! Всех выпускают... Тесно стало...

Дома она говорила хохлу, широко улыбаясь и оживленно двигая бровями:

— Ловко я ему сказала, — понял он!

И грустно вздохнула.

— Понял! А то бы не приласкал бы, — никогда он этого не делал!

— Эх вы! — засмеялся хохол. — Кто чего ищет, а мать — всегда ласки...

— Нет, Андрюша, — люди-то, я говорю! — вдруг с удивлением воскликнула она. — Ведь как привыкли! Оторвали от них детей, посадили в тюрьму, а они — ничего, пришли, сидят, ждут, разговаривают, — а? Уж если образованные так привыкают, что же говорить о черном-то народе?..

— Это понятно, — сказал хохол со своей усмешкой, — к ним закон все-таки ласковее, чем к нам, и нужды они в нем имеют больше, чем мы. Так что, когда он их по лбу стучает, они хоть и морщатся, да не очень. Своя палка — легче бьет...

XX

Однажды вечером мать сидела у стола, вязала носки, а хохол читал вслух книгу о восстании римских рабов, кто-то сильно постучался, и, когда хохол отпер дверь, вошел Весовщиков с узелком подмышкой, в шапке, сдвинутой на затылок, по колена забрызганный грязью.

— Иду — вижу у вас огонь. Зашел поздороваться. Прямо из тюрьмы! — объявил он странным голосом и, схватив руку Власовой, сильно потряс ее, говоря:

— Павел кланяется...

Потом, нерешительно опустившись на стул, обвел комнату своим сумрачным, подозрительным взглядом.

Он не нравился матери, в его угловатой, стриженной голове, в маленьких глазах было что-то всегда пугавшее ее, но теперь она обрадовалась и, ласковая, улыбаясь, оживленно говорила:

— Осунулся ты! Андрюша, напоим его чаем...

— А я уже ставлю самовар! — отозвался хохол из кухни.

— Ну, как Павел-то? Еще кого выпустили или только тебя?

Николай опустил голову и ответил:

— Павел сидит, — терпит! Выпустили одного меня! — Он поднял глаза в лицо матери и медленно, сквозь зубы, проговорил: — Я им сказал — будет, пустите меня на волю!.. А то я убью кого-нибудь, и себя тоже. Выпустили.

— М-м-да-а! — сказала мать, отодвигаясь от него, и невольно мигнула, когда взгляд ее встретился с его узкими, острыми глазами.

— А как Федя Мазин? — крикнул хохол из кухни. — Стихи пишет?

— Пишет. Я этого не понимаю! — покачив головой, сказал Николай. — Что он — чиж? Посадили в клетку — поет! Я вот одно понимаю — домой мне идти не хочется...

— Да что там, дома-то, у тебя? — задумчиво сказала мать. — Пусто, печь не топлена, настало все...

Он помолчал, прищутив глаза. Вынул из кармана коробку папирос, не торопясь закурил и, глядя на серый клуб дыма, таявший перед его лицом, усмехнулся усмешкой угрюмой собаки.

— Да, холодно, должно быть. На полу мерзлые тараканы валяются. И мыши тоже померзли. Ты, Пелагея Ниловна, позволь мне у тебя ночевать, — можно? — глухо спросил он, не глядя на нее.

— А конечно, батюшка! — быстро сказала мать. Ей было неловко, неудобно с ним.

— Теперь такое время, что дети стыдятся родителей...

— Чего? — вздрогнув, спросила мать.

Он взглянул на нее, закрыл глаза, и его рябое лицо стало слепым.

— Дети начали стыдиться родителей, говорю! — повторил он и шумно вздохнул. — Тебя Павел не постыдится никогда. А я вот стыжусь отца. И в дом этот его... не пойду я больше. Нет у меня отца... и дома нет! Отдали меня под надзор полиции, а то я ушел бы в Сибирь... Я бы там ссыльных освобождал, устраивал бы побеги им...

Чутким сердцем мать понимала, что этому человеку тяжело, но его боль не возбуждала в ней сострадания.

— Да, уж если так... то лучше уйти! — говорила она, чтобы не обидеть его молчанием.

Из кухни вышел Андрей и, смеясь, сказал:

— Что ты проповедуешь, а?

Мать встала, говоря:

— Надо поесть чего-нибудь приготовить...

Весовщиков пристально посмотрел на хохла и вдруг заявил:

— Я так полагаю, что некоторых людей надо убивать!

— Угу! А для чего? — спросил хохол.

— Чтобы их не было...

Хохол, высокий и сухой, покачиваясь на ногах, стоял среди комнаты и смотрел на Николая сверху вниз, сунув руки в карманы, а Николай крепко сидел на стуле, окруженный облаками дыма, и на его сером лице выступили красные пятна.

— Исаю Горбову я башку оторву, — увидишь!

— За что? — спросил хохол.

— Не шпионь, не доноси. Через него отец погиб, через него он теперь в сыщики метит, — с угрюмой враждебностью глядя на Андрея, говорил Весовщиков.

— Вот что! — воскликнул хохол. — Но — тебя за это кто обвинит? Дураки!..

— И дураки и умники — одним миром мазаны! — твердо сказал Николай. — Вот ты умник и Павел тоже, — а я для вас разве такой же человек, как Федька Мазин, или Самойлов, или оба вы друг для друга? Не ври, я не поверю, все равно... и все вы отодвигаете меня в сторону, на отдельное место...

— Болит у тебя душа, Николай! — тихо и ласково сказал хохол, садясь рядом с ним.

— Болит. И у вас — болит... Только — ваши болячки кажутся вам благороднее моих. Все мы сволочи друг

другу, вот что я скажу. А что ты мне можешь сказать? Ну-ка?

Он уставился острыми глазами в лицо Андрея и ждал, оскалив зубы. Его пестрое лицо было неподвижно, а по толстым губам пробежала дрожь, точно он ожег их чем-то горячим.

— Ничего я тебе не скажу! — заговорил хохол, тепло лаская враждебный взгляд Весовщикова грустной улыбкой голубых глаз. — Я знаю — спорить с человеком в такой час, когда у него в сердце все царапины кровью сочатся, — это только обижать его; я знаю, брат!

— Со мной нельзя спорить, я не умею! — пробормотал Николай, опуская глаза.

— Я думаю, — продолжал хохол, — каждый из нас ходил голыми ногами по битому стеклу, каждый в свой темный час дышал вот так, как ты...

— Ничего ты не можешь мне сказать! — медленно проговорил Весовщиков. — У меня душа волком воет!..

— И не хочу! Только я знаю — это пройдет у тебя. Может, не совсем, а пройдет!

Он усмехнулся и продолжал, хлопнув Николая по плечу:

— Это, брат, детская болезнь, вроде кори. Все мы ею болеем, сильные — поменьше, слабые — побольше. Она тогда одолевает нашего брата, когда человек себя — найдет, а жизни и своего места в ней еще не видит. Кажется тебе, что ты один на земле такой хороший огурчик и все съест тебя хотят. Потом, пройдет немного времени, увидишь ты, что хороший кусок твоей души и в других грудях не хуже — тебе станет легче. И немножко совестно — зачем на колокольню лез, когда твой колокольчик такой маленький, что и не слышно его во время праздничного звона? Дальше увидишь, что твой звон в хору слышен, а в одиночку — старые колокола топят его в своем гуле, как муху в масле. Ты понимаешь, что я говорю?

— Может быть — понимаю! — кивнув головой, сказал Николай. — Только я — не верю!

Хохол засмеялся, вскочил на ноги, шумно забежал.

— Вот и я тоже не верил. Ах ты, — воз!

— Почему — воз? — сумрачно усмехнулся Николай, глядя на хохла.

— А — похож!

Вдруг Весовщиков громко засмеялся, широко открыв рот.

— Что ты? — удивленно спросил хохол, остановившись против него.

— А я подумал — вот дурак будет тот, кто тебя обидит! — заявил Николай, двигая головой.

— Да чем меня обидишь? — произнес хохол, пожимая плечами.

— Я не знаю! — сказал Весовщиков, добродушно или снисходительно оскаливая зубы. — Я только про то, что очень уж совестно должно быть человеку после того, как он обидит тебя.

— Вот куда тебя бросило! — смеясь, сказал хохол.

— Андрюша! — позвала мать из кухни.

Андрей ушел.

Оставшись один, Весовщиков оглянулся, вытянул ногу, одетую в тяжелый сапог, посмотрел на нее, наклонился, пощупал руками толстую икру. Поднял руку к лицу, внимательно оглядел ладонь, потом повернул тылом. Рука была толстая, с короткими пальцами, покрыта желтой шерстью. Он помахал ею в воздухе, встал.

Когда Андрей внес самовар, Весовщиков стоял перед зеркалом и встретил его такими словами:

— Давно я рожи своей не видал...

Ухмыльнулся и, качая головой, добавил:

— Скверная у меня рожа!

— А что тебе до этого? — спросил Андрей, любопытно взглянув на него.

— А вот Сашенька говорит — лицо зеркало души! — медленно выговорил Николай.

— И неверно! — воскликнул хохол. — У нее нос — крючком, скулы — ножницами, а душа — как звезда.

Весовщиков взглянул на него и усмехнулся.

Сели пить чай.

Весовщиков взял большую картофелину, круто посолил кусок хлеба и спокойно, медленно, как вол, начал жевать.

— А как тут дела? — спросил он, с набитым ртом.

И когда Андрей весело рассказал ему о росте пропаганды на фабрике, он, снова сумрачный, глухо заметил:

— Долго все это, долго! Скорее надо...

Мать посмотрела на него, и в ее груди тихо пошевелилось враждебное чувство к этому человеку.

— Жизнь не лошадь, ее кнутом не побьешь! — сказал Андрей.

Весовщиков упрямо тряхнул головой.

— Долго! Не хватает у меня терпенья! Что мне делать?

Он беспомощно развел руками, глядя в лицо хохла, и замолчал, ожидая ответа.

— Всем нам нужно учиться и учить других, вот наше дело! — проговорил Андрей, опуская голову.

Весовщиков спросил:

— А когда драться будем?

— До того времени нас не однажды побьют, это я знаю! — усмехаясь, ответил хохол. — А когда нам придется воевать — не знаю! Прежде, видишь ты, надо голову вооружить, а потом руки, думаю я...

Николай снова начал есть. Мать исподлобья незаметно рассматривала его широкое лицо, стараясь найти в нем что-нибудь, что помирило бы ее с тяжелой, квадратной фигурой Весовщикова.

И, встречая колющий взгляд маленьких глаз, она робко двигала бровями. Андрей вел себя беспокойно, — вдруг начинал говорить, смеялся и, внезапно обрывая речь, свистал.

Матери казалось, что она понимает его тревогу. А Николай сидел молча, и когда хохол спрашивал его о чем-либо, он отвечал кратко, с явной неохотой.

В маленькой комнатке двум ее жителям становилось душно, тесно, и они, то одна, то другой, мельком взглядывали на гостя.

Наконец он сказал, вставая:

— Я бы спать лег. А то сидел, сидел, вдруг пустили, пошел. Устал.

Когда он ушел в кухню и, повозившись немного, вдруг точно умер там, мать, прислушавшись к тишине, шепнула Андрею:

— О страшном он думает...

— Тяжелый парень! — согласился хохол, качая головой. — Но это пройдет! Это у меня было. Когда неярко в сердце горит — много сажу в нем накапливается. Ну, вы, ненько, ложитесь, а я посижу, почитаю еще.

Она ушла в угол, где стояла кровать, закрытая ситцевым пологом, и Андрей, сидя у стола, долго слышал теплый шелест ее молитв и вздохов. Быстро перекидывая страницы книги, он возбужденно потирал лоб, крутил усы длинными пальцами, шаркал ногами. Стучал маятник часов, за окном вздыхал ветер.

Раздался тихий голос матери:

— О, господи! Сколько людей на свете, и всяк по-своему стонет. А где же те, которым радостно?

— Есть уже и такие, есть! Скоро — много будет их, — эх, много! — отозвался хохол.

XXI

Жизнь текла быстро, дни были пестры, разнолицы. Каждый приносил с собой что-нибудь новое, и оно уже не тревожило мать. Все чаще по вечерам являлись незнакомые люди, озабоченно, вполголоса беседовали с Андреем и поздно ночью, подняв воротники, надвигая шапки низко на глаза, уходили во тьму, осторожно, бесшумно. В каждом чувствовалось сдержанное возбуждение, казалось — все хотят петь и смеяться, но им было некогда, они всегда торопились. Одни насмешливые и серьезные, другие веселые, сверкающие силой юности, третьи задумчиво тихие — все они имели в глазах матери что-то одинаково настойчивое, уверенное, и, хотя у каждого было свое лицо — для нее все лица сливались в одно: худое, спокойно решительное, ясное лицо с глубоким взглядом темных глаз, ласковым и строгим, точно взгляд Христа на пути в Эммаус.

Мать считала их, мысленно собирая толпой вокруг Павла, — в этой толпе он становился незаметным для глаз врагов.

Однажды из города явилась бойкая, кудрявая девушка, она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала Власовой, блестя веселыми глазами:

— До свиданья, товарищ!

— Прощайте! — сдержав улыбку, ответила мать.

А проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто семена маленькими ножками,

шел ее товарищ, свежий, как весенний цветок, и легкий, как бабочка.

— Товарищ! — сказала мать, когда гостя исчезла. — Эх ты, милая! Дай тебе, господи, товарища честного на всю твою жизнь!

Она часто замечала во всех людях из города что-то детское и снисходительно усмехалась, но ее трогала и радостно удивляла их вера, глубину которой она чувствовала все яснее, ее ласкали и греди их мечты о торжестве справедливости, — слушая их, она невольно вздыхала в неведомой печали. Но особенно трогала ее их простота и красивая, щедрая небрежность к самим себе.

Она уже многое понимала из того, что говорили они о жизни, чувствовала, что они открыли верный источник несчастья всех людей, и привыкла соглашаться с их мыслями. Но в глубине души не верила, что они могут перестроить жизнь по-своему и что хватит у них силы привлечь на свой огонь весь рабочий народ. Каждый хочет быть сытым сегодня, никто не желает отложить свой обед даже на завтра, если может съесть его сейчас. Немногие пойдут этой дальней и трудной дорогой, немного глаз увидят в конце ее сказочное царство братства людей. Вот почему все они, эти хорошие люди, несмотря на их борозды и, порою, усталые лица, казались ей детьми.

«Милые вы мои!» — думала она, покачивая головой.

Но все они уже теперь жили хорошей, серьезной и умной жизнью, говорили о добром и, желая научить людей тому, что знали, делали это, не щадя себя. Она понимала, что такую жизнь можно любить, несмотря на ее опасность, и, вздыхая, оглядывалась назад, где темной, узкой полосой плоско тянулось ее прошлое. У нее незаметно сложилось спокойное сознание своей надобности для этой новой жизни, — раньше она никогда не чувствовала себя нужной кому-нибудь, а теперь ясно видела, что нужна многим, это было ново, приятно и приподняло ей голову...

Она аккуратно носила на фабрику листовки, смотрела на это как на свою обязанность и стала привычной для сыщиков, примелькалась им. Несколько раз ее обыскивали, но всегда — на другой день после того, как листки появлялись на фабрике. Когда с нею ничего не было, она

умела возбудить подозрение сыщиков и сторожей, они хватали ее, общаривали, она притворялась обиженной, спорила с ними и, пристыдив, уходила, гордая своей ловкостью. Ей нравилась эта игра.

Весовщикова на фабрику не приняли, он поступил в работники к торговцу лесом и возил по слободке бревна, тес и дрова. Мать почти каждый день видела его: круто упираясь дрожащими от натуги ногами в землю, шла пара вороных лошадей, обе они были старые, костлявые, головы их устало и печально качались, тусклые глаза измученно мигали. За ними тянулось, вздрагивая, длинное, мокрое бревно или груда досок, громко хлопая концами, а сбоку, опустив вожжи, шагал Николай, оборванный, грязный, в тяжелых сапогах, в шапке на затылок, неуклюжий, точно пень, вывороченный из земли. Он тоже качает головой, глядя себе под ноги. Его лошади слепо наезжают на встречные телеги, на людей, около него вьются, как шмели, сердитые ругательства, режут воздух злые окрики. Он, не поднимая головы, не отвечая им, свистит резким, оглушающим свистом и глухо бормочет лошадям:

— Ну, бери!

Каждый раз, когда у Андрея собирались товарищи на чтение нового номера заграничной газеты или брошюры, приходил и Николай, садился в угол и молча слушал час, два. Кончив чтение, молодежь долго спорила, но Весовщиков не принимал участия в спорах. Он оставался дольше всех и один на один с Андреем ставил ему угрюмый вопрос:

— А кто всех виноватее?

— Виноват, видишь ли, тот, кто первый сказал — это мое! Человек этот помер несколько тысяч лет тому назад, и на него сердиться не стоит! — шутил говорил хохол, но глаза его смотрели беспокойно.

— А — богатые? А те, которые за них стоят?

Хохол хватался за голову, дергал усы и долго говорил простыми словами о жизни и людях. Но у него всегда выходило так, как будто виноваты все люди вообще, и это не удовлетворяло Николая. Плотно сжав толстые губы, он отрицательно качал головой и, недоверчиво заявляя, что это не так, уходил недовольный и мрачный.

Однажды он сказал:

— Нет, виноватые должны быть, — они тут! Я тебе скажу — нам надо всю жизнь перепахать, как сорное поле, — без пощады!

— Вот так однажды Исай-табелящик про вас говорил! — вспомнила мать.

— Исай? — спросил Весовщиков, помолчав.

— Да. Злой человек! Подсматривает за всеми, выспрашивает, по нашей улице стал ходить, в окна к нам заглядывать...

— Заглядывает? — повторил Николай.

Мать уже лежала в постели и не видела его лица, но она поняла, что сказала что-то лишнее, потому что хохол торопливо и примирительно заговорил:

— А пускай его ходит и заглядывает! Есть у него свободное время — он и гуляет...

— Нет, погоди! — глухо сказал Николай. — Вот он, виноватый!

— В чем? — быстро спросил хохол. — Что он глуп?

Весовщиков, не ответив, ушел.

Хохол медленно и устало шагал по комнате, тихо шаркая тонкими, паучьими ногами. Сапоги он снял, — всегда делая это, чтобы не стучать и не беспокоить Власову. Но она не спала и, когда Николай ушел, сказала тревожно:

— Боюсь я его!

— Да-а! — медленно протянул хохол. — Мальчик сердитый. Вы, ненько, про Исая с ним не говорите, этот Исай действительно шпионит.

— Что мудреного? У него кум — жандарм! — заметила мать.

— Пожалуй, поколотит его Николай! — с опасением продолжал хохол. — Вот видите, какие чувства воспитал господ командеры нашей жизни у нижних чинов? Когда такие люди, как Николай, почувствуют свою обиду и вырвутся из терпенья, — что это будет? Небо кровью забрызгают, и земля в ней, как мыло, вспенится...

— Страшно, Андрюша! — тихо воскликнула мать.

— Не глотали бы мух, так не вырвало бы! — помолчав, сказал Андрей. — И все-таки, ненько, каждая капля их крови заранее омыта озерами народных слез...

Он вдруг тихо засмеялся и добавил:

— Справедливо, но — не утешает!

Однажды в праздник мать пришла из лавки, отворила дверь и встала на пороге, вся вдруг облитая радостью, точно теплым, летним дождем, — в комнате звучал крепкий голос Павла.

— Вот она! — крикнул хохол.

Мать видела, как быстро обернулся Павел, и видела, что его лицо вспыхнуло чувством, обещавшим что-то большое для нее.

— Вот и пришел... и дома! — забормотала она, растерявшись от неожиданности, и села.

Он наклонился к ней бледный, в углах его глаз светло сверкали маленькие слезинки, губы вздрагивали. Секунду он молчал, мать смотрела на него тоже молча.

Хохол, тихо насвистывая, прошел мимо них, опустив голову, и вышел на двор.

— Спасибо, мама! — глубоким, низким голосом заговорил Павел, тиская ее руку вздрагивающими пальцами. — Спасибо, родная!

Радостно потрясенная выражением лица и звуком голоса сына, она гладила его голову и, сдерживая биение сердца, тихонько говорила:

— Христос с тобой! За что?..

— За то, что помогаешь великому нашему делу, спасибо! — говорил он. — Когда человек может назвать мать свою и по духу родной — это редкое счастье!

Она молча, жадно глотая его слова открытым сердцем, любовалась сыном, — он стоял перед нею такой светлый, близкий.

— Я, мама, видел, — многое задевало тебя за душу, трудно тебе. Думал — никогда ты не помиришься с нами, не примешь наши мысли, как свои, а только молча будешь терпеть, как всю жизнь терпела. Это тяжело было!..

— Андрюша очень много дал мне понять! — встала она.

— Он мне рассказывал про тебя! — смеясь, сказал Павел.

— Егор тоже. Мы с ним земляки. Андрюша даже грамоте хотел учить...

— А ты — сконфузилась и сама потихоньку стала учиться?

— Уж он подглядел! — смущенно воскликнула она. И, обеспокоенная обилием радости, наполнявшей ее грудь, предложила Павлу: — Позвать бы его! Нарочно ушел, чтобы не мешать. У него — матери нет...

— Андрей!.. — крикнул Павел, отворяя дверь в сени. — Ты где?

— Здесь. Дрова колоть хочу.

— Иди сюда!

Он пришел не сразу, а войдя в кухню, хозяйственно заговорил:

— Надо сказать Николаю, чтобы дров привез, — мало дров у нас. Видите, ненько, какой он, Павел? Вместо того, чтобы наказывать, начальство только откармливает бунтарей...

Мать засмеялась. У нее еще сладко замирало сердце, она была опьянена радостью, но уже что-то скупое и острое вызывало в ней желание видеть сына спокойным, таким, как всегда. Было слишком хорошо в душе, и она хотела, чтобы первая — великая — радость ее жизни сразу и навсегда сложилась в сердце такой живой и сильной, как пришла. И, опасаясь, как бы не убавилось счастья, она торопилась скорее прикрыть его, точно птицелов случайно пойманную им редкую птицу.

— Давайте обедать! Ты, Паша, ведь не ел еще? — суетливо предложила она.

— Нет. Я вчера узнал от надзирателя, что меня решили выпустить, и сегодня — не пилося, не елось...

— Первого встретил я здесь старика Сизова, — рассказывал Павел. — Увидел он меня, перешел дорогу, здороваается. Я ему говорю: «Вы теперь осторожнее со мной, я человек опасный, нахожусь под надзором полиции». — «Ничего», — говорит. И знаешь, как он спросил о племяннике? «Что, говорит, Федор хорошо себя вел?» — «Что значит — хорошо себя вести в тюрьме?» — «Ну, говорит, лишнего чего не болтал ли против товарищей?» И когда я сказал, что Федя человек честный и умница, он погладил бороду и гордо так заявил: «Мы, Сизовы, в своей семье плохих людей не имеем!»

— Он старик с мозгом! — сказал хохол, кивая головой. — Мы с ним часто разговариваем, — хороший мужик. Скоро Федю выпустят?

— Всех выпустят, я думаю! У них ничего нет, кроме показаний Исае, а он что же мог сказать?

Мать ходила взад и вперед и смотрела на сына, Андрея, слушая его рассказы, стоял у окна, заложив руки за спину. Павел расхаживал по комнате. У него отросла борода, мелкие кольца тонких, темных волос густо вылились на щеках, смягчая смуглый цвет лица.

— Садитесь! — предложила мать, подавая на стол горячее.

За обедом Андрей рассказал о Рыбине. И когда он кончил, Павел с сожалением воскликнул:

— Будь я дома — я бы не отпустил его! Что он понес с собой? Большое чувство возмущения и путаницу в голове.

— Ну, — сказал хохол, усмехаясь, — когда человеку сорок лет да он сам долго боролся с медведями в своей душе — трудно его переделать...

Завязался один из тех споров, когда люди начинали говорить словами, непонятными для матери. Кончили обедать, а всё еще ожесточенно осыпали друг друга трескучим градом мудреных слов. Иногда говорили просто.

— Мы должны идти нашей дорогой, ни на шаг не отступая в сторону! — твердо заявлял Павел.

— И наткнуться в пути на несколько десятков миллионов людей, которые встретят нас, как врагов...

Мать прислушивалась к спору и понимала, что Павел не любит крестьян, а хохол заступает за них, доказывая, что и мужиков добру учить надо. Она больше понимала Андрея, и он казался ей правым, но всякий раз, когда он говорил Павлу что-нибудь, она, насторожась и задерживая дыхание, ждала ответа сына, чтобы скорее узнать, — не обидел ли его хохол? Но они кричали друг на друга, не обижаясь.

Иногда мать спрашивала сына:

— Так ли, Паша?

Улыбаясь, он отвечал:

— Так!

— Вы, господин, — с ласковым ехидством говорил хохол, — сыто поели, да плохо жевали, у вас в горле кусок стоит. Прополощите горлышко!

— Не дури! — посоветовал Павел.

— Да я — как на панихиде!..

Мать, тихо посмеиваясь, качала головой...

XXIII

Приближалась весна, таял снег, обнажая грязь и копоть, скрытую в его глубине. С каждым днем грязь настойчивее лезла в глаза, вся слободка казалась одетой в лохмотья, неумытой. Днем капало с крыш, устало и потно дымились серые стены домов, а к ночи везде смутно белели ледяные сосульки. Все чаще на небе являлось солнце. И решительно начинали журчать ручьи, сбегая к болоту.

Готовились праздновать Первое Мая.

На фабрике и по слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника, и даже не задетая пропаганда молодежь говорила, читая их:

— Это надо устроить!

Весовщиков, угрюмо усмехаясь, восклицал:

— Пора! Будет в прятки играть!

Радовался Федя Мазин. Сильно похудевший, он стал похож на жаворонка в клетке нервным трепетом своих движений и речей. Его всегда сопровождал молчаливый, не по годам серьезный Яков Сомов, работавший теперь в городе. Самойлов, еще более порывавшийся в тюрьме, Василий Гусев, Букин, Драгунов и еще некоторые доказывали необходимость идти с оружием, но Павел, хохол, Сомов и другие спорили с ними.

Являлся Егор, всегда усталый, потный, задыхающийся, и шутил:

— Работа по изменению существующего строя — великая работа, товарищи, но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги! — говорил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки. — Галоши у меня тоже неизлечимо разорвались, и каждый день я промачиваю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем мы отречемся от старого мира публично

и явно, а потому, отклоняя предложение товарища Самойлова о вооруженной демонстрации, предлагаю вооружить меня крепкими сапогами, ибо глубоко убежден, что это полезнее для торжества социализма, чем даже очень большое мордобитие!..

Таким же вычурным языком он рассказывал рабочим истории о том, как в разных странах народ пытался облегчить свою жизнь. Мать любила слушать его речи, и она вынесла из них странное впечатление — самыми хитрыми врагами народа, которые наиболее жестоко и часто обманывали его, были маленькие, пузатые, краснорogie человечки, бессовестные и жадные, хитрые и жестокие. Когда им жилось трудно под властью царей, они науськивали черный народ на царскую власть, а когда народ поднимался и вырывал эту власть из рук короля, человечки обманом забирали ее в свои руки и разгоняли народ по конурам, если же он спорил с ними — избивали его сотнями и тысячами.

Однажды, собравшись с духом, она рассказала ему эту картину жизни, созданную его речами, и, смущенно смеясь, спросила:

— Так ли, Егор Иваныч?

Он хохотал, закатывая глазки, задыхался, растирал грудь руками.

— Воистину так, мамаша! Вы схватили за рога быка истории. На этом желтеньком фоне есть некоторые орнаменты, то есть вышивки, но — они дела не меняют! Именно толстенькие человечки главные греховодники и самые ядовитые насекомые, кусающие народ. Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша, — бур-жуа. Жуют они нас, жуют и высасывают...

— Богатые, значит? — спросила мать.

— Вот именно! В этом их несчастье. Если, видите вы, в пищу ребенка прибавлять понемногу меди, это задерживает рост его костей, и он будет карликом, а если отравлять человека золотом — душа у него становится маленькая, мертвенькая и серая, совсем как резиновый мяч, ценою в пятак...

Однажды, говоря о Егоре, Павел сказал:

— А знаешь, Андрей, всего больше те люди шутят, у которых сердце поет...

Хохол помолчал и, прищутив глаза, ответил:

— Будь твоя правда, — вся Россия со смеху поми-
рала бы...

Появилась Наташа, она тоже сидела в тюрьме, где-то в другом городе, но это не изменило ее. Мать заметила, что при ней хохол становился веселее, сыпал шутками, задирая всех своим мягким ехидством, возбуждая у нее веселый смех. Но, когда она уходила, он начинал грустно насвистывать свои бесконечные песни и долго расхаживал по комнате, уныло шаркая ногами.

Часто прибегала Саша, всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то все более угловатая, резкая.

Как-то, когда Павел вышел в сени провожать ее и не затворил дверь за собой, мать услышала быстрый разговор:

— Вы понесете знамя? — тихо спросила девушка.

— Я.

— Это решено?

— Да. Это мое право.

— Снова тюрьма?!

Павел молчал.

— Вы не могли бы... — начала она и остановилась.

— Что? — спросил Павел.

— Уступить другому...

— Нет! — громко сказал он.

— Подумайте, — вы такой влиятельный, вас любят!.. Вы и Находка — первые здесь, — сколько можете вы сделать на свободе, — подумайте! А ведь за это вас со-
шлют — далеко, надолго!

Матери показалось, что в голосе девушки звучат знакомые чувства — тоска и страх. И слова Саши стали падать на сердце ей, точно крупные капли ледяной воды.

— Нет, я решил! — сказал Павел. — От этого я не откажусь ни за что.

— Даже если я буду просить?..

Павел вдруг заговорил быстро и как-то особенно строго:

— Вы не должны так говорить, — что вы? Вы не должны!

— Я человек! — тихонько сказала она.

— Хороший человек! — тоже тихо, но как-то особенно, точно он задыхался, заговорил Павел. — Дорогой

мне человек. И — поэтому... поэтому не надо так говорить...

— Прощай! — сказала девушка.

По стуку ее каблуков мать поняла, что она пошла быстро, почти побежала. Павел ушел за ней во двор.

Тяжелый, давящий испуг обнял грудь матери. Она не понимала, о чем говорилось, но чувствовала, что впереди ее ждет горе.

«Что он хочет делать?»

Павел возвратился вместе с Андреем; хохол говорил, качая головой:

— Эх, Исайка, Исайка, — что с ним делать?

— Надо посоветовать ему, чтобы он оставил свои затеи! — хмуро сказал Павел.

— Паша, что ты хочешь делать? — спросила мать, опустив голову.

— Когда? Сейчас?

— Первого... Первого Мая?

— Ага! — воскликнул Павел, понизив голос. — Я понесу знамя наше, — пойду с ним впереди всех. За это меня, вероятно, снова посадят в тюрьму.

Глазам матери стало горячо, и во рту у нее явилась неприятная сухость. Он взял ее руку, погладил.

— Это нужно, пойми!

— Я ничего не говорю! — сказала она, медленно подняв голову. И, когда глаза ее встретились с упрямым блеском его глаз, снова согнула шею.

Он выпустил ее руку, вздохнул и заговорил с упреком:

— Не горевать тебе, а радоваться надо бы. Когда будут матери, которые и на смерть пошлют своих детей с радостью?..

— Гоп, гоп! — заворчал хохол. — Поскакал наш пан, подоткнув кафтан!..

— Разве я говорю что-нибудь? — повторила мать. — Я тебе не мешаю. А если жалко мне тебя, — это уж материнское!..

Он отступил от нее, и она услышала жесткие, острые слова:

— Есть любовь, которая мешает человеку жить...

Вздвигнув, боясь, что он скажет еще что-нибудь отталкивающее ее сердце, она быстро заговорила:

— Не надо, Паша! Я понимаю, — иначе тебе нельзя, — для товарищей...

— Нет! — сказал он. — Я это — для себя.

В дверях встал Андрей — он был выше двери и теперь, стоя в ней, как в раме, странно подогнул колени, опираясь одним плечом о косяк, а другое, шею и голову выставив вперед.

— Вы бы перестали балакать, господин! — сказал он, угрюмо остановив на лице Павла свои выпуклые глаза. Он был похож на ящерицу в щели камня.

Матери хотелось плакать. Не желая, чтобы сын видел ее слезы, она вдруг забормотала:

— Ай батюшки, — забыла я...

И вышла в сени. Там, ткнувшись головой в угол, она дала простор слезам своей обиды и плакала молча, беззвучно, слабая от слез так, как будто вместе с ними вытекала кровь из сердца ее.

А сквозь неплотно закрытую дверь на нее ползли глухие звуки спора.

— Ты что ж, — любишь себя собой, мучая ее? — спрашивал хохол.

— Ты не имеешь права так говорить! — крикнул Павел.

— Хорош был бы я товарищ тебе, если бы молчал, видя твои глупые, козлиные прыжки! Ты зачем это сказал? Понимаешь?

— Нужно всегда твердо говорить и да и нет!

— Это ей?

— Всем! Не хочу ни любви, ни дружбы, которая цепляется за ноги, удерживает...

— Герой! Утри нос! Утри и — пойди, скажи все это Сашеньке. Это ей надо было сказать...

— Я сказал!..

— Так? Врешь! Ей ты говорил ласково, ей говорил — нежно, я не слыхал, а — знаю! А перед матерью распустил героизм... Пойми, козел, — героизм твой стоит грош!

Власова начала быстро стирать слезы со своих щек. Она испугалась, что хохол обидит Павла, поспешно отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила:

— У-у, холодно! А — весна...

Бесцельно перекладывая в кухне с места на место разные вещи, стараясь заглушить пониженные голоса в комнате, она продолжала громче:

— Все переменилось, — люди стали горячее, погода холоднее. Бывало, в это время тепло стоит, небо ясное, солнышко...

В комнате замолчали. Она остановилась среди кухни, ожидая.

— Слышал? — раздался тихий вопрос хохла. — Это надо понять, — чорт! Тут — богаче, чем у тебя...

— Чайку попьете? — вздрагивающим голосом спросила она. И, не ожидая ответа, чтобы скрыть эту дрожь, воскликнула:

— Что это, как озябла я!

К ней медленно вышел Павел. Он смотрел исподлобья, с улыбкой, виновато дрожавшей на его губах.

— Прости меня, мать! — негромко сказал он. — Я еще мальчишка, — дурак...

— Не тронь ты меня! — тоскливо крикнула она, прижимая его голову к своей груди. — Не говори ничего! Господь с тобой — твоя жизнь — твое дело! Но — не задевай сердца! Разве может мать не жалеть? Не может... Всех жалко мне! Все вы — родные, все — достойные! И кто пожалеет вас, кроме меня?.. Ты идешь, за тобой — другие, всё бросили, пошли... Паша!

Билась в груди ее большая, горячая мысль, окрыляла сердце вдохновенным чувством тоскливой, страдальческой радости, но мать не находила слов и в муке своей немоты, взмахивая рукой, смотрела в лицо сына глазами, горевшими яркой и острой болью...

— Ладно, мама! Прости, — вижу я! — бормотал он, опуская голову, и с улыбкой, мельком взглянув на нее, прибавил, отвернувшись, смущенный, но обрадованный:

— Этого я не забуду, — честное слово!

Она отстранила его от себя и, заглядывая в комнату, сказала Андрею просительно-ласково:

— Андрюша! Вы не кричите на него! Вы, конечно, старше...

Стоя спиной к ней и не двигаясь, хохол странно и смешно зарычал:

— У-у-у! Буду орать на него! Да еще и бить буду!

Она медленно шла к нему, протягивая руку, и говорила:
— Милый вы мой человек...

Хохол обернулся, наклонил голову, точно бык, и, стиснув за спиной руки, прошел мимо нее в кухню. Оттуда раздался его голос, сумрачно насмешливый:

— Уйди, Павел, чтобы я тебе голову не откусил! Это я шучу, ненько, вы не верьте! Вот я поставлю самовар. Да! Угли же у нас... Сырые, ко всем чертям их!

Он замолчал. Когда мать вышла в кухню, он сидел на полу, раздувая самовар. Не глядя на нее, хохол начал снова:

— Вы не бойтесь, — я его не трону! Я мягкий, как пареная репа! И я... Эй, ты, герой, не слушай, — я его люблю! Но я — жилетку его не люблю! Он, видите, надел новую жилетку, и она ему очень нравится, вот он ходит, выпуча живот, и всех толкает: а посмотрите, какая у меня жилетка! Она хорошая — верно, но — зачем толкаться? И без того тесно.

Павел, усмехнувшись, спросил:

— Долго будешь ворчать? Дал мне одну трепку, — довольно бы!

Сидя на полу, хохол вытянул ноги по обе стороны самовара и смотрел на него. Мать стояла у двери, ласково и грустно остановив глаза на круглом затылке Андрея и длинной, согнутой шее его. Он откинул корпус назад, уперся руками в пол, взглянул на мать и сына немного покрасневшими глазами и, мигая, негромко сказал:

— Хорошие вы человеки, — да!

Павел наклонился, схватил его руку.

— Не дергай! — глухо сказал хохол. — Так ты меня уронишь...

— Что стесняетесь? — грустно сказала мать. — Поцеловались бы, обнялись бы крепко-крепко...

— Хочешь? — спросил Павел.

— Можно! — ответил хохол, поднимаясь.

Крепко обнявшись, они на секунду замерли — два тела — одна душа, горячо горевшая чувством дружбы.

По лицу матери текли слезы, уже легкие. Отирая их, она смущенно сказала:

— Любит баба плакать, с горя плачет, с радости плачет!..

Хохол оттолкнул Павла мягким движением и, тоже вытирая глаза пальцами, заговорил:

— Будет! Порсзвились телята, пора в жареное! Ну и чортовы же угли! Раздувал, раздувал — засорил себе глаза...

Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал:

— Таких слез не стыдно...

Мать подошла к нему, села рядом. Ее сердце тепло и мягко оделось бодрым чувством. Было грустно ей, но приятно и спокойно.

— Я соберу посуду, — вы себе сидите, ненько! — сказал хохол, уходя в комнату. — Отдыхайте! Натолкали вам грудь...

И в комнате раздался его певучий голос:

— Славно почувствовали мы жизнь сейчас, — настоящую, человеческую жизнь!..

— Да! — сказал Павел, взглянув на мать.

— Все другое стало! — отозвалась она. — Горе другое, радость — другая...

— Так и должно быть! — говорил хохол. — Потому что растет новое сердце, ненько моя милая, — новое сердце в жизни растет. Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: «Эй, вы! Люди всех стран, соединяйтесь в одну семью!» И по зову его все сердца здоровыми своими кусками слагаются в огромное сердце, сильное, звучное, как серебряный колокол...

Мать плотно сжимала губы, чтобы они не дрожали, и крепко закрыла глаза, чтобы не плакали они.

Павел поднял руку, хотел что-то сказать, но мать взяла его за другую руку и, потянув ее вниз, прошептала:

— Не мешай ему...

— Знаете? — сказал хохол, стоя в двери. — Много горя впереди у людей, много еще крови выжмут из них, но все это, все горе и кровь моя, — малая цена за то, что уже есть в груди у меня, в мозгу моем... Я уже богат, как звезда лучами, — я все снесу, все вытерплю, — потому что есть во мне радость, которой никто, ничто, никогда не убьет! В этой радости — сила!

Пили чай, сидели за столом до полуночи, ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем.

И, когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжелое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль.

В теплом потоке беседы страх ее растаял, теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец ее сурово сказал ей:

— Нечего рожу кривить! Нашелся дурак, берет тебя замуж — иди! Все девки замуж выходят, все бабы детей рожают, всем родителям дети — горе! Ты что — не человек?

После этих слов она увидела перед собой неизбежную тропу, которая безответно тянулась вокруг пустого, темного места. И неизбежность идти этой тропой наполнила ее грудь слепым покоем. Так и теперь. Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то:

«Нате, возьмите!»

Это облегчало тихую боль ее сердца, которая, вздрагивая, пела в груди ее, как тугая струна.

И в глубине ее души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у нее не возьмут, не вырвут! Что-то останется...

XXIV

Рано утром, едва только Павел и Андрей ушли, в окно тревожно постучала Корсунова и торопливо крикнула:

— Исаю убили! Идем смотреть...

Мать вздрогнула, в уме ее искрой мелькнуло имя убийцы.

— Кто? — коротко спросила она, накидывая на плечи шаль.

— Он не сидит там, над Исаем-то, кокнул да и ушел! — ответила Марья.

На улице она сказала:

— Теперь опять начнут рыться, виноватого искать. Хорошо, что твои ночью дома были, — я этому свидетельница. После полночи мимо шла, в окно к вам заглянула, все вы за столом сидели...

— Что ты, Марья? Разве на них можно подумать? — испуганно воскликнула мать.

— А кто его убил? Уж наверно ваши! — убежденно сказала Корсунова. — Известно всем, что выслеживал он их...

Мать остановилась, задыхаясь, приложила руку к груди.

— Да ты что? Ты не бойся! Поделом вору и мука! Идем скорее, а то увезут его!..

Мать пошатывала тяжелая мысль о Весовщикове.

«Вот, дошел!» — тупо думала она.

Недалеко от стен фабрики, на месте недавно сгоревшего дома, растапывая ногами угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и гудела, точно рой шмелей. Было много женщин, еще больше детей, лавочники, половые из трактира, полицейские и жандарм Петлин, высокий старик с пушистой серебряной бородой, с медалями на груди.

Исай полулежал на земле, прислонясь спиной к обгорелым бревнам и свесив обнаженную голову на правое плечо. Правая рука была засунута в карман брюк, а пальцами левой он вцепился в рыхлую землю.

Мать взглянула в лицо ему — один глаз Исай тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало раскинутых ног, рот был изумленно полукрив, его рыжая борода торчала вбок. Худое тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках стало еще меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнув. Живой, он был противен ей, теперь будил тихую жалость.

— Крови нет! — заметил кто-то вполголоса. — Видно, кулаком стукнули...

Злой голос громко произнес:

— Заткнули рот ябеднику...

Жандарм встрепенулся и, раздвигая руками женщин, угрожающе спросил:

— Это кто рассуждает, а?

Люди рассыпались под его толчками. Некоторые быстро побежали прочь. Кто-то засмеялся злорадным смехом.

Мать пошла домой.

«Никто не жалеет!» — думала она.

А перед нею стояла, точно тень, широкая фигура Николая, его узкие глаза смотрели холодно, жестоко, и правая рука качалась, точно он ушиб ее...

Когда сын и Андрей пришли обедать, она прежде всего спросила их:

— Ну, что? Никого не арестовали — за Исаю?

— Не слышно! — отозвался хохол.

Она видела, что они оба подавлены.

— О Николае ничего не говорят? — тихо осведомилась мать.

Строгие глаза сына остановились на ее лице, и он внятно сказал:

— Не говорят. И едва ли думают. Его нет. Он вчера в полдень уехал на реку и еще не вернулся. Я спрашивал о нем...

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнув, сказала мать. — Слава богу!

Хохол взглянул на нее и опустил голову.

— Лежит он, — задумчиво рассказывала мать, — и точно удивляется, — такое у него лицо. И никто его не жалеет, никто добрым словом не прикрыл его. Маленький такой, невидный. Точно обломок, — отломился от чего-то, упал и лежит...

За обедом Павел вдруг бросил ложку и воскликнул:

— Этого я не понимаю!

— Чего? — спросил хохол.

— Убить животное только потому, что надо есть, — и это уже скверно. Убить зверя, хищника... это понятно! Я сам мог бы убить человека, который стал зверем для людей. Но убить такого жалкого — как могла размахнуться рука?..

Хохол пожал плечами. Потом сказал:

— Он был вреден не меньше зверя. Комар выпьет немножко нашей крови — мы бьем! — добавил хохол.

— Ну да! Я не про то... Я говорю — 'противно!

— Что поделаешь? — отозвался Андрей, снова пожимая плечами.

— Ты мог бы убить такого? — задумчиво спросил Павел после долгого молчания.

Хохол посмотрел на него своими круглыми глазами, мельком взглянул на мать и с грустью, но твердо ответил:

— За товарищей, за дело — я все могу! И убью. Хоть сына...

— Ой, Андрюша! — тихо воскликнула мать.

Он улыбнулся ей и сказал:

— Нельзя иначе! Такая жизнь!..

— Да-а!.. — медленно протянул Павел. — Такая жизнь...

Внезапно возбужденный, повинувшись какому-то толчку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и заговорил:

— Что вы сделаете? Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступало время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожить того, кто мешает ходу жизни, кто продает людей за деньги, чтобы купить на них покой или почет себе. Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать — я буду сам Иуда, когда не уничтожу его! Я не имею права? А они, хозяева наши, — они имеют право держать солдат и палачей, публичные дома и тюрьмы, каторгу и все это, поганое, что охраняет их покой, их уют? Порой мне приходится брать в руки их палку, — что ж делать? Я возьму, не откажусь. Они нас убивают десятками и сотнями, — это дает мне право поднять руку и опустить ее на одну из вражьих голов, на врага, который ближе других подошел ко мне и вреднее других для дела моей жизни. Такая жизнь. Против нее я и иду, ее я и не хочу. Я знаю, — их кровью ничего не создается, она не плодотворна!.. Хорошо растет правда, когда наша кровь кропит землю частым дождем, а их, гнилая, пропадает без следа, я это знаю! Но я приму грех на себя, убью, если увижу — надо! Я ведь только за себя говорю. Мой грех со мной умрет, он не ляжет пятном на будущее, никого не замазает он, кроме меня, — никого!

Он ходил по комнате, взмахивая рукой перед своим лицом, и как бы рубил что-то в воздухе, отсекал от самого себя. Мать смотрела на него с грустью и тревогой, чувствуя, что в нем надломилось что-то, больно ему. Темные, опасные мысли об убийстве оставили ее: «Если убил не Весовщиков, никто из товарищей Павла не мог сделать этого», — думала она. Павел, опустив голову, слушал хохла, а тот настойчиво и сильно говорил:

— По дороге вперед и против самого себя идти приходится. Надо уметь все отдать, все сердце. Жизнь отдать, умереть за дело — это просто! Отдай — больше, и то, что тебе дороже твоей жизни, — отдай, — тогда сильно возрастет и самое дорогое твое — правда твоя!..

Он остановился среди комнаты, побледневший, полузакрыв глаза, торжественно обещая, проговорил, подняв руку:

— Я знаю — будет время, когда люди станут любить друг друга, когда каждый будет как звезда перед другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей, все пойдут с открытыми сердцами, сердце каждого чисто будет от зависти, и беззлобны будут все. Тогда не жизнь будет, а — служение человеку, образ его вознесется высоко; для свободных — все высоты достигаемы! Тогда будут жить в правде и свободе для красоты, и лучшими будут считаться те, которые шире обнимут сердцем мир, которые глубже полюбят его, лучшими будут свободнейшие — в них наиболее красоты! Велики будут люди этой жизни...

Он замолчал, выпрямился, сказал гулко, всею грудью:

— Так — ради этой жизни — я на все пойду...

Его лицо вздрогнуло, из глаз текли слезы одна за другой, крупные и тяжелые.

Павел поднял голову и смотрел на него бледный, широко раскрыв глаза, мать привстала со стула, чувствуя, как растет, надвигается на нее темная тревога.

— Что с тобой, Андрей? — тихо спросил Павел.

Хохол тряхнул головой, вытянулся, как струна, и сказал, глядя на мать:

— Я видел... Знаю...

Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки его — он пробовал выдернуть правую, но она цепко держалась за нее и шептала горячим шопотом:

— Голубчик мой, тише! Родной мой...

— Подождите! — глухо бормотал хохол. — Я скажу вам, как оно было...

— Не надо! — шептала она, со слезами глядя на него. — Не надо, Андрюша...

Павел медленно подошел, глядя на товарища влажными глазами. Был он бледен и, усмехаясь, сказал негромко, медленно:

— Мать боится, что это ты...

— Я — не боюсь! Не верю! Видела бы — не поверила!

— Подождите! — говорил хохол, не глядя на них, мотая головой и все освобождая руку. — Это не я, — но я мог не позволить...

— Оставь, Андрей! — сказал Павел.

Одной рукой сжимая его руку, он положил другую на плечо хохла, как бы желая остановить дрожь в его высоком теле. Хохол наклонил к ним голову и тихо, прерывисто заговорил:

— Я не хотел этого, ты ведь знаешь, Павел. Случилось так: когда ты ушел вперед, а я остановился на углу с Драгуновым — Исай вышел из-за угла, — стал в стороне. Смотрит на нас, усмехается... Драгунов сказал: «Видишь? Это он за мной следит, всю ночь. Я изобью его». И ушел, — я думал — домой... А Исай подошел ко мне...

Хохол вздохнул.

— Никто меня не обижал так скверно, как он, собака.

Мать молча тянула его за руку к столу, и наконец ей удалось посадить Андрея на стул. А сама она села рядом с ним плечо к плечу. Павел же стоял перед ним, угрюмо пощипывая бороду.

— Он говорил мне, что всех нас знают, все мы у жан-дармов на счету и что выловят всех перед Маем. Я не отвечал, смеялся, а сердце закипало. Он стал говорить, что я умный парень и не надо мне идти таким путем, а лучше...

Он остановился, отер лицо левой рукой, глаза его сухо сверкнули.

— Я понимаю! — сказал Павел.

— Лучше, говорит, поступить на службу закона, а?

Хохол взмахнул рукой и потряс сжатым кулаком.

— Закона, — проклятая его душа! — сквозь зубы сказал он. — Лучше бы он по щеке меня ударил... легче было бы мне, — и ему, может быть. Но так, когда он плюнул в сердце мне вонючей слюной своей, я не стерпел.

Андрей судорожно выдергивал свою руку из руки Павла и глуше, с отвращением говорил:

— Я ударил его по щеке и пошел. Слышу — сзади Драгунов тихо так говорит: «Попался?» Он стоял за углом, должно быть...

Помолчав, хохол сказал:

— Я не обернулся, хотя чувствовал... Слышал удар... Иду себе, спокойно, как будто жабу пнул ногой. Встал на работу, кричат: «Исая убили!» Не верилось. Но рука заныла, — неловко мне владеть ею, — не больно, но как будто короче стала она...

Он искоса взглянул на руку и сказал:

— Всю жизнь, наверно, не смою я теперь поганого пятна этого...

— Было бы сердце твое чисто, — голубчик мой! — тихо сказала мать.

— Я не виню себя — нет! — твердо сказал хохол. — Но противно же мне это! Лишнее это для меня.

— Я плохо понимаю тебя! — сказал Павел, пожав плечами. — Убил — не ты, но если б даже...

— Брат, знать, что убивают, и не помешать...

Павел твердо сказал:

— Я этого совсем не понимаю...

И, подумав, прибавил:

— То есть понять могу, но почувствовать — нет.

Запел гудок. Хохол склонил голову набок, прослушал властный рев и, встряхнувшись, сказал:

— Не пойду работать...

— Я тоже, — отозвался Павел.

— Пойду в баню! — усмехаясь, проговорил хохол и быстро, молча собравшись, ушел, угрюмый.

Мать, проводив его сострадательным взглядом, сказала сыну:

— Как хочешь, Паша! Знаю — грешно убить человека, — а не считаю никого виноватым. Жалко Исаю, такой он гвоздик маленький, поглядела я на него, вспомнила, как он грозился повесить тебя, — и ни злобы к нему, ни радости, что помер он. Просто жалко стало. А теперь — даже и не жалко...

Она замолчала, подумала и, удивленно улыбаясь, заметила:

— Господи Иисусе, — слышишь, Паша, что говорю я?..

Павел, должно быть, не слышал. Медленно расхаживая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро сказал:

— Вот она, жизнь! Видишь, как поставлены люди друг против друга? Не хочешь, а — бей! И кого? Такого же бесправного человека. Он еще несчастнее тебя, потому что — глуп. Полиция, жандармы, шпионы — всё это наши враги, — а все они такие же люди, как мы, так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей. Всё — так же! А вот поставили людей одних против дру-

гих, ослепили глупостью и страхом, всех связали по рукам и по ногам, стиснули и сосут их, дают и бьют одних другими. Обратили людей в ружья, в палки, в камни и говорят: «Это государство!..»

Он подошел ближе к матери.

— Это — преступление, мать! Гнуснейшее убийство миллионов людей, убийство душ... Понимаешь, — душу убивают. Видишь разницу между нами и ими — ударил человек, и ему противно, стыдно, больно. Противно, главное! А те — убивают тысячами спокойно, без жалости, без содрогания сердца, с удовольствием убивают! И только для того дают насмерть всех и всё, чтобы сохранить серебро, золото, ничтожные бумажки, всю эту жалкую дрянь, которая дает им власть над людьми. Подумай — не себя оберегают люди, защищаясь убийством народа, искажая души людей, не ради себя делают это, — ради имущества своего. Не изнутри берегут себя, а извне...

Он взял руки ее, наклонился и, встряхивая их, сказал:

— Если бы ты почувствовала всю эту мерзость и позорную гниль — ты поняла бы нашу правду, увидала бы, как она велика и светла!..

Мать поднялась взволнованная, полная желания слить свое сердце с сердцем сына в один огонь.

— Подожди, Паша, подожди! — задыхаясь, пробормотала она. — Я — чувствую, — подожди!..

XXV

В сенях кто-то громко завопил. Они оба, вздрогнув, взглянули друг на друга.

Дверь отворилась медленно, и в нее грузно вошел Рыбин.

— Вот! — подняв голову и улыбаясь, сказал он. — Нашего Фому тянет ко всему — ко хлебу, к вину, кланяйтесь ему!..

Он был одет в полушубок, залитый дегтем, в лапти, за поясом у него торчали черные рукавицы и на голове мохнатая шапка.

— Здоровы ли? Выпустили тебя, Павел? Так. Каково живешь, Ниловна? — Он широко улыбался, показывая

белые зубы, голос его звучал мягче, чем раньше, лицо еще гуще заросло бородой.

Мать обрадовалась, подошла к нему, жала его болящую, черную руку и, вдыхая здоровый, крепкий запах дегтя, говорила:

— Ах, ты... ну, я рада!..

Павел улыбался, разглядывая Рыбина.

— Хорош мужичок!

Медленно раздеваясь, Рыбин говорил:

— Да, опять мужиком заделался, вы в господа помаленьку выходите, а я — назад обращаюсь... вот!

Одергивая пестрядинную рубаху, он прошел в комнату, окинул ее внимательным взглядом и заявил:

— Имущества не прибавилось у вас, видать, а книжек больше стало, — так! Ну, рассказывайте, как дела?

Он сел, широко расставив ноги, уперся в колена ладонями и, вопросительно ощупывая Павла темными глазами, добродушно улыбаясь, ждал ответа.

— Дела идут бойко! — сказал Павел.

— Пашем да сеем, хвастать не умеем, а урожай соберем — сварим бражку, ляжем в лежку — так? — балагурил Рыбин.

— Как вы живете, Михайло Иванович? — спросил Павел, садясь против него.

— Ничего. Ладно живу. В Егильдееве приостановился, слышали — Егильдеево? Хорошее село. Две ярмарки в году, жителей боле двух тысяч, — злой народ! Земли нет, в уделе арендуют, плохая землишка. Порядился я в батраки к одному мироеду — там их как мух на мертвом теле. Деготь гоним, уголь жгем. Получаю за работу вчетверо меньше, а спину ломаю вдвое больше, чем здесь, — вот! Семеро нас у него, у мироеда. Ничего, — народ всё молодой, все тамошние, кроме меня, — грамотные всё. Один парень — Ефим, такой ярый, беда!

— Вы что же, беседуете с ними? — спросил Павел оживленно.

— Не молчу. У меня с собой захвачены все здешние листочки — тридцать четыре их. Но я больше библией действую, там есть что взять, книга толстая, казенная, синод печатал, верить можно!

Он подмигнул Павлу и, усмехаясь, продолжал:

— Только этого мало. Я к тебе за книжками явился. Мы тут вдвоем, Ефим этот со мной, — деготь возили, ну, дали крюку, заехали к тебе! Ты меня снабди книжками, покада Ефим не пришел, — ему лишнее много знать...

Мать смотрела на Рыбина, и ей казалось, что вместе с пиджаком он снял с себя еще что-то. Стал менее солиден, и глаза у него смотрели хитрее, не так открыто, как раньше.

— Мама, — сказал Павел, — вы сходите, принесите книг. Там знают, что дать. Скажете — для деревни.

— Хорошо! — сказала мать. — Вот самовар поспеет — я и схожу.

— И ты по этим делам пошла, Ниловна? — усмехаясь, спросил Рыбин. — Так. Охотников до книжек у нас много там. Учитель приохочивает, — говорят, парень хороший, хотя из духовного звания. Учителька тоже есть, верстах в семи. Ну, они запрещенной книгой не действуют, народ казенный, — боятся. А мне требуется запрещенная, острая книга, я под их руку буду подкладывать... Коли становой или поп увидят, что книга-то запрещенная, подумают — учителя сеют! А я в сторонке, до времени, останусь.

И, довольный своей мудростью, он весело оскалил зубы.

«Ишь ты! — подумала мать. — Смотришь медведем, а живешь лисой...»

— Как вы думаете, — спросил Павел, — если заподозрят учителей в том, что они запрещенные книги раздают, — посадят в острог за это?

— Посадят, — а что? — спросил Рыбин.

— Вы давали книжки, а — не они! Вам и в острог идти...

— Чудак! — усмехнулся Рыбин, хлопая рукой по колену. — Кто на меня подумает? Простой мужик таким делом занимается, разве это бывает? Книга дело господское, им за нее и отвечать...

Мать чувствовала, что Павел не понимает Рыбина, и видела, что он прищурил глаза, — значит, сердится. Она осторожно и мягко сказала:

— Михаил Иванович так хочет, чтобы он дело делал, а на расправу за него другие шли...

— Вот! — сказал Рыбин, глядя бороду. — До времени.

— Мама! — сухо окликнул Павел. — Если кто-нибудь из наших, Андреи, примерно, сделает что-нибудь под мою руку, а меня в тюрьму посадят — ты что скажешь?

Мать вздрогнула, недоуменно взглянула на сына и сказала, отрицательно качая головой:

— Разве можно против товарища так поступить?

— Ага-а! — протянул Рыбин. — Понял я тебя, Павел! Насмешливо подмигнув, он обратился к матери:

— Тут, мать, дело тонкое.

И снова, поучительно, к Павлу:

— Зелено ты думаешь, брат! В тайном деле — чести нет. Рассуди: первое, в тюрьму посадят прежде того парня, у которого книгу найдут, а не учителей — раз. Второе, хотя учителя дают и разрешенную книгу, но суть в ней та же, что и в запрещенной, только слова другие, правды меньше — два. Значит, они того же хотят, что и я, только идут проселком, а я большой дорогой, — перед начальством же мы одинаково виноваты, верно? А третье, мне, брат, до них дела нет, — пеший конному не товарищ. Против мужика я так, может, и не захочу сделать. А они — один попovich, другая — помещикова дочь, — за чем им надо народ поднять — я не знаю. Их господские мысли мне, мужику, неведомы. Что сам я делаю — я знаю, а чего они хотят — это мне неизвестно. Тысячу лет люди аккуратно господами были, с мужика шкуру драли, а вдруг — проснулись и давай мужику глаза протирать. Я, брат, до сказок не охотник, а это — вроде сказки. От меня всякие господа далеко. Едешь зимой полем, впереди что-то живое мельтешиг, а что оно? Волк, лиса или просто собака — не вижу! Далеко.

Мать взглянула на сына. Лицо у него было грустное.

А глаза Рыбина блестели темным блеском, он смотрел на Павла самодовольно и, возбужденно расчесывая пальцами бороду, говорил:

— Любезничать мне время нет. Жизнь смотрит строго; на псарне — не в овчарне, всякая стая по-своему лает...

— Есть господа, — заговорила мать, вспомнив знакомые лица, — которые убивают себя за народ, всю жизнь в тюрьмах мучаются...

— Им и счет особый и почет другой! — сказал Рыбин. — Мужик богатеет — в баре прет, барин беднеет —

к мужику идет. Поневоле душа чиста, коли мощна пуста. Помнишь, Павел, ты мне объяснял, что кто как живет, так и думает, и ежели рабочий говорит — да, хозяин должен сказать — нет, а ежели рабочий говорит — нет, так хозяин, по природе своей, обязательно кричит — да! Так вот и у мужика с барином разные природы. Коли мужик сыт — барин ночь не спит. Конечно, во всяком звании — свой сукин сын, и всех мужиков защищать я не согласен...

Он поднялся на ноги, темный, сильный. Лицо его потускнело, борода вздрогнула, точно он неслышно щелкнул зубами, и продолжал пониженным голосом:

— Прошлялся я по фабрикам пять лет, отвык от деревни, вот! Пришел туда, поглядел, вижу — не могу я так жить! Понимаешь? Не могу! Вы тут живете — вы обид таких не видите. А там — голод за человеком тенью ползет и нет надежды на хлеб, нету! Голод души сожрал, лики человеческие стер, не живут люди, гниют в неизбывной нужде... И кругом, как воронье, начальство сторожит, нет ли лишнего куска у тебя? Увидит, вырвет, в харю тебе даст...

Рыбин оглянулся, наклонился к Павлу, опираясь рукой на стол.

— Мне даже тошно стало, как взглянул я снова на эту жизнь. Вижу — не могу! Однако преоборол себя, — нет, думаю, шалишь, душа! Я останусь. Я вам хлеба не достану, а кашу заварю, — я, брат, заварю ее! Несу в себе обиду за людей и на людей. Она у меня ножом в сердце стоит и качается.

У него вспотел лоб, он, медленно надвигаясь на Павла, положил ему руку на плечо. Рука вздрагивала.

— Давай помощь мне! Давай книг, да таких, чтобы, прочитав, человек покою себе не находил. Ежа под череп посадить надо, ежа колючего! Скажи своим городским, которые для вас пишут, — для деревни тоже писали бы! Пусть валяют так, чтобы деревню варом обдало, — чтобы народ на смерть полез!

Он поднял руку и, раздельно произнося каждое слово, глухо сказал:

— Смертию смерть поправ — вот! Значит — умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле! Вот. Умереть легко. Воскресли бы! Поднялись бы люди!

Мать внесла самовар, искоса глядя на Рыбина. Его слова, тяжелые и сильные, подавляли ее. И было в нем что-то напоминавшее ей мужа ее, тот — так же оскаливал зубы, двигал руками, засучивая рукава, в том жила такая же нетерпеливая злоба, нетерпеливая, но немая. Этот — говорил. И был менее страшен.

— Это надо! — сказал Павел, тряхнув головой. — Давайте нам материал, мы будем вам печатать газету...

Мать с улыбкой поглядела на сына, покачала головой и, молча одевшись, ушла из дома.

— Делай! Всё доставим. Пишите проще, чтобы телята понимали! — выкрикивал Рыбин.

В кухне отворилась дверь, кто-то вошел.

— Это Ефим! — сказал Рыбин, заглядывая в кухню. — Иди сюда, Ефим! Вот — Ефим, а этого человека зовут — Павел, я тебе говорил про него.

Перед Павлом встал, держа в руках шапку и глядя на него исподлобья серыми глазами, русоволосый, широколицый парень в коротком полушубке, стройный и, должно быть, сильный.

— Доброго здоровья! — сиповато сказал он и, пожав руку Павла, пригладил обеими руками прямые волосы. Оглянул комнату и тотчас же медленно, точно подкрадываясь, пошел к полке с книгами.

— Увидал! — сказал Рыбин, подмигнув Павлу. Ефим повернулся, взглянул на него и стал рассматривать книги, говоря:

— Сколько чтения-то у вас! А читать, верно, некогда. В деревне больше время для этого дела...

— А охоты меньше? — спросил Павел.

— Зачем? И охота есть! — ответил парень, потирая подбородок. — Народ начал пошевеливать мозгой. «Геология» — это что?

Павел объяснил.

— Нам не требуется! — сказал парень, ставя книгу на полку.

Рыбин шумно вздохнул и заметил:

— Мужiku не то интересно, откуда земля явилась, а как она по рукам разошлась, — как землю из-под ног у народа господу выдернули? Стоит она или вертится, это неважно — ты ее хоть на веревке повесь, —

давала бы есть; хоть гвоздем к небу прибей, — кормила бы людей!..

— «История рабства», — снова прочитал Ефим и спросил Павла: — Про нас?

— Есть и о крепостном праве! — сказал Павел, давая ему другую книгу. Ефим взял ее, повертел в руках и, отложив в сторону, спокойно сказал:

— Это — прошло!

— Вы сами — имеете надел? — осведомился Павел.

— Мы? Имеем! Трое нас братьев, а надела — четыре десятины. Песочек — медь им чистить хорошо, а для хлеба — неспособная земля!..

Помолчав, он продолжал:

— Я от земли освободился, — что она? Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки хожу. А осенью мне в солдаты идти. Дядя Михайло говорит — не ходи! Теперь, говорит, солдат посылают народ бить. А я думаю идти. Войско и при Степане Разине народ било, и при Пугачеве. Пора это прекратить. Как по-вашему? — спросил он, пристально глядя на Павла.

— Пора! — с улыбкой ответил тот. — Только — трудно! Надо знать, что говорить солдатам и как сказать...

— Поучимся — сумеем! — сказал Ефим.

— Если начальство на этом поймает — расстрелять может! — закончил Павел, с любопытством глядя на Ефима.

— Оно — не помилует! — спокойно согласился парень и снова начал рассматривать книги.

— Пей чай, Ефим, скоро ехать! — заметил Рыбин.

— Сейчас! — отозвался парень и снова спросил: — Революция — бунт?

Пришел Андрей, красный, распаренный и угрюмый. Молча пожал руку Ефима, сел рядом с Рыбиным и, оглянув его, усмехнулся.

— Что невесело смотришь? — спросил Рыбин, ударив его ладонью по колену.

— Да так, — ответил хохол.

— Тоже рабочий? — спросил Ефим, кивая головой на Андрея.

— Тоже! — ответил Андрей. — А что?

— Он первый раз фабричных видит! — объяснил Рыбин. — Народ, говорит, особенный...

— Чем? — спросил Павел.

Ефим внимательно осмотрел Андрея и сказал:

— Кость у вас острая. Мужик круглее костью...

— Мужик спокойнее на ногах стоит! — добавил Рыбин. — Он под собой землю чувствует, хоть и нет ее у него, но он чувствует — земля! А фабричный — вроде птицы: родины нет, дома нет, сегодня — здесь, завтра там! Его и баба к месту не привязывает, чуть что — прощай, милая, в бок тебе вилами! И пошел искать, где лучше. А мужик вокруг себя хочет сделать лучше, не сходя с места. Вон мать пришла!

Ефим подошел к Павлу, спросив:

— Может, дадите мне книжку какую-нибудь?

— Пожалуйста! — охотно отозвался Павел.

Глаза парня жадно вспыхнули, и он быстро заговорил:

— Я ворочу! Наши тут поблизости деготь возят, они и привезут.

Рыбин, уже одетый, туго подпоясанный, сказал Ефиму:

— Едем, пора!

— Вот, почитаю я! — воскликнул Ефим, указывая на книги и широко улыбаясь.

Когда они ушли, Павел оживленно воскликнул, обращаясь к Андрею:

— Видел чертей?..

— Да-а! — медленно протянул хохол. — Как тучи...

— Михайло-то? — воскликнула мать. — Будто и не жил на фабрике, совсем мужиком стал! И какой страшный!

— Жаль, не было тебя! — сказал Павел Андрею, который хмуро смотрел в свой стакан чая, сидя у стола. — Вот посмотрел бы ты на игру сердца, — ты все о сердце говоришь! Тут Рыбин таких паров нагнал, — опрокинул меня, задавил!.. Я ему и возражать не мог. Сколько в нем недоверия к людям, и как он их дешево ценит! Верно говорит мать — страшную силу несет в себе этот человек!..

— Это я видел! — угрюмо сказал хохол. — Отравили людей! Когда они поднимутся — они будут всё опрокидывать подряд! Им нужно голую землю, — и они оголят ее, всё сорвут!

Он говорил медленно, и было видно, что думает о другом. Мать осторожно дотронулась до него.

— Ты бы встряхнулся, Андрюша!
— Подождите, ненько, родная моя! — тихо и ласково попросил хохол.

И вдруг возбуждаясь, он заговорил, ударив рукой по столу:

— Да, Павел, мужик обнажит землю себе, если он встанет на ноги! Как после чумы — он всё пожжет, чтобы все следы обид своих пеплом развеять...

— А потом встанет нам на дороге! — тихо заметил Павел.

— Наше дело — не допустить этого! Наше дело, Павел, сдержать его! Мы к нему всех ближе, — нам он поверит, за нами пойдет!

— Знаешь, Рыбин предлагает нам издавать газету для деревни! — сообщил Павел,

— И — надо!

Павел усмехнулся и сказал:

— Обидно мне, что я не поспорил с ним!

Хохол, потирая голову, спокойно заметил:

— Еще поспорим! Ты играй на своей сопелке — у кого ноги в землю не вросли, те под твою музыку танцовать будут! Рыбин верно сказал — мы под собой земли не чувствуем, да и не должны, потому на нас и положено раскачать ее. Покачем раз — люди оторвутся, покачем два — и еще!

Мать, усмехаясь, молвила:

— Для тебя, Андрюша, все просто!

— Ну да! — сказал хохол. — Просто! Как жизнь!

Через несколько минут он сказал:

— Я пойду в поле, похожу...

— После бани-то? Ветрено, продует тебя! — предупредила мать.

— Вот и надо, чтобы продуло! — ответил он.

— Смотри, простудишься! — ласково сказал Павел. — Лучше ляг.

— Нет, я пойду!

И, одевшись, молча ушел...

— Тяжело ему! — заметила мать, вздохнув.

— Знаешь что, — сказал ей Павел, — хорошо ты сделала, что после этого стала с ним на ты говорить!

Она, удивленно взглянув на него, ответила:

— Да я и не заметила, как это вышло! Он для меня такой близкий стал, — и не знаю, как сказать!

— Хорошее у тебя сердце, мать! — тихо проговорил Павел.

— Только бы тебе, — и всем вам, — хоть как-нибудь помогла я! Сумела бы!..

— Не бойся — сумеешь!..

Она тихонько засмеялась, говоря:

— А вот не бояться-то я и не умею!

— Ладно, мама! Молчим! — сказал Павел. — Знай — я тебя крепко, крепко благодарю!

Она ушла в кухню, чтобы не смущать его своими слезами,

Хохол воротился поздно вечером усталый и тотчас же лег спать, сказав:

— Верст десять пробежал я, думаю...

— Помогло? — спросил Павел.

— Не мешай, спать буду!

И замолчал, точно умер.

Спустя несколько времени пришел Весовщиков, обормованный, грязный и недовольный, как всегда.

— Не слышал, кто Исайку убил? — спросил он Павла, неуклюже шагая по комнате.

— Нет! — кратко отозвался Павел.

— Нашелся человек — не побрезговал! А я все собирался сам его задавить. Мое это дело, — самое подходящее мне!

— Брось ты, Николай, такие речи! — дружелюбно сказал ему Павел.

— Что это, в самом деле! — ласково подхватила мать. — Сердце мягкое, а сам — рычит. Зачем это?

В эту минуту ей было приятно видеть Николая, даже его рябое лицо показалось красивее.

— Не гожусь я ни для чего, кроме как для таких делов! — сказал Николай, пожимая плечами. — Думаю, думаю — где мое место? Нету места мне! Надо говорить с людьми, а я — не умею! Вижу я всё, все обиды людские чувствую, а сказать — не могу! Немая душа.

Он подошел к Павлу и, опустив голову, ковыряя пальцем стол, сказал как-то по-детски, не похоже на него, жалобно:

— Дайте вы мне какую-нибудь тяжелую работу, братцы! Не могу я так, без толку жить! Вы все в деле. Вижу я — растет оно, а я — в стороне! Вожу бревна, доски. Разве можно для этого жить? Дайте тяжелую работу!

Павел взял его за руку и потянул его к себе.

— Дадим!..

Но из-за полога раздался голос хохла:

— Я тебя, Николай, выучу набирать буквы, и ты будешь наборщиком у нас, — ладно?

Николай пошел к нему, говоря:

— Если научишь, я тебе за это нож подарю...

— Убирайся к чорту с ножом! — крикнул хохол и вдруг засмеялся.

— Хороший нож! — настаивал Николай. Павел тоже засмеялся.

Тогда Весовщиков остановился среди комнаты и спросил:

— Это вы надо мной?

— Ну да! — ответил хохол, прыгнув с постели. — Вот что — идемте в поле, гулять. Ночь лунная, хорошая. Идем?

— Хорошо! — сказал Павел.

— И я пойду! — заявил Николай. — Я люблю, хохол, когда ты смеешься...

— А я — когда ты подарки обещаешь! — ответил хохол, усмекаясь.

Когда он одевался в кухне, мать сказала ему ворчливо:

— Теплее оденься...

А когда они ушли все трое, она, посмотрев на них в окно, взглянула на образа и тихо сказала:

— Господи — помоги им!..

XXVI

Дни полетели один за другим с быстротой, не позволявшей матери думать о Первом Мая. Только по ночам, когда, усталая от шумной, волнующей суеты дня, она ложилась в постель, сердце ее тихо ныло.

«Скорее бы...»

На рассвете выл фабричный гудок, сын и Андрей наскоро пили чай, закусывали и уходили, оставляя матери десяток поручений. И целый день она кружилась, как белка в колесе, варила обед, варила лиловый студень для прокламаций и клей для них, приходили какие-то люди, совали записки для передачи Павлу и исчезали, заражая ее своим возбуждением.

Листки, призывавшие рабочих праздновать Первое Мая, почти каждую ночь наклеивали на заборах, они являлись даже на дверях полицейского правления, их каждый день находили на фабрике. По утрам полиция, ругаясь, ходила по слободе, срывая и соскабливая лиловые бумажки с заборов, а в обед они снова летали на улице, подкатываясь под ноги прохожих. Из города прислали сыщиков, они, стоя на углах, щупали глазами рабочих, весело и оживленно проходивших с фабрики на обед и обратно. Всем нравилось видеть бессилие полиции, и даже пожилые рабочие, усмехаясь, говорили друг другу: — Что делают, а?

Всюду собирались кучки людей, горячо обсуждая волнующий призыв. Жизнь вскипала, она в эту весну для всех была интереснее, всем несла что-то новое, одним — еще причину раздражаться, злобно ругая крамольников, другим — смутную тревогу и надежду, а третьим, — их было меньшинство, — острую радость сознания, что это они являются силой, которая будит всех.

Павел и Андрей почти не спали по ночам, являлись домой уже перед гудком оба усталые, охрипшие, бледные. Мать знала, что они устраивают собрания в лесу, на болоте, ей было известно, что вокруг слободы по ночам рыскают разъезды конной полиции, ползают сыщики, хватая и обыскивая отдельных рабочих, разгоняя группы и порою арестуя того или другого. Понимая, что и сына с Андреем тоже могут арестовать каждую ночь, она почти желала этого — это было бы лучше для них, казалось ей.

Дело об убийстве табельщика странно заглохло. Два дня местная полиция спрашивала людей по этому поводу и, допросив человек десять, утратила интерес к убийству.

Марья Корсунова в разговоре с матерью сказала ей, отражая в своих словах мнение полиции, с которой она жила дружно, как со всеми людьми:

— Разве тут найдешь виноватого? В то утро, может, сто человек Исяя видели и девяносто, коли не больше, могли ему плюху дать. За семь лет он всем насолил...

Хохол заметно изменился. У него осунулось лицо и отяжелели веки, опустившись на выпуклые глаза, полузакрывая их. Тонкая морщина легла на лице его от ноздрей к углам губ. Он стал меньше говорить о вещах и делах обычных, но все чаще вспыхивал и, впадая в хмельной и опьянявший всех восторг, говорил о будущем — о прекрасном, светлом празднике торжества свободы и разума.

Когда дело о смерти Исяя заглохло, он сказал, безрелигиозно и печально усмехаясь:

— Не только народ, но и те люди, которыми они, как собаками, травят нас, — не дороги им. Не Иуду верного своего жалеют, а — серебряники...

— Будет об этом, Андрей! — твердо сказал Павел. Мать тихо добавила:

— Толкнули гнилушку — рассыпалась!

— Справедливо, но — не утешает! — угрюмо отозвался хохол.

Он часто говорил эти слова, и в его устах они принимали какой-то особый, всеобнимающий смысл, горький и едкий...

...И вот пришел этот день — Первое Мая.

Гудок заревел, как всегда, требовательно и властно. Мать, не уснувшая ночью ни на минуту, вскочила с постели, сунула огня в самовар, приготовленный с вечера, хотела, как всегда, постучать в дверь к сыну и Андрею, но, подумав, махнула рукой и села под окно, приложив руку к лицу так, точно у нее болели зубы.

По небу, бледноглубокому, быстро плыла белая и розовая стая легких облаков, точно большие птицы летели, испуганные гулким ревом пара. Мать смотрела на облака и прислушивалась к себе. Голова у нее была тяжелая, и глаза, воспаленные бессонной ночью, сухи. Странное спокойствие было в груди, сердце билось ровно, и думалось о простых вещах...

«Рано я самовар поставила, выкипит! Пускай они подольше поспят сегодня. Замучились оба...»

В окно, весело играя, заглядывал юный солнечный луч, она подставила ему руку, и, когда он, светлый, лег на

кожу ее руки, другой рукой она тихо погладила его, улыбаясь задумчиво и ласково. Потом встала, сняла трубу с самовара, стараясь не шуметь, умылась и начала молиться, истово крестясь и безмолвно двигая губами. Лицо у нее светлело, а правая бровь то медленно поднималась вверх, то вдруг опускалась...

Второй гудок закричал тише, не так уверенно, с дрожью в звуке, густом и влажном. Матери показалось, что сегодня он кричит дольше, чем всегда.

В комнате раздался гулкий и ясный голос хохла.

— Павел! Слышишь?

Кто-то из них шлепнул босыми ногами о пол, кто-то сладко зевнул...

— Самовар готов! — крикнула мать.

— Встаем! — ответил Павел весело.

— Восходит солнце! — говорил хохол. — И облака бегут. Это лишнее сегодня, — облака...

И вышел в кухню, растрепанный, измятый сном, но веселый.

— Доброе утро, ненько! Как спали?

Мать подошла к нему и тихо сказала:

— Уж ты, Андрюша, рядом с ним иди!

— А конечно же! — прошептал хохол. — Пока мы вместе — мы всюду пойдем рядом, — так и знайте!

— Вы что там шепчетесь? — спросил Павел.

— Мы ничего, Паша!

— Она говорит мне — чище умывайся! Девушки будут смотреть! — ответил хохол, выходя в сени мыться.

— «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» — тихо запел Павел.

День становился все более ясным, облака уходили, гонимые ветром. Мать собирала посуду для чая и, покачивая головой, думала о том, как все странно: шутят они оба, улыбаются в это утро, а в полдень ждет их — кто знает — что? И ей самой почему-то спокойно, почти радостно.

Чай пили долго, стараясь сократить ожидание. И Павел, как всегда, медленно и тщательно размешивал ложкой сахар в стакане, аккуратно посыпал соль на кусок хлеба, — горбушку, любимую им. Хохол двигал под столом ногами, — он никогда не мог сразу поставить свои

ноги удобно, — и, глядя, как на потолке и стене бегают отраженный влагой солнечный луч, рассказывал:

— Когда был я мальчишкой лет десяти, то захотелось мне поймать солнце стаканом. Вот взял я стакан, подкрался и — хлоп по стене! Руку разрезал себе, побили меня за это. А как побили, я вышел на двор, увидел солнце в луже и давай топтать его ногами. Обрызгался весь грязью — меня еще побили... Что мне делать? Так я давай кричать солнцу: «А мне не больно, рыжий чорт, не больно!» И все язык ему показывал. Это — утешало.

— Почему оно тебе рыжим казалось? — спросил Павел, смеясь.

— А напротив нас кузнец был, краснорожий такой и с рыжей бородой. Веселый, добрый мужик. Так солнце, по-моему, на него было похоже...

Не стерпев, мать сказала:

— Вы бы о том поговорили, как пойдете!

— О решенном говорить — только путать! — мягко заметил хохол. — В случае, если нас всех заберут, ненько, к вам Николай Иванович придет, и он вам скажет, как быть.

— Хорошо! — вздохнув, сказала мать.

— На улицу бы пойти! — мечтательно проговорил Павел.

— Нет, лучше дома посиди пока! — отозвался Андрей. — Зачем напрасно глаза мозолить полиции? Ты ей довольно хорошо известен!

Прибежал Федя Мазин, сверкающий, с красными пятнами на щеках. Полный трепета радости, он разогнал скуку ожидания.

— Началось! — заговорил он. — Зашевелился народ! Лезет на улицу, рожи у всех — как топоры. У ворот фабрики все время Весовщиков с Гусевым Васей и Самойловым стояли, речи говорили. Множество народа вернули домой! Идемте, пора! Уже десять часов!..

— Я пойду! — решительно сказал Павел.

— Вот увидите, — обещал Федя, — после обеда встанет вся фабрика!

И он убежал.

— Горит, как восковая свечечка на ветру! — проводила его мать тихими словами, встала и вышла на кухню, начала одеваться.

— Куда вы, ненько?

— С вами! — сказала она.

Андрей взглянул на Павла, дергая себя за усы. Павел быстрым жестом поправил волосы на голове и вышел к ней.

— Я тебе, мама, ничего не скажу... И ты мне ничего не говори! Ладно?

— Ладно, ладно, — Христос с вами! — пробормотала она.

XXVII

Когда она вышла на улицу и услышала в воздухе гул людских голосов, тревожный, ожидающий, когда увидела везде в окнах домов и у ворот группы людей, провожавшие ее сына и Андрея любопытными взглядами, — в глазах у нее встало туманное пятно и заколыхалось, меняя цвета, то прозрачно-зеленое, то мутно-серое.

С ними здоровались, и в приветствиях было что-то особенное. Слух ее ловил отрывистые, негромкие замечания:

— Вот они, боеводы...

— Нам не известно, кто воеводит...

— Да ведь я ничего худого не говорю!..

В другом месте на дворе кто-то кричал раздраженно:

— Переловит их полиция — они и пропадут!..

— Ловила!

Воющий голос женщины испуганно прыгал из окна на улицу:

— Опомнись! Что ты, холостой, что ли?

Когда проходили мимо дома безногого Зосимова, который получал с фабрики за свое увечье ежемесячное пособие, он, высунув голову из окна, закричал:

— Пашка! Свернут тебе голову, подлецу, за твои дела, дождешься!

Мать вздрогнула, остановилась. Этот крик вызвал в ней острое чувство злобы. Она взглянула в опухшее, толстое лицо калеки, он спрятал голову, ругаясь. Тогда она, ускорив шаг, догнала сына и, стараясь не отставать от него, пошла следом.

Павел и Андрей, казалось, не замечали ничего, не слышали возгласов, которые провожали их. Шли спокойно,

не торопясь. Вот их остановил Миронов, пожилой и скромный человек, всеми уважаемый за свою трезвую, чистую жизнь.

— Тоже не работаете, Данило Иванович? — спросил Павел.

— У меня — жена на сносях. Ну, и день такой, беспокойный! — объяснил Миронов, пристально разглядывая товарищей, и негромко спросил:

— Вы, ребята, говорят, скандал директору хотите делать, стекла бить ему?

— Разве мы пьяные? — воскликнул Павел.

— Мы просто пройдем по улице с флагами и песни будем петь! — сказал хохол. — Вот послушайте наши песни — в них наша вера!

— Веру вашу я знаю! — задумчиво сказал Миронов. — Бумаги эти читал. Ба, Ниловна! — воскликнул он, улыбаясь матери умными глазами. — И ты бунтовать пошла?

— Надо хоть перед смертью рядом с правдой погулять!

— Ишь ты! — сказал Миронов. — Видно, верно про тебя говорят, что ты на фабрику запрещенные книжки носила!

— Кто это говорит? — спросил Павел.

— Да уж — говорят! Ну, прощайте, держитесь солиднее!

Мать тихо смеялась, ей было приятно, что про нее так говорят. Павел сказал ей, усмехаясь:

— Будешь ты в тюрьме, мама!

Солнце поднималось все выше, вливая свое тепло в бодрую свежесть вешнего дня. Облака плыли медленнее, тени их стали тоньше, прозрачнее. Они мягко ползли по улице и по крышам домов, окутывали людей и точно чистили слободу, стирая грязь и пыль со стен и крыш, скуку с лиц. Становилось веселее, голоса звучали громче, заглушая дальний шум возни машин.

Снова в уши матери отовсюду, из окон, со дворов, ползли и летели слова тревожные и злые, вдумчивые и веселые. Но теперь ей хотелось возражать, благодарить, объяснить, хотелось вмешаться в странно пеструю жизнь этого дня.

За углом улицы, в узком переулке, собралась толпа человек во сто, и в глубине ее раздавался голос Весовщикова.

— Из нас жмут кровь, как сок из клюквы! — падали на головы людей неуклюжие слова.

— Верно! — ответило несколько голосов сразу гулким звуком.

— Старается хлопец! — сказал хохол. — А ну, пойду, помогу ему!..

Он изогнулся и, прежде чем Павел успел остановить его, ввернул в толпу, как штопор в пробку, свое длинное, гибкое тело. Раздался его певучий голос:

— Товарищи! Говорят, на земле разные народы живут — евреи и немцы, англичане и татары. А я — в это не верю! Есть только два народа, два племени непримиримых — богатые и бедные! Люди разное одеваются и разное говорят, а поглядите, как богатые французы, немцы, англичане обращаются с рабочим народом, так и увидите, что все они для рабочего — тоже башибузуки, кость им в горло!

В толпе засмеялся кто-то.

— А с другого бока взглянем — так увидим, что и француз рабочий, и татарин, и турок — такой же собачьей жизнью живут, как и мы, русский рабочий народ!

С улицы все больше подходило народа, и один за другим люди молча, вытягивая шеи, поднимаясь на носки, втискивались в переулок.

Андрей поднял голос выше.

— За границей рабочие уже поняли эту простую истину и сегодня, в светлый день Первого Мая...

— Полиция! — крикнул кто-то.

С улицы в проулочек прямо на людей ехали, помахивая плетками, четверо конных полицейских и кричали:

— Разойдись!

Люди хмурились, неохотно уступая дорогу лошадям. Некоторые влезали на заборы.

— Посадили свиней на лошадей, а они хрюкают — вот и мы воеводы! — кричал чей-то звонкий, задорный голос.

Хохол остался один посредине проулочка, на него, мотая головами, наступали две лошади. Он подался в сторону,

и в то же время мать, схватив его за руку, потащила за собой, ворча:

— Обещал вместе с Пашей, а сам лезет на рожон один!

— Виноват! — сказал хохол, улыбаясь.

Ниловною овладела тревожная, разламывающая усталость, она поднималась изнутри и кружила голову, странно чередуя в сердце печаль и радость. Хотелось, чтобы скорей закричал обеденный гудок.

Вышли на площадь, к церкви. Вокруг нее, в ограде густо стоял и сидел народ, здесь было сотен пять веселой молодежи и ребятишек. Толпа колыхалась, люди беспокойно поднимали головы кверху и заглядывали вдаль, во все стороны, нетерпеливо ожидая. Чувствовалось что-то повышенное, некоторые смотрели растерянно, другие вели себя с показным удалством. Тихо звучали подавленные голоса женщин, мужчины с досадой отвертывались от них, порою раздавалось негромкое ругательство. Глухой шум враждебного трения обнимал пеструю толпу.

— Митенька! — тихо дрожал женский голос. — Пожалей себя!..

— Отстань! — прозвенело в ответ.

А степенный голос Сизова говорил спокойно, убедительно:

— Нет, нам молодых бросать не надо! Они стали разумнее нас, они живут смелее! Кто болотную копейку отстоял? Они! Это нужно помнить. Их за это по тюрьмам таскали, — а выиграли от того все!..

Заревел гудок, поглотив своим черным звуком людской говор. Толпа дрогнула, сидевшие встали, на минуту все замерло, насторожилось, и много лиц побледнело.

— Товарищи! — раздался голос Павла, звучный и крепкий. Сухой, горячий туман ожег глаза матери, и она одним движением вдруг окрепшего тела встала сзади сына. Все обернулись к Павлу, окружая его, точно крупинки железа кусок магнита.

Мать смотрела в лицо ему и видела только глаза, гордые и смелые, жгучие...

— Товарищи! Мы решили открыто заявить, кто мы, мы поднимаем сегодня наше знамя, знамя разума, правды, свободы!

Древко, белое и длинное, мелькнуло в воздухе, наклонилось, разрезало толпу, скрылось в ней, и через минуту над поднятыми вверх лицами людей взметнулось красной птицей широкое полотно знамени рабочего народа.

Павел поднял руку вверх — древко покачнулось, тогда десяток рук схватили белое гладкое дерево, и среди них была рука его матери.

— Да здравствует рабочий народ! — крикнул он.

Сотни голосов отозвались ему гулким криком.

— Да здравствует социал-демократическая рабочая партия, наша партия, товарищи, наша духовная родина!

Толпа кипела, сквозь нее пробивались ко знамени те, кто понял его значение, рядом с Павлом становились Мазин, Самойлов, Гусевы; наклонив голову, расталкивал людей Николай, и еще какие-то незнакомые матери люди, молодые, с горящими глазами, отталкивали ее...

— Да здравствуют рабочие люди всех стран! — крикнул Павел. И все увеличиваясь в силе и в радости, ему ответило тысячеустое эхо потрясающим душу звуком.

Мать схватила руку Николая и еще чью-то, она задыхалась от слез, но не плакала, у нее дрожали ноги, и трясущимися губами она говорила:

— Родные...

По рябому лицу Николая расплылась широкая улыбка, он смотрел на знамя и мычал что-то, протягивая к нему руку, а потом вдруг охватил мать этой рукой за шею, поцеловал ее и засмеялся.

— Товарищи! — запел хохол, покрывая своим мягким голосом гул толпы. — Мы пошли теперь крестным ходом во имя бога нового, бога света и правды, бога разума и добра! Далеко от нас наша цель, терновые венцы — близко! Кто не верит в силу правды, в ком нет смелости до смерти стоять за нее, кто не верит в себя и боится страданий — отходи от нас в сторону! Мы зовем за собой тех, кто верует в победу нашу; те, которым не видна наша цель — пусть не идут с нами, таких ждет только горе. В ряды, товарищи! Да здравствует праздник свободных людей! Да здравствует Первое Мая!

Толпа слилась плотнее. Павел махнул знаменем, оно распласталось в воздухе и поплыло вперед, озаренное солнцем, красно и широко улыбаясь...

Отречемся от старого мира...

— раздался звонкий голос Феди Мазина, и десятки голосов подхватили мягкой, сильной волной:

Отрясем его прах с наших ног!..

Мать с горячей улыбкой на губах шла сзади Мазина и через голову его смотрела на сына и на знамя. Вокруг нее мелькали радостные лица, разноцветные глаза — впереди всех шел ее сын и Андрей. Она слышала их голоса — мягкий и влажный голос Андрея дружно сливался в один звук с голосом сына ее, густым и басовитым.

Вставай, подымайся, рабочий народ,
Вставай на борьбу, люд голодный!..

И народ бежал встречу красному знамени, он что-то кричал, сливался с толпой и шел с нею обратно, и крики его гасли в звуках песни, — той песни, которую дома пели тише других, — на улице она текла ровно, прямо, со страшной силой. В ней звучало железное мужество, и, призывая людей в далекую дорогу к будущему, она честно говорила о тягестях пути. В ее большом спокойном пламени плавился темный шлак пережитого, тяжелый ком привычных чувств и сгорала в пепел проклятая боязнь нового...

Чье-то лицо, испуганное и радостное, качалось рядом с матерью, и дрожащий голос, всхлипывая, восклицал:

— Митя! Куда ты?

Мать, не останавливаясь, говорила:

— Пусть идет, — вы не беспокойтесь! Я тоже очень боялась, — мой впереди всех. Который несет знамя — это мой сын!

— Разбойники! Куда вы? Солдаты там!

И, вдруг схватив руку матери костлявой рукой, женщина, высокая и худая, воскликнула:

— Милая вы моя, — поют-то как! И Митя поет...

— Вы не беспокойтесь! — бормотала мать. — Это святое дело... Вы подумайте — ведь и Христа не было бы, если бы его ради люди не погибали!

Эта мысль вдруг вспыхнула в ее голове и поразила ее своей ясной, простой правдой. Она взглянула в лицо женщины, крепко державшей ее руку, и повторила, удивленно улыбаясь:

— Не было бы Христа-то, если бы люди не погибли его, господу, ради!

Рядом с нею явился Сизов. Он снял шапку, махал ею в такт песне и говорил:

— Открыто пошли, мать, а? Песню придумали. Какая песня, мать, а?

Царю нужны для войска солдаты,
Отдавайте ему сыновей...

— Ничего не бояться! — говорил Сизов. — А мой сынок в могиле...

Сердце матери забилося слишком сильно, и она начала отставать. Ее быстро оттолкнули в сторону, притиснули к забору, и мимо нее, колыхаясь, потекла густая волна людей — их было много, и это радовало ее.

Вставай, подымайся, рабочий народ!..

Казалось, в воздухе поет огромная, медная труба, поет и будит людей, вызывая в одной груди готовность к бою, в другой неясную радость, предчувствие чего-то нового, жгучее любопытство, там — возбуждая смутный трепет надежд, здесь — открывая выход едкому потоку годами накопленной злобы. Все заглядывали вперед, где качалось и реяло в воздухе красное знамя.

— Пошли! — ревел чей-то восторженный голос. — Славно, ребята!

И, видимо, чувствуя что-то большое, чего не мог выразить обычными словами, человек ругался крепкой руганью. Но и злоба, темная, слепая злоба раба, шипела змеей, извиваясь в злых словах, встревоженная светом, упавшим на нее.

— Еретики! — грозя кулаком, кричал из окна надорванный голос.

И назойливо лез в уши матери чей-то сверлящий визг:

— Против государь-императора, против его величества царя? Бунтовать?

Мимо матери мелькали смятенные лица, подпрыгивая, пробегали мужчины, женщины, лился народ темной лавой, влекомый этой песней, которая напором звуков, казалось, опрокидывала перед собой все, расчищая дорогу. Глядя на красное знамя вдаль, она — не видя — видела лицо

сына, его бронзовый лоб и глаза, горевшие ярким огнем веры.

Но вот она в хвосте толпы, среди людей, которые шли не торопясь, равнодушно заглядывая вперед, с холодным любопытством зрителей, которым заранее известен конец зрелища. Шли и говорили негромко, уверенно.

— Одна рота у школы стоит, а другая у фабрики...

— Губернатор приехал...

— Верно?

— Сам видел, — приехал!

Кто-то радостно выругался и сказал:

— Все-таки бояться стали нашего брата! И войско, и губернатор.

«Родные!» — билось в груди матери.

Но слова вокруг нее звучали мертво и холодно. Она ускорила шаг, чтобы уйти от этих людей, и ей легко было обогнать их медленный, ленивый ход.

И вдруг голова толпы точно ударилась обо что-то, тело ее, не останавливаясь, покачнулось назад с тревожным тихим гулом. Песня тоже вздрогнула, потом полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим, раздавались отдельные возгласы, старавшиеся поднять песню на прежнюю высоту, толкнуть ее вперед:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на врага, люд голодный!..

Но не было в этом зове общей, слитной уверенности, и уже трепетала в нем тревога.

Не видя ничего, не зная, что случилось впереди, мать расталкивала толпу, быстро подвигаясь вперед, а навстречу ей пятились люди, одни — наклонив головы и нахмутив брови, другие — конфузливо улыбаясь, третьи — насмешливо свистя. Она тоскливо осматривала их лица, ее глаза молча спрашивали, просили, звали...

— Товарищи! — раздался голос Павла. — Солдаты такие же люди, как мы. Они не будут бить нас. За что бить? За то, что мы несем правду, нужную всем? Ведь эта правда и для них нужна. Пока они не понимают этого, но уже близко время, когда и они встанут рядом с нами,

когда они пойдут не под знаменем грабежей и убийств, а под нашим знаменем свободы. И для того, чтобы они поняли нашу правду скорее, мы должны идти вперед. Вперед, товарищи! Всегда — вперед!

Голос Павла звучал твердо, слова звенели в воздухе четко и ясно, но толпа разваливалась, люди один за другим отходили вправо и влево к домам, прислонялись к заборам. Теперь толпа имела форму клина, острием ее был Павел, и над его головой красно горело знамя рабочего народа. И еще толпа походила на черную птицу — широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться и лететь, а Павел был ее клювом...

XXVIII

В конце улицы, — видела мать, — закрывая выход на площадь, стояла серая стена однообразных людей без лиц. Над плечом у каждого из них холодно и тонко блестели острые полоски штыков. И от этой стены, молчаливой, неподвижной, на рабочих веяло холодом, он упирался в грудь матери и проникал ей в сердце.

Она втиснулась в толпу, туда, где знакомые ей люди, стоявшие впереди у знамени, сливались с незнакомыми, как бы опираясь на них. Она плотно прижалась боком к высокому бритому человеку, он был кривой и, чтобы посмотреть на нее, круто повернул голову.

— Ты что? Ты чья?.. — спросил он.

— Мать Павла Власова! — ответила она, чувствуя, что у нее дрожит под коленами и нижняя губа невольно опускается.

— Ага! — сказал кривой.

— Товарищи! — говорил Павел. — Всю жизнь вперед — нам нет иной дороги!

Стало тихо, чутко. Знамя поднялось, качнулось и, задумчиво рея над головами людей, плавно двинулось к серой стене солдат. Мать вздрогнула, закрыла глаза и ахнула — Павел, Андрей, Самойлов и Мазин только четверо оторвались от толпы.

Но в воздухе медленно задрожал светлый голос Феди Мазина:

Вы жертвою пали...

— запел он.

В борьбе... роковой...

— двумя тяжелыми вздохами отозвались густые, пониженные голоса. Люди шагнули вперед, дробно ударив ногами землю. И потекла новая песня, решительная и решившаяся.

Вы отдали всё, что могли, за него...

— яркой лентой извивался голос Феди...

За свободу...

— дружно пели товарищи.

— Ага-а! — злорадно крикнул кто-то в стороне. — Панихиду запели, сукины дети!..

— Бей его! — раздался гневный возглас.

Мать схватилась руками за грудь, оглянулась и увидела, что толпа, раньше густо наполнявшая улицу, стоит нерешительно, мнется и смотрит, как от нее уходят люди со знаменем. За ними шло несколько десятков, и каждый шаг вперед заставлял кого-нибудь отскакивать в сторону, точно путь посреди улицы был раскален, жег подошвы.

Падет произвол...

— пророчила песня в устах Феди...

И восстанет народ!..

— уверенно и грозно вторил ему хор сильных голосов.

Но сквозь стройное течение ее прорывались тихие слова:

— Командует...

— На руку! — раздался резкий крик впереди.

В воздухе извилисто качнулись штыки, упали и вытянулись в встречу знамени, хитро улыбаясь.

— Ма-арш!

— Пошли! — сказал кривой и, сунув руки в карманы, широко шагнул в сторону.

Мать, не мигая, смотрела. Серая волна солдат колынулась и, растянувшись во всю ширину улицы, ровно, холодно двинулась, неся впереди себя редкий гребень

серебристо сверкавших зубьев стали. Она, широко шагая, встала ближе к сыну, видела, как Андрей тоже шагнул вперед Павла и загородил его своим длинным телом.

— Иди рядом, товарищ! — резко крикнул Павел.

Андрей пел, руки у него были сложены за спиной, голову он поднял вверх. Павел толкнул его плечом и снова крикнул:

— Рядом! Не имеешь права! Впереди — знамя!

— Ра-азойтись! — тонким голосом кричал маленький офицерик, размахивая белой саблей. Ноги он поднимал высоко и, не сгибая в коленях, заодно стучал подошвами о землю. В глаза матери бросились его ярко начищенные сапоги.

А сбоку и немного сзади него тяжело шел рослый бритый человек, с толстыми седыми усами, в длинном сером пальто на красной подкладке и с желтыми лампасами на широких штанах. Он тоже, как хохол, держал руки за спиной, высоко поднял густые седые брови и смотрел на Павла.

Мать видела необъятно много, в груди ее неподвижно стоял громкий крик, готовый с каждым вздохом вырваться на волю, он душил ее, но она сдерживала его, хватаясь руками за грудь. Ее толкали, она качалась на ногах и шла вперед без мысли, почти без сознания. Она чувствовала, что людей сзади нее становится все меньше, холодный вал шел им навстречу и разносил их.

Все ближе сдвигались люди красного знамени и плотная цепь серых людей, ясно было видно лицо солдат — широкое во всю улицу, уродливо сплюснутое в грязно-желтую узкую полосу, — в нее были неровно вкраплены разноцветные глаза, а перед нею жестоко сверкали тонкие острия штыков. Направляясь в груди людей, они, еще не коснувшись их, откалывали одного за другим от толпы, разрушая ее.

Мать слышала сзади себя топот бегущих. Подавленные, тревожные голоса кричали:

— Расходись, ребята...

— Власов, беги!..

— Назад, Павлуха!

— Бросай знамя, Павел! — угрюмо сказал Весовщиков. — Дай сюда, я спрячу!

Он схватил рукой древко, знамя покачнулось назад.

— Оставь! — крикнул Павел.

Николай отдернул руку, точно ее обожгло. Песня погасла. Люди остановились, плотно окружая Павла, но он пробился вперед. Наступило молчание, вдруг, сразу, точно оно невидимо опустилось сверху и обняло людей прозрачным облаком.

Под знаменем стояло человек двадцать, не более, но они стояли твердо, притягивая мать к себе чувством страха за них и смутным желанием что-то сказать им...

— Возьмите у него, поручик, это! — раздался ровный голос высокого старика.

Протянув руку, он указал на знамя.

К Павлу подскочил маленький офицерик, схватился рукой за древко, визгливо крикнул:

— Брось!

— Прочь руки! — громко сказал Павел.

Знамя красно дрожало в воздухе, наклоняясь вправо и влево, и снова встало прямо — офицерик отскочил, сел на землю. Мимо матери несвойственно быстро скользнул Николай, неся перед собой вытянутую руку со сжатым кулаком.

— Взять их! — рявкнул старик, топнув в землю ногой.

Несколько солдат выскочили вперед. Один из них взмахнул прикладом — знамя вздрогнуло, наклонилось и исчезло в серой кучке солдат.

— Эх! — тоскливо крикнул кто-то.

И мать закричала звериным, воющим звуком. Но в ответ ей из толпы солдат раздался ясный голос Павла:

— До свиданья, мама! До свиданья, родная...

«Жив! Вспомнил!» — дважды ударило в сердце матери.

— До свиданья, ненько моя!

Поднимаясь на носки, взмахивая руками, она старалась увидеть их и видела над головами солдат круглое лицо Андрея — оно улыбалось, оно кланялось ей.

— Родные мои... Андрюша!.. Паша!.. — кричала она.

— До свиданья, товарищи! — крикнули из толпы солдат.

Им ответило многократное, разорванное эхо. Оно отозвалось из окон, откуда-то сверху, с крыш.

Ее толкнули в грудь. Сквозь туман в глазах она видела перед собой офицера, лицо у него было красное, натужное, и он кричал ей:

— Прочь, баба!

Она взглянула на него сверху вниз, увидела у ног его древко знамени, разломанное на две части — на одной из них уцелел кусок красной материи. Наклонясь, она подняла его. Офицер вырвал палку из ее рук, бросил ее в сторону и, топая ногами, кричал:

— Прочь, говорю!

Среди солдат вспыхнула и полилась песня:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Все кружилось, качалось, вздрагивало. В воздухе стоял густой тревожный шум, подобный матовому шуму телеграфных проволок. Офицер отскочил, раздраженно визжа:

— Прекратить пение! Фельдфебель Крайнов...

Мать, шатаясь, подошла к обломку древка, брошенного им, и снова подняла его.

— Заткнуть им глотки!..

Песня сбилась, задрожала, разорвалась, погасла. Кто-то взял мать за плечи, повернул ее, толкнул в спину...

— Иди, иди...

— Очистить улицу! — кричал офицер.

Мать видела в десятке шагов от себя снова густую толпу людей. Они рычали, ворчали, свистели и, медленно отступая в глубь улицы, разливались во дворы.

— Иди, дьявол! — крикнул прямо в ухо матери молодой усатый солдат, равняясь с нею, и толкнул ее на тротуар.

Она пошла, опираясь на древко, ноги у нее гнулись. Чтобы не упасть, она цеплялась другой рукой за стены и заборы. Перед нею пятились люди, рядом с нею и сзади нее шли солдаты, покрикивая:

— Иди, иди...

Солдаты обогнали ее, она остановилась, оглянулась. В конце улицы редкою цепью стояли они же, солдаты, заграждая выход на площадь. Площадь была пуста.

Впереди тоже качались серые фигуры, медленно двигаясь на людей...

Она хотела повернуть назад, но безотчетно снова пошла вперед и, дойдя до переулка, свернула в него, узкий и пустынный.

Снова остановилась. Тяжко вздохнула, прислушалась. Где-то впереди гудел народ.

Опираясь на древко, она зашагала дальше, двигая бровями, вдруг вспотевшая, шевеля губами, размахивая рукой, в сердце ее искрами вспыхивали какие-то слова, вспыхивали, теснились, зажигая настойчивое, властное желание сказать их, прокричать...

Переулок круго поворачивал влево, и за углом мать увидела большую, тесную кучу людей; чей-то голос сильно и громко говорил:

— Ради озорства, братцы, на штыки не лезут!

— Ка-ак они, а? Идут на них — стоят! Стоят, братцы мои, без страха...

— Вот те и Паша Власов!..

— А хохол?

— Руки за спиной, улыбается, чорт...

— Голубчики! Люди! — крикнула мать, втискиваясь в толпу. Перед нею уважительно расступались. Кто-то засмеялся:

— Гляди — с флагом! В руке-то — флаг!

— Молчи! — сурово сказал другой голос.

Мать широко развела руками...

— Послушайте, ради Христа! Все вы — родные... все вы — сердечные... поглядите без боязни, — что случилось? Идут в мире дети, кровь наша, идут за правдой... для всех! Для всех вас, для младенцев ваших обрекли себя на крестный путь... ищут дней светлых. Хотят другой жизни в правде, в справедливости... добра хотят для всех!

У нее рвалось сердце, в груди было тесно, в горле сухо и горячо. Глубоко внутри ее рождались слова большой, все и всех обнимающей любви и жгши язык ее, двигая его все сильнее, все свободнее.

Она видела — слушают ее, все молчат; чувствовала — думают люди, тесно окружая ее, и в ней росло желание — теперь уже ясное для нее — желание толкнуть

людей туда, за сыном, за Андреем, за всеми, кого отдали в руки солдат, оставили одних.

Оглядывая хмурые, внимательные лица вокруг, она продолжала с мягкой силой:

— Идут в мире дети наши к радости, — пошли они ради всех и Христовой правды ради — против всего, чем заполонили, связали, задавили нас злые наши, фальшивые, жадные наши! Сердечные мои — ведь это за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь мир, за все люди рабочие пошли они!.. Не отходите же от них, не отрекайтесь, не оставляйте детей своих на одиноком пути. Пожалейте себя... поверьте сыновним сердцам — они правду родили, ради ее погибают. Поверьте им!

У нее порвался голос, она покачнулась, обессиленная, кто-то подхватил ее под руки...

— Божье говорит! — взволнованно и глухо выкрикнул кто-то. — Божье, люди добрые! Слушай!

Другой пожалел:

— Эх, как убивается!

Ему возразили с упреком:

— Не убивается она, а нас, дураков, бьет, — пойми!

Взвился над толпой высокий трепетный голос:

— Православные! Митя мой — душа чистая, — что он сделал? Он за товарищами пошел, за любимыми... Верно говорит она, — за что мы детей бросаем? Что нам худого сделали они?

Мать задрожала от этих слов и откликнулась тихими слезами.

— Иди домой, Ниловна! Иди, мать! Замучилась! — громко сказал Сизов.

Был он бледен, борода у него растрепалась и тряслась. Вдруг нахмурив брови, он окинул всех строгими глазами, весь выпрямился и внятно сказал:

— Задавило на фабрике сына моего, Матвея, — вы знаете. Но если бы жив был он — сам я послал бы его в ряд с ними, с теми, — сам сказал бы: «Иди и ты, Матвей! Иди, это — верно, это — честно!»

Он оборвался, замолчал, и все угрюмо молчали, властно объятые чем-то огромным, новым, но уже не пугавшим их. Сизов поднял руку, потряс ею и продолжал:

— Старик говорит, — вы меня знаете! Тридцать девять лет работаю здесь, пятьдесят три года на земле живу. Племянника моего, мальчонку чистого, умницу, опять забрали сегодня. Тоже впереди шел, рядом с Власовым, — около самого знамени...

Он махнул рукой, съезжился и, взяв руку матери, сказал

— Женщина эта правду сказала. Дети наши по чести жить хотят, по разуму, а мы вот бросили их, — ушли, да! Иди, Ниловна...

— Родные вы мои! — сказала она, окидывая всех заплаканными глазами. — Для детей — жизнь, для них — земля!..

— Иди, Ниловна! На, палку-то, возьми, — говорил Сизов, подавая ей обломок древка.

На мать сморгели с грустью, с уважением, гул сочувствия провожал ее. Сизов молчаливо отстранял людей с дороги, они молча сторонились и, повинаясь неясной силе, тянувшей их за матерью, не торопясь, шли за нею, вполголоса перекидываясь краткими словами.

У ворот своего дома она обернулась к ним, опираясь на обломок знамени, поклонилась и благодарно, тихо сказала:

— Спасибо вам...

И снова вспомнив свою мысль, — новую мысль, которую, казалось ей, родило ее сердце, — она проговорила:

— Господа нашего Иисуса Христа не было бы, если бы люди не погибли во славу его...

Толпа молча смотрела на нее.

Она еще поклонилась людям и вошла в свой дом, а Сизов, нагнув голову, вошел с нею.

Люди стояли у ворот, говорили о чем-то.

И расходились, не торопясь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Остаток дня прошел в пестром тумане воспоминаний, в тяжелой усталости, туго обнявшей тело и душу. Серым пятном прыгал маленький офицерик, светилось бронзовое лицо Павла, улыбались глаза Андрея.

Она ходила по комнате, садилась у окна, смотрела на улицу, снова ходила, подняв бровь, вздрагивая, оглядываясь, и, без мысли, искала чего-то. Пила воду, не утоляя жажды, и не могла залить в груди жгучего тления тоски и обиды. День был перерублен, — в его начале было содержание, а теперь все вытекло из него, перед нею простерлась унылая пустошь, и колыхался недоуменный вопрос:

«Что же теперь?..»

Пришла Корсунова. Она размахивала руками, кричала, плакала и восторгалась, топала ногами, что-то предлагала и обещала, грозила кому-то. Все это не трогало мать.

— Ага! — слышала она крикливый голос Марьи. — Задели-таки народ! Встала фабрика-то, — вся встала!

— Да, да! — говорила тихо мать, качая головой, а глаза ее неподвижно разглядывали то, что уже стало прошлым, ушло от нее вместе с Андреем и Павлом. Плакать она не могла, — сердце сжалось, высохло, губы тоже

высохли, и во рту не хватало влаги. Тряслись руки, на спине мелкой дрожью вздрагивала кожа.

Вечером пришли жандармы. Она встретила их без удивления, без страха. Вошли они шумно, и было в них что-то веселое, довольное. Желтолицый офицер говорил, обнажая зубы:

— Ну-с, как поживаете? Третий раз встречаемся мы, а?

Она молчала, проводя по губам сухим языком. Офицер говорил много, поучительно, она чувствовала, что ему приятно говорить. Но его слова не доходили до нее, не мешали ей. Только когда он сказал: «Ты сама виновата, матушка, если не умела внушить сыну уважения к богу и царю...», она, стоя у двери и не глядя на него, глухо ответила:

— Да, нам судьи — дети. Они осудят по правде за то, что бросаем мы их на пути таком.

— Что? — крикнул офицер. — Громче!

— Я говорю: судьи — дети! — повторила она, вздыхая.

Тогда он заговорил о чем-то быстро и сердито, но слова его вились вокруг, не задевая мать.

В понятых была Марья Корсунова. Она стояла рядом с матерью, но не смотрела на нее, и, когда офицер обращался к ней с каким-нибудь вопросом, она, торопливо и низко кланяясь ему, однообразно отвечала:

— Не знаю, ваше благородие! Женщина я необразованная, занимаюсь торговлей, по глупости моей, ничего не знаю...

— Ну, молчи! — приказывал офицер, шевеля усами. Она кланялась и, незаметно показывая ему кукиш, шептала матери:

— На-ко, выкуси!

Ей приказали обыскать Власову. Она заморгала глазами, вытаращила их на офицера и испуганно сказала:

— Ваше благородие, не умею я этого!

Он топнул ногой, закричал. Марья опустила глаза и тихо попросила мать:

— Что же, — расстегнись, Пелагея Ниловна...

Ошаривая и ощупывая ее платье, она, с лицом, налитым кровью, шептала:

— Ах, собаки, а?

— Ты что-то говоришь там? — сурово крикнул офицер, заглядывая в угол, где она обыскивала.

— По женскому делу, ваше благородие! — пророботала Марья испуганно.

Когда он приказал матери подписать протокол, она неумелой рукой, печатными, жирно блестевшими буквами начертила на бумаге:

«Вдова рабочего человека Пелагея Власова».

— Что ты написала? Зачем это? — воскликнул офицер, брезгливо сморщив лицо, и потом, усмехаясь, сказал: — Дикари...

Ушли они. Мать встала у окна, сложив руки на груди, и, не мигая, ничего не видя, долго смотрела перед собой, высоко подняв брови, сжала губы и так стиснула челюсти, что скоро почувствовала боль в зубах. В лампе выгорел керосин, огонь, потрескивая, угасал. Она дунула на него и осталась во тьме. Темное облако тоскливого бездумья наполнило грудь ей, затрудняя биение сердца. Стояла она долго — устали ноги и глаза. Слышала, как под окном остановилась Марья и пьяным голосом кричала:

— Пелагея! Спишь? Страдалица моя несчастная, спи!

Мать, не раздеваясь, легла в постель и быстро, точно упала в глубокий омут, погрузилась в тяжелый сон.

Снился ей желтый песчаный курган за болотом, по дороге в город. На краю его, над обрывом, спускавшимся к ямам, где брали песок, стоял Павел и голосом Андрея тихо, звучно пел:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Она шла мимо кургана по дороге и, приложив ладонь ко лбу, смотрела на сына. На фоне голубого неба его фигура была очерчена четко и резко. Она совестилась подойти к нему, потому что была беременна. И на руках у нее тоже был ребенок. Пошла дальше. На поле дети играли в мяч, было их много, и мяч был красный. Ребенок потянулся к ним с ее рук и громко заплакал. Она дала ему грудь и воротилась назад, а на кургане уже стояли солдаты, направляя на нее штыки. Она быстро побежала к церкви, стоявшей посреди поля, к белой, легкой церкви, построенной словно из облаков и неизмеримо

высокой. Там кого-то хоронили, гроб был большой, черный, наглухо закрытый крышкой. Но священник и дьякон ходили по церкви в белых ризах и пели:

Христос воскрес из мертвых...

Дьякон кадил, кланялся ей, улыбался, волосы у него были яркорыжие и лицо веселое, как у Самойлова. Сверху, из купола, падали широкие, как полотенца, солнечные лучи. На обоих клиросах тихо пели мальчики:

Христос воскрес из мертвых...

— Взять их! — вдруг крикнул священник, останавливаясь посреди церкви. Риза исчезла с него, на лице появились седые; строгие усы. Все бросились бежать, и дьякон побежал, швырнув кадило в сторону, схватившись руками за голову, точно хохол. Мать уронила ребенка на пол, под ноги людей, они обегали его стороной, боязливо оглядываясь на голое тельце, а она встала на колени и кричала им:

— Не бросайте дитя! Возьмите его...

Христос воскрес из мертвых...

— пел хохол, держа руки за спиной и улыбаясь.

Она наклонилась, подняла ребенка и посадила его на воз теса, рядом с которым медленно шел Николай и хохотал, говоря:

— Дали мне тяжелую работу...

На улице было грязно, из окон домов высывались люди и свистели, кричали, махали руками. День был ясный, ярко горело солнце, а теней нигде не было.

— Пойте; ненько! — говорил хохол. — Такая жизнь!

И пел, заглушая все звуки своим голосом. Мать шла за ним; вдруг оступилась, быстро полетела в бездонную глубину, и глубина эта пугливо выла ей встречу...

Она проснулась, охваченная дрожью. Как будто чья-то шершавая, тяжелая рука схватила сердце ее и, зло играя, тихонько жмет его. Настоячиво гудел призыв на работу, она определила, что это уже второй. В комнате беспорядочно валялись книги, одежда, — все было сдвинуто, разворочено, пол затоптан.

Она встала и, не умываясь, не молясь богу, начала прибирать комнату. В кухне на глаза ей попалась палка с куском кумача, она неприязненно взяла ее в руки и хотела сунуть под печку, но, вздохнув, сняла с нее обрывок знамени, тщательно сложила красный лоскут и спрятала его в карман, а палку переломила о колено и бросила на шесток. Потом вымыла окна и пол холодной водой, поставила самовар, оделась. Села в кухне у окна, и снова перед нею встал вопрос:

«Что же теперь делать?»

Вспомнив, что еще не молилась, она встала перед образами и, постояв несколько секунд, снова села — в сердце было пусто.

Было странно тихо, — как будто люди, вчера так много кричавшие на улице, сегодня спрятались в домах и молча думают о необычном дне.

Вдруг ей вспомнилась картина, которую она видела однажды во дни юности своей: в старом парке господ Заусайловых был большой пруд, густо заросший кувшинками. В серый день осени она шла мимо пруда и посреди него увидела лодку. Пруд был темен, покоен, и лодка была точно приклеена к черной воде, грустно украшенной желтыми листьями. Глубокой печалью, неведомым горем веяло от этой лодки без гребца и весел, одинокой, неподвижной на матовой воде среди умерших листьев. Мать долго стояла тогда на берегу пруда, думая — кто это оттолкнул лодку от берега, зачем? Вечером того дня узнали, что в пруде утопилась жена приказчика Заусайловых, маленькая женщина с черными, всегда растрепанными волосами и быстрой походкой.

Мать провела рукой по лицу, и мысль ее трепетно поплыла над впечатлениями вчерашнего дня. Охваченная ими, она сидела долго, остановив глаза на остывшей чашке чая, а в душе ее разгоралось желание увидеть кого-то умного, простого, спросить его о многом.

И, как будто отвечая ее желанию, после обеда явился Николай Иванович. Но когда она увидела его, ею вдруг овладела тревога, и, не отвечая на его приветствие, она тихо заговорила:

— Ай, батюшка мой, вот уж напрасно вы пришли! Неосторожно это! Ведь схватят вас, если увидят...

Крепко пожимая ее руку, он поправлял очки и, наклонив свое лицо близко к ней, объяснил ей быстрым разговором:

— Я, видите ли, условился с Павлом и Андреем, что если их арестуют, — на другой же день я должен переселить вас в город! — говорил он ласково и озабоченно. — Был у вас обыск?

— Был. Обшарили, ощупали. Ни стыда, ни совести у этих людей! — воскликнула она.

— Зачем им стыд? — пожав плечами, сказал Николай и начал рассказывать, почему ей нужно жить в городе.

Она слушала дружески заботливый голос, смотрела на него с бледной улыбкой и, не понимая его доказательства, удивлялась чувству ласкового доверия к этому человеку.

— Если Паша этого хотел, — сказала она, — и не стыдно я вас...

Он прервал ее:

— Об этом не беспокойтесь. Я живу один, лишь изредка приезжает сестра.

— Даром хлеба есть не стану, — вслух соображала она.

— Захотите — дело найдется! — сказал Николай.

Для нее с пониманием о деле уже неразрывно слилось представление о работе сына и Андрея с товарищами. Она подвинулась к Николаю и, заглянув ему в глаза, спросила:

— Найдется?

— Хозяйство мое маленькое, холостяцкое...

— Я не об этом, не об домашнем! — тихо сказала она.

И грустно вздохнула, чувствуя себя уколотою тем, что он не понял ее. Он, улыбаясь близорукими глазами, задумчиво сказал:

— Вот, если бы при свидании с Павлом вы попытались узнать от него адрес тех крестьян, которые просили о газете...

— Я знаю их! — воскликнула она радостно. — Найду и все сделаю, как скажете. Кто подумает, что я запрещенное несу? На фабрику носила — слава тебе господи!

Ей вдруг захотелось пойти куда-то по дорогам, мимо лесов и деревень, с котомкой за плечами, с палкой в руке.

— Вы, голубчик, пристройте-ка меня к этому делу, прошу я вас! — говорила она. — Я вам везде пойду. По всем губерниям, все дороги найду! Буду ходить зиму и лето — вплоть до могилы — странницей, — разве плохая это мне доля?

Ей стало грустно, когда она увидела себя бездомной странницей, просящей милостыню Христа ради под окнами деревенских изб.

Николай осторожно взял ее руку и погладил своей теплой рукой. Потом, взглянув на часы, сказал:

— Об этом мы поговорим после!

— Голубчик! — воскликнула она. — Дети, самые дорогие нам куски сердца, волю и жизнь свою отдают, погибают без жалости к себе, — а что же я, мать?

Лицо у Николая побледнело, он тихо проговорил, глядя на нее с ласковым вниманием:

— Я, знаете, в первый раз слышу такие слова...

— Что я могу сказать? — печально качая головой, молвила она и бессильным жестом развела руки. — Если бы я имела слова, чтобы сказать про свое материнское сердце...

Встала, приподнятая силой, которая росла в ее груди и охмеляла голову горячим натиском негодующих слов.

— Заплакали бы — многие... Даже злые, бессовестные...

Николай тоже встал, снова взглянув на часы.

— Так решено — вы переедете в город ко мне?

Она молча кивнула головой.

— Когда? Вы скорее! — попросил он и мягко добавил: — Мне будет тревожно за вас, право!

Она удивленно взглянула на него, — что ему до нее? Наклонив голову, смущенно улыбаясь, он стоял перед нею сутулый, близорукий, одетый в простой черный пиджак, и все на нем было чужим ему...

— У вас есть деньги? — спросил он, опустив глаза.

— Нет!

Он быстро вынул из кармана кошелек, открыл его и протянул ей.

— Вот, пожалуйста, берите...

Мать невольно улыбнулась и, покачивая головой, заметила:

— Всё — по-новому! И деньги без цены! Люди за них душу свою теряют, а для вас они — так себе! Как будто из милости к людям вы их при себе держите...

Николай тихо засмеялся.

— Ужасно неудобная и неприятная вещь — деньги! Всегда неловко и брать их и давать...

Он взял ее руку, крепко пожал и еще раз попросил ее:

— Так вы скорее!

И, как всегда тихий, ушел.

Проводив его, она подумала:

«Такой добрый — а не пожалел...»

И не могла понять — неприятно это ей или только удивляет?

II

Она собралась к нему на четвертый день после его посещения. Когда телега с двумя ее сундуками выехала из слободки в поле, она, обернувшись назад, вдруг почувствовала, что навсегда бросает место, где прошла темная и тяжелая полоса ее жизни, где началась другая, — полная нового горя и радости, быстро поглощавшая дни.

На земле, черной от копоти, огромным темнокрасным пауком раскинулась фабрика, подняв высоко в небо свои трубы. К ней прижимались одноэтажные домики рабочих. Серые, приплюснутые, они толпились тесной кучкой на краю болота и жалобно смотрели друг на друга маленькими, тусклыми окнами. Над ними поднималась церковь, тоже темнокрасная под цвет фабрики, колокольня ее была ниже фабричных труб.

Магь, вздохнув, поправила ворот кофты, давивший горло.

— Шагай! — бормотал извозчик, помахивая на лошадей возжами. Это был кривоногий человек неопределенного возраста, с редкими, выцветшими волосами на лице и голове, с бесцветными глазами. Качаясь с боку на бок, он шел рядом с телегой, и было ясно, что ему все равно, куда идти — направо, налево.

— Шагай! — говорил он бесцветным голосом и смешно выкидывал свои кривые ноги в тяжелых сапогах,

с присохшей грязью. Мать оглянулась вокруг. В поле было пусто, как в душе...

Уныло качая головой, лошадь тяжело упиралась ногами в глубокий, нагретый солнцем песок, он тихо шуршал. Скрипела плохо смазанная, разбитая телега, и все звуки, вместе с пылью, оставались сзади...

Николай Иванович жил на окраине города, в пустынной улице, в маленьком зеленом флигеле, пристроенном к двухэтажному, распухшему от старости, темному дому. Перед флигелем был густой палисадник, и в окна трех комнат квартиры ласково заглядывали ветви сиреней, акаций, серебряные листья молодых тополей. В комнатах было тихо, чисто, на полу безмолвно дрожали узорчатые тени, по стенам тянулись полки, тесно уставленные книгами, и висели портреты каких-то строгих людей.

— Вам удобно будет здесь? — спросил Николай, вводя мать в небольшую комнату с одним окном в палисадник и другим на двор, густо поросший травой. И в этой комнате все стены тоже были заняты шкафами и полками книг.

— Я бы лучше в кухне! — сказала она. — Кухонька светлая, чистая...

Ей показалось, что он испугался чего-то. А когда он неловко и смущенно стал отговаривать ее и она согласилась, — сразу повеселел.

Все три комнаты полны каким-то особенным воздухом, — дышать было легко и приятно, но голос невольно понижался, не хотелось говорить громко, нарушая мирную задумчивость людей, сосредоточенно смотревших со стен.

— Цветы-то надо полить! — сказала мать, пощупав землю в горшках с цветами на окнах.

— Да, да! — виновато сказал хозяин. — Я, знаете, люблю их, а заниматься некогда...

Наблюдая за ним, она видела, что и в своей уютной квартире Николай тоже ходит осторожно, чужой и далекий всему, что окружает его. Приближал свое лицо вплоть к тому, на что смотрел, и, поправляя очки тонкими пальцами правой руки, прищуривался, прицеливаясь безмолвным вопросом в предмет, интересовавший его. Иногда брал вещь в руки, подносил к лицу и тщательно

ощупывал глазами, — казалось, он вошел в комнату вместе с матерью и, как ей, ему все здесь было незнакомо, непривычно. Видя его таким, мать сразу почувствовала себя на месте в этих комнатах. Она ходила за Николаем, замечая, где что стоит, спрашивала о порядке жизни, он отвечал ей виноватым тоном человека, который знает, что он все делает не так, как нужно, а иначе не умеет.

Полив цветы и уложив правильной стопой разбросанные на пианино ноты, она посмотрела на самовар и заметила:

— Надо почистить...

Он провел пальцами по тусклому металлу, поднес палец к носу и серьезно посмотрел на него. Мать ласково усмехнулась.

Когда она легла спать и вспомнила свой день, она удивленно приподняла голову с подушки, оглядываясь. Первый раз за всю жизнь она была в доме у чужого человека, и это не стесняло ее. Она думала о Николае заботливо, чувствовала желание сделать для него все как можно лучше, вложить что-то ласковое, греющее в его жизнь. Ее трогала за сердце неловкость, смешное неумение Николая, его отчужденность от обычного и что-то мудро детское в светлых глазах. Потом ее мысль упруго остановилась на сыне, и перед нею снова развернулся день Первого Мая, весь одетый в новые звуки, окрыленный новым смыслом. И горе этого дня было, как весь он, особенное, — оно не сгибало голову к земле, как тупой, оглушающий удар кулака, оно кололо сердце многими уколами и вызывало в нем тихий гнев, выпрямляя согнутую спину.

«Идут в мире дети», — думала она, прислушиваясь к незнакомым звукам ночной жизни города. Они ползли в открытое окно, шелестя листвой в палисаднике, прилетали издали усталые, бледные и тихо умирали в комнате.

Рано утром она вычистила самовар, вскипятила его, бесшумно собрала посуду и, сидя в кухне, стала ожидать, когда проснется Николай. Раздался его кашель, и он вошел в дверь, одной рукой держа очки, другой прикрывая горло. Ответив на его приветствие, она унесла самовар

в комнату, а он стал умываться, расплескивая на пол воду, роняя мыло, зубную щетку и фыркая на себя.

За чаем Николай рассказывал ей:

— Я занимаюсь в земской управе очень печальной работой — наблюдаю, как разоряются наши крестьяне...

И, улыбаясь виновато, повторил:

— Люди, истощенные голодом, преждевременно ложатся в могилы, дети рождаются слабыми, гибнут, как мухи осенью, — мы всё это знаем, знаем причины несчастья и, рассматривая их, получаем жалование. А дальше ничего, собственно говоря...

— А вы кто — студент? — спросила она его.

— Нет, я учитель. Отец мой — управляющий заводом в Вятке, а я пошел в учителя. Но в деревне я стал мужикам книжки давать, и меня за это посадили в тюрьму. После тюрьмы — служил приказчиком в книжном магазине, но — вел себя неосторожно и снова попал в тюрьму, потом — в Архангельск выслали. Там у меня тоже вышли неприятности с губернатором, меня заслали на берег Белого моря, в деревушку, где я прожил пять лет.

Его говорок звучал в светлой, залитой солнцем комнате спокойно и ровно. Мать уже много слышала таких историй и никогда не понимала — почему их рассказывают так спокойно, относясь к ним, как к чему-то неизбежному?

— Сестра моя сегодня приедет! — сообщил он.

— Замужняя?

— Вдова. Муж у нее был в Сибирь сослан, но бежал оттуда и умер от чахотки за границей два года тому назад...

— Она моложе вас?

— Старше на шесть лет. Я ей очень многим обязан. Вот вы послушайте, как она играет! Это ее пианино... здесь вообще много ее вещей, мои — книги...

— А она где живет?

— Везде! — ответил он, улыбаясь. — Где есть нужда в смелом человеке, там и она.

— Тоже — в этом деле? — спросила мать.

— Конечно! — сказал он.

Он скоро ушел на службу, а мать задумалась об «этом деле», которое изо дня в день упрямо и спокойно делают

люди. И она чувствовала себя перед ними, как перед горою в ночной час.

Около полудня явилась дама в черном платье, высокая и стройная. Когда мать отперла ей дверь, она бросила на пол маленький желтый чемодан и, быстро схватив руку Власовой, спросила:

— Вы Павла Михайловича мама, так?

— Да, — ответила мать, смущенная ее богатым костюмом.

— Я вас такой и представляла себе! Брат писал, что вы будете жить у него! — говорила дама, снимая перед зеркалом шляпу. — Мы с Павлом Михайловичем давно друзья. Он рассказывал мне про вас.

Голос у нее был глуховатый, говорила она медленно, но двигалась сильно и быстро. Большие серые глаза улыбались молодо и ясно, а на висках уже сияли тонкие лучистые морщинки, и над маленькими раковинами ушей серебристо блестели седые волосы.

— Есть хочу! — заявила она. — Теперь бы чашку кофе выпить...

— Сейчас я сварю! — отозвалась мать и, доставая кофейный прибор из шкафа, тихонько спросила: — А разве Паша говорил обо мне?

— Много...

Она вынула маленький кожаный портсигар, закурила папиросу и, расхаживая по комнате, спрашивала:

— Вы сильно боитесь за него?

Наблюдая, как дрожат синие языки огня спиртовой лампы под кофейником, мать улыбалась. Ее смущение перед дамой исчезло в глубине радости.

«Так он обо мне рассказывает, хороший мой!» — думала она, а сама медленно говорила: — Конечно, — нелегко, но раньше было бы хуже, — теперь я знаю — не один он... И, глядя в лицо женщины, спросила ее:

— А как ваше имя?

— Софья! — ответила та.

Мать зорко присматривалась к ней. В этой женщине было что-то размашистое, слишком бойкое и торопливое.

Быстро прихлебывая кофе, она уверенно говорила:

— Главное, чтобы все они недолго сидели в тюрьме, скорее бы осудили их! А как только сошлют — мы сейчас

же устроим Павлу Михайловичу побег, — он необходим здесь.

Мать недоверчиво взглянула на Софью, а та, поискав глазами, куда бы бросить окурочок папиросы, сунула его в землю цветочной банки.

— Портятся от этого цветы! — машинально заметила мать.

— Извините! — сказала Софья. — Николай тоже всегда говорит мне это! — И, вынув из банки окурочек, она выбросила его за окно.

Мать смущенно взглянула в лицо ей и виновато проговорила:

— Вы извините меня! Я это так сказала, не подумав. Разве я могу учить вас?

— А почему и не учить, если я неряха? — отозвалась Софья, пожав плечами. — Готов кофе? Спасибо! А почему одна чашка? Вы не будете пить?

И вдруг, взяв мать за плечи, привлекая к себе и заглядывая в глаза, она удивленно спросила:

— Неужели вы стесняетесь?

Мать, улыбаясь, ответила:

— Только что я вам насчет окурка сказала, а вы меня спрашиваете — не стесняюсь ли!

И, не скрывая своего удивления, она заговорила, как бы спрашивая:

— Вчера к вам приехала, а веду себя, как дома, ничего не боюсь, говорю что хочу...

— Так и нужно! — воскликнула Софья.

— У меня голова кружится, и как будто я — сама себе чужая, — продолжала мать. — Бывало — ходишь, ходишь около человека, прежде чем что-нибудь скажешь ему от души, а теперь — всегда душа открыта, и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы...

Софья снова закурила папиросу, ласково и молча освещая лицо матери своими серыми глазами.

— Вы говорите — побег устроить? Ну, а как же он жить будет — беглый? — поставила мать волновавший ее вопрос.

— Это пустяки! — ответила Софья, наливая себе еще кофе. — Будет жить, как живут десятки бежавших...

Я вот только что встретила и проводила одного, — тоже очень ценный человек, — был сослан на пять лет, а прожил в ссылке три с половиной месяца...

Мать пристально посмотрела на нее, улыбнулась и, качая головой, тихо сказала:

— Нет, видно, смял меня этот день, Первое Мая! Неловко мне как-то, и точно по двум дорогам сразу я иду: то мне кажется, что все понимаю, а вдруг как в туман попала. Вот теперь вы, — смотрю на вас — барыня, — занимаетесь этим делом... Пашу знаете — и цените его, спасибо вам...

— Ну, уж это вам спасибо! — засмеялась Софья.

— Что — я? Не я его этому научила! — вздохнув, сказала мать.

Софья положила окурок на блюдце своей чашки, она трянула головой, ее золотистые волосы рассыпались густыми прядями по спине, и она ушла, сказав:

— Ну, мне пора снять с себя все это великолепие...

III

К вечеру явился Николай. Обедали, и за обедом Софья рассказывала, посмеиваясь, как она встречала и прятала бежавшего из ссылки человека, как боялась шпионов, видя их во всех людях, и как смешно вел себя этот беглый. В тоне ее было что-то напоминавшее матери похвалбу рабочего, который хорошо сделал трудную работу и — доволен.

Теперь она была одета в легкое широкое платье стального цвета. Она казалась выше ростом в этом платье, глаза ее как будто потемнели, и движения стали более спокойными.

— Тебе, Софья, — заговорил Николай после обеда, — придется взять еще дело. Ты знаешь, мы затеяли газету для деревни, но связь с людьми оттуда потеряна благодаря последним арестам. Вот только Пелагея Ниловна может указать нам, как найти человека, который возьмет распространение газеты на себя. Ты с ней поезжай туда. Нужно — скорее.

— Хорошо! — покуривая папиросу, сказала Софья. — Едем, Пелагея Ниловна?

— Что ж, поедemте...

— Далеко?

— Верст восемьдесят...

— Чудесно!.. А теперь я поиграю. Вы как, Пелагея Ниловна, можете потерпеть немного музыки?

— Вы меня не спрашивайте — будто нет меня тут! — сказала мать, усаживаясь в уголок дивана. Она видела, что брат и сестра как бы не обращают на нее внимания, и в то же время выходило так, что она все время невольно вмешивалась в их разговор, незаметно вызываемая ими.

— Вот слушай, Николай! Это — Григ. Я сегодня привезла... Закрой окна.

Она открыла ноты, не сильно ударила по клавишам левой рукой. Сочно и густо запели струны. Вздохнув глубоко, к ним прилилась еще нота, богатая звуком. Из-под пальцев правой руки, светло звеня, тревожной стайей полетели странно прозрачные крики струн и закачались, забились, как испуганные птицы, на темном фоне низких нот.

Сначала мать не трогали эти звуки, в их течении она слышала только звенящий хаос. Слух ее не мог поймать мелодии в сложном трепете массы нот. Подудремотно она смотрела на Николая, сидевшего, поджав под себя ноги, в другом конце широкого дивана, разглядывала строгий профиль Софьи и голову ее, покрытую тяжелой массой золотистых волос. Луч солнца сначала тепло освещал голову и плечо Софьи, потом лег на клавиши рояля и затрепетал под пальцами женщины, обнимая их. Музыка наполняла комнату все теснее и незаметно для матери будила ее сердце.

И почему-то пред ней вставала из темной ямы прошлого одна обида, давно забытая, но воскресавшая теперь с горькой ясностью.

Однажды покойник муж пришел домой поздно ночью, сильно пьяный, схватил ее за руку, сбросил с постели на пол, ударил в бок ногой и сказал:

— Ступай вон, сволочь, надоела ты мне!

Она, чтобы защитить себя от его ударов, быстро взяла на руки двухлетнего сына и, стоя на коленях, прикрылась

его телом, как щитом. Он плакал, бился у нее в руках, испуганный, голенький и теплый.

— Ступай! — ревел Михаил.

Она вскочила на ноги, бросилась в кухню, накинула на плечи кофту, закутала ребенка в шаль и молча, без криков и жалоб, босая, в одной рубашке и кофте сверх нее, пошла по улице. Был май, ночь была свежа, пыль улицы холодно приставала к ногам, набиваясь между пальцами. Ребенок плакал, бился. Она раскрыла грудь, прижала сына к телу и, гонимая страхом, шла по улице, шла, тихонько баюкая:

— О-о-о... о-о-о!..

А уже светало, ей было боязно и стыдно ждать, что кто-нибудь выйдет на улицу, увидит ее, полунагую. Она сошла к болоту и села на землю под тесной группой молодых осин. И так сидела долго, объятая ночью, неподвижно глядя во тьму широко раскрытыми глазами, и боязливо пела, баюкая уснувшего ребенка и обиженное сердце свое...

— О-о-о... о-о-о... о-о-о!..

В одну из минут, проведенных ею там, над головой ее мелькнула, улетаая вдаль, какая-то черная, тихая птица — она разбудила ее, подняла. Дрожа от холода, она пошла домой, навстречу привычному ужасу побоев и новых обид...

Последний раз вздохнул гулкий аккорд, безразличный, холодный, вздохнул и замер.

Софья обернулась, негромко спрашивая брата:

— Понравилось?

— Очень! — сказал он, вздрогнув, как разбуженный. — Очень...

В груди матери пело и дрожало эхо воспоминаний. И где-то сбоку, стороной, развивалась мысль.

«Вот, — живут люди, дружно, спокойно. Не ругаются, не пьют водки, не спорят из-за куска... как это есть у людей черной жизни...»

Софья курила папиросу. Она курила много, почти беспрерывно.

— Это любимая вещь покойника Кости! — сказала она, торопливо затягиваясь дымом, и снова взяла негромкий, печальный аккорд. — Как я любила играть

ему. Какой он чуткий был, отзывчивый на все, — всем полный...

«О муже вспоминает, должно быть, — мельком отметила мать. — А — улыбается...»

— Сколько дал мне счастья этот человек... — тихо говорила Софья, аккомпанируя своим думам легкими звуками струн. — Как он умел жить...

— Да-а! — сказал Николай, теребя бородку. — Певучая душа!..

Софья бросила куда-то начатую папиросу, обернулась к матери и спросила ее:

— Вам не мешает мой шум, нет?

Мать ответила с досадой, которую не могла сдержать:

— Вы меня не спрашивайте, я ничего не понимаю. Сажу, слушаю, думаю про себя...

— Нет, — вы должны понимать! — сказала Софья. — Женщина не может не понять музыку, особенно если ей грустно...

Она сильно ударила по клавишам, и раздался громкий крик, точно кто-то услышал ужасную для себя весть, — она ударила его в сердце и вырвала этот потрясающий звук. Испуганно затрепетали молодые голоса и бросились куда-то торопливо, растерянно; снова закричал громкий, гневный голос, все заглушая. Должно быть — случилось несчастье, но вызвало к жизни не жалобы, а гнев. Потом явился кто-то ласковый и сильный и запел простую красивую песнь, уговаривая, призывая за собой.

Сердце матери налилось желанием сказать что-то хорошее этим людям. Она улыбалась, охмеленная музыкой, чувствуя себя способной сделать что-то нужное для брата и сестры.

И поискав глазами — что можно сделать? — тихонько пошла в кухню ставить самовар.

Но это желание не исчезло у нее, и, разливая чай, она говорила, смущенно усмехаясь и как бы отирая свое сердце словами теплой ласки, которую давала равномерно им и себе:

— Мы, люди черной жизни, — всё чувствуем, но трудно выговорить нам, нам совестно, что вот — понимаем, а сказать не можем. И часто — от совести — сердимся

мы на мысли наши. Жизнь — со всех сторон и бьет и колет, отдохнуть хочется, а мысли — мешают.

Николай слушал, протирая очки, Софья смотрела, широко открыв свои огромные глаза и забывая курить угасавшую папиросу. Она сидела у пианино вполборота к нему и порою тихо касалась клавиш тонкими пальцами правой руки. Аккорд осторожно вливался в речь матери, торопливо облекавшей чувства в простые, душевные слова.

— Я вот теперь смогу сказать кое-как про себя, про людей, потому что — стала понимать, могу сравнить. Раньше жила, — не с чем было сравнивать. В нашем быту — все живут одинаково. А теперь вижу, как другие живут, вспоминаю, как сама жила, и — горько, тяжело!

Она понизила голос, продолжая:

— Может быть, я что-нибудь и не так говорю и не нужно этого говорить, потому что вы сами всё знаете...

Слезы зазвенели в ее голосе, и, глядя на них с улыбкой в глазах, она сказала:

— А хочется мне сердце открыть перед вами, чтобы видели вы, как я желаю вам доброго, хорошего!

— Мы это видим! — тихо сказал Николай.

Она не могла насытить свое желание и снова говорила им то, что было ново для нее и казалось ей неоценимо важным. Стала рассказывать о своей жизни в обидах и терпеливом страдании, рассказывала беззлобно, с усмешкой сожаления на губах, развертывая серый свиток печальных дней, перечисляя побои мужа, и сама поражалась ничтожностью поводов к этим побоям, сама удивлялась своему неумению отклонить их...

Они слушали ее молча, подавленные глубоким смыслом простой истории человека, которого считали скотом и который сам долго и безропотно чувствовал себя тем, за кого его считали. Казалось, тысячи жизней говорят ее устами; обыденно и просто было все, чем она жила, но — так просто и обычно жило бесчисленное множество людей на земле, и ее история принимала значение символа. Николай поставил локти на стол, положил голову на ладони и не двигался, глядя на нее через очки напряженно при-

щуренными глазами. Софья откинулась на спинку стула и порой вздрагивала, отрицательно покачивая головой. Лицо ее стало еще более худым и бледным, она не курила.

— Однажды я сочла себя несчастной, мне показалось, что жизнь моя — лихорадка, — тихо заговорила она, опуская голову. — Это было в ссылке. Маленький уездный городишко, делать нечего, думать не о чем, кроме себя. Я складывала все мои несчастья и взвешивала их от нечего делать: вот — поссорилась с отцом, которого любила, прогнали из гимназии и оскорбили, тюрьма, предательство товарища, который был близок мне, арест мужа, опять тюрьма и ссылка, смерть мужа. И мне тогда казалось, что самый несчастный человек — это я. Но все мои несчастья — и в десять раз больше — не стоят месяца вашей жизни, Пелагея Ниловна... Это ежедневное истязание в продолжение годов.. Где люди черпают силу страдать?

— Привыкают! — вздохнув, ответила Власова.

— Мне казалось — я знаю жизнь! — задумчиво сказал Николай. — Но, когда о ней говорит не книга и не разрозненные впечатления мои, а вот так, сама она, — страшно! И страшны мелочи, страшно — ничтожное, минуты, из которых слагаются года..

Беседа текла, росла, охватывая черную жизнь со всех сторон, мать углублялась в свои воспоминания и, извлекая из сумрака прошлого каждодневные обиды, создавала тяжелую картину немого ужаса, в котором утонула ее молодость. Наконец она сказала:

— Ой, заговорила я вас, пора вам отдыхать! Всего не перескажешь ..

Брат и сестра простились с нею молча. Ей показалось, что Николай поклонился ниже, чем всегда, и крепче пожал руку. А Софья проводила ее до комнаты и, остановившись в дверях, сказала тихо:

— Отдыхайте, покойной ночи!

От ее голоса веяло теплом, серые глаза мягко ласкали лицо матери..

Она взяла руку Софьи и, сжимая ее своими руками, ответила:

— Спасибо вам!..

Через несколько дней мать и Софья явились перед Николаем бедно одетыми мешанками, в поношенных ситцевых платьях и кофтах, с котомками за плечами и с палками в руках. Костюм убавил Софье рост и сделал еще строже ее бледное лицо.

Прощаясь с сестрой, Николай крепко пожал ей руку, и мать еще раз отметила простоту и спокойствие их отношений. Ни поцелуев, ни ласковых слов у этих людей, а относятся они друг к другу так душевно, заботливо. Там, где она жила, люди много целуются, часто говорят ласковые слова и всегда кусают друг друга, как голодные собаки.

Женщины молча прошли по улицам города, вышли в поле и зашагали плечо к плечу по широкой, избитой дороге между двумя рядами старых берез.

— А не устанете вы? — спросила мать у Софьи.

— Вы думаете, мало я ходила? Это мне знакомо...

Весело, как будто хвастаясь шалостями детства, Софья стала рассказывать матери о своей революционной работе. Ей приходилось жить под чужим именем, пользуясь фальшивым документом, переодеваться, скрываясь от шпионов, возить пуды запрещенных книг по разным городам, устраивать побеги для ссыльных товарищей, сопровождать их за границу. В ее квартире была устроена тайная типография, и когда жандармы, узнав об этом, явились с обыском, она, успев за минуту перед их приходом переодеться горничной, ушла, встретив у ворот дома своих гостей, и без верхнего платья, в легком платке на голове и с жестяной для керосина в руках, зимою, в крепкий мороз, прошла весь город из конца в конец. Другой раз она приехала в чужой город к своим знакомым и, когда уже шла по лестнице в их квартиру, заметила, что у них обыск. Возвращаться назад было поздно, тогда она смело позвонила в дверь этажом ниже квартиры знакомых и, войдя со своим чемоданом к незнакомым людям, открыто объяснила им свое положение.

— Можете выдать меня, если хотите, но я думаю, вы не сделаете этого, — сказала она уверенно.

Они были сильно испуганы и всю ночь не спали, ожидая каждую минуту, что к ним постучат, но не решились выдать ее жандармам, а утром, вместе с нею, смеялись над ними. Однажды она, переодетая монахиней, ехала в одном вагоне и на одной скамье со шпионом, который выслеживал ее и, хвастаясь своей ловкостью, рассказывал ей, как он это делает. Он был уверен, что она едет с этим поездом в вагоне второго класса, на каждой остановке выходил и, возвращаясь, говорил ей:

— Не видно, — спать легла, должно быть. Тоже и они устают, — жизнь трудная, вроде нашей!

Мать слушала ее рассказы, смеялась и смотрела на нее ласкающими глазами. Высокая, сухая, Софья легко и твердо шагала по дороге стройными ногами. В ее походке, словах, в самом звуке голоса, хотя и глуховатом, но бодром, во всей ее прямой фигуре было много душевного здоровья, веселой смелости. Ее глаза смотрели на все молодое и всюду видели что-то, радовавшее ее юной радостью.

— Смотрите, какая славная сосна! — восклицала Софья, указывая матери на дерево. Мать останавливалась и смотрела, — сосна была не выше и не гуще других.

— Хорошее дерево! — усмехаясь, говорила она. И видела, как ветер играет седыми волосами над ухом женщины.

— Жаворонок! — Серые глаза Софьи ласково разгорались, и тело как будто поднималось от земли навстречу музыке, невидимо звеневшей в ясной высоте. Порою она, гибко наклоняясь, срывала полевой цветок и легкими прикосновениями тонких быстрых пальцев любовно гладила дрожащие лепестки. И что-то напевала, тихо и красиво.

Все это подвигало сердце ближе к женщине со светлыми глазами, и мать невольно жалась к ней, стараясь идти в ногу. Но порою в словах Софьи вдруг являлось что-то резкое, оно казалось матери лишним и возбуждало у нее опасливую думу:

«Не понравится она Михайле-то...»

А через минуту Софья снова говорила просто, душевно, и мать, улыбаясь, заглядывала ей в глаза.

— Какая молодая вы еще! — вздохнув, сказала она.

— О, мне уж тридцать два года! — воскликнула Софья.

Власова улыбнулась.

— Я не про это, — с лица вам можно больше дать. А посмотришь в глаза ваши, послушаешь вас и даже удивляешься, — как будто вы девушка. Жизнь ваша беспокойная и трудная, опасная, а сердце у вас — улыбается.

— Я не чувствую, что мне трудно, и не могу представить жизнь лучше, интереснее этой... Я буду звать вас — Ниловна; Пелагея — это не идет вам.

— Зовите, как хочется! — задумчиво сказала мать. — Как хочется, так и зовите. Я вот все смотрю на вас, слушаю, думаю. Приятно мне видеть, что вы знаете пути к сердцу человеческому. Все в человеке перед вами открывается без робости, без опасений, — сама собой распаивается душа встречу вам. И думаю я про всех вас — одолеют они злое в жизни, непременно одолеют!

— Мы победим, потому что мы — с рабочим народом! — уверенно и громко сказала Софья. — В нем скрыты все возможности, и с ним — все достижимо! Надо только разбудить его сознание, которому не дают свободы расти...

Речь ее будила в сердце матери сложное чувство — ей почему-то было жалко Софью необходимой дружеской жалостью и хотелось слышать от нее другие слова, более простые.

— Кто вас наградит за труды ваши? — спросила она тихо и печально.

Софья ответила с гордостью, как показалось матери:

— Мы уже награждены! Мы нашли для себя жизнь, которая удовлетворяет нас, мы живем всеми силами души — чего еще можно желать?

Мать взглянула на нее и опустила голову, снова подумав: «Не понравится она Михайле...»

Вдыхая полной грудью сладкий воздух, они шли не быстрой, но спорой походкой, и матери казалось, что она идет на богомолье. Ей вспоминалось детство и та хорошая радость, с которой она, бывало, ходила из села на праздник в дальний монастырь к чудотворной иконе.

Иногда Софья негромко, но красиво пела какие-то новые песни о небе, о любви или вдруг начинала рассказы-

вать стихи о поле и лесах, о Волге, а мать, улыбаясь, слушала и невольно покачивала головой в ритм стиха, поддаваясь музыке его.

В груди у нее было тепло, тихо и задумчиво, точно в маленьком старом саду летним вечером.

V

На третий день пришли к селу, мать спросила мужика, работавшего в поле, где дегтярный завод, и скоро они спустились по крутой лесной тропинке, — корни деревьев лежали на ней, как ступени, — на небольшую круглую поляну, засоренную углем и щепой, залитую дегтем.

— Вот и пришли! — беспокойно оглядываясь, сказала мать.

У шалаша из жердей и ветвей, за столом из трех нестроганных досок, положенных на козлы, врытые в землю, сидели, обедая, — Рыбин, весь черный, в расстегнутой на груди рубашке, Ефим и еще двое молодых парней. Рыбин первый заметил их и, приложив ладонь к глазам, молча ждал.

— Здравствуйте, братец Михайло! — крикнула мать еще издали.

Он встал, не торопясь пошел встречу, узнав ее, остановился и, улыбаясь, погладил бороду темной рукой.

— Идем на богомолье! — говорила мать, подходя. — Дай, думаю, зайду, навещу брата! Вот моя подруга, Анной звать...

Гордясь своими выдумками, она искоса взглянула в лицо Софьи, серьезное и строгое.

— Здравствуй! — сказал Рыбин, сумрачно усмехаясь, потряс ее руку, поклонился Софье и продолжал: — Не ври, здесь не город, вранье не требуется! Всё — свои люди...

Ефим, сидя за столом, зорко рассматривал странниц и что-то говорил товарищам жужжавшим голосом. Когда женщины подошли к столу, он встал и молча поклонился им, его товарищи сидели неподвижно, как бы не замечая гостей.

— Мы тут живем, как монахи! — сказал Рыбин, легонько ударяя Власову по плечу. — Никто не ходит к нам,

хозяина в селе нет, хозяйку в больницу увезли, и я вроде управляющего. Садитесь-ка за стол. Чай, есть хотите? Ефим, достал бы молока!

Не торопясь, Ефим пошел в шалаш, странницы снимали с плеч котомки, один из парней, высокий и худой, встал из-за стола, помогая им, другой, коренастый и лохматый, задумчиво облокотясь на стол, смотрел на них, почесывая голову и тихо мурлыкая песню.

Тяжелый аромат дегтя сливался с душным запахом прелого листа и кружил голову.

— Вот этого звать Яков, — указывая на высокого парня, сказал Рыбин, — а тот — Игнатий. Ну, как сын твой?

— В тюрьме! — вздохнув, сказала мать.

— Опять в тюрьме? — воскликнул Рыбин. — Понравилось ему однако...

Игнатий перестал петь, Яков взял палку из рук матери ■ сказал:

— Садись!..

— А что же вы? Садитесь! — пригласил Рыбин Софью. Она молча села на обрубок дерева, внимательно разглядывая Рыбина.

— Когда взяли? — спросил Рыбин, усаживаясь против матери, и, качнув головой, воскликнул: — Не везет тебе, Нилловна!

— Ничего! — сказала она.

— Ну? Привыкаешь?

— Не привыкаю, а вижу — нельзя без этого!

— Так! — сказал Рыбин. — Ну, рассказывай...

Ефим принес горшок молока, взял со стола чашку, сполоснул водой и, налив в нее молоко, подвинул к Софье, внимательно слушая рассказ матери. Он двигался и делал все бесшумно, осторожно. Когда мать кончила свой краткий рассказ — все молчали с минуту, не глядя друг на друга. Игнат, сидя за столом, рисовал ногтем на досках какой-то узор, Ефим стоял сзади Рыбина, облокотясь на его плечо, Яков, прислонясь к стволу дерева, сложил на груди руки и опустил голову. Софья исподлобья оглядывала мужиков...

— Да-а! — медленно и угрюмо протянул Рыбин. — Вот как, — открыто!..

— У нас бы, если такой парад устроить, — сказал Ефим и хмуро усмехнулся, — насмерть избили бы мужики!

— Изобьют! — подтвердил Игнат, кивнув головой. — Нет, я на фабрику уйду, там лучше...

— Судить, говоришь, будут Павла? — спросил Рыбин. — И что же, какое наказание, не слышала?

— Каторга или вечное поселение в Сибири... — тихо ответила она.

Трое парней все сразу посмотрели на нее, а Рыбин опустил голову и медленно спросил:

— А он, когда затевал это дело, знал, что ему грозит?

— Знал! — громко сказала Софья.

Все замолчали, не двигаясь, как бы застыв в одной холодной мысли.

— Так! — продолжал Рыбин сурово и важно. — Я тоже думаю, что знал. Не смерив — он не прыгает, человек серьезный. Вот, ребята, видали? Знал человек, что и штыком его ударить могут, и каторгой попотчуют, а — пошел. Мать на дороге ему ляг — перешагнул бы. Пошел бы, Ниловна, через тебя?

— Пошел бы! — вздрогнув, сказала мать и оглянулась, тяжело вздохнув. Софья молча погладила ее руку и, нахмутив брови, в упор посмотрела на Рыбина.

— Это — человек! — сказал он негромко и оглянул всех темными глазами. И снова шестеро людей молчали. Тонкие лучи солнца золотыми лентами висели в воздухе. Где-то убежденно каркала ворона. Мать осматривалась, расстроенная воспоминаниями о Первом Мая, тоской о сыне, об Андрее. На маленькой тесной поляне валялись бочки из-под дегтя, топырились выкорчеванные пни. Дубы и березы, густо теснясь вокруг поляны, незаметно надвигались на нее со всех сторон, и, связанные тишиной, неподвижные, они бросали на землю темные, теплые тени.

Вдруг Яков отшатнулся от дерева, шагнул в сторону, остановился и, взмахнув головой, спросил сухо и громко:

— Это против таких нас с Ефимом поставят?

— А ты думаешь против кого? — ответил Рыбин угрюмым вопросом. — Нас душат нашими же руками, в этом и фокус!

— Я все-таки пойду в солдаты! — негромко и упрямо заявил Ефим.

— Кто отговаривает? — воскликнул Игнат. — Иди!

И, в упор глядя на Ефима, усмехаясь, сказал:

— Только когда в меня стрелять будешь, цель в голову... не калечь, а сразу убивай!

— Слышал я это! — резко крикнул Ефим.

— погоди, ребята! — заговорил Рыбин, оглядывая их, и поднял руку неторопливым движением. — Вот — женщина! — сказал он, указывая на мать. — Сын у нее, на-верное, пропал теперь...

— Зачем ты это говоришь? — спросила мать, тоскливо и негромко.

— Надо! — ответил он угрюмо. — Надо, чтобы твои волосы не зря седали. Ну, что же, — убили ее этим? Ниловна, книжек принесла?

Мать взглянула на него и, помолчав, ответила:

— Принесла. .

— Так! — сказал Рыбин, ударив ладонью по столу. — Я это сразу понял, как увидал тебя, — зачем тебе идти сюда, коли не для этого? Видали? Сына выбили из ряда — мать на его место встала!

Он, зловеще грозя рукой, матерно выругался.

Мать испугалась его крика, она смотрела на него и видела, что лицо Михаила резко изменилось — похудело, борода стала неровной, под нею чувствовались кости скул. На синеватых белках глаз явились тонкие красные жилки, как будто он долго не спал, нос у него стал хрящеватее, хищно загнулся. Раскрытый ворот пропитанной дегтем, когда-то красной, рубахи обнажал сухие ключицы, густую черную шерсть на груди, и во всей фигуре теперь было еще более мрачного, траурного. Сухой блеск воспаленных глаз освещал темное лицо огнем гнева. Софья, побледнев, молчала, не отрывая глаз от мужиков. Игнат покачивал головой, сощурил глаза, а Яков, снова стоя у шалаша, темными пальцами сердито отламывал кору жерди. Вдоль стола за спиной матери медленно шагал Ефим.

— Намедни, — продолжал Рыбин, — вызвал меня земский, — говорит мне: «Ты что, мерзавец, сказал

священнику?» — «Почему я — мерзавец? Я зарабатываю хлеб свой горбом, я ничего худого против людей не сделал, — говорю, — вот!» Он заорал, ткнул мне в зубы... трое суток я сидел под арестом. Так говорите вы с народом! Так? Не жди прощенья, дьявол! Не я — другой, не тебе — детям твоим возместит обиду мою, — помни! Вспыхали вы железными когтями груди народу, посеяли в них зло — не жди пощады, дьяволы наши! Вот.

Он был весь налит кипящей злобой, и в голосе его вздрагивали звуки, пугавшие мать.

— А что я сказал попу? — продолжал он спокойнее. — После схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им, что, дескать, люди — стадо, для них всегда пастуха надо, — так! А я пошутил: «Как назначат в лесу воеводой лису, пера будет много, а птицы — нет!» Он покосился на меня, заговорил насчет того, что, мол, терпеть надо народу и богу молиться, чтобы он силу дал для терпенья. А я сказал — что, мол, народ молится много, да, видно, время нет у бога, — не слышит! Вот. Он привязался ко мне — какими молитвами я молюсь? Я говорю — одной всю жизнь, как и весь народ: «Господи, научи таскать барам кирпичи, есть каменья, выплевывать поленья!» Он мне и договорить не дал. Вы — барыня? — вдруг оборвав рассказ, спросил Рыбин Софью.

— Почему я барыня? — быстро спросила она его, вздрогнув от неожиданности.

— Почему! — усмехнулся Рыбин. — Такая судьба, с тем родились! Вот. Думаете — ситцевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и в рогоже. Вы вот локоть в мокро на столе положили — вздрогнули, сморщились. И спина у вас пряма для рабочего человека...

Боясь, что он обидит Софью своим тяжелым голосом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго заговорила:

— Она моя подруга, Михайло Иванович, она — хороший человек, — в этом деле седые волосы нажила. Ты — не очень...

Рыбин тяжело вздохнул.

— Разве я говорю обидное?

Софья, взглянув на него, сухо спросила:

— Вы что-то хотели сказать мне?

— Я? Да! Вот тут недавно челсвек явился новый, двоюродный брат Якову, больной он, в чахотке. Позвать его — можно?

— Что же, позовите! — ответила Софья.

Рыбин взглянул на нее, прищутив глаза, и, понизив голос, сказал:

— Ефим, ты бы пошел к нему, — скажи, чтобы к ночи он явился, — вот.

Ефим надел картуз и молча, ни на кого не глядя, не торопясь, скрылся в лесу. Рыбин кивнул головой вслед ему, глухо говоря.

— Мучается! Ему идти в солдаты, — ему и вот Якову. Яков просто говорит: «Не могу», а тот тоже не может, а хочет идти... Думает — можно солдат потревожить. Я полагаю — стены лбом не прошибешь... Вот они — штыки в руку и пошли. Да-а, мучается! А Игнатий бережит ему сердце, — напрасно!

— Вовсе не напрасно! — хмуро сказал Игнат, не глядя на Рыбина. — Его там обработают, начнет палить не хуже других...

— Едва ли! — задумчиво отозвался Рыбин. — Но, конечно, лучше бежать от этого. Россия велика — где найдешь? Паспортишко достал и ходи по деревням...

— Я так и сделаю! — заметил Игнат, постукивая себя щепой по ноге. — Уж как решились идти против — иди прямо!

Разговор оборвался. Заботливо кружились пчелы и осы, звеня в тишине и оттеняя ее. Чирикали птицы, и где-то далеко звучала песня, плутая по полям. Помолчав, Рыбин сказал:

— Ну, — нам работать надо... Вы, может, отдохнете? Там, в шалаше, нары есть. Набери-ка им листа сухого, Яков... А ты, мать, давай книги...

Мать и Софья начали развязывать котомки. Рыбин наклонился над ними и, довольный, говорил:

— Немало принесли, — ишь ты! Давно в этих делах, — как вас звать-то? — обратился он к Софье.

— Анна Ивановна! — ответила она. — Двенадцать лет... А что?

— Ничего. В тюрьме бывали, чай?

— Бывала.

— Видишь? — негромко и с упреком сказала мать. — А ты грубое говорил при ней...

Он помолчал и, забрав в руки кучу книг, сказал, оскалив зубы:

— Вы на меня не обижайтесь! Мужiku с барином, как смоле с водой, — трудно вместе, отскакивает!

— Я не барыня, а человек! — возразила Софья, мягко усмехаясь.

— И это может быть! — отозвался Рыбин. — Говорят, будто собака раньше волком была. Пойду, спрячу это.

Игнат и Яков подошли к нему, протянув руки.

— Дай-ка нам! — сказал Игнат.

— Все одинаковы? — спросил Рыбин Софью.

— Разные. Тут газета есть...

— О?

Они трое поспешно ушли в шалаш.

— Горит мужик! — тихонько сказала мать, проводив их задумчивым взглядом.

— Да, — тихо отозвалась Софья. — Никогда я еще не видала такого лица, как у него, — великомученик какой-то! Пойдем и мы туда, мне хочется взглянуть на них...

— Вы на него не сердитесь, что суров он... — тихонько попросила мать.

Софья усмехнулась.

— Какая вы славная, Ниловна...

Когда они встали в дверях, Игнат поднял голову, мельком взглянул на них и, запустив пальцы в кудрявые волосы, наклонился над газетой, лежавшей на коленях у него; Рыбин, стоя, поймал на бумагу солнечный луч, проникший в шалаш сквозь щель в крыше, и, двигая газету под лучом, читал, шевеля губами; Яков, стоя на коленях, навалился на край нар грудью и тоже читал.

Мать, пройдя в угол шалаша, села там, а Софья, обняв ее за плечи, молча наблюдала.

— Дядя Михайло, ругают нас, мужиков! — вполголоса сказал Яков, не оборачиваясь. Рыбин обернулся, взглянул на него и ответил, усмехаясь:

— Любя!

Игнат потянул в себя воздух, поднял голову и, закрыв глаза, молвил:

— Написано тут — «крестьянин перестал быть человеком» — конечно, перестал!

По его простому, открытому лицу скользнула тень обиды.

— На-ко, пойдн, надень мою шкуру, повертись в ней, я погляжу, чем ты будешь, — умник!

— Я лягу! — тихонько сказала мать Софье. — Устала все-таки немного, и голова кружится от запаха. А вы?

— Не хочу.

Мать протянулась на нарах и задремала. Софья сидела над нею, наблюдая за читающими, и, когда оса или шмель кружились над лицом матери, она заботливо отгоняла их прочь. Мать видела это полузакрытыми глазами, и ей была приятна забота Софьи.

Подошел Рыбин и спросил гулким шопотом:

— Спит?

— Да.

Он помолчал, пристально посмотрел в лицо матери, вздохнул и тихо заговорил:

— Она, может, первая, которая пошла за сыном его дорогой, первая!

— Не будем ей мешать, уйдемте! — предложила Софья.

— Да, нам работать надо. Поговорить хотелось бы, да уж до вечера! Идем, ребята...

Они ушли все трое, оставив Софью у шалаша. А мать подумала:

«Ну, ничего, слава богу! Подружились...»

И спокойно уснула, вдыхая пряный запах леса и дегтя.

VI

Пришли дегтярники, довольные, что кончили работу. Разбуженная их голосами, мать вышла из шалаша, позевывая и улыбаясь.

— Вы работали, а я, будто барыня, спала! — сказала она, оглядывая всех ласковыми глазами.

— Прощаеся тебе! — отозвался Рыбин. Он был более спокоен, усталость поглотила избыток возбуждения.

— Игнат, — сказал он, — схлопочи-ка насчет чая! Мы тут поочередно хозяйство ведем, — сегодня Игнатий нас поит, кормит!

— Я бы уступил свою очередь! — заметил Игнат и стал собирать щепки и сучья для костра, прислушиваясь.

— Всем гости интересны! — проговорил Ефим, усаживаясь рядом с Софьей.

— Я тебе помогу, Игнат! — тихо сказал Яков, уходя в шалаш. Он вынес оттуда каравай хлеба и начал резать его на куски, раскладывая по столу.

— Чу! — тихо воскликнул Ефим. — Кашляет...

Рыбин прислушался и сказал, кивнув головой:

— Да, идет...

И, обращаясь к Софье, объяснил:

— Сейчас придет свидетель. Я бы его водил по городам, ставил на площадях, чтобы народ слушал его. Говорит он всегда одно, но это всем надо слышать...

Тишина и сумрак становились гуще, голоса людей звучали мягче. Софья и мать наблюдали за мужиками — все они двигались медленно, тяжело, с какой-то странной осторожностью, и тоже следили за женщинами.

Из леса на поляну вышел высокий, сутулый человек, он шел медленно, крепко опираясь на палку, и было слышно его хриплое дыхание.

— Вот и я! — сказал он и начал кашлять.

Он был одет в длинное, до пят, потертое пальто, из-под круглой, измятой шляпы жидкими прядями бессильно свешивались желтоватые, прямые волосы. Светлая борода росла на его желтом костлявом лице, рот у него был полуоткрыт, глаза глубоко завалились под лоб и лихорадочно блестели оттуда, из темных ям.

Когда Рыбин познакомил его с Софьей, он спросил ее:

— Книг, слышал я, принесли?

— Принесла.

— Спасибо... за народ!.. Сам он еще не может понять правды... так вот я, который понял... благодарю за него.

Он дышал быстро, хватая воздух короткими, жадными вздохами. Голос у него прерывался, костлявые пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь застегнуть пуговицы пальто.

— Вам вредно быть в лесу так поздно. Лес — лиственный, сыро и душно! — заметила Софья.

— Для меня уже нет полезного! — ответил он, задышав. — Мне только смерть полезна...

Слушать его голос было тяжело, и вся его фигура вызвала то излишнее сожаление, которое сознает свое бессилие и возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся, вытер потный лоб. Волосы у него были сухие, мертвые.

Вспыхнул костер, все вокруг вздрогнуло, заколебалось, обожженные тени пугливо бросились в лес, и над огнем мелькнуло круглое лицо Игната с надутыми щеками. Огонь погас. Запахло дымом, снова тишина и мгла сплотились на поляне, насторожась и слушая хриплые слова больного.

— А для народа я еще могу принести пользу как свидетель преступления... Вот, поглядите на меня... мне двадцать восемь лет, но — помираю! А десять лет назад я без натуги поднимал на плечи по двенадцати пудов, — ничего! С таким здоровьем, думал я, лет семьдесят пройду, не спотыкнусь. А прожил десять — больше не могу. Обокрали меня хозяева, сорок лет жизни ограбили, сорок лет!

— Вот она, его песня! — глухо сказал Рыбин.

Снова вспыхнул огонь, но уже сильнее, ярче, вновь метнулись тени к лесу, снова отхлынули к огню и задрожали вокруг костра в безмолвной, враждебной пляске. В огне трещали и ныли сырые сучья. Шепталась, шелестела листва деревьев, встревоженная волной нагретого воздуха. Веселые, живые языки пламени играли, обнимаясь, желтые и красные, вздымались кверху, сея искры, летел горящий лист, а звезды в небе улыбались искрам, маня к себе.

— Это — не моя песня, ее тысячи людей поют, не понимая целебного урока для народа в своей несчастной жизни. Сколько замученных работой калек молча умирают с голоду... — Он закашлялся, сгибаясь, вздрагивая. Яков поставил на стол ведро с квасом, бросил связку зеленого лука и сказал больному:

— Иди, Савелий, я молока тебе принес...

Савелий отрицательно качнул головой, но Яков взял его подмышку, поднял и повел к столу.

— Послушайте, — сказала Софья Рыбину тихо, с упреком, — зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту может умереть...

— Может! — согласился Рыбин. — Пока что — пусть говорит. Для пустяков жизнь погубил — для людей пусть еще потерпит, — ничего! Вот.

— Вы точно любуетесь чем-то! — воскликнула Софья. Рыбин взглянул на нее и угрюмо ответил:

— Это господу Христом любуются, как он на кресте стонал, а мы от человека учимся и хотим, чтобы вы учились немного...

Мать пугливо подняла бровь и сказала ему:

— А ты — полно!..

За столом больной снова заговорил:

— Истребляют людей работой, — зачем? Жизнь у человека воруют, — зачем, говорю? Наш хозяин, — я на фабрике Нефедова жизнь потерял, — наш хозяин одной певице золотую посуду подарил для умыванья, даже ночной горшок золотой! В этом горшке моя сила, моя жизнь. Вот для чего она пошла, — человек убил меня работой, чтобы любовницу свою утешить кровью моей, — ночной горшок золотой купил ей на кровь мою!

— Человек создан по образу и подобию божью, — сказал Ефим, усмехаясь, — а его вот куда тратят...

— А не молчи! — воскликнул Рыбин, ударив ладонью по столу.

— Не терпи! — тихо добавил Яков.

Игнат усмехнулся.

Мать заметила, что парни, все трое, слушали с ненасытным вниманием голодных душ и каждый раз, когда говорил Рыбин, они смотрели ему в лицо подстерегающими глазами. Речь Савелия вызывала на лицах у них странные, острые усмешки. В них не чувствовалось жалости к больному.

Нагнувшись к Софье, мать тихонько спросила:

— Неужто правду говорит он?

Софья ответила громко:

— Да, это правда! О таком подарке в газетах писали, это было в Москве...

— И казни ему не было, никакой! — глухо сказал Рыбин. — А надо бы его казнить, — вывести на народ и разрубить в куски и мясо его поганое бросить собакам. Великие казни будут народом сделаны, когда встанет он. Много крови прольет он, чтобы смыть обиды свои. Эта кровь — его кровь, из его жил она выпита, он ей хозяин.

— Холодно! — сказал больной.

Яков помог ему встать и отвел к огню.

Костер горел ярко, и безликие тени дрожали вокруг него, изумленно наблюдая веселую игру огня. Савелий сел на пень и протянул к огню прозрачные, сухие руки. Рыбин кивнул в его сторону и сказал Софье:

— Это — резче книг! Когда машина руку оторвет или убьет рабочего, объясняется — сам виноват. А вот когда высосут кровь у человека и бросят его, как падаль, — это не объясняется ничем. Всякое убийство я пойму, а истязание — шутки ради — не понимаю! Для чего истязают народ, для чего всех нас мучают? Ради шуток, ради веселья, чтобы забавно было жить на земле, чтобы все можно было купить на кровь — певичу, лошадей, ножи серебряные, посуду золотую, игрушки дорогие ребятишкам. Ты работай, работай больше, а я накоплю денег твоим трудом и любовнице урыльник золотой подарю.

Мать слушала, смотрела, и еще раз перед нею во тьме сверкнул и лег светлой полосой путь Павла и всех, с кем он шел.

Окончив ужин, все расположились вокруг костра, перед ними, торопливо поедая дерево, горел огонь, сзади нависла тьма, окутав лес и небо. Больной, широко открыв глаза, смотрел в огонь, непрерывно кашлял, весь дрожал — казалось, что остатки жизни нетерпеливо рвутся из его груди, стремясь покинуть тело, источенное недугом. Отблески пламени дрожали на его лице, не оживляя мертвой кожи. Только глаза больного горели угасающим огнем.

— Может, в шалаш уйти тебе, Савелий? — спросил Яков, наклонясь над ним.

— Зачем? — ответил он с натугой. — Я посижу, — долго мне осталось с людьми побыть!..

Он оглянул всех, помолчал и, бледно усмехнувшись, продолжал:

— Мне с вами хорошо. Смотрю на вас и думаю — может, эти возместят за тех, кого ограбили, за народ, убитый для жадности...

Ему не ответили, и скоро он задремал, бессильно свесив голову на грудь. Рыбин посмотрел на него и тихонько заговорил:

— Приходит к нам, сидит и рассказывает всегда одно — про эту издевку над человеком. В ней — вся его душа, как будто ею глаза ему выбили и больше он ничего не видит.

— Да ведь чего же надо еще? — задумчиво сказала мать. — Уж если люди тысячами день за днем убиваются в работе для того, чтобы хозяин мог деньги на шутки бросать, чего же?..

— Скучно слушать его! — сказал тихо Игнат. — Это и один раз услышишь — не забудешь, а он всегда одно говорит!

— Тут в одном — все стиснуто... вся жизнь, пойми! — угрюмо заметил Рыбин. — Я десять раз слышал его судьбу, а все-таки, иной раз, усомнишься. Бывают добрые часы, когда не хочешь верить в гадость человека, в безумство его... когда всех жалко, и богатого, как бедного... и богатый тоже заблудился! Один слеп от голода, другой — от золота. Эх, люди, думаешь, эх, братья! Встряхнись, подумай честно, подумай, не щадя себя, подумай!

Больной качнулся, открыл глаза, лег на землю. Яков бесшумно встал, сходил в шалаш, принес оттуда полушубок, одел брата и снова сел рядом с Софьей.

Румяное лицо огня, задорно улыбаясь, освещало темные фигуры вокруг него, и голоса людей задумчиво вливались в тихий треск и шелест пламени.

Софья рассказывала о всемирном бое народа за право на жизнь, о давних битвах крестьян Германии, о несчастьях ирландцев, о великих подвигах рабочих-французов в частых битвах за свободу...

В лесу, одетом бархатом ночи, на маленькой поляне, огражденной деревьями, покрытой темным небом, перед лицом огня, в кругу враждебно удивленных теней — воскресали события, потрясавшие мир сытых и жадных,

проходили один за другим народы земли, истекая кровью, утомленные битвами, вспоминались имена борцов за свободу и правду.

Тихо звучал глуховатый голос женщины. Как бы доходя из прошлого, он будил надежды, внушал уверенность, и люди молча слушали повесть о своих братьях по духу. Они смотрели в лицо женщины, худое, бледное; перед ними все ярче освещалось святое дело всех народов мира — бесконечная борьба за свободу. Человек видел свои желания и думы в далеком, занавешенном темной, кровавой завесой прошлом, среди неведомых ему иноплеменников, и внутренне, — умом и сердцем, — приобщался к миру, видя в нем друзей, которые давно уже единомышленно и твердо решили добиться на земле правды, освятили свое решение неисчислимыми страданиями, пролили реки крови своей ради торжества жизни новой, светлой и радостной. Возникало и росло чувство духовной близости со всеми, рождалось новое сердце земли, полное горячим стремлением все понять, все объединить в себе.

— Наступит день, когда рабочие всех стран поднимут головы и твердо скажут — довольно! Мы не хотим более этой жизни! — уверенно звучал голос Софьи. — Тогда рухнет призрачная сила сильных своей жадностью, уйдет земля из-под ног их и не на что будет опереться им...

— Так и будет! — сказал Рыбин, наклоня голову. — Не жалея себя — все одолеешь!

Мать слушала, высоко подняв бровь, с улыбкой радостного удивления, застывшей на лице. Она видела, что все резкое, звонкое, размашистое, — все, что казалось ей лишним в Софье, — теперь исчезло, утонуло в горячем, ровном потоке ее рассказа. Ей нравилась тишина ночи, игра огня, лицо Софьи, но больше всего — строгое внимание мужиков. Они сидели неподвижно, стараясь не нарушать спокойное течение рассказа, боясь оборвать светлую нить, связывавшую их с миром. Лишь порою кто-нибудь из них осторожно подкладывал дров в огонь и, когда из костра поднимались рои искр и дым, — отгонял искры и дым от женщин, помахивая в воздухе рукой.

Однажды Яков встал, тихонько попросил:

— Подождите говорить...

Сбежал в шалаш, принес оттуда одежду, и вместе с Игнатом они молча окутали ноги и плечи женщин. Снова Софья говорила, рисуя день победы, внушая людям веру в свои силы, будя в них сознание общности со всеми, кто отдает свою жизнь бесплодному труду на глупые забавы пресыщенных. Слова не волновали мать, но вызванное рассказом Софьи большое, всех обнявшее чувство наполняло и ее грудь благодарно молитвенной думой о людях, которые среди опасностей идут к тем, кто окован цепями труда, и приносят с собою для них дары честного разума, дары любви к правде.

«Помоги, господи!» — думала она, закрывая глаза.

На рассвете Софья, утомленная, замолчала и, улыбаясь, оглянула задумчивые, посветлевшие лица вокруг себя.

— Пора нам идти! — сказала мать.

— Пора! — устало молвила Софья.

Кто-то из парней шумно вздохнул.

— Жалко, что уходите вы! — необычно мягким голосом сказал Рыбин. — Хорошо говорите! Большое это дело — породнить людей между собой! Когда вот знаешь, что миллионы хотят того же, что и мы, сердце становится добрее. А в доброте — большая сила!

— Ты его добром, а он тебя — колом! — тихонько усмехнувшись, сказал Ефим и быстро вскочил на ноги. — Уходить им пора, дядя Михайло, покуда не видал никто. Раздадим книжки — начальство будет искать — откуда явились? Кто-нибудь вспомнит — а вот странницы приходили...

— Ну, спасибо, мать, за труды твои! — заговорил Рыбин, прервав Ефима. — Я все про Павла думаю, глядя на тебя, — хорошо ты пошла!

Смягченный, он улыбался широкой и доброй улыбкой. Было свежо, а он стоял в одной рубаше с расстегнутым воротом, глубоко обнажавшим грудь. Мать оглянула его большую фигуру и ласково посоветовала:

— Надел бы что-нибудь — холодно!

— Изнутри греет! — ответил он.

Трое парней, стоя у костра, тихо беседовали, а у ног их лежал больной, закрытый полушубками. Бледнело небо, таяли тени, вздрагивали листья, ожидая селница.

— Ну, прощайте, значит! — говорил Рыбин, пожимая руку Софьи. — А как вас в городе найти?

— Это ты меня ищи! — сказала мать.

Парни медленно, тесной группой подошли к Софье и жали ей руку молча, неуклюже ласковые. В каждом ясно было видно скрытое довольство, благодарное и дружеское, и это чувство, должно быть, смущало их своей новизной. Улыбаясь сухими от бессонной ночи глазами, они молча смотрели в лицо Софьи и переминались с ноги на ногу.

— Молока не выпьете ли на дорогу? — спросил Яков.

— Да есть ли оно? — сказал Ефим.

Игнат, смущенно приглаживая волосы, заявил:

— Нету, — пролил я его...

И все трое усмехнулись.

Говорили о молоке, но мать чувствовала, что они думают о другом, без слов, желая Софье и ей доброго, хорошего. Это заметно трогало Софью и тоже вызывало у нее смущение, целомудренную скромность, которая не позволила ей сказать что-нибудь иное, кроме тихого:

— Спасибо, товарищи!

Они переглянулись, точно это слово мягко покачнуло их.

Раздался глухой кашель больного. Угасли угли в горевшем костре.

— Прощайте! — вполголоса говорили мужики, и грустное слово долго провожало женщин.

Они, не торопясь, шли в предутреннем сумраке по лесной тропе, и мать, шагая сзади Софьи, говорила:

— Хорошо все это, словно во сне, так хорошо! Хотя люди правду знать, милая вы моя, хотят! И похоже это, как в церкви, пред утреней на большой праздник... еще священник не пришел, темно и тихо, жутко во храме, а народ уже собирается... там зажгут свечу пред образом, тут затеплят и — понемножку гонят темноту, освещая божий дом.

— Верно! — весело ответила Софья. — Только здесь божий дом — вся земля!

— Вся земля! — задумчиво качая головой, повторила мать. — Так это хорошо, и поверить трудно даже... И хорошо говорили вы, дорогая моя, очень хорошо! А я боялась — не понравится вы им...

Софья, помолчав, ответила тихо и невесело:

— С ними становишься проще...

Они шли и разговаривали о Рыбине, о больном, о парнях, которые так внимательно молчали и так неловко, но красноречиво выражали свое чувство благодарной дружбы мелкими заботами о женщинах. Вышли в поле. Встречу поднималось солнце. Еще не видимое глазом, оно раскинуло по небу прозрачный веер розовых лучей, и капли росы в траве заблестели разноцветными искрами бодрой, внешней радости. Просыпались птицы, оживляя утро веселым звоном.хлопотливо каркая, тяжело махая крыльями, летели толстые вороны, где-то тревожно свистела иволга. Открывались дали, снимая встречу солнцу ночные тени со своих холмов.

— Иной раз говорит, говорит человек, а ты его не понимаешь, куда не удастся ему сказать тебе какое-то простое слово, и одно оно вдруг все осветит! — вдумчиво рассказывала мать. — Так и этот больной. Я слышала и сама знаю, как жмут рабочих на фабриках и везде. Но к этому сызмала привыкаешь, и не очень это задевает сердце. А он вдруг сказал такое обидное, такое дрянное. Господи! Неужели для того всю жизнь работе люди отдают, чтобы хозяева насмешки позволяли себе? Это — без оправдания!

Мысль матери остановилась на случае, и он своим тупым, нахальным блеском освещал перед нею ряд однородных выходов, когда-то известных ей и забытых ею.

— Видно — уж всем они сыты и тошно им! Знаю я — земский начальник один заставлял мужиков лошади его кланяться, когда ее по деревне вели, и кто не кланялся, того он под арест сажал. Ну, зачем это нужно было ему? Нельзя понять, нельзя!

Софья негромко запела песню, бодряую, как утро...

VII

Жизнь Ниловны потекла странно спокойно. Спокойствие это порой удивляло ее. Сын сидел в тюрьме, она знала, что его ждет тяжелое наказание, но каждый раз, когда она думала об этом, память ее помимо воли вызы-

вала перед нею Андрея, Федю и длинный ряд других лиц. Фигура сына, поглощая всех людей одной судьбы с ним, разрасталась в ее глазах, вызывала созерцательное чувство, невольно и незаметно расширяя думы о Павле, отклоняя их во все стороны. Они раскидывались всюду тонкими, неровными лучами, всего касаясь, пытались все осветить, собрать в одну картину и мешали ей остановиться на чем-нибудь одном, мешали плотно сложиться тоске о сыне и страху за него.

Софья скоро уехала куда-то, дней через пять явилась веселая, живая, а через несколько часов снова исчезла и вновь явилась недели через две. Казалось, что она носится в жизни широкими кругами, порою заглядывая к брату, чтобы наполнить его квартиру своей бодростью и музыкой.

Музыка стала приятна матери. Слушая, она чувствовала, что теплые волны бьются ей в грудь, вливаются в сердце, оно бьется ровнее и, как зерна в земле, обильно увлажненной, глубоко вспаханной, в нем быстро, бодро растут волны дум, легко и красиво цветут слова, разбуженные силою звуков.

Матери трудно было мириться с неряшливостью Софьи, которая повсюду разбрасывала свои вещи, окурки, пепел, и еще труднее с ее размахистыми речами, — все это слишком кололо глаза рядом со спокойной уверенностью Николая, с неизменной, мягкой серьезностью его слов. Софья казалась ей подростком, который торопится выдать себя за взрослого, а на людей смотрит как на любопытные игрушки. Она много говорила о святости труда и беспотково увеличивала труд матери своим неряшеством, говорила о свободе и заметно для матери стесняла всех резкой нетерпимостью, постоянными спорами. В ней было много противоречивого, и мать, видя это, относилась к ней с напряженной осторожностью, с подстерегающим вниманием, без того постоянного тепла в сердце, которое вызывал у нее Николай.

Он, всегда озабоченный, жил изо дня в день однообразной, размеренной жизнью: в восемь часов утра пил чай и, читая газету, сообщал матери новости. Слушая его, мать с поражающей ясностью видела, как тяжелая машина жизни безжалостно перемалывает людей в деньги.

Она чувствовала в нем нечто общее с Андреем. Как хол, он говорил о людях беззлобно, считая всех виноватыми в дурном устройстве жизни, но вера в новую жизнь была у него не так горяча, как у Андрея, и не так ярка. Он говорил всегда спокойно, голосом честного и строгого судьи, и хотя — даже говоря о страшном — улыбался тихой улыбкой сожаления, — но его глаза блестели холодно и твердо. Видя их блеск, мать понимала, что этот человек никому и ничего не прощает, — не может простить, — и, чувствуя, что для него тяжела эта твердость, жалела Николая. И все более он нравился ей.

В девять часов он уходил на службу, она убирала комнаты, готовила обед, умывалась, надевала чистое платье и, сидя в своей комнате, рассматривала картинки в книгах. Она уже научилась читать, но это всегда требовало от нее напряжения, и, читая, она быстро утомлялась, переставала понимать связь слов. А рассматривание картинок увлекало ее, как ребенка, — они открывали перед нею понятный, почти осязаемый мир, новый и чудесный. Вставали огромные города, прекрасные здания, машины, корабли, монументы, неисчислимые богатства, созданные людьми, и поражающее ум разнообразие творчества природы. Жизнь расширялась бесконечно, каждый день открывая глазам огромное, неведомое, чудесное, и все сильнее возбуждала проснувшуюся голодную душу женщины обилием своих богатств, неисчислимостью красот. Она особенно любила рассматривать фюлианты зоологического атласа, и хотя он был напечатан на иностранном языке, но давал ей наиболее яркое представление о красоте, богатстве и обширности земли.

— Велика земля! — говорила она Николаю.

Более всего умиляли ее насекомые и особенно бабочки, она с изумлением рассматривала рисунки, изображавшие их, и рассуждала:

— Красота какая, Николай Иванович, а? И сколько везде красоты этой милой, — а все от нас закрыто и все мимо летит, не видимое нами. Люди мечутся — ничего не знают, ничем не могут любоваться, ни времени у них на это, ни охоты. Сколько могли бы взять радости, если бы знали, как земля богата, как много на ней удивительного живет. И всё — для всех, каждый — для всего, — так ли?

— Именно! — говорил Николай, улыбаясь. И приносил еще книг с картинками.

По вечерам у него часто собирались гости — приходил Алексей Васильевич, красивый мужчина с бледным лицом и черной бородой, солидный и молчаливый; Роман Петрович, угреватый, круглоголовый человек, всегда с сожалением чмокавший губами; Иван Данилович, худенький и маленький, с острой бородкой и тонким голосом, задорный, крикливый и острый, как шило; Егор, всегда шутивший над собою, товарищами и своей болезнью, все разраставшейся в нем. Являлись и другие люди, приезжавшие из разных дальних городов. Николай вел с ними долгие и тихие беседы, всегда об одном — о рабочих людях земли. Спорили, горячились, размахивая руками, пили много чая; иногда Николай, под шум беседы, молча сочинял прокламации, потом читал товарищам, их тут же переписывали печатными буквами, мать тщательно собирала кусочки разорванных черновиков и сжигала их.

Она разливала чай и удивлялась горячности, с которой они говорили о жизни и судьбе рабочего народа, о том, как скорее и лучше посеять среди него мысли о правде, поднять его дух. Часто они, сердясь, не соглашались друг с другом, обвиняли один другого в чем-то, обижались и снова спорили.

Мать чувствовала, что она знает жизнь рабочих лучше, чем эти люди, ей казалось, что она яснее их видит огромность взятой ими на себя задачи, и это позволяло ей относиться ко всем ним с снисходительным, немного грустным чувством взрослого к детям, которые играют в мужа и жену, не понимая драмы этих отношений. Она невольно сравнивала их речи с речами сына, Андрея и, сравнивая, чувствовала разницу, которой сначала не могла понять. Порою ей казалось, что здесь кричат сильнее, чем, бывало, кричали в слободке, она объясняла это себе:

«Знают больше — говорят громче...»

Но слишком часто она видела, что все эти люди как будто нарочно подогревают друг друга и горячатся напоказ, точно каждый из них хочет доказать товарищам, что для него правда ближе и дороже, чем для них, а другие обижались на это и, в свою очередь доказывая близость

к правде, начинали спорить резко, грубо. Каждый хотел вскочить выше другого, казалось ей, и это вызывало у нее тревожную грусть. Она двигала бровью и, глядя на всех умоляющими глазами, думала:

«Забыли про Пашу-то с товарищами...»

Всегда напряженно вслушиваясь в споры, конечно не понимая их, она искала за словами чувство и видела — когда в слободке говорили о добре, его брали круглым, в целом, а здесь все разбивалось на куски и мельчало; там глубже и сильнее чувствовали, здесь была область острых, все разрезающих дум. И здесь больше говорили о разрушении старого, а там мечтали о новом, от этого речи сына и Андрея были ближе, понятнее ей...

Замечала она, что когда к Николаю приходил кто-либо из рабочих, — хозяин становился необычно развязен, что-то сладкое являлось на лице его, а говорил он иначе, чем всегда, не то грубее, не то небрежнее.

«Старается, чтобы поняли его!» — думала она.

Но это ее не утешало, и она видела, что гость-рабочий тоже ежится, точно связан изнутри и не может говорить так легко и свободно, как он говорит с нею, простой женщиной. Однажды, когда Николай вышел, она заметила какому-то парню:

— Чего ты стесняешься? Чай, не мальчонка на экзаменте...

Тот широко усмехнулся.

— С непривычки и раки краснеют... все-таки не свой брат...

Иногда приходила Сашенька, она никогда не сидела долго, всегда говорила деловито, не смеясь, и каждый раз, уходя, спрашивала мать:

— Что, Павел Михайлович — здоров?

— Слава богу! — говорила мать. — Ничего, веселый!

— Кланяйтесь ему! — просила девушка и исчезала.

Порою мать жаловалась ей, что долго держат Павла, не назначают суда над ним. Сашенька хмурилась и молчала, а пальцы у нее быстро шевелились.

Ниловна ощущала желание сказать ей:

«Милая ты моя, ведь я знаю, что любишь ты его...»

Но не решалась — суровое лицо девушки, ее плотно сжатые губы и сухая деловитость речи как бы заранее

отталкивали ласку. Вздыхая, мать безмолвно жала протянутую ей руку и думала:

«Несчастливая ты моя...»

Однажды приехала Наташа. Она очень обрадовалась, увидев мать, расцеловала ее и, между прочим, как-то вдруг и тихонько сообщила:

— А моя мама умерла, умерла, бедная!..

Тряхнула головой, быстрым жестом руки отерла глаза и продолжала:

— Жалко мне ее, ей не было пятидесяти лет, могла бы долго еще жить. А посмотришь с другой стороны, и невольно думаешь — смерть, вероятно, легче этой жизни. Всегда одна, всем чужая, не нужная никому, запуганная окриками отца — разве она жила? Живут — ожидая чего-нибудь хорошего, а ей нечего было ждать, кроме обид...

— Верно вы говорите, Наташа! — сказала мать, подумав. — Живут — ожидая хорошего, а если нечего ждать — какая жизнь? — И, ласково погладив руку девушки, она спросила: — Одна теперь остались вы?

— Одна! — легко ответила Наташа.

Мать помолчала и вдруг заметила с улыбкой:

— Ничего! Хороший человек один не живет — к нему всегда люди пристанут...

VIII

Наташа поступила учительницей в уезд на ткацкую фабрику, и Ниловна начала доставлять к ней запрещенные книжки, прокламации, газеты.

Это стало ее делом. По несколько раз в месяц переодетая монахиней, торговкой кружевами и ручным полотном, зажиточной мещанкой или богомолкой-странницей, она разъезжала и расхаживала по губернии с мешком за спиной или чемоданом в руках. В вагонах и на пароходах, в гостиницах и на постоянных дворах — она везде держалась просто и спокойно, первая вступала в беседы с незнакомыми людьми, безбоязненно привлекая к себе внимание своей ласковой, общительной речью и уверенными манерами бывалого, много видевшего человека.

Ей нравилось говорить с людьми, нравилось слушать их рассказы о жизни, жалобы и недоумения. Сердце ее обливалося радостью каждый раз, когда она замечала в человеке острое недовольство, — то недовольство, которое, протестуя против ударов судьбы, напряженно ищет ответов на вопросы, уже сложившиеся в уме. Перед нею все шире и пестрее разворачивалась картина жизни человеческой — суетливой, тревожной жизни в борьбе за сытость. Всюду было ясно видно грубо-голое, нагло-откровенное стремление обмануть человека, обобрать его, выжать из него побольше пользы для себя, испить его крови. И она видела, что всего было много на земле, а народ нуждался и жил вокруг неисчислимых богатств — полуголодный. В городах стоят храмы, наполненные золотом и серебром, не нужным богу, а на папертях храмов дрожат нищие, тщетно ожидая, когда им сунут в руку маленькую медную монету. Она и раньше видала это — богатые церкви и шитые золотом ризы попов, лачуги нищего народа и его позорные лохмотья, но раньше это казалось ей естественным, а теперь — непримиримым и оскорбляющим бедных людей, которым — она знала — церковь ближе и нужнее, чем богатым.

По картинкам, изображавшим Христа, по рассказам о нем она знала, что он, друг бедных, одевался просто, а в церквях, куда беднота приходила к нему за утешением, она видела его закованным в наглое золото и шелк, брезгливо шелестевший при виде нищеты. И невольно вспоминались ей слова Рыбина:

«И богом обманули нас!»

Незаметно для нее она стала меньше молиться, но все больше думала о Христе и о людях, которые, не упоминая имени его, как будто даже не зная о нем, жили — казалось ей — по его заветам и, подобно ему считая землю царством бедных, желали разделить поровну между людьми все богатства земли. Думала она об этом много, и росла в душе ее эта дума, углубляясь и обнимая все видимое ею, все, что слышала она, росла, принимая светлое лицо молитвы, ровным огнем обливавшей темный мир, всю жизнь и всех людей. И ей казалось, что сам Христос, которого она всегда любила смутной любовью — сложным чувством, где страх был тесно связан с надеж-

дой и умиление с печалью, — Христос теперь стал ближе к ней и был уже иным — выше и виднее для нее, радостнее и светлее лицом, — точно он, в самом деле, воскресал для жизни, омытый и оживленный горячею кровью, которую люди щедро пролили во имя его, целомудренно не возглашая имени несчастного друга людей. Из своих путешествий она всегда возвращалась к Николаю радостно возбужденная тем, что видела и слышала дорогой, бодрая и довольная исполненной работой.

— Хорошо это ездить везде и много видеть! — говорила она Николаю по вечерам. — Понимаешь, как строится жизнь. Оттирают, откидывают народ на край ее, обиженный, копошится он там, но — хочет не хочет, а думает — за что? Почему меня прочь отгоняют? Почему всего много, а голоден я? И сколько ума везде, а я глуп и темен? И где он, бог милостивый, пред которым нет богатого и бедного, но все — дети, дорогие сердцу? Возмущается понемногу народ жизнью своей, — чувствует, что неправда задушит его, коли он не подумает о себе!

И все чаще она ощущала требовательное желание своим языком говорить людям о несправедливостях жизни; иногда — ей трудно было подавить это желание...

Николай, заставая ее над картинами, улыбаясь, рассказывал что-нибудь всегда чудесное. Пораженная дерзостью задач человека, она недоверчиво спрашивала Николая:

— Да разве это можно?

И он настойчиво, с непоколебимой уверенностью в правде своих пророчеств, глядя через очки в лицо ее добрыми глазами, говорил ей сказки о будущем.

— Желаниям человека нет меры, его сила — неисчерпаема! Но мир все-таки еще очень медленно богатеет духом, потому что теперь каждый, желая освободить себя от зависимости, принужден копить не знания, а деньги. А когда люди убьют жадность, когда они освободят себя из плена подневольного труда...

Она редко понимала смысл его слов, но чувство спокойной веры, оживлявшее их, становилось все более доступно для нее.

— На земле слишком мало свободных людей, вот ее несчастье! — говорил он.

Это было понятно — она знала освободившихся от жадности и злобы, она понимала, что, если бы таких людей было больше, — темное и страшное лицо жизни стало бы приветливее и проще, более добрым и светлым.

— Человек невольно должен быть жестоким! — с грустью говорил Николай.

Она утвердительно кивала головой, вспоминая речи хохла.

IX

Однажды Николай, всегда аккуратный, пришел со службы много позднее, чем всегда, и, не раздеваясь, возбужденно потирая руки, торопливо сказал:

— Знаете, Ниловна, сегодня из тюрьмы бежал один из наших товарищей. Но кто он? Не удалось узнать...

Мать покачнулась на ногах, охваченная волнением, села на стул, спрашивая шопотом:

— Может быть, Паша?

— Может быть! — ответил Николай, вздернув плечи. — Но как ему помочь скрыться, где его найти? Я сейчас ходил по улицам — не встречу ли? Это глупо, но надо что-нибудь делать! И я снова пойду...

— Я тоже! — крикнула мать.

— Вы пойдите к Егору, не знает ли он что-нибудь? — предложил Николай, поспешно исчезая.

Она накинула платок на голову и, охваченная надеждой, быстро вышла на улицу вслед за ним. Рябило в глазах, и сердце стучало торопливо, заставляя ее почти бежать. Она шла встречу возможного, опустив голову, и ничего не замечала вокруг.

«Приду, а он там!» — мелькала надежда, толкая ее.

Было жарко, она задыхалась от усталости и, когда дошла до лестницы в квартиру Егора, остановилась, не имея сил идти дальше, обернулась и удивленно, тихонько крикнув, на миг закрыла глаза — ей показалось, что в воротах стоит Николай Весовщиков, засунув руки в карманы. Но когда она снова взглянула — никого не было...

«Почудилось!» — мысленно сказала она, шагая по ступеням и прислушиваясь. Внизу на дворе был слышен глухой топот медленных шагов. Остановясь на повороте

лестницы, она, нагнувшись, посмотрела вниз и снова увидела рябое лицо, улыбавшееся ей.

— Николай! Николай... — воскликнула она, опускаясь встречу ему, а сердце разочарованно заныло.

— А ты иди! Иди! — негромко ответил он, махнув рукой.

Она быстро взбежала по лестнице, вошла в комнату Егора и, увидав его лежащим на диване, задыхаясь, прошептала:

— Николай бежал... из тюрьмы!..

— Какой? — хрипло спросил Егор, поднимая голову с подушки. — Их там двое...

— Весовщиков... Идет сюда!..

— Чудесно!

Он уже вошел в комнату, запер дверь на крюк и, сняв шапку, тихо смеялся, приглаживая волосы на голове. Упираясь локтями в диван, Егор поднялся, крикнул, кивая головой.

— Пожалуйте...

Широко улыбаясь, Николай подошел к матери, схватил ее руку:

— Кабы не увидел я тебя — хоть назад в тюрьму иди! Никого в городе не знаю, а в слободу идти — сейчас же схватят. Хожу и думаю — дурак! Зачем ушел? Вдруг вижу — Ниловна бежит! Я за тобой...

— Как это ты ушел? — спросила мать.

Он неловко присел на край дивана и говорил, смущенно пожимая плечами:

— Случай подвернулся! Гулял я, а уголовные начали надзирателя бить. Там один есть такой, из жандармов, за воровство выгнан, — шпионит, доносит, жить не дает никому! Бьют они его, суматоха, надзиратели испугались, бегают, свистят. Я вижу — ворота открыты, площадь, город. И пошел, не торопясь... Как во сне. Отошел немного, опомнился — куда идти? Смотрю — а ворота тюрьмы уже заперты...

— Гм! — сказал Егор. — А вы бы, господин, воротились, вежливо постучали в дверь и попросили пустить вас. Извините, мол, я несколько увлекся...

— Да, — усмехаясь, продолжал Николай, — это глупость. Ну, все-таки перед товарищами нехорошо, —

никому не сказал ничего... Иду. Вижу — покойника несут, ребенка. Пошел за гробом, голову наклонил, не гляжу ни на кого. Посидел на кладбище, обвеяло меня воздухом, и одна мысль в голову пришла...

— Одна? — спросил Егор и, вздохнув, добавил: — Я думаю, ей там не тесно...

Весовщиков безобидно засмеялся, тряхнув головой.

— Ну, теперь у меня голова не такая пустая, как была. А ты, Егор Иванович, все хвораешь...

— Каждый делает, что может! — ответил Егор, влажно кашляя. — Продолжай!

— Потом пошел в земский музей. Походил там, поглядел, а сам все думаю — как же, куда я теперь? Даже рассердился на себя. И очень есть захотелось! Вышел на улицу, хожу, досадно мне... Вижу — полицейские присматриваются ко всем. Ну, думаю, с моей рожей скоро попаду на суд божий!.. Вдруг Ниловна навстречу бежит, я посторонился, да за ней, — вот и все!

— А я тебя и не заметила! — виновато молвила мать. Она рассматривала Весовщикова, и ей казалось, что он как будто легче стал.

— Верно, товарищи беспокоятся... — почесывая голову, сказал Николай.

— А начальства тебе не жалко? Оно ведь тоже беспокоится! — заметил Егор. Он открыл рот и начал так двигать губами, точно жевал воздух. — Однако шути прочь! Надо тебя прятать, что нелегко, хотя и приятно. Если бы я мог встать... — он задохнулся, бросил руки к себе на грудь и слабыми движениями стал растирать ее.

— Сильно ты расхворался, Егор Иванович! — сказал Николай и опустил голову. Мать вздохнула, тревожно обвела глазами маленькую, тесную комнату.

— Это мое личное дело! — ответил Егор. — Вы, мамаша, спрашивайте о Павле, нечего притворяться!

Весовщиков широко улыбнулся.

— Павел ничего! Здоров. Он вроде старосты у нас там. С начальством разговаривает и вообще — командует. Его уважают...

Власова кивала головой, слушая рассказы Весовщикова, и искоса смотрела на отекавшее, синеватое лицо

Егора. Неподвижно застывшее, лишенное выражения, оно казалось странно плоским, и только глаза на нем сверкали живо и весело.

— Дали бы мне поест, — ей-богу, очень хочется! — неожиданно воскликнул Николай.

— Мамаша, на полке лежит хлеб, потом пойдите в коридор, налево вторая дверь — постучайте в нее. Откроет женщина, так вы скажите ей, пусть идет сюда и захватит с собой все, что имеет съедобного.

— Куда же — всё? — запротестовал Николай.

— Не волнуйся — это немного...

Мать вышла, постучала в дверь и, прислушиваясь к тишине за нею, с печалью подумала о Егоре:

«Умирает...»

— Кто это? — спросили за дверью.

— От Егора Ивановича! — негромко ответила мать. — Просит вас к себе...

— Сейчас приду! — не открывая, ответили ей. Она подождала немного и снова постучалась. Тогда дверь быстро отворилась, и в коридор вышла высокая женщина в очках. Торопливо оправляя смятый рукав кофточки, она сурово спросила мать:

— Вам что угодно?

— Я от Егора Ивановича...

— Ага! Идемте. О, да я же знаю вас! — тихо воскликнула женщина. — Здравствуйте! Темно здесь...

Власова взглянула на нее и вспомнила, что она бывала изредка у Николая.

«Всё свои!» — мелькнуло у нее в голове.

Наступая на Власову, женщина заставила ее идти вперед, а сама, идя сзади, спрашивала:

— Ему плохо?

— Да, лежит. Просил вас принести покушать...

— Ну, это лишнее...

Когда они входили к Егору, их встретил его хрип:

— Направляюсь к праотцам, друг мой. Людмила Васильевна, сей муж ушел из тюрьмы без разрешения начальства, дерзкий! Прежде всего накормите его, потом спрячьте куда-нибудь.

Женщина кивнула головой и, внимательно глядя в лицо больного, строго сказала:

— Вы, Егор, должны были послать за мной тотчас же, как только к вам пришли! И вы дважды, я вижу, не принимали лекарство — что за небрежность? Товарищ, идите ко мне! Сейчас сюда явятся из больницы за Егором.

— Все-таки в больницу меня? — спросил Егор.

— Да. Я буду там с вами.

— И там? О, господи!

— Не дурите...

Разговаривая, женщина поправила одеяло на груди Егора, пристально осмотрела Николая, измерила глазами лекарство в пузырьке. Говорила она ровно, негромко, движения у нее были плавны, лицо бледное, темные брови почти сходились над переносьем. Ее лицо не нравилось матери — оно казалось надменным, а глаза смотрели без улыбки, без блеска. И говорила она так, точно командовала.

— Мы уйдем! — продолжала она. — Я скоро ворочусь! Вы дайте Егору столовую ложку вот этого. Не позволяйте ему говорить...

И она ушла, уводя с собой Николая.

— Чудесная женщина! — сказал Егор, вздохнув. — Великолепная женщина... Вас, мамаша, надо бы к ней пристроить, — она устает очень...

— А ты не говори! На-ка, выпей лучше!.. — мягко попросила мать.

Он проглотил лекарство и продолжал, прищурив глаз:

— Все равно я умру, если и буду молчать...

Другим глазом он смотрел в лицо матери, губы его медленно раздвигались в улыбку. Мать наклонила голову, острое чувство жалости вызывало у нее слезы.

— Ничего, это естественно... Удовольствие жить влечет за собой обязанность умереть...

Мать положила руку на голову его и снова тихо сказала:

— Помолчи, а?..

Он закрыл глаза, как бы прислушиваясь к хрипам в груди своей, и упрямо продолжал:

— Бессмысленно молчать, мамаша! Что я выиграю молчанием? Несколько лишних секунд агонии, а про-

играю удовольствие поболтать с хорошим человеком. Я думаю, что на том свете нет таких хороших людей, как на этом...

Мать беспокойно перебила его речь:

— Вот придет она, барыня-то, и будет ругать меня за то, что ты говоришь...

— Она не барыня, а — революционерка, товарищ, чуждая душа. Ругать вас, мамаша, она непременно будет. Всех ругает, всегда...

И медленно, с усилием двигая губами, Егор стал рассказывать историю жизни своей соседки. Глаза его улыбались, мать видела, что он нарочно поддразнивает ее и, глядя на его лицо, подернутое влажной синевой, тревожно думала:

«Умрет...»

Вошла Людмила и, тщательно закрывая за собой дверь, заговорила, обращаясь к Власовой:

— Вашему знакомому необходимо переодеться и возможно скорее уйти от меня, так вы, Пелагея Ниловна, сейчас же идите, достаньте платье для него и принесите все сюда. Жаль — нет Софьи, это ее специальность — прятать людей.

— Она завтра придет! — заметила Власова, накидывая платок на плечи.

Каждый раз, когда ей давали какое-нибудь поручение, ее крепко охватывало желание исполнить это дело быстро и хорошо, и она уже не могла думать ни о чем, кроме своей задачи. И теперь, озабоченно опустив брови, деловито спрашивала:

— Как одеть его думаете вы?

— Все равно! Он пойдет ночью...

— Ночью хуже — людей меньше на улицах, следят больше, а он не очень ловкий...

Егор хрипло засмеялся.

— А можно в больницу к тебе придти? — спросила мать.

Он, кашляя, кивнул головой. Людмила заглянула в лицо матери темными глазами и предложила:

— Хотите дежурить у него в очередь со мной? Да? Хорошо! А теперь — идите скорее...

Ласково, но властно взяв мать под руку, она вывела ее за дверь и там тихо сказала:

— Не обижайтесь, что я выпроваживаю вас! Но ему вредно говорить... А у меня есть надежда...

Она сжала руки, пальцы ее хрустнули, а веки утомленно опустились на глаза...

Это объяснение смутило мать, и она пробормотала:

— Что это вы?

— Смотрите, нет ли шпионов! — тихо сказала женщина. Подняв руки к лицу, она потирала виски, губы у нее вздрагивали, лицо стало мягче.

— Знаю!.. — ответила ей мать не без гордости.

Выйдя из ворот, она остановилась на минуту, поправляя платок, и незаметно, но зорко оглянулась вокруг. Она уже почти безошибочно умела отличить шпиона в уличной толпе. Ей были хорошо знакомы подчеркнутая беспечность походки, натянутая развязность жестов, выражение утомленности и скуки на лице и плохо спрятанное за всем этим опасливое, виноватое мерцание беспокойных, неприятно острых глаз.

На этот раз она не заметила знакомого лица и, не торопясь, пошла по улице, а потом наняла извозчика и велела отвезти себя на рынок. Покупая платье для Николая, она жестоко торговалась с продавцами и, между прочим, ругала своего пьяницу мужа, которого ей приходится одевать чуть не каждый месяц во все новое. Эта выдумка мало действовала на торговцев, но очень нравилась ей самой, — дорогой она сообразила, что полиция, конечно, поймет необходимость для Николая переменить платье и пошлет сыщиков на рынок. С такими же наивными предосторожностями она возвратилась на квартиру Егора, потом ей пришлось провожать Николая на окраину города. Они шли с Николаем по разным сторонам улицы, и матери было смешно и приятно видеть, как Весовщиков тяжело шагал, опустив голову и путаясь ногами в длинных полах рыжего пальто, и как он поправлял шляпу, сползавшую ему на нос. В одной из пустынных улиц их встретила Сашенька, и мать, простясь с Весовщиковым кивком головы, пошла домой.

«А Паша сидит... И — Андрюша...» — думала она печально.

Николай встретил ее тревожным восклицанием:

— Вы знаете — Егору очень плохо, очень! Его свезли в больницу, здесь была Людмила, она просит вас прийти туда к ней...

— В больницу?

Нервным движением поправив очки, Николай помог ей надеть кофту и, пожимая руку ее сухой, теплой рукой, сказал вздрагивающим голосом:

— Да! Захватите вот этот сверток. Устроили Весовщикова?

— Все хорошо...

— Я тоже приду к Егору...

От усталости у матери кружилась голова, а тревожное настроение Николая вызвало у нее тоскливое предчувствие драмы.

«Умирает», — тупо стучала в голове ее темная мысль.

Но когда она пришла в маленькую, чистую и светлую комнату больницы и увидела, что Егор, сидя на койке в белой груди подушек, хрипло хохочет, — это сразу успокоило ее. Она, улыбаясь, встала в дверях и слушала, как больной говорит доктору:

— Лечение — это реформа...

— Не балагань, Егор! — тонким голосом озабоченно воскликнул доктор.

— А я — революционер, ненавижу реформы...

Доктор осторожно положил руку Егора на колени ему, встал со стула и, задумчиво дергая бороду, начал щупать галльцами отеки на лице больного.

Мать хорошо знала доктора, он был одним из близких товарищей Николая, его звали Иван Данилович. Она подошла к Егору — он высунул язык встречу ей. Доктор обернулся.

— А, Ниловна! Здравствуйте! Что у вас в руках?

— Книги, должно быть.

— Ему нельзя читать! — заметил маленький доктор.

— Он хочет сделать меня идиотом! — пожаловался Егор.

Короткие, тяжелые вздохи с влажным хрипом вырывались из груди Егора, лицо его было покрыто мелким

потом, и, медленно поднимая непослушные, тяжелые руки, он отирал ладонью лоб. Странная неподвижность опухших щек изуродовала его широкое, доброе лицо, все черты исчезли под мертвенной маской, и только глаза, глубоко запавшие в отеках, смотрели ясно, улыбаясь снисходительной улыбкой.

— Эй, наука! Я устал, — можно лечь?.. — спросил он.

— Нельзя! — кратко сказал доктор.

— Ну, я лягу, когда ты уйдешь...

— Вы, Ниловна, не позволяйте ему этого! Поправьте подушки. И, пожалуйста, не говорите с ним, это ему вредно...

Мать кивнула головой. Доктор ушел быстрыми, мелкими шагами. Егор закинул голову, закрыл глаза и замер, только пальцы его рук тихо шевелились. От белых стен маленькой комнаты веяло сухим холодом, тусклой печалью. В большое окно смотрели кудрявые вершины лип, в темной, пыльной листве ярко блестели желтые пятна — холодные прикосновения грядущей осени.

— Смерть подходит ко мне медленно... неохотно... — не двигаясь и не открывая глаз, заговорил Егор. — Ей, видимо, немного жаль меня — такой был уживчивый парень...

— Ты бы молчал, Егор Иванович! — просила мать, тихонько поглаживая его руку.

— Подожди, замолчу...

Задыхаясь, произнося слова с напряжением, он продолжал, прерывая речь длинными паузами бессилия:

— Это превосходно, что вы с нами, — приятно видеть ваше лицо. Чем она кончит? — спрашиваю себя. Грустно, когда подумаешь, что вас — как всех — ждет тюрьма и всякое свинство. Вы не боитесь тюрьмы?

— Нет! — просто ответила она.

— Ну да, конечно. А все-таки тюрьма — дрянь, это вот она искалечила меня. Говоря по совести — я не хочу умирать...

«Может, не умрешь еще!» — хотела сказать она, но, взглянув в его лицо, промолчала.

— Я бы мог еще работать... Но, если нельзя работать, нечем жить и — глупо жить...

«Справедливо, а — не утешает!» — невольно вспомнила мать слова Андрея и тяжело вздохнула. Она очень устала за день, ей хотелось есть. Однотонный влажный шопот больного, наполняя комнату, беспомощно ползал по гладким стенам. Вершины лип за окном были подобны низко опустившимся тучам и удивляли своей печальной чернотой. Все странно замирало в сумрачной неподвижности, в унылом ожидании ночи.

— Как мне нехорошо! — сказал Егор и, закрыв глаза, умолк.

— Усни! — посоветовала мать. — Может быть, лучше будет.

Потом прислушалась к его дыханию, оглянувшись, просидела несколько минут неподвижно, охваченная холодной печалью, и задремала.

Осторожный шум у двери разбудил ее, — вздрогнув, она увидела открытые глаза Егора.

— Заснула, прости! — тихонько сказала она.

— И ты прости... — повторил он тоже тихо.

В окно смотрел вечерний сумрак, мутный холод давил глаза, все странно потускнело, лицо больного стало темным.

Раздался шорох и голос Людмилы:

— Сидят в темноте и шепчутся. Где же здесь кнопка?

Комната вдруг вся налилась белым, неласковым светом. Среди нее стояла Людмила, вся черная, высокая, прямая.

Егор сильно вздрогнул всем телом, поднял руку к груди.

— Что? — вскрикнула Людмила, подбегая к нему.

Он смотрел на мать остановившимися глазами, и теперь они казались большими и странно яркими.

Широко открыв рот, он поднимал голову вверх, а руку протянул вперед. Мать осторожно взяла его руку и, сдерживая дыхание, смотрела в лицо Егора. Судорожным и сильным движением шеи он запрокинул голову и громко сказал:

— Не могу, — кончено!..

Тело его мягко вздрогнуло, голова бессильно упала на плечо, и в широко открытых глазах мертво отразился холодный свет лампы, горевший над койкой.

— Голубчик мой! — прошептала мать.

Людмила медленно отошла от койки, остановилась у окна и, глядя куда-то перед собой, незнакомым Власовой, необычно громким голосом сказала:

— Умер...

Она согнулась, поставила локти на подоконник и вдруг, точно ее ударили по голове, бессильно опустилась на колени, закрыла лицо руками и глухо застонала.

Сложив тяжелые руки Егора на груди его, поправив на подушке странно тяжелую голову, мать, отирая слезы, подошла к Людмиле, наклонилась над нею, тихо погладила ее густые волосы. Женщина медленно повернулась к ней, ее матовые глаза болезненно расширились, она встала на ноги и дрожащими губами зашептала:

— Мы вместе жили в ссылке, шли туда, сидели в тюрьмах... Порою было невыносимо, отвратительно, многие падали духом...

Сухое, громкое рыдание перехватило ей горло, она поборола его и, приблизив к лицу матери свое лицо, смягченное нежным, грустным чувством, помолодившим ее, продолжала быстрым шопотом, рыдая без слез:

— А он всегда был неутомимо весел, шутил, смеялся, мужественно скрывая свои страдания... старался ободрить слабых. Добрый, чуткий, милый... Там, в Сибири, безделье развращает людей, часто вызывает к жизни дурные чувства — как он умел бороться с ними!.. Какой это был товарищ, если бы вы знали! Тяжела, мучительна была его личная жизнь, но никто не слышал жалоб его, никто, никогда! Я была близким другом ему, я многим обязана его сердцу, он дал мне все, что мог, от своего ума и, одинокий, усталый, никогда не просил взамен ни ласки, ни внимания...

Она подошла к Егору, наклонилась и, целуя его руку, тоскливо, негромко говорила:

— Товарищ, дорогой мой, милый, благодарю, благодарю всем сердцем, прощай! Буду работать, как ты, не уставая, без сомнений, всю жизнь!.. Прощай!

Рыдания потрясали ее тело, и, задыхаясь, она положила голову на койку у ног Егора. Мать молча плакала обильными слезами. Она почему-то старалась удержать их, ей хотелось приласкать Людмилу особой, сильной

лаской, хотелось говорить о Егоре хорошими словами любви и печали. Сквозь слезы она смотрела в его опавшее лицо, в глаза, дремотно прикрытые опущенными веками, на губы, темные, застывшие в легкой улыбке. Было тихо и скучно светло...

Вошел Иван Данилович, как всегда, торопливыми, мелкими шагами, — вошел, вдруг остановился среди комнаты и, быстрым жестом сунув руки в карманы, спросил нервно и громко:

— Давно?..

Ему не ответили. Он, тихо покачиваясь на ногах и потирая лоб, подошел к Егору, пожал руку его и отошел в сторону.

— Неудивительно, с его сердцем это должно было случиться полгода назад... по крайней мере...

Его высокий, неуместно громкий, насильственно спокойный голос вдруг порвался. Прислонясь спиной к стене, он быстрыми пальцами крутил бородку и, часто мигая глазами, смотрел на группу у койки.

— Еще один! — сказал он тихо.

Людмила встала, отошла к окну, открыла его. Через минуту они все трое стояли у окна, тесно прижимаясь друг к другу, и смотрели в сумрачное лицо осенней ночи. Над черными вершинами деревьев сверкали звезды, бесконечно углубляя даль небес...

Людмила взяла мать под руку и молча прижалась к ее плечу. Доктор, низко наклонив голову, протирал платком пенсне. В тишине за окном устало вздыхал вечерний шум города, холод веял в лица, шевелил волосы на головах. Людмила вздрагивала, по щеке ее текла слеза. В коридоре больницы металась измятая, напуганная звуки, торопливое шарканье ног, стоны, унылый шопот. Люди, неподвижно стоя у окна, смотрели во тьму и молчали.

Мать почувствовала себя лишней и, осторожно освободив руку, пошла к двери, поклонясь Егору.

— Вы уходите? — тихо и не оглядываясь, спросил доктор.

— Да...

На улице она подумала о Людмиле, вспомнив ее скучные слезы:

«И поплакать-то не умеет...»

Предсмертные слова Егора вызвали у нее тихий вздох. Медленно шагая по улице, она вспоминала его живые глаза, его шутки, рассказы о жизни.

«Хорошему человеку жить трудно, умереть — легко... Как-то я помирать буду?..»

Потом представила себе Людмилу и доктора у окна в белой, слишком светлой комнате, мертвые глаза Егора позади них и, охваченная гнетущей жалостью к людям, тяжело вздохнула и пошла быстрее — какое-то смутное чувство торопило ее.

«Надо скорее!» — думала она, подчиняясь грустной, но бодрой силе, мягко толкавшей ее изнутри.

XI

Весь следующий день мать провела в хлопотах, устраивая похороны, а вечером, когда она, Николай и Софья пили чай, явилась Сашенька, странно шумная и оживленная. На щеках у нее горел румянец, глаза весело блестели, и вся она, казалось матери, была наполнена какой-то радостной надеждой. Ее настроение резко и бурно вторглось в печальный тон воспоминаний об умершем и, не сливаясь с ним, смутило всех и ослепило, точно огонь, неожиданно вспыхнувший во тьме. Николай, задумчиво постукивая пальцем по столу, сказал:

— Вы не похожи на себя сегодня, Саша...

— Да? Может быть! — ответила она и засмеялась счастливым смехом.

Мать посмотрела на нее с молчаливым упреком, а Софья напоминающим тоном заметила:

— А мы говорили об Егоре Ивановиче...

— Какой чудесный человек, не правда ли? — воскликнула Саша. — Я не видала его без улыбки на лице, без шутки. И как он работал! Это был художник революции, он владел революционной мыслью, как великий мастер. С какой простотой и силой он рисовал всегда картины лжи, насилий, неправды.

Она говорила негромко, с задумчивой улыбкой в глазах, но эта улыбка не угасала в ее взгляде огня не понятного никому, но всеми ясно видимого ликования.

Им не хотелось уступить настроению печали о товарище чувству радости, внесенному Сашей, и, бессознательно защищая свое грустное право питаться горем, они невольно старались ввести девушку в круг своего настроения...

— И вот он умер! — внимательно глядя на нее, настойчиво сказала Софья.

Саша оглянула всех быстрым, спрашивающим взглядом, брови ее нахмурились. И, опустив голову, замолчала, поправляя волосы медленным жестом.

— Умер? — громко сказала она после паузы и снова окинула всех вызывающими глазами. — Что значит — умер? Что — умерло? Разве умерло мое уважение к Егору, моя любовь к нему, товарищу, память о работе мысли его, разве умерла эта работа, исчезли чувства, которые он вызвал в моем сердце, разбито представление мое о нем как о мужественном, честном человеке? Разве все это умерло? Это не умрет для меня никогда, я знаю. Мне кажется, мы слишком торопимся сказать о человеке — он умер. «Мертвы уста его, но слово вечно да будет жить в сердцах живых!»

Взволнованная, она снова села к столу, облокотилась на него и тише, вдумчивее продолжала, с улыбкой глядя на товарищей затуманенными глазами:

— Может быть, я говорю глупо, но — я верю, товарищи, в бессмертие честных людей, в бессмертие тех, кто дал мне счастье жить прекрасной жизнью, которой я живу, которая радостно опьяняет меня удивительной сложностью своей, разнообразием явлений и ростом идей, дорогих мне, как сердце мое. Мы, может быть, слишком бережливы в трате своих чувств, много живем мыслью, и это несколько искажает нас, мы оцениваем, а не чувствуем...

— С вами случилось что-нибудь хорошее? — спросила Софья, улыбаясь.

— Да! — кивнув головой, сказала Саша. — Очень, мне кажется! Я всю ночь беседовала с Весовщиковым. Я не любила его раньше, он мне казался грубым и темным. Да он и был таким, несомненно. В нем жило неподвижное, темное раздражение на всех, он всегда как-то убийственно тяжело ставил себя в центре всего и грубо,

озлобленно говорил — я, я, я! В этом было что-то мещанское, раздражающее...

Она улыбнулась и снова обвела всех сияющим взглядом.

— Теперь он говорит — товарищи! И надо слышать, как он это говорит. С какой-то смущенной, мягкой любовью, — этого не передашь словами! Стал удивительно прост и искренен и весь переполнен желанием работы. Он нашел себя, видит свою силу, знает, чего у него нет; главное, в нем родилось истинно товарищеское чувство...

Власова слушала речь Саши, и ей было приятно видеть суровую девушку смягченной, радостной. Но в то же время где-то глубоко в ее душе зарождалась ревнивая мысль:

«А как же Паша-то?..»

— Он, — продолжала Саша, — весь охвачен мыслями о товарищах, и знаете, в чем убеждает меня? В необходимости устроить для них побег, да! Он говорит, что это очень просто и легко...

Софья подняла голову и оживленно сказала:

— А вы как думаете, Саша? Это — мысль!

Чашка чая в руке матери задрожала. Саша нахмурила брови, сдерживая свое оживление, помолчала и серьезным голосом, но радостно улыбаясь, сбивчиво проговорила:

— Если, действительно, все так, как он говорит, — мы должны попытаться! Это наша обязанность!..

Она покраснела, опустила на стул, замолчала.

«Милая ты моя, милая!» — улыбаясь, думала мать. Софья тоже улыбнулась, а Николай, мягко глядя в лицо Саши, тихо засмеялся. Тогда девушка подняла голову, строго посмотрела на всех и, бледная, сверкнув глазами, сухо, с обидой в голосе, сказала:

— Вы смеетесь, я понимаю вас... Вы считаете меня лично заинтересованной?

— Почему, Саша? — лукаво спросила Софья, вставая и подходя к ней. Вопрос этот показался матери лишним и обидным для девушки, она вздохнула и, подняв бровь, с упреком посмотрела на Софью.

— Но — я отказываюсь! — воскликнула Саша. — Я не приму участия в решении вопроса, если вы будете рассматривать его...

— Перестаньте, Саша! — спокойно сказал Николай.

Мать тоже подошла к ней и, наклонясь, осторожно погладила ее голову. Саша схватила ее руку и, подняв кверху покрасневшее лицо, смущенно взглянула в лицо матери. Та улыбнулась и, не найдя, что сказать Саше, печально вздохнула. А Софья села рядом с Сашей на стул, обняла за плечи и, с любопытной улыбкой заглядывая ей в глаза, сказала:

— Вы чудачка!..

— Да, я, кажется, наглупила...

— Как могли вы подумать... — продолжала Софья. Но Николай деловито и серьезно прервал ее:

— Об устройстве побега, если он возможен, — не может быть двух мнений. Прежде всего — мы должны знать, хотят ли этого заключенные товарищи...

Саша опустила голову.

Софья, закуривая папиросу, взглянула на брата и широко жестом бросила спичку куда-то в угол.

— Как, чай, им не хотеть! — вздохнув, сказала мать. — Только не верю я, что можно это...

Все молчали, а ей так хотелось послушать еще о возможности побега!

— Мне нужно повидаться с Весовщиковым! — сказала Софья.

— Завтра я скажу вам, когда и где! — негромко ответила Саша.

— Что он будет делать? — спросила Софья, расхаживая по комнате.

— Его решили пристроить наборщиком в новую типографию. А до того времени проживет у лесничего.

Брови Саши нахмурились, лицо приняло обычное суровое выражение, и голос звучал сухо. Николай подошел к матери, переминая чашки, и сказал ей:

— Вы послезавтра на свидание идете, так надо передать Павлу записку. Понимаете — нужно знать...

— Я понимаю, понимаю! — торопливо отозвалась она. — Я уж передам...

— Я уйду! — заявила Саша и, быстро, молча пожав всем руки, шагая как-то особенно твердо, ушла, прямая и сухая.

Софья положила руки на плечи матери и, покачивая ее на стуле, с улыбкой спросила:

— Вы, Ниловна, любили бы такую дочь?..

— О, господи! Хоть бы день один видеть их вместе! — воскликнула Власова, готовая заплакать.

— Да, немножко счастья — это хорошо для каждого!.. — негромко заметил Николай. — Но нет людей, которые желали бы немножко счастья. А когда его много — оно дешево...

Софья села за пианино и начала играть что-то грустное.

XII

На другой день поутру несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вынесут на улицу гроб их товарища. Вокруг них осторожно кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные возгласы, запоминая лица, манеры и слова, а с другой стороны улицы на них смотрела группа полицейских с револьверами у пояса. Нахальство шпионов, насмешливые улыбки полиции и ее готовность показать свою силу раздражали толпу. Иные, скрывая свое раздражение, шутили, другие угрюмо смотрели в землю, стараясь не замечать оскорбительного, третьи, не сдерживая гнева, иронически смеялись над администрацией, которая боится людей, вооруженных только словом. Бледноголубое небо осени светло смотрело в улицу, вымощенную круглыми серыми камнями, усеянную желтой листвой, и ветер, взметывая листья, бросал их под ноги людей.

Мать стояла в толпе и, наблюдая знакомые лица, с грустью думала:

«Немного вас, немного! А рабочего народа — нег почти...»

Отворились ворота, на улицу вынесли крышку гроба с венками в красных лентах. Люди дружно сняли шляпы — точно стая черных птиц взлетела над их головами. Высокий полицейский офицер с густыми черными усами

на красном лице быстро шел в толпу, за ним, бесцеремонно расталкивая людей, шагали солдаты, громко стуча тяжелыми сапогами по камням. Офицер сказал сиплым, командующим голосом:

— Прошу снять ленты!

Его тесно окружили мужчины и женщины, что-то говорили ему, размахивая руками, волнуясь, отталкивая друг друга. Перед глазами матери мелькали бледные, возбужденные лица с трясущимися губами, по лицу одной женщины катились слезы обиды...

— Долой насилие! — крикнул чей-то молодой голос и одиноко потерялся в шуме спора.

Мать тоже почувствовала в сердце горечь и, обращаясь к соседу своему, бедно одетому молодому человеку, сказала возмущенно:

— И похоронить человека не дают, как хочется товарищам, — что уж это!

Росла враждебность, над головами людей качалась крышка гроба, ветер играл лентами, окутывая головы и лица, и был слышен сухой и нервный шелест шелка.

Мать обнял страх возможного столкновения, она торопливо и негромко говорила направо и налево:

— Бог с ними, коли так, — снять бы ленты! Уступить бы, что уж!..

Громкий и резкий голос звучал, заглушая шум:

— Мы требуем, чтобы нам не мешали проводить в последний путь замученного вами...

Кто-то высоко и тонко запел:

Вы жертвою пали в борьбе...

— Прошу снять ленты! Яковлев, срежь!

Был слышен лязг вынимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика. Но стало тише, люди ворчали, огрызались, как затравленные волки. Потом молча, низко опустив головы, они двинулись вперед, наполняя улицу шорохом шагов.

Впереди плыла в воздухе ограбленная крышка гроба со смятыми венками, и, качаясь с боку на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару, ей не было видно гроба в густой, тесно окружившей его толпе, которая незаметно выросла и заполнила собой всю широту

улицы. Сзади толпы тоже возвышались серые фигуры верховых, по бокам, держа руки на шашках, шагала пешая полиция, и всюду мелькали знакомые матери острые глаза шпионов, внимательно щупавшие лица людей.

Прощай, наш товарищ, прощай...

— грустно запели два красивых голоса.

— Не надо! — раздался крик. — Будем молчать, господа!

В этом крике было что-то суровое, внушительное. Печальная песня оборвалась, говор стал тише, и только твердые удары ног о камни наполняли улицу глухим, ровным звуком. Он поднимался над головами людей, уплывавая в прозрачное небо, и сотрясал воздух подобно отзвуку первого грома еще далекой грозы. Холодный ветер, все усиливаясь, враждебно нес встречу людям пыль и сор городских улиц, раздувал платье и волосы, слепил глаза, бил в грудь, путался в ногах...

Эти молчаливые похороны без попов и щемящего душу пения, задумчивые лица, нахмуренные брови вызывали у матери жуткое чувство, а мысль ее, медленно кружась, одевала впечатления в грустные слова.

«Немного вас, которые за правду...»

Она шагала, опустив голову, и ей казалось, что это хоронят не Егора, а что-то другое, привычное, близкое и нужное ей. Ей было тоскливо, неловко. Сердце наполнялось шероховатым тревожным чувством несогласия с людьми, провожавшими Егора.

«Конечно, — думала она, — Егорушка в бога не верил, и все они тоже...»

Но не хотела окончить свою мысль и вздыхала, желая столкнуть тяжесть с души.

«О, господи, господи Иисусе Христе! Неужто и меня вот так...»

Пришли на кладбище и долго кружились там по узким дорожкам среди могил, пока не вышли на открытое пространство, усеянное низенькими белыми крестами. Стопились около могилы и замолчали. Суровое молчание живых среди могил обещало что-то страшное, отчего сердце матери вздрогнуло и замерло в ожидании. Между крестов

свистел и выл ветер, на крышке гроба печально трепетали измятые цветы...

Полиция насторожилась, вытянулась, глядя на своего начальника. Над могилой встал высокий молодой человек без шапки, с длинными волосами, чернобровый, бледный. И в то же время раздался сиплый голос начальника полиции:

— Господа...

— Товарищи! — громко и звучно начал чернобровый.

— Позвольте! — крикнул полицейский. — Объявляю, что не могу допустить речей...

— Я скажу всего несколько слов! — спокойно заявил молодой человек. — Товарищи! Над могилой нашего учителя и друга давайте поклянемся, что не забудем никогда его заветы, что каждый из нас будет всю жизнь неустанно рыть могилу источнику всех бед нашей родины, злой силе, угнетающей ее, — самодержавию!

— Арестовать! — крикнул полицейский, но его голос заглушил нестройный взрыв криков:

— Долой самодержавие!

Расталкивая толпу, полицейские бросились к оратору, а он, тесно окруженный со всех сторон, кричал, взмахнув рукой:

— Да здравствует свобода!

Мать оттолкнули в сторону, там она в страхе прислонилась к кресту и, ожидая удара, закрыла глаза. Буйный вихрь нестройных звуков оглушал ее, земля качалась под ногами, ветер и страх затрудняли дыхание. Тревожно носились по воздуху свистки полицейских, раздавался грубый, командующий голос, истерично кричали женщины, трещало дерево оград, и глухо звучал тяжелый топот ног по сухой земле. Это длилось долго, и стоять с закрытыми глазами ей стало невыносимо страшно.

Она взглянула и, крикнув, бросилась вперед, протягивая руки. Недалеко от нее, на узкой дорожке, среди могил, полицейские, окружив длинноволосого человека, отбивались от толпы, нападавшей на них со всех сторон. В воздухе бело и холодно мелькали обнаженные шашки, взлетая над головами и быстро падая вниз. Мелькали трости, обломки оград, в дикой пляске кружились крики сцепившихся людей, возвышалось бледное лицо молодого

человека, — над бурей злобного раздражения гудел его крепкий голос:

— Товарищи! На что тратите себя?..

Он побеждал. Бросая палки, люди один за другим отскакивали прочь, а мать все пробивалась вперед, увлекаемая неодолимой силой, и видела, как Николай, в шляпе, сдвинутой на затылок, отталкивал в сторону охмеленных злобой людей, слышала его упрекающий голос:

— Вы с ума сошли! Да успокойтесь же!..

Ей казалось, что одна рука у него красная.

— Николай Иванович, уйдите! — закричала она, бросаясь к нему.

— Куда вы? Вас там ударят...

Схватив ее за плечо, рядом с нею стояла Софья, без шляпы, с растрепанными волосами, поддерживая молодого парня, почти мальчика. Он отирал рукой разбитое, окровавленное лицо и бормотал дрожащими губами:

— Пустите, ничего...

— Займитесь им, отвезите к нам! Вот платок, завяжите лицо!.. — быстро говорила Софья и, вложив руку парня в руку матери, побежала прочь, говоря: — Скорее уходите, арестуют!..

По всем направлениям кладбища расходились люди, за ними, между могил, тяжело шагали полицейские, неуклюже путаясь в полах шинелей, ругаясь и размахивая шашками. Парень провожал их волчьим взглядом.

— Идем скорее! — тихо крикнула мать, отирая платком его лицо.

Он бормотал, выплевывая кровь:

— Да вы не беспокойтесь, — не больно мне. Он меня ручкой сабли... Ну, и я его тоже, — ка-ак дам палкой! Даже завыл он!..

И, потрясая окровавленным кулаком, закончил срывающимся голосом:

— Погодите, не то будет. Мы вас раздавим без драки, когда мы встанем, весь рабочий народ!

— Скорее! — торопила мать, быстро шагая к маленькой калитке в ограде кладбища. Ей казалось, что там, за оградой, в поле спряталась и ждет их полиция и, как только они выйдут, — она бросится на них, начнет бить. Но когда, осторожно открыв дверку, она выглянула

в поле, олетое серыми тканями осенних сумерек, — тишина и безлюдье сразу успокоили ее.

— Дайте-ка я завяжу вам лицо-то, — говорила она.

— Да не надо, мне и так не стыдно! Драка честная: он — меня, я — его...

Мать наскоро перевязала рану. Вид крови наполнял ей грудь жалостью, и, когда пальцы ее ощущали влажную теплоту, дрожь ужаса охватывала ее. Она молча и быстро повела раненого полем, держа его за руку. Освободив рот, он с усмешкой в голосе говорил:

— Куда вы меня тащите, товарищ? Я сам могу идти!..

Но она чувствовала, что он шатается, ноги его шагают нетвердо и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа:

— Я жестяник Иван, — а вы кто? Нас трое было в кружке Егора Ивановича, — жестяников трое... а всех одиннадцать. Очень мы любили его — царство ему небесное! Хотя я не верю в бога...

В одной из улиц мать наняла извозчика, усадив Ивана в экипаж, шепнула ему:

— Теперь молчите! — и осторожно закутала рот ему платком.

Он поднял руку к лицу и — уже не мог освободить рта, рука бессильно упала на колени. Но все-таки продолжал бормотать сквозь платок:

— Ударов этих я вам не забуду, милые мои... А до него с нами занимался студент Титович... политической экономией... Потом арестовали...

Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на грудь, парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Замирая от страха, она исподлобья смотрела по сторонам, ей казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут полицейские, увидят завязанную голову Ивана, схватят его и убьют.

— Выпил? — спросил извозчик, обернувшись на козлах и добродушно улыбаясь.

— Хватил горячего до слез! — вздохнув, ответила мать.

— Сын?

— Да, сапожник. А я в кухарках живу...

— Маешься. Та-ак...

Махнув кнутом на лошадь, извозчик опять обернулся и тише продолжал:

— А сейчас, слышь, на кладбище драка была!.. Хорошили, значит, одного политического человека, — из этих, которые против начальства... там у них с начальством спорные дела. Хорошили его тоже этикие, дружки его, стало быть. И давай там кричать — долой начальство, оно, дескать, народ разоряет... Полиция бить их! Говорят, которых порубили насмерть. Ну, и полиции тоже попало... — Он замолчал и, сокрушенно покачивая головой, странным голосом выговорил: — Мертвых беспокоят, покойников будят!

Пролетка с треском подпрыгивала по камням, голова Ивана мягко толкала грудь матери, извозчик, сидя вполоборота, задумчиво бормотал:

— Идет волнение в народе, — беспорядок поднимается с земли, да! Вчера ночью в соседях у нас пришли жандармы, хлопотали чего-то вплоть до утра, а утром забрали с собой кузнеца одного и увели. Говорят, отведут его ночью на реку и тайно утопят. А кузнец — ничего человек был...

— Как звали его? — спросила мать.

— Кузнеца-то? Савел, а прозвище Евченко. Молодой еще, а уж много понимал. Понимать-то, видно, — запрещается! Придет, бывало, и говорит: «Какая ваша жизнь, извозчики?» — «Верно, — говорим, — жизнь хуже собачьей».

— Стой! — сказала мать.

Иван очнулся от толчка и тихо застонал.

— Развезло парня! — заметил извозчик. — Эх ты, водка — водочка...

С трудом переставляя ноги, качаясь всем телом, Иван шел по двору и говорил:

— Ничего, — я могу...

XIII

Софья была уже дома, она встретила мать с папиросой в зубах, суетливая, возбужденная.

Укладывая раненого на диван, она ловко развязывала его голову и распоряжалась, щуря глаза от дыма папиросы.

— Иван Данилович, привезли! Вы устали, Ниловна? Напугались, да? Ну, отдыхайте. Николай, Ниловне рюмку портвейна!

Ошеломленная пережитым, тяжело дыша и ощущая в груди болезненное покалывание, мать бормотала:

— Вы обо мне не беспокойтесь...

И всем существом своим трепетно просила внимания к себе, успокаивающей ласки.

Из соседней комнаты вышли Николай, с перевязанной рукой, и доктор Иван Данилович, весь растрепанный, ошетилившийся, как еж. Он быстро подошел к Ивану, наклонился над ним, говоря:

— Воды, больше воды, чистых полотняных тряпок, ваты!

Мать двинулась в кухню, но Николай взял ее под руку левой рукой и ласково сказал, уводя ее в столовую:

— Это не вам говорят, а Софье. Наволновались вы, милый человек, да?

Мать встретила его пристальный, участливый взгляд и с рыданием, которого не могла удержать, воскликнула:

— Что это было, голубчик вы мой! Рубили, людей рубили!

— Я видел! — подавая ей вино и кивнув головой, сказал Николай. — Погорячились немного обе стороны. Но вы не беспокойтесь — они били плашмя, и серьезно ранен, кажется, только один. Его ударили на моих глазах, я его и вытащил из свалки...

Лицо Николая и голос, тепло и свет в комнате успокаивали Власову. Благодарно взглянув на него, она спросила:

— Вас тоже ударили?

— Это я сам, кажется, неосторожно задел рукой за что-то и сорвал кожу. Пейте чай, — холодно, а вы одеты легко...

Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы ее покрыты пятнами запекшейся крови, невольным движением опустила руку на колени — юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она искоса смотрела на свои пальцы, голова у нее кружилась и в сердце стучало:

«Так вот и Пашу тоже, — могут!»

Вошел Иван Данилович в жилете, с засученными рукавами рубашки, и на молчаливый вопрос Николая сказал своим тонким голосом:

— На лице незначительная рана, а череп проломлен, хотя тоже не сильно, — парень здоровый! Однако много потерял крови. Будем отправлять в больницу?

— Зачем? Пускай остается здесь! — воскликнул Николай.

— Сегодня можно, ну, пожалуй, завтра, а потом мне удобнее будет, чтобы он лег в больницу. У меня нет времени делать визиты! Ты напишешь листок о событии на кладбище?

— Конечно! — ответил Николай.

Мать тихо встала и пошла на кухню.

— Куда вы, Ниловна? — беспокоясь, остановил он ее. — Соня одна управится!

Она взглянула на него и, вздрагивая, ответила, странно усмехаясь:

— В крови я...

Переодеваясь в своей комнате, она еще раз задумалась о спокойствии этих людей, о их способности быстро переживать страшное. Это отрезвляло ее, изгоняя страх из сердца. Когда она вошла в комнату, где лежал раненый, Софья, наклонясь над ним, говорила ему:

— Глупости, товарищ!

— Да я стеснять вас буду! — возражал он слабым голосом.

— А вы молчите, это вам полезнее...

Мать встала позади Софьи и, положив руки на ее плечо, с улыбкой глядя в бледное лицо раненого, усмехаясь, заговорила, как он бредил на извозчике и пугал ее неосторожными словами. Иван слушал, глаза его лихорадочно горели, он чмокал губами и тихо, смущенно восклицал:

— Ох... экий дурак!

— Ну, мы вас оставим! — поправив на нем одеяло, заявила Софья. — Отдохните!

Они ушли в столовую и там долго беседовали о событии дня. И уже относились к драме этой как к чему-то далекому, уверенно заглядывая в будущее, обсуждая приемы работы на завтра. Лица были утомлены, но мысли

бодры, и, говоря о своем деле, люди не скрывали недовольства собой. Нервно двигаясь на стуле, доктор, с усиленным притупляя свой тонкий, острый голос, говорил:

— Пропаганда, пропаганда! Этого мало теперь, работая молодежь права! Нужно шире поставить агитацию, — рабочие права, я говорю...

Николай хмуро и в тон ему отозвался:

— Отовсюду идут жалобы на недостаток литературы, а мы всё еще не можем поставить хорошую типографию. Людмила из сил выбивается, она захворает, если мы не дадим ей помощников...

— А Весовщиков? — спросила Софья.

— Он не может жить в городе. Он возьмется за дело только новой типографии, а для нее не хватает еще одного человека...

— Я не подойду? — тихо спросила мать.

Они все трое взглянули на нее и несколько секунд молчали.

— Хорошая мысль! — воскликнула Софья.

— Нет, это трудно для вас, Ниловна! — сухо сказал Николай. — Вам пришлось бы жить за городом, прекратить свидания с Павлом и вообще...

Вздохнув, она возразила:

— Для Паши это не велика потеря, да и мне эти свидания только душу рвут! Говорить ни о чем нельзя. Стоишь против сына душой, а тебе в рот смотрят, ждут — не скажешь ли чего лишнего...

События последних дней утомили ее, и теперь, услышав о возможности для себя жить вне города, вдали от его драм, она жадно ухватилась за эту возможность.

Но Николай замял разговор.

— О чем думаешь, Иван? — обратился он к доктору.

Подняв низко опущенную над столом голову, доктор угрюмо ответил:

— Мало нас, вот о чем! Необходимо работать энергичнее... и необходимо убедить Павла и Андрея бежать, они оба слишком ценны для того, чтобы сидеть без дела...

Николай нахмурил брови и сомнительно покачал головой, мельком взглянув на мать. Она поняла, что при

ней им неловко говорить о ее сыне, и ушла в свою комнату, унося в груди тихую обиду на людей за то, что они отнеслись так невнимательно к ее желанию. Лежа в постели с открытыми глазами, она, под тихий шопот голов, отдалась во власть тревог.

Иstekший день был мрачно непонятен и полон зловеших намеков, но ей тяжело было думать о нем, и, отталкивая от себя угрюмые впечатления, она задумалась о Павле. Ей хотелось видеть его на свободе, и в то же время это пугало ее: она чувствовала, что вокруг нее все обострится, грозит резкими столкновениями. Молчаливое терпение людей исчезало, уступая место напряженному ожиданию, заметно росло раздражение, звучали резкие слова, отовсюду веяло чем-то возбуждающим... Каждая прокламация вызывала на базаре, в лавках, среди прислуги и ремесленников оживленные толки, каждый арест в городе будил пугливое, недоумевающее, а иногда и бессознательно сочувственное эхо суждений о причинах ареста. Все чаще слышала она от простых людей когда-то пугавшие ее слова: бунт, социалисты, политика; их произносили насмешливо, но за насмешкой неумело прятался пытливый вопрос; со злобой — и за нею звучал страх; задумчиво — с надеждой и угрозой. Медленно, но широкими кругами по застоявшейся темной жизни расходилось волнение, просыпалась сонная мысль, и привычное, спокойное отношение к содержанию дня колебалось. Все это она видела яснее других, ибо лучше их знала унылое лицо жизни, и теперь, видя на нем морщины раздумья и раздражения, она и радовалась и пугалась. Радовалась — потому что считала это делом своего сына, боялась — зная, что если он выйдет из тюрьмы, то встанет впереди всех, на самом опасном месте. И погибнет.

Иногда образ сына вырастал перед нею до размеров героя сказки, он соединял в себе все честные, смелые слова, которые она слышала, всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Тогда, умиленная, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и, полная надежд, думала:

«Все будет хорошо, все!»

Ее любовь — любовь матери — разгоралась, сжимая сердце почти до боли, потом материнское мешало росту человеческого, сжигало его, и на месте великого чувства, в сером пепле тревоги, робко билась унылая мысль:

«Погибнет... пропадет!..»

XIV

В полдень она сидела в тюремной канцелярии против Павла и, сквозь туман в глазах рассматривая его бородатое лицо, искала случая передать ему записку, крепко сжатую между пальцев.

— Здоров, и все здоровы! — говорил он негромко. — Ну, а ты как?

— Ничего! Егор Иванович скончался! — машинально сказала она.

— Да? — воскликнул Павел и тихо опустил голову.

— На похоронах полиция дралась, арестовали одного! — простодушно продолжала она. Помощник начальника тюрьмы возмущенно чмокнул тонкими губами и, вскочив со стула, забормотал:

— Это запрещено, надо же понять! Запрещено говорить о политике!..

Мать тоже поднялась со стула и, как бы не понимая, виновато заявила:

— Я не о политике, о драке! А дрались они, это верно. И даже одному голову разбили...

— Все равно! Я прошу вас молчать! То есть молчать обо всем, что не касается лично вас — семьи и вообще дома вашего!

Чувствуя, что запутался, он сел за столом и, разбирая бумаги, уныло и утомленно добавил:

— Я — отвечаю, да...

Мать оглянулась и, быстро сунув записку в руку Павла, облегченно вздохнула.

— Не понимаешь, о чем говорить...

Павел усмехнулся.

— Я тоже не понимаю...

— Тогда не нужны и свидания! — раздраженно заметил чиновник. — Говорить не о чем, а ходят, беспокоят...

— Скоро ли суд-то? — помолчав, спросила мать.

— На-днях прокурор был, сказал, что скоро...

Они говорили друг другу незначительные, ненужные обоим слова, мать видела, что глаза Павла смотрят в лицо ей мягко, любовно. Все такой же ровный и спокойный, как всегда, он не изменился, только борода сильно отросла и старила его, да кисти рук стали белее. Ей захотелось сделать ему приятное, сказать о Николае, и она, не изменяя голоса, тем же тоном, каким говорила ненужное и неинтересное, продолжала:

— Крестника твоего видела...

Павел пристально взглянул ей в глаза, молча спрашивая. Желая напомнить ему о рябом лице Весовщикова, она постучала себя пальцем по щеке...

— Ничего, мальчик жив и здоров, на место скоро определится.

Сын понял, кивнул ей головой и с веселой улыбкой в глазах ответил:

— Это — хорошо!

— Ну, вот! — удовлетворенно произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью.

Прощаясь с нею, он крепко пожал руку ее.

— Спасибо, мать!

Ей хмелем бросилось в голову радостное чувство сердечной близости к нему, и, не находя сил ответить словами, она ответила молчаливым рукопожатием.

Дома она застала Сашу. Девушка обычно являлась к Ниловне в те дни, когда мать бывала на свидании. Она никогда не расспрашивала о Павле, и если мать сама не говорила о нем, Саша пристально смотрела в лицо ее и удовлетворялась этим. Но теперь она встретила ее беспокойным вопросом:

— Ну, что он?

— Ничего, здоров!

— Записку отдали?

— Конечно! Я так ловко ее сунула...

— Он читал?

— Где же? Разве можно!

— Да, я забыла! — медленно сказала девушка. — Подождем еще неделю, еще неделю! А как вы думаете — он согласится?

Она нахмурила брови и смотрела в лицо матери оставившимися глазами.

— Да я не знаю, — размышляла мать. — Почему не уйти, если без опасности это?

Саша тряхнула головой и сухо спросила:

— Вы не знаете, что можно есть больному? Он просит есть.

— Все можно, все! Я сейчас...

Она пошла в кухню, Саша медленно двинулась за ней.

— Помочь вам?

— Спасибо, что вы?!

Мать наклонилась к печке, доставая горшок. Девушка тихо сказала ей:

— Подождите...

Лицо ее побледнело, глаза тоскливо расширились, и дрожащие губы с усилием зашептали горячо и быстро:

— Я хочу вас просить. Я знаю — он не согласится! Уговорите его! Он — нужен, скажите ему, что он необходим для дела, что я боюсь — он захворает. Вы видите — суд все еще не назначен...

Ей, видимо, трудно было говорить. Она вся выпрямилась, смотрела в сторону, голос у нее звучал неровно. Утомленно опустив веки, девушка кусала губы, а пальцы крепко сжатых рук хрустели.

Мать была смята ее порывом, но поняла его и, взволнованная, полная грустного чувства, обняв Сашу, тихонько ответила:

— Дорогая вы моя! Никого он, кроме себя, не послушает, никого!

Они обе молчали, тесно прижавшись друг к другу. Потом Саша осторожно сняла с своих плеч руки матери и сказала, вздрагивая:

— Да, ваша правда! Все это глупости, нервы...

И вдруг, серьезная, просто кончила:

— Однако, давайте, покормим раненого...

Сидя у постели Ивана, она уже заботливо и ласково спрашивала:

— Сильно болит голова?

— Не очень, только смутно все! И слабость, — конфузливо натягивая одеяло к подбородку, отвечал Иван

и прищуривал глаза, точно от яркого света. Заметив, что он не решается есть при ней, Саша встала и ушла.

Иван сел на постели, взглянул вслед ей и, мигая, сказал:
— Кра-асивая!..

Глаза у него были светлые и веселые, зубы мелкие, плотные, голос еще не установился.

— Вам сколько лет? — задумчиво спросила мать.

— Семнадцать...

— Родители-то где?

— В деревне; я с десяти лет здесь, — кончил школу и — сюда! А вас как звать, товарищ?

Мать всегда смешило и трогало это слово, обращенное к ней. И теперь, улыбаясь, она спросила:

— На что вам знать?

Юноша, смущенно помолчав, объяснил:

— Видите, студент из нашего кружка, то есть который читал с нами, он говорил нам про мать Павла Власова, рабочего, — знаете, демонстрация Первого Мая?

Она кивнула головой и насторожилась.

— Он первый открыто поднял знамя нашей партии! — с гордостью заявил юноша, и его гордость созвучно отозвалась в сердце матери.

— Меня при том не было, — мы тогда думали здесь свою демонстрацию наладить — сорвалось! Мало нас было тогда. А на тот год — пожалуйста!.. Увидите!

Он захлебнулся от волнения, предвкушая будущие события, потом, размахивая в воздухе ложкой, продолжал:

— Так вот Власова — мать, говорю. Она тоже вошла в партию после этого. Говорят, такая — просто чудеса!

Мать широко улыbnулась, ей было приятно слышать восторженные похвалы мальчика. Приятно и неловко. Она даже хотела сказать ему: «Это я Власова!..», но удержалась и с мягкой насмешкой, с грустью, сказала себе: «Эх ты, старая дура!..»

— А вы — кушайте больше! Выздоровливайте скорее для хорошего дела! — вдруг взволнованно заговорила она, наклоняясь к нему.

Дверь отворилась, пахнуло сырым осенним холодом, вошла Софья, румяная, веселая.

— Шпионы за мной ухаживают, точно женихи за богатой невестой, честное слово! Надо мне убраться

отсюда... Ну, как, Ваня? Хорошо? Что Павел, Ниловна? Саша здесь?

Закуривая папиросу, она спрашивала и не ждала ответов, лаская мать и юношу взглядом серых глаз. Мать смотрела на нее и, внутренне улыбаясь, думала:

«Вот и я тоже выхожу в хорошие люди!»

И, снова наклонясь к Ивану, сказала:

— Выздоровливайте, сынок!

И ушла в столовую. Там Софья рассказывала Саше:

— У нее уже готово триста экземпляров! Она убьет себя такой работой! Вот — героизм! Знаете, Саша, это большое счастье жить среди таких людей, быть их товарищем, работать с ними...

— Да! — тихо ответила девушка.

Вечером за чаем Софья сказала матери:

— А вам, Ниловна, снова надо посетить деревню.

— Ну, что же! Когда?

— Дня через три — можете?

— Хорошо...

— Вы поезжайте! — негромко посоветовал Николай. — Наймите почтовых лошадей и, пожалуйста, дорогой дорогой, через Никольскую волость...

Он замолчал и нахмурился. Это не шло к его лицу, странно и некрасиво изменяя всегда спокойное выражение.

— Через Никольское далеко! — заметила мать. — И дорого на лошадях...

— Видите ли что, — продолжал Николай. — Я, вообще, против этой поездки. Там беспокойно, — были уже аресты, взят какой-то учитель, надо быть осторожнее. Следовало бы выждать время...

Софья, постукивая пальцами по столу, заметила:

— Нам важно сохранить непрерывность в распространении литературы. Вы не боитесь ехать, Ниловна? — вдруг спросила она.

Мать почувствовала себя задетой.

— Когда же я боялась? И в первый раз делала это без страха... а тут вдруг... — Не кончив фразу, она опустила голову. Каждый раз, когда ее спрашивали — не боится ли она, удобно ли ей, может ли она сделать то или это, — она слышала в подобных вопросах просьбу

к ней, ей казалось, что люди отодвигают ее от себя в сторону, относятся к ней иначе, чем друг к другу.

— Напрасно вы меня спрашиваете — боюсь ли я, — заговорила она, вздыхая, — друг друга вы не спрашиваете насчет страха.

Николай торопливо снял очки, снова надел их и пристально взглянул в лицо сестры. Смущенное молчание встревожило Власову, она виновато поднялась со стула, желая что-то сказать им, но Софья дотронулась до ее руки и тихонько попросила:

— Простите меня! Я больше не буду!

Это рассмешило мать, и через несколько минут все трое озабоченно и дружно говорили о поездке в деревню.

XV

На рассвете мать тряслась в почтовой бричке по размытой осенним дождем дороге. Дул сырой ветер, летели брызги грязи, а ямщик, сидя на облучке вполоборота к ней, задумчиво и гнусаво жаловался:

— Я ему говорю — брату то есть, — что ж, давай делиться! Начали мы делиться...

Он вдруг хлестнул кнутом левую лошадь и озлобленно крикнул:

— Н-но! Играй, мать твоя ведьма!..

Жирные осенние вороны озабоченно шагали по голым пашням, холодно посвистывая, налетал на них ветер. Вороны подставляли ударам ветра свои бока, он раздувал им перья, сбивая с ног, тогда они, уступая силе, ленивыми взмахами крыльев перелетали на новое место.

— Ну, обделил он меня. Вижу я — нечем мне взяться, — говорил ямщик.

Мать слышала его слова точно сквозь сон, память строила перед нею длинный ряд событий, пережитых за последние годы, и, пересматривая их, она повсюду видела себя. Раньше жизнь создавалась где-то вдали, неизвестно кем и для чего, а вот теперь многое делается на ее глазах, с ее помощью. И это вызывало у нее спутанное чувство недоверия к себе и довольства собой, недоумения и тихой грусти...

Все вокруг колебалось в медленном движении, в небе, тяжело обгоняя друг друга, плыли серые тучи, по сторонам дороги мелькали мокрые деревья, качая нагими вершинами, расходились кругом поля, выступали холмы, расплывались.

Гнусавый голос ямщика, звон бубенцов, влажный свист и шорох ветра сливались в трепетный, извилистый ручей, он тек над полем с однообразной силой...

— Богатому и в раю тесно, — такое дело!.. Начал он жать, начальство ему приятели, — качаясь на облучке, тянул ямщик.

Когда приехали на станцию, он отпряг лошадей и сказал матери безнадежным голосом:

— Дала бы ты мне пятак, — хоть бы выпил я!

Она дала монету, и, встряхнув ее на ладони, ямщик тем же тоном известил мать:

— На три — водки выпью, на две — хлеба съем...

После полудня, разбитая, озябшая, мать приехала в большое село Никольское, прошла на станцию, спросила себе чаю и села у окна, поставив под лавку свой тяжелый чемодан. Из окна было видно небольшую площадь, покрытую затоптанным ковром желтой травы, волостное правление — темносерый дом с провисшей крышей. На крыльце волости сидел лысый длиннородый мужик в одной рубашке и курил трубку. По траве шла свинья. Недовольно встряхивая ушами, она тыкалась рылом в землю и покачивала головой.

Плыли тучи темными массами, наваливались друг на друга. Было тихо, сумрачно и скучно, жизнь точно спряталась куда-то, притаилась.

Вдруг на площадь галопом прискакал урядник, осадил рыжую лошадь у крыльца волости и, размахивая в воздухе нагайкой, закричал на мужика — крики толкались в стекла окна, но слов не было слышно. Мужик встал, протянул руку, указывая вдаль, урядник прыгнул на землю, зашатался на ногах, бросил мужику повод, хватаясь руками за перила, тяжело поднялся на крыльцо и исчез в дверях волости...

Снова стало тихо. Лошадь дважды ударила копытом по мягкой земле. В комнату вошла девочка-подросток, с короткой желтой косой на затылке и ласковыми глазами

на круглом лице. Закусив губы, она несла на вытянутых руках большой, уставленный посудой поднос с измятыми краями и кланялась, часто кивая головой.

— Здравствуй, умница! — ласково сказала мать.

— Здравствуйте!

Расставляя по столу тарелки и чайную посуду, девочка вдруг оживленно объявила:

— Сейчас разбойника поймали, ведут!

— Какого же это разбойника?

— Не знаю...

— А что он сделал?

— Я не знаю! — повторила девочка. — Я только слышала — поймали! Сторож из волости за станovým побежал.

Мать посмотрела в окно, — на площади явились мужики. Иные шли медленно и степенно, другие — торопливо застегивая на ходу полушубки. Остановиваясь у крыльца волости, все смотрели куда-то влево.

Девочка тоже взглянула на улицу и убежала из комнаты, громко хлопнув дверь. Мать вздрогнула, подвинула свой чемодан глубже под лавку и, накинув на голову шаль, пошла к двери, спеша и сдерживая вдруг охватившее ее непонятное желание идти скорее, бежать...

Когда она вышла на крыльцо, острый холод ударил ей в глаза, в грудь, она задохнулась, и у нее одеревенели ноги — посредине площади шел Рыбин со связанными за спиной руками, рядом с ним шагали двое сотских, мерно ударяя о землю палками, а у крыльца волости стояла толпа людей и молча ждала.

Ошеломленная, мать неотрывно смотрела, — Рыбин что-то говорил, она слышала его голос, но слова исчезали без эха в темной дрожащей пустоте ее сердца.

Она очнулась, перевела дыхание — у крыльца стоял мужик с широкой, светлой бородой, пристально глядя голубыми глазами в лицо ей. Кашляя и потирая горло обесиленными страхом руками, она с трудом спросила его:

— Это что же?

— А вот — глядите! — ответил мужик и отвернулся. Подошел еще мужик и встал рядом.

Сотские остановились перед толпой, она все росла быстро, но молча, и вот над ней вдруг густо поднялся голос Рыбина.

— Православные! Слыхали вы о верных грамотах, в которых правда писалась про наше крестьянское житье? Так вот — за эти грамоты страдаю, это я их в народ раздавал!

Люди окружали Рыбина теснее. Голос его звучал спокойно, мерно. Это отрезвляло мать.

— Слышишь? — толкнув в бок голубоглазого мужика, тихонько спросил другой. Тот, не отвечая, поднял голову и снова взглянул в лицо матери. И другой мужик тоже посмотрел на нее — он был моложе первого, с темной редкой бородкой и пестрым от веснушек, худым лицом. Потом оба они отодвинулись от крыльца в сторону.

«Боятся!» — невольно отметила мать.

Внимание ее обострялось. С высоты крыльца она ясно видела избитое, черное лицо Михаила Ивановича, различала горячий блеск его глаз, ей хотелось, чтобы он тоже увидел ее, и она, приподнимаясь на ногах, вытягивала шею к нему.

Люди смотрели на него хмуро, с недоверием и молчали. Только в задних рядах толпы был слышен подавленный говор.

— Крестьяне! — полным и тугим голосом говорил Рыбин. — Бумагам этим верьте, — я теперь за них, может, смерть приму, били меня, истязали, хотели выпытать — откуда я их взял, и еще бить будут, — все стерплю! Потому — в этих грамотах правда положена, правда эта дороже хлеба для нас должна быть, — вот!

— Зачем он это говорит? — тихо воскликнул один из мужиков у крыльца. Голубоглазый медленно ответил:

— Теперь все равно — двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Люди стояли молчаливо, смотрели исподлобья, сумрачно, на всех как будто лежало что-то невидимое, но тяжелое.

На крыльце явился урядник и, качаясь, пьяным голосом заревел:

— Это кто говорит?

Он вдруг скатился с крыльца, схватил Рыбина за волосы и, дергая его голову вперед, отталкивая назад, кричал:

— Это ты говоришь, сукин сын, это ты?

Толпа покачнулась, загудела. Мать в бессильной тоске опустила голову. И снова раздался голос Рыбина:

— Вот, глядите, люди добрые...

— Молчать! — Урядник ударил его в ухо. Рыбин пошатнулся на ногах, повел плечами.

— Связали руки вам и мучают, как хотят...

— Сотские! Веди его! Разойдись, народ! — Прыгая перед Рыбиным, как цепная собака перед куском мяса, урядник толкал его кулаками в лицо, в грудь, в живот.

— Не бей! — крикнул кто-то в толпе.

— Зачем бьешь? — поддержал другой голос.

— Идем! — сказал голубоглазый мужик, кивнув головой. И они оба не спеша пошли к волости, а мать проводила их добрым взглядом. Она облегченно вздохнула — урядник снова тяжело взбежал на крыльцо и оттуда, грозя кулаком, иступленно орал:

— Веди его сюда! Я говорю...

— Не надо! — раздался в толпе сильный голос — мать поняла, что это говорил мужик с голубыми глазами. — Не допускай, ребята! Уведут туда — забьют до смерти. Да на нас же потом скажут, — мы, дескать, убили! Не допускай!

— Крестьяне! — гудел голос Михайлы. — Разве вы не видите жизни своей, не понимаете, как вас грабят, как обманывают, кровь вашу пьют? Все вами держится, вы — первая сила на земле, — а какие права имеете? С голоду издыхать — одно ваше право!..

Мужики вдруг закричали, перебивая друг друга.

— Правильно говорит!

— Станового зовите! Где становой?..

— Урядник поскакал за ним...

— Пьяный-то!..

— Не наше дело начальство собирать...

Шум все рос, поднимался выше.

— Говори! Не дадим бить...

— Развяжите руки ему...

— Гляди, — греха не было бы!..

— Больно руки мне! — покрывая все голоса, ровно и звучно говорил Рыбин. — Не убегу я, мужики! От правды моей не скроюсь, она во мне живет...

Несколько человек солидно отошли от толпы в разные стороны, вполголоса переговариваясь и покачивая головами. Но все больше сбегалось плохо и наскоро одетых, возбужденных людей. Они кипели темной пеной вокруг Рыбина, а он стоял среди них, как часовня в лесу, поднимая руки над головой и, потрясая ими, кричал в толпу:

— Спасибо, люди добрые, спасибо! Мы сами должны друг дружке руки освободить, — так! Кто нам поможет?

Он отер бороду и снова поднял руку, всю в крови.

— Вот кровь моя, — за правду льется!

Мать сошла с крыльца, но с земли ей не видно было Михайлы, сжатого народом, и она снова поднялась на ступени. В груди у нее было горячо, и что-то неясно радостное трепетало там.

— Крестьяне! Ищите грамотки, читайте, не верьте начальству и попам, когда они говорят, что безбожники и бунтовщики те люди, которые для нас правду несут. Правда тайно ходит по земле, она гнезд ищет в народе, — начальству она вроде ножа и огня, не может оно принять ее, зарежет она его, сожжет! Правда вам — друг добрый, а начальству — заклятый враг! Вот отчего она прячется!..

Снова в толпе вспыхнуло несколько восклицаний.

— Слушай, православные!..

— Эх, брат, пропадешь ты...

— Кто тебя выдал?

— Поп! — сказал один из сотских.

Двое мужиков крепко выругались.

— Гляди, ребята! — раздался предупреждающий крик.

XVI

К толпе шел становой пристав, высокий, плотный человек с круглым лицом. Фуражка у него была надета набок, один ус закручен вверх, а другой опускался вниз, и от этого лицо его казалось кривым, обезображенным тупой, мертвой улыбкой. В левой руке он нес шашку, а правой размахивал в воздухе. Были слышны его шаги,

тяжелые и твердые. Толпа расступалась перед ним. Что-то угрюмое и подавленное появилось на лицах, шум смолкал, понижался, точно уходил в землю. Мать чувствовала, что на лбу у нее дрожит кожа и глазам стало горячо. Ей снова захотелось пойти в толпу, она наклонилась вперед и замерла в напряженной позе.

— Что такое? — спросил пристав, остановясь против Рыбина и меряя его глазами. — Почему не связаны руки? Сотские! Связать!

Голос у него был высокий и звонкий, но бесцветный.

— Были связаны, — народ развязал! — ответил один из сотских.

— Что? Народ? Какой народ?

Становой посмотрел на людей, стоявших перед ним полукругом. И тем же однотонным, белым голосом, не повышая, не понижая его, продолжал:

— Это кто — народ?

Он ткнул наотмашь эфесом шашки в грудь голубоглазого мужика.

— Это ты, Чумаков, народ? Ну, кто еще? Ты, Мишин?

И дернул кого-то правой рукой за бороду.

— Разойдись, сволочь!.. А то я вас, — я вам покажу!

В голосе, на лице его не было ни раздражения, ни угрозы, он говорил спокойно, бил людей привычными, ровными движениями крепких, длинных рук. Люди отступали перед ним, опуская головы, повертывая в сторону лица.

— Ну? Вы что же? — обратился он к сотским. — Вяжи!

Выругался циничными словами, снова посмотрел на Рыбина и громко сказал ему:

— Руки назад, — ты!

— Не хочу я, чтобы вязали руки мне! — заговорил Рыбин. — Бежать не собираюсь, не дерусь, — зачем связывать меня?

— Что? — спросил пристав, шагнув к нему.

— Довольно вам мучить народ, звери! — возвышая голос, продолжал Рыбин. — Скоро придет и для вас красивый день...

Становой стоял перед ним и смотрел в его лицо, шелея усами. Потом он отступил на шаг и свистящим голо-
сом изумленно зашел:

— А-а-ах, сукин сын! Ка-акие слова?

И вдруг быстро и крепко ударил Рыбина по лицу.

— Кулаком правду не убьешь! — крикнул Рыбин, наступая на него. — И бить меня не имеешь права, собака ты паршивая!

— Не смею? Я? — протяжно взвыл становой.

И снова взмахнул рукой, целя в голову Рыбина. Рыбин присел, удар не коснулся его, и становой, пошатнувшись, едва устоял на ногах. В толпе кто-то громко фыркнул, и снова раздался гневный крик Михаила:

— Не смей, говорю, бить меня, дьявол!

Становой оглянулся — люди угрюмо и молча сдвигались в тесное, темное кольцо...

— Никита! — громко позвал становой, оглядываясь. — Никита, эй!

Из толпы выдвинулся коренастый, невысокий мужик в коротком полушубке. Он смотрел в землю, опустив большую, лохматую голову.

— Никита! — покручивая ус и не торопясь, сказал становой. — Дай ему в ухо, хорошенько!

Мужик шагнул вперед, остановился против Рыбина, поднял голову. В упор, в лицо ему Рыбин бил тяжелыми, верными словами:

— Вот, глядите, люди, как зверье душит вас вашей же рукой! Глядите, думайте!

Мужик медленно поднял руку и лениво ударил его по голове.

— Разве так, сукин ты сын?! — взвизгнул становой.

— Эй, Никита! — негромко сказали из толпы. — Бога не забывай!

— Бей, говорю! — крикнул становой, толкая мужика в шею.

Мужик шагнул в сторону и угрюмо сказал, наклонив голову:

— Не буду больше...

— Что?

Лицо станowego дрогнуло, он затопал ногами и, ругаясь, бросился на Рыбина. Тупо хлястнул удар, Михайло

покачнулся, взмахнул рукой, но вторым ударом становой опрокинул его на землю и, прыгая вокруг, с ревом начал бить ногами в грудь, бока, в голову Рыбина.

Толпа враждебно загудела, закачалась, надвигаясь на станowego, он заметил это, отскочил и выхватил шашку из ножен.

— Вы так? Бунтовать? А-а?.. Вот оно что?..

Голос у него вздрогнул, взвизгнул и точно переломился, захрипел. Вместе с голосом он вдруг потерял свою силу, втянул голову в плечи, согнулся и, вращая во все стороны пустыми глазами, попятился, осторожно ощупывая ногами почву сзади себя. Отступая, он кричал хрипло и тревожно:

— Хорошо! Берите его, я ухожу, — ну-ка? Знаете ли вы, сволочь проклятая, что он политический преступник, против царя идет, бунты заводит, знаете? А вы его защищать, а? Вы бунтовщики? Ага-а!..

Не шевелясь, не мигая глазами, без сил и мысли, мать стояла точно в тяжелом сне, раздавленная страхом и жалостью. В голове у нее, как шмели, жужжали обиженные, угрюмые и злые крики людей, дрожал голос станowego, шуршали чьи-то шопоты..

— Коли он провинился — суди!..

— Вы — помилуйте его, ваше благородие...

— Что вы, в самом деле, без всякого закону?..

— Разве можно? Этак все начнут бить, тогда что будет?..

Люди разбились на две группы — одна, окружив станowego, кричала и уговаривала его, другая, меньше числом, осталась вокруг избитого и глухо, угрюмо гудела. Несколько человек подняли его с земли, сотские снова хотели вязать руки ему.

— Погодите вы, черти! — кричали им.

Михайло отирал с лица и бороды грязь, кровь и молчал, оглядываясь. Взгляд его скользнул по лицу матери, — она, вздрогнув, потянулась к нему, невольно взмахнула рукою, — он отвернулся. Но через несколько минут его глаза снова остановились на лице ее. Ей показалось — он выпрямился, поднял голову, окровавленные щеки задрожали...

«Узнал, — неужели узнал?..»

И закивала ему головой, вздрагивая от тоскливой, жуткой радости. Но в следующий момент она увидела, что около него стоит голубоглазый мужик и тоже смотрит на нее. Его взгляд на минуту разбудил в ней сознание опасности...

«Что же это я? Ведь и меня схватят!»

Мужик что-то сказал Рыбину, тот тряхнул головой и вздрагивающим голосом, но четко и бодро заговорил:

— Ничего! Не один я на земле, — всю правду не выловят они! Где я был, там обо мне память останется, — вот! Хоть и разорили они гнездо, нет там больше друзей-товарищей...

«Это он для меня говорит!» — быстро сообразила мать.

— Но будет день, вылетят на волю орлы, освободится народ!

Какая-то женщина принесла ведро воды и стала, охая и причитая, обмывать лицо Рыбина. Ее тонкий, жалобный голос путался в словах Михаила и мешал матери понимать их. Подошла толпа мужиков со становым впереди, кто-то громко кричал:

— Давай подводу под арестанта, эй! Чья очередь?

Потом раздался новый, как бы обиженный голос станового:

— Я тебя могу ударить, а ты меня нет, не можешь, не смеешь, болван!

— Так! А ты кто — бог? — крикнул Рыбин.

Нестройный и негромкий взрыв восклицаний заглушил голос его.

— Не спорь, дядя! Тут — начальство!..

— Не сердись, ваше благородие! Не в себе человек...

— Ты молчи, чудака!

— Вот сейчас в город тебя повезут...

— Там закону больше!

Крики толпы звучали умиротворяюще, просительно, они сливались в неясную суету, и все было в ней безнадежно, жалобно. Сотские повели Рыбина под руки на крыльцо волости, скрылись в двери. Мужики медленно расходились по площади, мать видела, что голубоглазый направляется к ней и исподлобья смотрит на нее. У нее задрожали ноги под коленками, унылое чувство засосало сердце, вызывая тошноту.

«Не надо уходить! — подумала она. — Не надо!»

И, крепко держась за перила, ждала.

Становой, стоя на крыльце волости, говорил, размахивая руками, упрекающим, уже снова белым, бездушным голосом:

— Дураки вы, сукины дети! Ничего не понимая, лезете в такое дело, — в государственное дело! Скоты! Благодарить меня должны, в ноги мне поклониться за доброту мою! Захочу я — все пойдете в каторгу...

Десятка два мужиков стояли, сняв шапки, и слушали. Темнело, тучи опускались ниже. Голубоглазый подошел к крыльцу и сказал, вздохнув:

— Вот какие дела у нас...

— Да-а, — тихо отозвалась она.

Он посмотрел на нее открытым взглядом и спросил:

— Чем занимаетесь?

— Кружева скупаю у баб, полотна тоже...

Мужик медленно погладил бороду. Потом, глядя по направлению к волости, сказал скучно и негромко:

— Этого у нас не найдется...

Мать смотрела на него сверху вниз и ждала момента, когда удобнее уйти в комнату. Лицо у мужика было задумчивое, красивое, глаза грустные. Широкоплечий и высокий, он был одет в кафтан, сплошь покрытый заплатами, в чистую ситцевую рубаху, рыжие, деревенского сукна штаны и опорки, надетые на босую ногу...

Мать почему-то облегченно вздохнула. И вдруг, подчиняясь чутью, опередившему неясную мысль, она неожиданно для себя спросила его:

— А что, ночевать у тебя можно будет?

Спросила, и все в ней туго натянулось — мускулы, кости. Она выпрямилась, глядя на мужика остановившимися глазами. В голове у нее быстро мелькали колющие мысли:

«Погублю Николая Ивановича. Пашу не увижу — долго! Изобьют!»

Глядя в землю и не торопясь, мужик ответил, запахивая кафтан на груди:

— Ночевать? Можно, чего же? Изба только плохая у меня...

— Не избалована я! — безотчетно ответила мать.

— Можно! — повторил мужик, меряя ее пытливым взглядом.

Уже стемнело, и в сумраке глаза его блестели холодно, лицо казалось очень бледным. Мать, точно спускаясь под гору, сказала негромко:

— Значит, я сейчас и пойду, а ты чемодан мой возьмишь...

— Ладно.

Он передернул плечами, снова запахнул кафтан и тихо проговорил:

— Вот — подвода едет...

На крыльце волости появился Рыбин, руки у него снова были связаны, голова и лицо окутаны чем-то серым.

— Прощайте, добрые люди! — звучал его голос в холоде вечерних сумерек. — Ищите правды, берегите ее, верьте человеку, который принесет вам чистое слово, не жалейте себя ради правды!..

— Молчать, собака! — крикнул откуда-то голос станвого. — Сотский, гони лошадей, дурак!

— Чего вам жалеть? Какая ваша жизнь?..

Подвода тронулась. Сидя на ней с двумя сотскими по бокам, Рыбин глухо кричал:

— Чего ради погибаете в голоде? Старайтесь о воле, она даст и хлеба и правды, — прощайте, люди добрые!..

Торопливый шум колес, топот лошадей, голос станвого обняли его речь, запутали и задушили ее.

— Кончено! — сказал мужик, тряхнув головой, и, обратясь к матери, негромко продолжал: — Вы там посидите на станции, — я погода приду...

Мать вошла в комнату, села за стол перед самоваром, взяла в руку кусок хлеба, взглянула на него и медленно положила обратно на тарелку. Есть не хотелось, под ложечкой снова росло ощущение тошноты. Противно теплое, оно обессиливало, высасывая кровь из сердца, и кружило голову. Перед нею стояло лицо голубоглазого мужика — странное, точно недоконченное, оно не возбуждало доверия. Ей почему-то не хотелось подумать прямо, что он выдаст ее, но эта мысль уже возникла у нее и тягостно лежала на сердце, тупая и неподвижная.

«Заметил он меня! — лениво и бессильно соображала она. — Заметил, догадался...»

А дальше мысль не развивалась, утопая в томительном унынии, вязком чувстве тошноты.

Робкая, притаившаяся за окном тишина, сменив шум, обнажала в селе что-то подавленное, запуганное, обостряла в груди ощущение одиночества, наполняя душу сумраком, серым и мягким, как зола.

Вошла девочка и, остановясь у двери, спросила:

— Яичницу принести?

— Не надо. Не хочется уж мне, напугали меня криком-то!

Девочка подошла к столу, возбужденно, но негромко рассказывая:

— Как становой-то бил! Я близко стояла, видела, все зубы ему выкрошил, — плюет он, а кровь густая-густая, темная!.. Глазов-то совсем нету! Дегтярник он. Урядник там у нас лежит, пьянехонек, и все еще вина требует. Говорит — их шайка целая была, а этот, бородатый-то, старший, атаман, значит. Троих поймали, а один убежал, слышь. Еще учителя поймали, тоже с ними. В бога они не верят и других уговаривают, чтобы церкви ограбить, вот они какие! А наши мужики — которые жалели его, этого-то, а другие говорят — прикончить бы! У нас есть такие злые мужики — ай-ай!

Мать внимательно вслушивалась в бессвязную, быструю речь, стараясь подавить свою тревогу, рассеять унылое ожидание. А девочка, должно быть, была рада тому, что ее слушали и, захлебываясь словами, все с большим оживлением болтала, понижая голос:

— Тятка говорит — это от неурожая все! Второй год не родит у нас земля, замаялись! Теперь от этого такие мужики заводятся — беда! Кричат на сходках, дерутся. Намедни, когда Васюкова за недоимки продавали, он ка-ак треснет старосту по роже. Вот тебе моя недоимка, говорит...

За дверью раздались тяжелые шаги. Упираясь руками в стол, мать поднялась на ноги...

Вошел голубоглазый мужик и, не снимая шапку, спросил:

— Где багаж-то?

Он легко поднял чемодан, тряхнул им и сказал:

— Пустой! Марька, проводи приезжую ко мне в избу.

И ушел, не оглядываясь.

— Здесь ночуете? — спросила девочка.

— Да! За кружевами я, кружева покупаю...

— У нас не плетут! Это в Тинькове плетут, в Дарьиной, а у нас — нет! — объяснила девочка.

— Я туда завтра...

Заплатив девочке за чай, она дала ей три копейки и очень обрадовала ее этим. На улице, быстро шлепая босыми ногами по влажной земле, девочка говорила:

— Хотите, я в Дарьину сбегая, скажу бабам, чтобы сюда несли кружева? Они придут, а вам не надо ехать туда. Двенадцать верст все-таки...

— Не нужно этого, милая! — ответила мать, шагая рядом с ней. Холодный воздух освежил ее, и в ней медленно зарождалось неясное решение. Смутное, но что-то обещавшее, оно развивалось туго, и женщина, желая ускорить рост его, настойчиво спрашивала себя:

«Как быть? Если прямо, на совесть...»

Было темно, сыро и холодно. Тускло светились окна изб красноватым, неподвижным светом. В тишине дремотно мычал скот, раздавались короткие окрики. Темная, подавленная задумчивость окутала село...

— Сюда! — сказала девочка. — Плохую ночевку выбрали вы, — беден больно мужик...

Она нащупала дверь, отворила ее, бойко крикнула в избу:

— Тетка Татьяна!

И убежала. Из темноты долетел ее голос:

— Прощайте!..

XVII

Мать остановилась у порога и, прикрыв глаза ладонью, осмотрелась. Изба была тесная, маленькая, но чистая, — это сразу бросалось в глаза. Из-за печки выглянула молодая женщина, молча поклонилась и исчезла. В переднем углу на столе горела лампа.

Хозяин избы сидел за столом, постукивая пальцем по его краю, и пристально смотрел в глаза матери.

— Проходите! — не вдруг сказал он. — Татьяна, ступай-ка, позови Петра, живее!

Женщина быстро ушла, не взглянув на гостью. Сидя на лавке против хозяина, мать осматривалась, — ее чемодана не было видно. Томительная тишина наполняла избу, только огонь в лампе чуть слышно потрескивал. Лицо мужика, озабоченное, нахмуренное, неопределенно качалось в глазах матери, вызывая в ней унылую досаду.

— А где мой чемодан? — вдруг и неожиданно для самой себя громко спросила она.

Мужик повел плечами и задумчиво ответил:

— Не пропадет...

Понизив голос, хмуро продолжал:

— Я давеча при девочке нарочно сказал, что пустой он, — нет, он не пустой! Тяжело в нем положено!

— Ну? — спросила мать. — Так что?

Он встал, подошел к ней, наклонился и тихо спросил:

— Человека этого знаете?

Мать вздрогнула, но твердо ответила:

— Знаю!

Это краткое слово как будто осветило ее изнутри и сделало ясным все извне. Она облегченно вздохнула, подвинулась на лавке, села тверже...

Мужик широко усмехнулся.

— Я доглядел, когда знак вы ему делали и он тоже. Я спросил его на ухо — знакомая, мол, на крыльце-то стоит?

— А он что? — быстро спросила мать.

— Он? Сказал — много нас. Да! Много, говорит...

Вопросительно взглянув в глаза гостьи и, снова улыбаясь, продолжал:

— Большой силы человек!.. Смелый... прямо говорит — я! Бьют его, а он свое ломит...

Его голос, неуверенный и несильный, неконченное лицо и светлые, открытые глаза все более успокаивали мать. Место тревоги и уныния в груди ее постепенно занималось едкой, колющей жалостью к Рыбину. Не удерживаясь, со злобой, внезапной и горькой, она воскликнула подавленно:

— Разбойники, изуверы!

И всхлипнула.

Мужик отошел от нее, угрюмо кивая головой.

— Нажило себе начальство дружков, — да-а!

И, вдруг снова повернувшись к матери, он тихо сказал ей:

— Я вот что, я так догадываюсь, что в чемодане — газета, — верно?

— Да! — просто ответила мать, отирая слезы. — Ему везла.

Он, нахмурив брови, забрал бороду в кулак и, глядя в сторону, помолчал.

— Доходила она до нас, книжки тоже доходили. Человека этого мы знаем... видали!

Мужик остановился, подумал, потом спросил:

— Теперь, значит, что вы будете делать с этим — с чемоданом?

Мать посмотрела на него и сказала с вызовом:

— Вам оставлю!..

Он не удивился, не протестовал, только кратко повторил:

— Нам...

Утвердительно кивнув головой, выпустил бороду из кулака, расчесал ее пальцами и сел.

С неумолимой упорной настойчивостью память выдвигала перед глазами матери сцену истязания Рыбина, образ его гасил в ее голове все мысли, боль и обида за человека заслоняли все чувства, она уже не могла думать о чемодане и ни о чем более. Из глаз ее безудержно текли слезы, а лицо было угрюмо и голос не вздрагивал, когда она говорила хозяину избы:

— Грабят, давят, топчут в грязь человека, окаянные!

— Сила! — тихо отозвался мужик. — Силища у них большая!

— А где берут? — воскликнула мать с досадой. — От нас же берут, от народа, все от нас взято!

Ее раздражал этот мужик своим светлым, но непонятным лицом.

— Да-а! — задумчиво протянул он. — Колесо...

Чутко насторожился, наклонил голову к двери и, послушав, тихонько сказал:

— Идут...

— Кто?

— Свои... надо быть...

Вошла его жена, за нею в избу шагнул мужик. Бросил в угол шапку, быстро подошел к хозяину и спросил его:

— Ну, как?

Тот утвердительно кивнул головой.

— Степан! — сказала женщина, стоя у печи. — Может, они, проезжая, поесть хотят?

— Не хочу, спасибо, милая! — ответила мать.

Мужик подошел к матери и быстрым, надорванным голосом заговорил:

— Значит, позвольте познакомиться! Зовут меня Петр Егоров Рябинин, по прозвищу Шило. В делах ваших я несколько понимаю. Грамотен и не дурак, так сказать...

Он схватил протянутую ему руку матери и, потрясая ее, обратился к хозяину:

— Вот, Степан, гляди! Варвара Николаевна барыня добрая, верно! А говорит насчет всего этого — пустяки, бредни! Мальчишки будто и разные там студенты по глупости народ мутят. Однако мы с тобой видим — давеча солидного, как следует быть, мужика заарестовали, теперь вот — они, женщина пожилая и, как видать, не господских кровей. Не обижайтесь — вы каких родов будете?

Говорил он торопливо, внятно, не переводя дыхания, бородка у него нервно дрожала и глаза, щурясь, быстро ощупывали лицо и фигуру женщины. Оборванный, всклокоченный, со спутанными волосами на голове, он, казалось, только что подрался с кем-то, одолел противника и весь охвачен радостным возбуждением победы. Он понравился матери своей бойкостью и тем, что сразу заговорил прямо и просто. Ласково глядя в лицо ему, она ответила на вопрос, — он же еще раз сильно потрянул ее руку и тихонько, суховато засмеялся ломающимся смехом.

— Дело чистое, Степан, видишь? Дело отличное! Я тебе говорил — это народ собственноручно начинает. А барыня — она правды не скажет, ей это вредно. Я ее уважаю, что же говорить! Человек хороший и добра нам хочет, ну — немножко — и чтобы без убытка для себя! Народ же — он желает прямо идти и ни убытка, ни вреда не боится — видал? Ему вся жизнь вредна, везде — убыток, ему некуда повернуться, кругом — ничего, кроме — стой! — кричат со всех сторон.

— Я вижу! — сказал Степан, кивая головой, и тотчас же добавил: — Насчет багажа она беспокоится.

Петр хитро подмигнул матери и снова заговорил, успокоительно помахивая рукой:

— Не беспокойтесь! Все будет в порядке, мамаша! Чемоданчик ваш у меня. Давеча, как он сказал мне про вас, что, дескать, вы тоже с участием в этом и человека того знаете, — я ему говорю — гляди, Степан! Нельзя рот разевать в таком строгом случае! Ну, и вы, мамаша, видно, тоже почуяли нас, когда мы около стояли. У честных людей рожи заметные, потому — немного их по улицам ходит, — прямо сказать! Чемоданчик ваш у меня...

Он сел рядом с нею и, просительно заглядывая в глаза ее, продолжал:

— Ежели вы желаете выпотрошить его — мы вам в этом поможем с удовольствием! Книжки нам требуются...

— Она всё хочет нам отдать! — заметил Степан.

— И отлично, мамаша! Место всему найдем!..

Он вскочил на ноги, засмеялся и, быстро шагая по избе взад и вперед, говорил, довольный:

— Случай, так сказать, удивительный! Хоша вполне простой. В одном месте порвалось, в другом захлестнулось! Ничего! А газета, мамаша, хорошая, и дело свое она делает — протирает глаза! Господам — неприятна. Я тут верстах в семи у барыни одной работаю, по столярному делу — хорошая женщина, надо сказать, книжки дает разные, — иной раз прочитаешь — так и осенит! Вообще — мы ей благодарны. Но показал я ей газеты номерок — она даже обиделась несколько. «Бросьте, говорит, это, Петр! Это, говорит, мальчишки без разума делают. И от этого только горе ваше вырастет, тюрьма и Сибирь, говорит, за этим...»

Он снова неожиданно замолчал, подумал и спросил:

— А скажите, мамаша, — этот человек — родственник ваш?

— Чужой! — ответила мать.

Петр беззвучно засмеялся, чем-то очень довольный, и закивал головой, но в следующую секунду матери показалось, что слово «чужой» не на месте по отношению к Рыбину и обижает ее.

— Не родня я ему, — сказала она, — но знаю его давно и уважаю, как родного брата... старшего!

Нужное слово не находилось, это было неприятно ей, и снова она не могла сдерживать тихого рыдания. Угрюмая, ожидающая тишина наполнила избу. Петр, наклонив голову на плечо, стоял, точно прислушиваясь к чему-то. Степан, облокотясь на стол, все время задумчиво постукивал пальцем по доске. Жена его прислонилась у печи в сумраке, мать чувствовала ее неотрывный взгляд и порою сама смотрела в лицо ей — овальное, смуглое, с прямым носом и круто обрезанным подбородком. Внимательно и зорко светились зеленоватые глаза.

— Друг, значит! — тихо молвил Петр. — С характером, н-да!.. Оценил себя высоко, — как следует! Вот, Татьяна, человек, а? Ты говоришь...

— Он женатый? — спросила Татьяна, перебивая его речь, и тонкие губы ее небольшого рта плотно сжались.

— Вдовый! — ответила мать грустно.

— Оттого и смел! — сказала Татьяна низким, грудным голосом. — Женатый такой дорогой не пойдет — заботится...

— А я? Женат и всё, — воскликнул Петр.

— Полно, кум! — не глядя на него и скривив губы, говорила женщина. — Ну, что ты такое? Только говоришь да, редко, книжку прочитаешь. Немного людям пользы от того, что ты со Степаном по углам шушукаешь.

— Меня, брат, многие слышат! — возразил мужик обиженно и тихо. — Я — вроде дрожжей тут, ты это напрасно...

Степан молча взглянул на жену и снова опустил голову.

— И зачем мужики женятся? — спросила Татьяна. — Работница нужна, говорят, — чего работать?

— Мало тебе еще! — глухо вставил Степан.

— Какой толк в этой работе? Впроголодь живешь изо дня в день все равно. Дети родятся — поглядеть за ними время нет, — из-за работы, которая хлеба не дает.

Она подошла к матери, села рядом с нею, говоря настойчиво, без жалобы и грусти...

— У меня — двое было. Один, двухлетний, сварился кипятком, другого — не доносила, мертвый родился, —

из-за работы этой треклятой! Радость мне? Я говорю — напрасно мужики женятся, только вяжут себе руки, жили бы свободно, добивались бы нужного порядка, вышли бы за правду прямо, как тот человек! Верно говорю, матушка?..

— Верно! — сказала мать. — Верно, милая, — иначе не одолеешь жизни...

— У вас муженек-то есть?

— Помер. Сын у меня...

— А он где, с вами живет?

— В тюрьме сидит! — ответила мать.

И почувствовала, что эти слова, вместе с привычной грустью, всегда вызываемой ими, налили грудь ее спокойной гордостью.

— Второй раз сажают — все за то, что он понял божью правду и открыто сеял ее... Молодой он, красавец, умный! Газету — он придумал, и Михайла Иванович он на путь поставил, — хоть и вдвое старше его Михайло-то! Теперь вот — судить будут за это сына моего и — засудят, а он уйдет из Сибири и снова будет делать свое дело...

Она говорила, а гордое чувство все росло в груди у нее и, создавая образ героя, требовало слов себе, стискивало горло. Ей необходимо было уравновесить чем-либо ярким и разумным то мрачное, что она видела в этот день и что давило ей голову бессмысленным ужасом, бесстыдной жестокостью. Бессознательно подчиняясь этому требованию здоровой души, она собирала все, что видела светлого и чистого, в один огонь, ослеплявший ее своим чистым горением...

— Уже их много родилось таких людей, все больше рождается, и все они, до конца своего, будут стоять за свободу для людей, за правду...

Она забыла осторожность и, хотя не называла имен, но рассказывала все, что ей было известно о тайной работе для освобождения народа из цепей жадности. Рисуя образы, дорогие ее сердцу, она влагала в свои слова всю силу, все обилие любви, так поздно разбуженной в ее груди тревожными толчками жизни, и сама с горячей радостью любовалась людьми, которые вставали в памяти, освещенные и украшенные ее чувством.

— Работа идет общая по всей земле, во всех городах, силе хороших людей — нет ни меры, ни счета, все растет она и будет расти до победного нашего часа...

Голос ее лился ровно, слова она находила легко и быстро низала их, как разноцветный бисер, на крепкую нить своего желания очистить сердце от крови и грязи этого дня. Она видела, что мужики точно вросли там, где застала их речь ее, не шевелятся, смотрят в лицо ей серьезно, слышала прерывистое дыхание женщины, сидевшей рядом с ней, и все это увеличивало силу ее веры в то, что она говорила и обещала людям...

— Все, кому трудно живется, кого давит нужда и беззаконие, одолели богатые и прислужники их, — все, весь народ должен идти встречу людям, которые за него в тюрьмах погибают, на смертные муки идут. Без корысти объяснят они, где лежит путь к счастью для всех людей, без обмана скажут — трудный путь — и насильно никого не поведут за собой, но как встанешь рядом с ними — не уйдешь от них никогда, видишь — правильно все, эта дорога, а — не другая!

Ей приятно было осуществлять давнее желание свое — вот, она сама говорила людям о правде!

— С такими людьми можно идти народу, они на малом не помирятся, не остановятся, пока не одолеют все обманы, всю злобу и жадность, они не сложат рук, пока весь народ не сольется в одну душу, пока он в один голос не скажет — я владыка, я сам построю законы для всех равные!..

Усталая, она замолчала, оглянувшись. В грудь ей спокойно легла уверенность, что ее слова не пропадут бесполезно. Мужики смотрели на нее, ожидая еще чего-то. Петр сложил руки на груди, прищурил глаза, и на пестром лице его дрожала улыбка. Степан, облокотясь одной рукой на стол, весь подался вперед, вытянул шею и как бы все еще слушал. Тень лежала на лице его, и от этого оно казалось более законченным. Его жена, сидя рядом с матерью, согнулась, положив локти на колена, и смотрела под ноги себе.

— Вот как! — шопотом сказал Петр и осторожно сел на лавку, покачивая головой.

Степан медленно выпрямился, посмотрел на жену и развел в воздухе руками, как бы желая обнять что-то...

— Ежели за это дело браться, — задумчиво и негромко начал он, — то уже, действительно, надо всей душой...

Петр робко вставил:

— Н-да, назад не оглядывайся!..

— Затеяно это широко! — продолжал Степан.

— На всю землю! — снова добавил Петр.

XVIII

Мать оперлась спиной о стену и, закинув голову, слушала их негромкие, взвешивающие слова. Встала Татьяна, оглянулась и снова села. Ее зеленые глаза блеснули сухо, когда она недовольно и с пренебрежением на лице посмотрела на мужиков.

— Много, видно, горя испытали вы? — вдруг сказала она, обращаясь к матери.

— Было! — отозвалась мать.

— Хорошо говорите, — тянет сердце за вашей речью. Думаешь — господи! хоть бы в щелку посмотреть на таких людей и на жизнь. Что живешь? Овца! Я вот грамотная, читаю книжки, думаю много, иной раз и ночь не спишь, от мыслей. А что толку? Не буду думать — зря исхизну, и буду — тоже зря.

Она говорила с усмешкой в глазах и порой точно вдруг перекусывала свою речь, как нитку. Мужики молчали. Ветер гладил стекла окон, шуршал соломой по крыше, тихонько гудел в трубе. Выла собака. И неохотно, изредка в окно стучали капли дождя. Огонь в лампе дрогнул, потускнел, не через секунду снова разгорелся ровно и ярко.

— Послушала ваши речи — вот для чего люди живут! И так чудно, — слушаю я вас и вижу — да ведь я это знаю! А до вас ничего я этакое не слыхала и мыслей у меня таких не было...

— Поесть бы надо, Татьяна, да погасить огонь! — сказал Степан хмуро и медленно. — Заметят люди —

у Чумаковых огонь долго горел. Нам это неважно, а для гостей, может, нехорошо окажется...

Татьяна встала и пошла к печке.

— Да-а! — тихонько и с улыбкой заговорил Петр. — Теперь, кум, держи ухо востро! Как появится в народе газета...

— Я не про себя говорю. Меня и заарестуют — не велика беда!

Жена его подошла к столу и сказала:

— Уйди...

Он встал, отошел в сторону и, глядя, как она накрывает на стол, с усмешкой заявил:

— Цена нашему брату — пятачок пучок, да и то — когда в пучке сотня...

Матери вдруг стало жалко его — он все больше нравился ей теперь. После речи она чувствовала себя отдохнувшей от грязной тяжести дня, была довольна собой и хотела всем доброго, хорошего.

— Неправильно вы судите, хозяин! — сказала она. — Не нужно человеку соглашаться с тем, как его ценят те люди, которым, кроме крови его, ничего не надо. Вы должны сами себя оценить, изнутри, не для врагов, а для друзей...

— Какие у нас друзья? — тихо воскликнул мужик. — До первого куска...

— А я говорю — есть друзья у народа...

— Есть, да — не здесь, — вот оно что! — задумчиво отозвался Степан.

— А вы их здесь заведите.

Степан подумал и тихо сказал:

— Н-да, надо бы...

— Садитесь за стол! — пригласила Татьяна.

За ужином Петр, подавленный речами матери и как будто растерявшийся, снова оживленно и быстро говорил:

— Вам, мамаша, для незаметности, так сказать, нужно выехать отсюда пораньше. И поезжайте вы на следующую станцию, а не в город, — на почтовых поезжайте...

— Зачем? Я свезу, — сказал Степан.

— Не надо! В случае чего — спросят тебя — ночевала? Ночевала. Куда девалась? Я отвез! Ага-а, ты отвез?

Иди-ка в острог! Понял? А в острог торопиться зачем же? Всему свой черед, — время придет — и царь помрет, говорится. А тут просто — ночевала, наняла лошадей, уехала! Мало ли кто ночует у кого? Село проезжее...

— Где это ты, Петр, бояться учился? — насмешливо спросила Татьяна.

— Все надо знать, кума! — ударив себя по колену, воскликнул Петр. — Умей бояться, умей и смелым быть! Ты помнишь, как из-за этой газеты земский Ваганова трепал? Теперь Ваганова-то за большие деньги не уговоришь книгу в руки взять, да! Вы, мамаша, мне верьте, я на всякие штуки шельма острая, это очень всем известно. Книжки и бумажки я вам посею в лучшем виде, сколько угодно! Народ у нас, конечно, не очень грамотен и пуглив, ну однако время так поджимает бока, что человек поневоле глаза таращит — в чем дело? А книжка ему совершенно просто отвечает: а вот в чем — думай, соображай! Есть примеры, что неграмотный больше грамотного понимает, особенно ежели грамотный-то сытый! Я тут везде хожу, много вижу — ничего! Жить можно, но требуется мозг и большая ловкость, чтобы сразу в лужу не сесть. Начальство — оно тоже носом чувствует, что как будто холодком подуло от мужика — улыбается он мало и совсем неласково, — вообще отвыкать от начальства хочет! Намедни в Смоляково — тут недалеко деревенька такая — приехали подати выбивать, а мужики — на дыбы, да за колья! Становой прямо говорит: «Ах вы, сукины дети! Да ведь это — против царя?!» Был там мужик один, Спивакин, он и скажи: «А ну вас к нехорошей матери с царем-то! Какой там царь, когда последнюю рубаху с плеч тащит?..» Вот оно куда пошло, мамаша! Конечно, Спивакина зацапали и в острог, а слово — осталось, и даже мальчишки малые знают его, — оно кричит, живет!

Он не ел, а все говорил быстрым шепотком, бойко поблескивая темными, плутоватыми глазами и щедро высыпая перед матерью, точно медную монету из кошелья, бесчисленные наблюдения над жизнью деревни.

Раза два Степан говорил ему:

— Ты бы поел...

Петр хватал кусок хлеба, ложку и снова заливался рассказами, точно щегленок песней. Наконец, после ужина он, вскочив на ноги, заявил:

— Ну, мне пора домой!..

Встал перед матерью и, кивая головой, тряс ее руку, говоря:

— Прощайте, мамаша! Может, никогда и не увидимся! Должен вам сказать, что все это очень хорошо! Встретить вас и речи ваши — очень хорошо! В чемоданчике у вас, кроме печатного, еще что-нибудь есть? Платок шерстяной? Чудесно — шерстяной платок, Степан, помни! Сейчас он принесет вам чемоданчик! Идем, Степан! Прощайте! Всего хорошего!..

Когда они ушли, стало слышно, как шуршат тараканы, ветер возится по крыше и стучит заслонкой трубы, мелкий дождь монотонно бьется в окно. Татьяна приготовляла постель для матери, стаскивая с печи и с полатей одежду и укладывая ее на лавке.

— Живой человек! — заметила мать.

Хозяйка, взглянув на нее исподлобья, ответила:

— Звенит, звенит, а — недалеко слышно.

— А как муж ваш? — спросила мать.

— Ничего. Хороший мужик, не пьет, живем дружно, ничего! Только характера слабого...

Она выпрямилась и, помолчав, спросила:

— Ведь теперь что надо, — бунтовать надо народу? Конечно! Об этом все думают, только каждый в особицу, про себя. А нужно, чтобы вслух заговорили... и сначала должен кто-нибудь один решиться...

Она села на лавку и вдруг спросила:

— Говорите — и молодые барышни занимаются этим, ходят по рабочим, читают, — не брезгают, не боятся?

И, внимательно выслушав ответ матери, глубоко вздохнула. Потом, опустя веки и наклонив голову, снова заговорила:

— В одной книжке прочитала я слова — безмысленная жизнь. Это я очень поняла, сразу! Знаю я такую жизнь — мысли есть, а не связаны и бродят, как овцы без пастуха, — нечем, некому их собрать... Это и есть — безмысленная жизнь. Бежала бы я от нее да и не оглянулась, — такая тоска, когда что-нибудь понимаешь!

Мать видела эту тоску в сухом блеске зеленых глаз женщины, на ее худом лице, слышала в голосе. Ей захотелось утешить ее, приласкать.

— Вы-то, милая, понимаете, что делать...

Татьяна тихо перебила ее:

— Уметь надо. Готово вам, ложитесь!

Отошла к печке и молча встала там, прямая, сурово сосредоточенная. Мать, не раздеваясь, легла, почувствовала ноющую усталость в костях и тихо застонала. Татьяна погасила лампу, и, когда избу тесно наполнила тьма, раздался ее низкий, ровный голос. Он звучал так, точно стирал что-то с плоского лица душной тьмы.

— Не молитесь вы. Я тоже думаю, что нет бога. И чудес нет.

Мать беспокойно повернулась на лавке, — прямо на нее в окно смотрела бездонная тьма, и в тишину настойчиво вползал едва слышный шорох, шелест. Она заговорила почти шопотом и боязливо:

— Насчет бога — не знаю я, а во Христа верю... И словам его верю — возлюби ближнего, яко себя, — в это верю!..

Татьяна молчала. В темноте мать видела слабый контур ее прямой фигуры, серой, на черном фоне печи. Она стояла неподвижно. Мать в тоске закрыла глаза.

Вдруг раздался холодный голос:

— Смерти деток моих не могу я простить ни богу, ни людям, — никогда!..

Ниловна беспокойно привстала, сердцем поняв силу боли, вызвавшей эти слова.

— Вы молодая, еще будут детки, — ласково сказала она.

Шопотом и не сразу женщина ответила:

— Нет! Испорчена я, доктор говорит, — никогда не рожу больше...

Мышь пробежала по полу. Что-то сухо и громко треснуло, разорвав неподвижность тишины невидимой молнией звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелесты осеннего дождя на соломе крыши, они шарили по ней, как чьи-то испуганные тонкие пальцы. И уныло падали на землю капли воды, отмечая медленный ход осенней ночи...

Сквозь тяжелую дрему мать услышала глухие шаги на улице, в сенях. Осторожно отворилась дверь, раздался тихий окрик:

— Татьяна, легла, что ли?

— Нет.

— А она спит?

— Видно, спит.

Вспыхнул огонь, задрожал и утонул во тьме. Мужик подошел к постели матери, поправил тулуп, укутав ее ноги. Эта ласка мягко тронула мать своей простотой, и, снова закрыв глаза, она улыбнулась. Степан молча разделся, влез на полати. Стало тихо.

Чутко вслушиваясь в ленивые колебания дремотной тишины, мать неподвижно лежала, а перед нею во тьме качалось облитое кровью лицо Рыбина...

На полатах раздался сухой шопот.

— Видишь, какие люди берутся за это? Пожилые уж, испили горя досыта, работали, отдыхать бы им пора, а они — вот! Ты же молодой, разумный, — эх, Степа...

Влажный и густой голос мужика ответил:

— За такое дело, не подумав, нельзя взяться...

— Слышала я это...

Звуки оборвались и возникли снова — загудел голос Степана:

— Надо так — сначала поговорить с мужиками отдельно, — вот Маков, Алеша — бойкий, грамотный и начальством обижен. Шорин, Сергей — тоже разумный мужик. Князев — человек честный, смелый. Пока что будет! Надо поглядеть на людей, про которых она говорила. Я вот возьму топор, да махну в город, будто дрова колоть, на заработки, мол, пошел. Тут надо осторожно. Она верно говорит: цена человеку — дело его. Вот как мужик-то этот. Его хоть перед богом ставь, он не сдаст... врылся. А Никитка-то, а? Засовестился, — чудеса!

— При вас бьют человека, а вы — рты разинули...

— Ты — погоди! Ты скажи — слава богу, что мы сами его не били, человека-то, — вот что!

Он шептал долго, то понижая голос так, что мать едва слышала его слова, то сразу начинал гудеть сильно и густо. Тогда женщина останавливала его:

— Тише! Разбудишь...

Мать заснула тяжелым сном — он сразу душной тучей навалился на нее, обнял и увлек.

Татьяна разбудила ее, когда в окна избы еще слепо смотрели серые сумерки утра и над селом в холодной тишине сонно плавал и таял медный звук сторожевого колокола церкви.

— Я самовар поставила, попейте чаю, а то холодно будет, прямо со сна, ехать...

Степан, расчесывая спутанную бороду, деловито спрашивал мать, как ее найти в городе, а ей казалось, что сегодня лицо мужика стало лучше, законченнее. За чаем он, усмехаясь, заметил:

— Как это случилось чудно!

— Что? — спросила Татьяна.

— Да вот знакомство! Просто так...

Мать задумчиво, но уверенно сказала:

— В этом деле удивительная простота во всем.

Расстались с ней хозяева сдержанно, скупно тратя слова, щедро обнаруживая множество мелких забот об ее удобствах.

Сидя в бричке, мать думала, что этот мужик начнет работать осторожно, бесшумно, точно крот, и неустанно. И всегда будет звучать около него недовольный голос жены, будет сверкать жгучий блеск ее зеленых глаз и не умрет в ней, пока жива она, мстительная, волчья тоска матери о погибших детях.

Вспомнился Рыбин, его кровь, лицо, горячие глаза, слова его, — сердце сжалось в горьком чувстве бессилия перед зверями. И всю дорогу до города, на тусклом фоне серого дня, перед матерью стояла крепкая фигура чернобородого Михайлы, в разорванной рубаше, со связанными за спиной руками, всклокоченной головой, одетая гневом и верою в свою правду. Мать думала о бесчисленных деревнях, робко прижавшихся к земле, о людях, тайно ожидавших прихода правды, и о тысячах людей, которые безмысленно и молча работают всю жизнь, ничего не ожидая.

Жизнь представлялась невспаханым, холмистым полем, которое натужно и немо ждет работников и молча обещает свободным, честным рукам:

«Оплодотворите меня семенами разума и правды — я взращу вам сторицею!»

Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его.

ХІХ

Дома дверь ей отпер Николай, растрепанный, с книгой в руках.

— Уже? — воскликнул он радостно. — Скоро вы!

Глаза его ласково и живо мигали под очками, он помогал ей раздеваться и, с ласковой улыбкой заглядывая в лицо, говорил:

— А у меня ночью, видите ли, обыск был, я подумал — какая причина? Не случилось ли чего с вами? Но — не арестовали. Ведь если бы вас арестовали, так и меня не оставили бы!..

Он ввел ее в столовую, оживленно продолжая:

— Однако — теперь прогонят со службы. Это — не огорчает. Мне надоело считать безлошадных крестьян!

Комната имела такой вид, точно кто-то сильный, в глупом припадке озорства, толкал с улицы в стены дома, пока не растряс все внутри его. Портреты валялись на полу, обои были отодраны и торчали клочьями, в одном месте приподнята доска пола, выворочен подоконник, на полу у печи рассыпана зола. Мать покачала головой при виде знакомой картины и пристально посмотрела на Николая, чувствуя в нем что-то новое.

На столе стоял погасший самовар, немытая посуда, колбаса и сыр на бумаге вместо тарелки, валялись куски и крошки хлеба, книги, самоварные угли. Мать усмехнулась, Николай тоже сконфуженно улыбнулся.

— Это уж я дополнил картину погрома, но ничего, Ниловна, ничего! Я думаю, они опять придут, оттого и не убирал все это. Ну, как вы съездили?

Вопрос тяжело толкнул ее в грудь — перед нею встал Рыбин, и она почувствовала себя виноватой, что сразу не заговорила о нем. Наклонясь на стуле, она подвинулась к Николаю и, стараясь сохранить спокойствие, боясь позабыть что-нибудь, начала рассказывать.

— Схватили его...

Лицо Николая дрогнуло.

— Да?

Мать остановила его вопросом движением руки и продолжала так, точно она сидела пред лицом самой справедливости, принося ей жалобу на изгязание человека. Николай откинулся на спинку стула, побледнел и, закусив губу, слушал. Он медленно снял очки, положил их на стол, провел по лицу рукой, точно стирая с него невидимую паутину. Лицо его сделалось острым, странно высохлись скулы, вздрагивали ноздри, — мать впервые видела его таким, и он немного пугал ее.

Когда она кончила, он встал, с минуту молча ходил по комнате, сунув кулаки глубоко в карманы. Потом сквозь зубы пробормотал:

— Крупный человек, должно быть. Ему будет трудно в тюрьме, такие, как он, плохо чувствуют себя там!

Он все глубже прятал руки, сдерживая свое волнение, но все-таки оно чувствовалось матерью и передавалось ей. Глаза у него стали узкими, точно концы ножей. Снова шагая по комнате, он говорил холодно и гневно:

— Вы посмотрите, какой ужас! Кучка глупых людей, защищая свою пагубную власть над народом, бьет, душит, давит всех. Растет одичание, жестокость становится законом жизни — подумайте! Одни бьют и звереют от безнаказанности, заболевают сладострастной жаждой истязаний — отвратительной болезнью рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабских чувств и скотских привычек. Другие отравляются местью, третьи, забитые до отупения, становятся немые и слепые. Народ развращают, весь народ!

Он остановился и замолчал, стиснув зубы.

— Невольно сам звереешь в этой звериной жизни! — тихо сказал он.

Но, овладев своим возбуждением, почти спокойно, с твердым блеском в глазах, взглянул в лицо матери, залитое безмолвными слезами.

— Нам однако нельзя терять времени, Ниловна! Давайте, дорогой товарищ, попробуем взять себя в руки...

Грустно улыбаясь, он подошел к ней и, наклонясь, спросил, пожимая ее руку:

— Где ваш чемодан?

— В кухне! — ответила она.

— У наших ворот стоят шпионы — такую массу бумаги мы не сумеем вынести из дому незаметно — а спрятать нигде, а я думаю, они снова придут сегодня ночью. Значит, как ни жаль труда — мы сожжем все это.

— Что? — спросила мать.

— Все, что в чемодане.

Она поняла его, и — как ни грустно было ей — чувство гордости своею удачей вызвало на лице у нее улыбку.

— Ничего там нет, ни листика! — сказала она и, постепенно оживляясь, начала рассказывать о своей встрече с Чумаковым. Николай слушал ее, сначала беспокойно хмурия брови, потом с удивлением и наконец вскричал, перебивая рассказ:

— Слушайте, — да это отлично! Вы удивительно счастливый человек...

Стиснув ее руку, он тихо воскликнул:

— Вы так трогаете вашей верой в людей... я, право, люблю вас, как мать родную!..

Она с любопытством, улыбаясь, следила за ним, хотела понять — отчего он стал такой яркий и живой?

— Вообще — чудесно! — потирая руки, говорил он и смеялся тихим, ласковым смехом. — Я, знаете, последние дни страшно хорошо жил — всё время с рабочими, читал, говорил, смотрел. И в душе накопилось такое — удивительно здоровое, чистое. Какие хорошие люди, Ниловна! Я говорю о молодых рабочих — крепкие, чуткие, полные жажды всё понять. Смотришь на них и видишь — Россия будет самой яркой демократией земли!

Он утвердительно поднял руку, точно давал клятву, и, помолчав, продолжал:

— Я сидел тут, писал и — как-то окис, заплесневел на книжках и цифрах. Почти год такой жизни — это уродство. Я ведь привык быть среди рабочего народа, и, когда отрываюсь от него, мне делается неловко, — знаете, натягиваюсь я, напрягаюсь для этой жизни. А теперь снова могу жить свободно, буду с ними видаться, заниматься. Вы понимаете — буду у колыбели новорожденных мыслей, пред лицом юной, творческой энергии. Это удиви-

тельно просто, красиво и страшно возбуждает, — делаешься молодым и твердым, живешь богато!

Он засмеялся смущенно и весело, и его радость захватывала сердце матери, понятная ей.

— А потом — ужасно вы хороший человек! — воскликнул Николай. — Как вы ярко рисуете людей, как хорошо их видите!..

Николай сел рядом с ней, смущенно отвернув в сторону радостное лицо и приглаживая волосы, но скоро повернулся и, глядя на мать, жадно слушал ее плавный, простой и яркий рассказ.

— Удивительная удача! — воскликнул он. — У вас была полная возможность попасть в тюрьму, и — вдруг! Да, видимо, пошевеливается крестьянин, — это естественно, впрочем! Эта женщина — удивительно четко вижу я ее!.. Нам нужно пристроить к деревенским делам специальных людей. Людей! Их не хватает нам... Жизнь требует сотни рук...

— Вот бы Паше-то выйти на волю. И — Андрюше! — тихонько сказала она.

Он взглянул на нее и опустил голову.

— Видите ли, Ниловна, это вам тяжело будет слышать, но я все-таки скажу: я хорошо знаю Павла — из тюрьмы он не уйдет! Ему нужен суд, ему нужно встать во весь рост, — он от этого не откажется. И не надо! Он уйдет из Сибири.

Мать вздохнула и тихо ответила:

— Ну, что же? Он знает, как лучше...

— Гм! — говорил Николай в следующую минуту, глядя на нее через очки. — Кабы этот ваш мужичок поторопился придти к нам! Видите ли, о Рыбине необходимо написать бумажку для деревни, ему это не повредит, раз он ведет себя так смело. Я сегодня же напишу, Людмила живо ее напечатает... А вот как бумажка попадет туда?

— Я свезу...

— Нет, благодарю! — быстро воскликнул Николай. — Я думаю — не годится ли Весовщиков для этого, а?

— Поговорить с ним?

— Вот, попробуйте-ка! И поучите его.

— А что же я-то буду делать?

— Не беспокойтесь!

Он сел писать. Она прибирала на столе, поглядывая на него, и видела, как дрожит перо в его руке, покрывая бумагу рядами черных слов. Иногда кожа на шее у него вздрагивала, он откидывал голову, закрыв глаза, у него дрожал подбородок. Это волновало ее.

— Вот и готово! — сказал он, вставая. — Вы спрячьте эту бумажку где-нибудь на себе. Но — знайте, если придут жандармы, вас тоже обыщут.

— Пес с ними! — спокойно ответила она.

Вечером приехал доктор Иван Данилович.

— Почему это начальство вдруг так обеспокоилось? — говорил он, бегая по комнате. — Семь обысков было ночью. Где же больной, а?

— Он ушел еще вчера! — ответил Николай. — Сегодня, видишь ли, суббота, у него чтение, так он не может пропустить...

— Ну, это глупо, с расколотой головой на чтениях сидеть...

— Доказывал я ему, но безуспешно...

— Похвастаться охота перед товарищами, — заметила мать, — вот, мол, глядите — я уже кровь свою пролил...

Доктор взглянул на нее, сделал свирепое лицо и сказал, стиснув зубы:

— У-у, кровожадная...

— Ну, Иван, тебе здесь делать нечего, а мы ждем гостей — уходи! Ниловна, дайте-ка ему бумажку...

— Еще бумажка? — воскликнул доктор.

— Вот! Возьми и передай в типографию.

— Взял. Передам. Все?

— Все. У ворот — шпион.

— Видел. У моей двери тоже. Ну, до свиданья! До свиданья, свирепая женщина. А знаете, друзья, драка на кладбище — хорошая вещь в конце концов! О ней говорит весь город. Твоя бумажка по этому поводу — очень хороша и поспела во-время. Я всегда говорил, что хорошая ссора лучше худого мира...

— Ладно, ты иди...

— Не весьма любезно! Ручку, Ниловна! А паренек поступил глупо все-таки. Ты знаешь, где он живет?

Николай дал адрес.

— Завтра надо съездить к нему, — славный ребяенок, а?

— Очень...

— Надо его поберечь, — у него мозги здоровые! — говорил доктор, уходя. — Именно из таких ребят должна вырасти истинно пролетарская интеллигенция, которая сменит нас, когда мы отыдем туда, где, вероятно, нет уже классовых противоречий...

— Ты стал много болтать, Иван...

— А — мне весело, это потому. Значит — ожидаешь тюрьмы? Желаю тебе отдохнуть там.

— Благодарю. Я не устал.

Мать слушала их разговор, и ей была приятна забота о рабочем.

Проводив доктора, Николай и мать стали пить чай и закусывать, ожидая ночных гостей и тихо разговаривая. Николай долго рассказывал ей о своих товарищах, живших в ссылке, о тех, которые уже бежали оттуда и продолжают свою работу под чужими именами. Голые стены комнаты отталкивали тихий звук его голоса, как бы изумляясь и не доверяя этим историям о скромных героях, бескорыстно отдавших свои силы великому делу обновления мира. Теплая тень ласково окружала женщину, грея сердце чувством любви к неведомым людям, и они складывались в ее воображении все — в одного огромного человека, полного неисчерпаемой мужественной силы. Он медленно, но неустанно идет по земле, очищая с нее влюбленными в свой труд руками вековую плесень лжи, обнажая перед глазами людей простую и ясную правду жизни. И великая правда, воскресая, всех одинаково приветно зовет к себе, всем равно обещает свободу от жадности, злобы и лжи — трех чудовищ, которые поработили и запугали своей циничной силой весь мир... Этот образ вызывал в душе ее чувство, подобное тому, с которым она, бывало, становилась перед иконой, заканчивая радостной и благодарной молитвой тот день, который казался ей легче других дней ее жизни. Теперь она забыла эти дни, а чувство, вызываемое ими, расширилось, стало более светлым и радостным, глубже вросло в душу и, живое, разгоралось все ярче.

— А жандармы не идут! — вдруг прерывая свой рассказ, воскликнул Николай.

Мать взглянула на него и, помолчав, с досадой отозвалась:

— Ну их ко псам!

— Разумеется! Но — вам пора спать, Ниловна, вы, должно быть, отчаянно устали, — удивительно крепкая вы, следует сказать! Сколько волнений, тревог — и так легко вы переживаете всё! Только вот волосы быстро седеют. Ну, идите, отдыхайте.

XX

Мать проснулась, разбуженная громким стуком в дверь кухни. Стучали непрерывно, с терпеливым упорством. Было еще темно, тихо, и в тишине упрямая дробь стука вызывала тревогу. Наскоро одевшись, мать быстро вышла в кухню и, стоя перед дверью, спросила

— Кто там?

— Я! — ответил незнакомый голос.

— Кто?

— Отоприте! — просительно и тихо ответили из-за двери.

Мать подняла крючок, толкнула дверь ногой — вошел Игнат и радостно сказал:

— Ну, — не ошибся!

Он был по пояс забрызган грязью, лицо у него посерело, глаза ввалились, и только кудрявые волосы буйно торчали во все стороны, выбиваясь из-под шапки.

— У нас — беда! — заперев дверь, шопотом произнес он.

— Я знаю...

Это удивило парня. Мигнув глазами, он спросил:

— Откуда?

Она кратко и торопливо рассказала.

— А тех двух взяли? Товарищей-то?

— Их — не было. Они на явку пошли, — рекрута! Пятых взяли, считая дядю Михайла...

Он потянул воздух носом и, ухмыляясь, сказал:

— А я — остался. Должно — ищут меня.

— Как же ты уцелел? — спросила мать. Дверь из комнаты тихо приотворилась.

— Я? — сидя на лавке и оглядываясь, воскликнул Игнат. — За минуту перед ними лесник прибег — стучит в окно, — держись, ребята, говорит, лезут на вас...

Он тихонько засмеялся, вытер лицо полкой кафтана и продолжал:

— Ну — дядю Михайла и молотком не оглушишь. Сейчас он мне: «Игнат — в город, живо! Помнишь женщину пожилую?» А сам записку строчит. «На, иди!..» Я, ползком, кустами, слышу — лезут! Много их, со всех сторон шумят, дьяволы! Петлей вокруг завода. Лег в кустах, — прошли мимо! Тут я встал и давай шагать, и давай! Две ночи шел и весь день без отдыха.

Видно было, что он доволен собой, в его карих глазах светилась улыбка, крупные красные губы вздрагивали.

— Сейчас я тебя чаем напою! — торопливо говорила мать, схватив самовар.

— Вы записку-то получите...

Он с трудом поднял ногу, морщась и покрывая по-прежнему лавку.

В дверях явился Николай.

— Здравствуйте, товарищ! — сказал он, щуря глаза. — Позвольте, я вам помогу.

И, наклонясь, стал быстро разматывать грязную онучу.

— Ну, — тихо воскликнул парень, дергая ногой, и, удивленно мигая глазами, поглядел на мать.

Не замечая его взгляда, она сказала:

— Надо ему водкой ноги-то растереть...

— Конечно! — молвил Николай.

Игнат смущенно фыркнул.

Николай нашел записку, расправил ее и, приблизив серую, измятую бумажку к лицу, прочитал:

«Не оставляй дела, мать, без внимания, скажи высокой барыне, чтобы не забывала, чтобы больше писали про наши дела, прошу. Прощай. Рыбин».

Николай медленно опустил руку с запиской и негромко молвил:

— Это великолепно!..

Игнат смотрел на них, тихонько шевеля грязными пальцами разутой ноги; мать, скрывая лицо, смоченное

слезами, подошла к нему с тазом воды, села на пол и протянула руки к его ноге — он быстро сунул ее под лавку, испуганно воскликнув:

— Чего?

— А ты давай скорее ногу...

— Сейчас я принесу спирт, — сказал Николай.

Парень засовывал ногу все дальше под лавку и бормотал:

— Что вы? В больнице, что ли...

Тогда она начала разувать другую.

Игнат громко сапнул носом и, неуклюже двигая шеей, смотрел на нее сверху вниз, смешно распутив губы.

— Ты знаешь, — заговорила она вздрагивающим голосом, — били Михаила Ивановича...

— Ну? — тихо и пугливо воскликнул парень.

— Да. И привели его избитого, и в Никольском урядник бил, становой — и по лицу и пинками... в кровь!

— Они это умеют! — отозвался парень, хмурия брови. Плечи у него вздрогнули. — То есть, боюсь я их — как чертей! А мужики — не били?

— Один ударил, становой приказал ему. А все — ничего, вступились даже — нельзя, говорят, бить...

— Н-да-а, — мужики-то начинают понимать, где кто стоит и зачем.

— Там тоже есть разумные...

— Где их нет? Нужда! Везде они есть — найти трудно.

Николай принес бутылку спирта, положил углей в самовар и молча ушел. Проводив его любопытными глазами, Игнат спросил мать тихонько:

— Барин-то — доктор?

— В этом деле нет господ, все — товарищи...

— Чудно мне! — сказал Игнат, недоверчиво и растерянно улыбаясь.

— Что — чудно?

— Да — так. На одном конце рожи бьют, на другом — ноги моют, а в середине — что?

Дверь из комнаты распахнулась, и Николай, стоя на пороге, сказал:

— А в середине люди, которые лижут руки тем, кто рожи бьет, и сосут кровь тех, чьи рожи бьют, — вот середина!

Игнат уважительно взглянул на него и, помолчав, проговорил:

— Это — похоже!

Парень встал, переступил с ноги на ногу, твердо упираясь ими в пол, и заметил:

— Как новые стали! Спасибо вам...

Потом сидели в столовой и пили чай, а Игнат рассказывал солидным голосом:

— Я разносчиком газеты был, ходить я очень здоров.

— Много народа читает? — спросил Николай.

— Все, которые грамотные, даже богачи читают, — они, конечно, не у нас берут... Они ведь понимают — крестьяне землю своей кровью вымоют из-под бар и богачей, — значит, сами и делить ее будут, а уж они так разделят, чтобы не было больше ни хозяев, ни работников, — как же! Из-за чего и в драку лезть, коли не из-за этого!

Он даже как бы обиделся и смотрел на Николая недоверчиво, вопросительно. Николай молча улыбался.

— А ежели сегодня подрались всем миром — одолели, значит — а завтра опять — один богат, другой беден, — тогда — покорно благодарю! Мы хорошо понимаем — богатство, как сыпучий песок, оно смирно не лежит, а опять потечет во все стороны! Нет, уж это зачем же!

— А ты не сердись! — шутя сказала мать.

Николай задумчиво воскликнул:

— Как бы нам поскорее направить туда листок об аресте Рыбина!

Игнат насторожился.

— А есть листок? — спросил он.

— Да.

— Давайте — я снесу! — предложил парень, потирая руки.

Мать тихонько засмеялась, не глядя на него.

— Да ведь устал ты и боишься, сказал?

Игнат, приглаживая широкой ладонью кудрявые волосы на голове, деловито и спокойно сказал:

— Страх — страхом, а дело — делом! Вы чего насмеяетесь? Ишь вы, тоже!

— Эх ты, — дитя ты мое! — невольно воскликнула мать, поддаваясь чувству радости, вызванному им. Он ухмыльнулся, сконфуженный.

— Ну, вот — дитя!

Заговорил Николай, разглядывая парня добродушно прищуренными глазами:

— Вы не пойдете туда...

— А — что? Куда же я? — беспокойно спросил Игнат.

— Вместо вас пойдет другой, а вы ему подробно расскажете, что надо делать и как — хорошо?

— Ладно! — сказал Игнат, не вдруг и неохотно.

— А вам мы достанем хороший паспорт и устроим вас лесником.

Парень быстро вскинул голову и спросил, обеспокоенный:

— А ежели мужики за дровами приедут или там.. вообще, — как же я? Вязать? Это — не подойдет мне...

Мать засмеялась и Николай тоже, это снова смутило и огорчило парня,

— Не беспокойтесь! — утешил его Николай. — Не придется вам вязать мужиков, — уж поверьте!..

— Ну, то-то! — молвил Игнат и успокоился, весело улыбаясь. — Мне бы вот на фабрику, там, говорят, ребята довольно умные...

Мать поднялась из-за стола и, задумчиво глядя в окно, проговорила:

— Эх, жизнь! Пять раз в день насмеешься, пять заплачешься! Ну, кончил, Игнатий? Иди спать...

— Да я не хочу...

— Иди, иди...

— Строго у вас! Ну, иду... Спасибо за чай-сахар, за ласку...

Ложась на постель матери, он бормотал, почесывая голову:

— Теперь ото всего дегтем будет вонять у вас... эх! Напрасно все это... Спать мне не хочется... Как он насчет середины-то хватил... Черти...

И, вдруг громко всхрапнув, он заснул, высоко подняв брови и полуоткрыв рот.

Вечером он сидел в маленькой комнатке подвального этажа на стуле против Весовщикова и пониженным тоном, наморщив брови, говорил ему:

— В среднее окошко четыре раз...

— Четыре? — озабоченно повторил Николай.

— Сначала — три, вот так!

И ударил согнутым пальцем по столу, считая:

— Раз, два, три. Потом, обождав, еще раз.

— Понимаю.

— Отоплет рыжий мужик, спросит — за повитухой? Вы скажете — да, от заводчика! Больше ничего, уж он поймет!

Они сидели, наклонясь друг к другу головами, оба плотные, твердые и, сдерживая голоса, разговаривали, а мать, сложив руки на груди, стояла у стола, разглядывая их. Все эти тайные стуки, условные вопросы и ответы заставляли ее внутренне улыбаться, она думала:

«Дети еще...»

На стене горела лампа, освещая на полу измятые ведра, обрезки кровельного железа. Запах ржавчины, масляной краски и сырости наполнял комнату.

Игнат был одет в толстое осеннее пальто из мохнатой материи, и оно ему нравилось, мать видела, как любовно гладил он ладонью рукав, как осматривал себя, тяжело ворочая крепкой шеей. И в груди ее мягко билось:

«Дети! Родные мои...»

— Вот! — сказал Игнат, вставая. — Значит, помните — сначала к Муратову, спросите дедушку...

— Запомнил! — ответил Весовщиков.

Но Игнат, повидимому, не поверил ему, снова повторил все стуки, слова и знаки и наконец протянул руку:

— Кланяйтесь им! Народы хорошие — увидите...

Он окинул себя довольным взглядом, погладил пальто руками и спросил мать:

— Идти?

— Найдешь дорогу-то?

— Ну! Найду... До свиданья, значит, товарищи!

И ушел, высоко приподняв плечи, выпятив грудь, в новой шапке набекрень, солидно засунув руки в карманы. На висках у него весело дрожали светлые кудри.

— Ну, — вот и я при деле! — сказал Весовщик, мягко подходя к матери. — Мне уж скучно стало... выско-чил из тюрьмы — зачем? Только прячусь. А там я учился, там Павел так нажимал на мозги — одно удовольствие! А что, Ниловна, как насчет побега решили?

— Не знаю! — ответила она, невольно вздохнув.

Положив ей на плечо тяжелую руку и приблизив к ней лицо, Николай заговорил:

— Ты скажи им — они тебя послушают, — очень легко это! Ты гляди сама, вот — стена тюрьмы, около — фонарь. Напротив — пустырь, налево — кладбище, направо улицы, город. К фонарю подходит фонащик — днем, лампы чистить, — ставит лестницу к стене, влез, зацепил за гребень стены крючья веревочной лестницы, спустил ее во двор тюрьмы и — марш! Там, за стеной, знают время, когда это будет сделано, попросят уголовных устроить шум или сами устроят, а те, кому надо, в это время по лестнице через стенку — раз, два — готово!

Он размахивал перед лицом матери руками, рисуя свой план, все у него выходило просто, ясно, ловко. Она знала его тяжелым, неуклюжим. Глаза Николая прежде смотрели на все с угрюмой злобой и недоверием, а теперь точно прорезались заново, светились ровным, теплым светом, убеждая и волнуя мать...

— Ты подумай, ведь это будет — днем!.. Непременно днем. Кому в голову придет, что заключенный решится бежать днем, на глазах всей тюрьмы?..

— А застрелят! — вздрогнув, молвила женщина.

— Кто? Солдат — нет, надзиратели револьверами гвозди вколачивают...

— Уж очень просто все...

— Увидишь — верно! Нет, ты поговори с ними. У меня все готово — веревочная лестница, крючья для нее, — хозяин будет фонащиком...

За дверью кто-то возился, кашлял, гремело железо.

— Вот он! — сказал Николай.

В открытую дверь просунулась жестяная ванна, хриплый голос бормотал:

— Лезь, чорт...

Потом явилась круглая седая голова без шапки, с выпученными глазами, усатая и добродушная.

Николай помог втащить ванну, в дверь шагнул высокий, сутулый человек, закашлял, надувая бритые щеки, плюнул и хрипло поздоровался:

— Доброго здоровья...

— Вот, спроси его! — воскликнул Николай.

— Меня? О чем?

— О побеге...

— А-а! — сказал хозяин, вытирая усы черными пальцами.

— Вот, Яков Васильевич, не верит она, что это просто.

— Мм, — не верит? Значит — не хочет. А мы с тобой хотим, ну и — верим! — спокойно сказал хозяин и, вдруг перегнувшись пополам, начал глухо кашлять. Откашлялся, растирая грудь, долго стоял среди комнаты, сопя и разглядывая мать вытаращенными глазами.

— Решать это Паше и товарищам, — сказала Никловна.

Николай задумчиво опустил голову.

— Это кто — Паша? — спросил хозяин, садясь.

— Сын мой.

— Как фамилия?

— Власов.

Он кивнул головой, достал кисет, вынул трубку и, набивая ее табаком, отрывисто говорил:

— Слышал. Мой племянш знает его. Он тоже в тюрьме, племянш — Евченко, слышали? А моя фамилия — Гобун. Вот скоро всех молодых в тюрьму запрут, то-то нам, старикам, раздолье будет! Жандармский мне обещает племянника-то даже в Сибирь заслатъ. Зашлет, собака!

Закурив, он обратился к Николаю, часто поплеывая на пол.

— Так не хочет? Ее дело. Человек свободен, устал сидеть — иди, усгал идти — сиди. Ограбили — молчи, бьют — терпи, убили — лежи. Это известно. А я Савку вытащу. Вытащу.

Его короткие, лающие фразы возбуждали у матери недоумение, а последние слова вызвали зависть.

Идя по улице встречу холодному ветру и дождю, она думала о Николае:

«Какой стал, — поди-ка ты!»

И, вспоминая Гобуна, почти молитвенно размышляла:

«Видно, не одна я заново живу!..»

А вслед за этим в сердце ее выросла дума о сыне:

«Кабы он согласился!»

XXII

В воскресенье, прощаясь с Павлом в канцелярии тюрьмы, она ощутила в своей руке маленький бумажный шарик. Вздвигнув, точно он ожег ей кожу ладони, она взглянула в лицо сына, прося и спрашивая, но не нашла ответа. Голубые глаза Павла улыбались обычной, знакомой ей улыбкой, спокойной и твердой.

— Прощай! — сказала она, вздыхая.

Сын снова протянул ей руку, и что-то ласковое дрогнуло в его лице.

— Прощай, мать!

Она ждала, не выпуская руки.

— Не беспокойся, не сердись! — проговорил он.

Эти слова и упрямая складка на лбу ответили ей.

— Ну, что ты? — бормотала она, опустив голову. — Чего там...

И торопливо ушла, не взглянув на него, чтобы не выдать своего чувства слезами на глазах и дрожью губ. Дорогой ей казалось, что кости руки, в которой она крепко сжала ответ сына, ноют и вся рука отяжелела, точно от удара по плечу. Дома, сунув записку в руку Николая, она встала перед ним и, ожидая, когда он расправит туго скатанную бумажку, снова ощутила трепет надежды. Но Николай сказал:

— Конечно! Вот что он пишет: «Мы не уйдем, товарищи, не можем. Никто из нас. Потеряли бы уважение к себе. Обратите внимание на крестьянина, арестованного недавно. Он заслужил ваши заботы, достоин траты сил. Ему здесь слишком трудно. Ежедневные столкновения с начальством. Уже имел сутки карцера. Его замучают.

Мы все просим за него. Утешьте, приласкайте мою мать. Расскажите ей, она все поймет».

Мать подняла голову и тихо, вздрогнувшим голосом сказала:

— Ну, — чего же рассказывать мне? Я понимаю!

Николай быстро отвернулся в сторону, вынул платок, громко высморкался и пробормотал:

— Схватил насморк, видите ли...

Потом, закрыв глаза руками, чтобы поправить очки, и расхаживая по комнате, он заговорил:

— Видите ли, мы не успели бы все равно...

— Ничего! Пусть судят! — говорила мать, нахмутив брови, а грудь наливалась сырой, туманной тоской.

— Вот, я получил письмо от товарища из Петербурга...

— Ведь он и из Сибири может уйти... может?

— Конечно! Товарищ пишет — дело скоро назначат, приговор известен — всех на поселение. Видите? Эти мелкие жулики превращают свой суд в пошлейшую комедию. Вы понимаете — приговор составлен в Петербурге, раньше суда...

— Вы оставьте это, Николай Иванович! — решительно сказала мать. — Не надо меня утешать, не надо объяснять. Паша худо не сделает, даром мучить ни себя, ни других — не будет! И меня он любит, — да! Вы видите — думает обо мне. Разъясните, пишет, утешьте, а?..

Сердце у нее стучало быстро, голова кружилась от возбуждения.

— Ваш сын — прекрасный человек! — воскликнул Николай несвойственно громко. — Я очень уважаю его!

— Вот что, давайте-ка насчет Рыбина подумаем! — предложила она.

Ей хотелось что-нибудь делать сейчас же, идти куда-то, ходить до усталости.

— Да, хорошо! — ответил Николай, расхаживая по комнате. — Нужно бы Сашеньку...

— Она — придет. Она всегда приходит в тот день, когда я вижу Пашу...

Задумчиво опустив голову, покусывая губы и крутя бородку, Николай сел на диван, рядом с матерью.

— Жаль — нет сестры...

— Хорошо устроить это сейчас, пока Паша там, — ему приятно будет! — говорила мать.

Помолчали, и вдруг мать сказала, медленно и тихо:

— Не понимаю, — отчего он не хочет?..

Николай вскочил на ноги, но раздался звонок. Они сразу взглянули друг на друга.

— Это — Саша, гм! — тихонько произнес Николай.

— Как ей скажешь? — так же тихо спросила мать.

— Да-а, знаега...

— Очень жалко ее...

Звонок повторился менее громко, точно человек за дверью тоже не решался. Николай и мать встали и пошли вместе, но у двери в кухню Николай отшатнулся в сторону, сказав:

— Лучше — вы...

— Не согласен? — твердо спросила девушка, когда мать открыла ей дверь.

— Нет.

— Я знала это! — просто выговорила Саша, но лицо у нее побледнело. Она расстегнула пуговицы пальто и, снова застегнув две, попробовала снять его с плеч. Это не удалось ей. Тогда она сказала:

— Дождь, ветер, — противно! Здоров?

— Да.

— Здоров и весел, — негромко сказала Саша, рассматривая свою руку.

— Пишет, чтобы Рыбина освободить! — сообщила мать, не глядя на девушку.

— Да? Мне кажется — мы должны использовать этот план, — медленно проговорила девушка.

— Я тоже так думаю! — сказал Николай, появляясь в двери. — Здравствуйте, Саша!

Протянув руку, девушка спросила:

— В чем же дело? Все согласны, что план удачен?..

— А кто организует? Все заняты...

— Давайте мне! — быстро сказала Саша, вставая на ноги. — У меня есть время.

— Берите! Но надо спросить других...

— Хорошо, я спрошу! Я сейчас же и пойду.

И снова начала застегивать пуговицы пальто уверенными движениями тонких пальцев.

— Вы отдохнули бы! — предложила мать.

Она тихонько улыбулась и ответила, смягчая голос:

— Не беспокойтесь, я не устала...

И, молча пожав им руки, ушла, снова холодная и строгая.

Мать и Николай, подойдя к окну, смотрели, как девушка прошла по двору и скрылась под воротами. Николай тихонько засвистал, сел за стол и начал что-то писать.

— Займется этим делом, и будет легче ей! — сказала мать, задумчиво и тихо.

— Да, конечно! — отозвался Николай и, обернувшись к матери, с улыбкой на добром лице спросил: — А вас, Ниловна, миновала эта чаша, — вы не знали тоски по любимом человеке?

— Ну! — воскликнула она, махнув рукой. — Какая там тоска? Страх был — как бы вот за того или этого замуж не выдали.

— И никто не нравился?

Она подумала и ответила:

— Не помню, дорогой мой. Как не нравиться?.. Верно, кто-нибудь нравился, только — не помню!

Посмотрела на него и просто, со спокойной грустью закончила.

— Много бил меня муж, все, что до него было, — как-то стерлось в памяти.

Он отвернулся к столу, а она на минуту вышла из комнаты, и, когда вернулась, Николай, ласково поглядывая на нее, заговорил, тихонько и любовно глядя словами свои воспоминания.

— А у меня, видите ли, тоже вот, как у Саши, была история! Любил девушку — удивительный человек была она, чудесный. Лет двадцати встретил я ее и с той поры люблю, и сейчас люблю, говоря правду! Люблю все так же — всей душой, благодарно и навсегда...

Стоя рядом с ним, мать видела глаза, освещенные теплым и ясным светом. Положив руки на спинку стула, а на них голову свою, он смотрел куда-то далеко, и все тело его, худое и тонкое, но сильное, казалось, стремится вперед, точно стебель растения к свету солнца.

— Что же вы — женились бы! — посоветовала мать.

— О! Она уже пятый год замужем...

— А раньше-то чего же?

Подумав, он ответил:

— Видите ли, у нас все как-то так выходило — она в тюрьме — я на воле, я на воле — она в тюрьме или в ссылке. Это очень похоже на положение Саши, право! Наконец ее сослали на десять лет в Сибирь, страшно далеко! Я хотел ехать за ней даже. Но стало совестно и ей и мне. А она там встретила другого человека, — товарищ мой, очень хороший парень! Потом они бежали вместе, теперь живут за границей, да...

Николай кончил говорить, снял очки, вытер их, посмотрел стекла на свет и стал вытирать снова.

— Эх, милый вы мой! — покачивая головой, любовно воскликнула женщина. Ей было жалко его и в то же время что-то в нем заставляло ее улыбаться теплой, материнской улыбкой. А он переменил позу, снова взял в руку перо и заговорил, отмечая взмахами руки ритм своей речи.

— Семейная жизнь понижает энергию революционера, всегда понижает! Дети, необеспеченность, необходимость много работать для хлеба. А революционер должен развивать свою энергию неустанно, все глубже и шире. Этого требует время — мы должны идти всегда впереди всех, потому что мы — рабочие, призванные силою истории разрушить старый мир, создать новую жизнь. А если мы отстаем, поддаваясь усталости или увлеченные близкой возможностью маленького завоевания, — это плохо, это почти измена делу! Нет никого, с кем бы мы могли идти рядом, не искажая нашей веры, и никогда мы не должны забывать, что наша задача — не маленькие завоевания, а только полная победа.

Голос у него стал крепким, лицо побледнело, и в глазах загорелась обычная, сдержанная и ровная сила. Снова громко позвонили, прервав на полуслове речь Николая, — это пришла Людмила в легком не по времени пальто, с покрасневшими от холода щеками. Снимая рваные галоши, она сердитым голосом сказала:

— Назначен суд, — через неделю!

— Это верно? — крикнул Николай из комнаты.

Мать быстро пошла к нему, не понимая — испуг или радость волнуют ее. Людмила, идя рядом с нею, с иронией говорила своим низким голосом:

— Верно! В суде совершенно открыто говорят, что приговор уже готов. Но что же это? Правительство боится, что его чиновники мягко отнесутся к его врагам? Так долго, так усердно развращая своих слуг, оно все еще не уверено в их готовности быть подлецами?..

Людмила села на диван, потирая худые щеки ладонями, в ее матовых глазах горело презрение, голос все больше наливался гневом.

— Вы напрасно тратите порох, Людмила! — успокоительно сказал Николай. — Ведь они не слышат вас...

Мать напряженно вслушивалась в ее речь, но ничего не понимала, невольно повторяя про себя одни и те же слова:

«Суд, через неделю суд!»

Она вдруг почувствовала приближение чего-то неумолимого, нечеловечески строгого.

XXIII

Так, в этой туче недоумения и уныния, под тяжестью тоскливых ожиданий, она молча жила день, два, а на третий явилась Саша и сказала Николаю:

— Все готово! Сегодня в час...

— Уже готово? — удивился он.

— Да ведь чего же? Мне нужно было только достать место и одежду для Рыбина, все остальное взял на себя Гобун. Рыбину придется пройти всего один квартал. Его на улице встретит Весовщиков — загримированный, конечно, — накинет на него пальто, даст шапку и укажет путь. Я буду ждать его, переодену и увезу.

— Недурно! А кто это Гобун? — спросил Николай.

— Вы видели его. В его квартире вы занимались со слесарями.

— А! Помню. Чудаковатый старик...

— Он отставной солдат, кровельщик. Мало развитой человек, с неисчерпаемой ненавистью ко всякому насилию... Философ немножко, — задумчиво говорила Саша,

глядя в окно. Мать молча слушала ее, и что-то неясное медленно назревало в ней.

— Гобун хочет освободить племянника своего, — помните, вам нравился Евченко, такой щеголь и чистюля?

Николай кивнул головой.

— У него все налажено хорошо, — продолжала Саша, — но я начинаю сомневаться в успехе. Прогулки — общие; я думаю, что когда заключенные увидят лестницу — многие захотят бежать...

Она, закрыв глаза, помолчала, мать подвинулась ближе к ней.

— И помешают друг другу...

Они все трое стояли перед окном, мать — позади Николая и Саши. Их быстрый говор будил в сердце ее смутное чувство...

— Я пойду туда! — вдруг сказала она.

— Зачем? — спросила Саша.

— Не ходите, голубчик! Еще как-нибудь попадетесь! Не надо! — посоветовал Николай.

Мать посмотрела на него и тише, но настойчивее повторила:

— Нет, я пойду...

Они быстро переглянулись, Саша, пожимая плечами, сказала:

— Это понятно...

Обернувшись к матери, она взяла ее под руку, покачнулась к ней и заговорила простым и близким сердцу матери голосом:

— Я все-таки скажу вам, вы напрасно ждете...

— Голубушка! — воскликнула мать, прижав ее к себе дрожащей рукой. — Возьмите меня, — не помешаю! Мне — нужно. Не верю я, что можно это — убежать!

— Она пойдет! — сказала девушка Николаю.

— Это ваше дело! — ответил он, наклоня голову.

— Нам нельзя быть вместе. Вы идите в поле, к огородам. Оттуда видно стену тюрьмы. Но — если спросят вас, что вы там делаете?

Обрадованная, мать уверенно ответила:

— Найду, что сказать!..

— Не забывайте, что вас знают тюремные надзиратели! — говорила Саша. — И если они увидят вас там...

— Не увидят! — воскликнула мать.

В ее груди вдруг болезненно ярко вспыхнула все время незаметно тлевшая надежда и оживила ее...

«А может быть, и он тоже...» — думала она, поспешно одеваясь.

Через час мать была в поле за тюрьмой. Резкий ветер летал вокруг нее, раздувал платье, бился о мерзлую землю, раскачивал ветхий забор огорода, мимо которого шла она, и с размаха ударялся о невысокую стену тюрьмы. Опрокинувшись за стену, взметал со двора чьи-то крики, разбрасывал их по воздуху, уносил в небо. Там быстро бежали облака, открывая маленькие просветы в синюю высоту.

Сзади матери был огород, впереди кладбище, а направо, саженьях в десяти, тюрьма. Около кладбища солдат гонял на корде лошадь, а другой, стоя рядом с ним, громко топал в землю ногами, кричал, свистел и смеялся. Больше никого не было около тюрьмы.

Она медленно пошла дальше мимо них к ограде кладбища, искоса поглядывая направо и назад. И вдруг почувствовала, что ноги у нее дрогнули, отяжелели, точно примерзли к земле — из-за угла тюрьмы спешно, как всегда ходят фонарщики, вышел сутулый человек с лестницей на плече. Мать, испуганно мигнув, быстро взглянула на солдат — они топтались на одном месте, а лошадь бегала вокруг них; посмотрела на человека с лестницей — он уже поставил ее к стене и влезал, не торопясь. Махнув во двор рукой, быстро спустился, исчез за углом. Сердце матери билось торопливо, секунды шли медленно. На темной стене тюрьмы линии лестницы были едва заметны в пятнах грязи и осыпавшейся штукатурки, обнажившей кирпич. И вдруг над стеной явилась черная голова, выросло тело, перевалилось через стену, сползло по ней. Показалась другая голова в мохнатой шапке, на землю скатился черный ком и быстро исчез за угол. Михайло выпрямился, оглянулся, тряхнул головой...

— Беги, беги! — шептала мать, топая ногой.

В ушах у нее гудело, доносились громкие крики — вот над стеной явилась третья голова. Мать, схватившись руками за грудь, смотрела, замирая. Светловолосая голова без бороды рвалась вверх, точно хотела оторваться и

вдруг — исчезла за стеной. Кричали всё громче, буйнее, ветер разносил по воздуху тонкие трели свистков. Михайло шел вдоль стены, вот он уже миновал ее, переходил открытое пространство между тюрьмой и домами города. Ей казалось, что он идет слишком медленно и напрасно так высоко поднял голову, — всякий, кто взглянет в лицо его, запомнит это лицо навсегда. Она шептала:

— Скорее... скорее...

За стеною тюрьмы сухо хлопнуло что-то, — был слышен тонкий звон разбитого стекла. Солдат, упираясь ногами в землю, тянул к себе лошадь, другой, приложив ко рту кулак, что-то кричал по направлению тюрьмы и, крикнув, поворачивал туда голову боком, подставляя ухо.

Напрягаясь, мать вертела шеей во все стороны, ее глаза, видя все, ничему не верили — слишком просто и быстро совершилось то, что она представляла себе страшным и сложным, и эта быстрота, ошеломя ее, усыпляла сознание. В улице уже не видно было Рыбина, шел какой-то высокий человек в длинном пальто, бежала девочка. Из-за угла тюрьмы выскочило трое надзирателей, они бежали тесно друг к другу и все вытягивали вперед правые руки. Один из солдат бросился им встречу, другой бегал вокруг лошади, стараясь вскочить на нее, она не давалась, прыгала, и все вокруг тоже подпрыгивало вместе с нею. Непрерывно, захлебываясь звуком, воздух резали свистки. Их тревожные, отчаянные крики разбудили у женщины сознание опасности; вздрогнув, она пошла вдоль ограды кладбища, следя за надзирателями, но они и солдаты забежали за другой угол тюрьмы и скрылись. Туда же следом за ними пробежал знакомый ей помощник смотрителя тюрьмы в расстегнутом мундире. Откуда-то появилась полиция, сбегался народ.

Ветер кружился, метался, точно радуясь чему-то, и доносил до слуха женщины разорванные, спутанные крики, свист... Эта сумятица радовала ее, мать зашагала быстрее, думая:

«Значит — мог бы и он!»

Навстречу ей, из-за угла ограды, вдруг вынырнули двое полицейских.

— Стой! — крикнул один, тяжело дыша. — Человека — с бородой — не видала?

Она указала рукой на огороды и спокойно ответила:

— Туда побежал, — а что?

— Егоров! Свисти!

Она пошла домой. Было ей жалко чего-то, на сердце лежало нечто горькое, досадное. Когда она входила с поля в улицу, дорогу ей перерезал извозчик. Подняв голову, она увидела в пролетке молодого человека с светлыми усами и бледным, усталым лицом. Он тоже посмотрел на нее. Сидел он косо и, должно быть, от этого правое плечо у него было выше левого.

Николай встретил ее радостно.

— Ну, что там?

— Как будто удалось...

Стараясь восстановить в своей памяти все мелочи, она начала рассказывать о бегстве и говорила так, точно передавала чей-то рассказ, сомневаясь в правде его.

— Нам везет! — сказал Николай, потирая руки. — Но — как я боялся за вас! Чорт знает как! Знаете, Ниловна, примите мой дружеский совет — не бойтесь суда! Чем скорее он, тем ближе свобода Павла, поверьте! Может быть — он уйдет с дороги. А суд — это приблизительно такая штука...

Он начал рисовать ей картину заседания суда, она слушала и понимала, что он чего-то боится, хочет ободрить ее.

— Может, вы думаете, я там скажу что-нибудь судьям? — вдруг спросила она. — Попрошу их о чем-нибудь?

Он вскочил, замахал на нее руками и обиженно вскричал:

— Что вы!

— Я боюсь, верно! Чего боюсь — не знаю!.. — Она помолчала, блуждая глазами по комнате.

— Иной раз кажется — начнут они Пашу обижать, измывать над ним. Ах ты, мужик, скажут, мужицкий ты сын! Что затеял? А Паша — гордый, он им так ответит! Или — Андрей посмеется над ними. И все они там горячие. Вот и думаешь — вдруг не стерпит... И засудят так, что уж и не увидишь никогда!

Николай хмуро молчал, дергая свою бородку.

— Этих дум не выгонишь из головы! — тихо сказала мать. — Страшно это — суд! Как начнут всё разбирать да взвешивать! Очень страшно! Не наказание страшно, а — суд. Не умею я этого сказать...

Николай — она чувствовала — не понимает ее, и это еще более затрудняло желание рассказать о страхе своем.

XXIV

Этот страх, подобный плесени, стеснявший дыхание тяжелой сыростью, разросся в ее груди, и, когда настал день суда, она внесла с собою в зал заседания тяжелый, темный груз, согнувший ей спину и шею.

На улице с нею здоровались слободские знакомые, она молча кланялась, пробираясь сквозь угрюмую толпу. В коридорах суда и в зале ее встретили родственники подсудимых и тоже что-то говорили пониженными голосами. Слова казались ей ненужными, она не понимала их. Все люди были охвачены одним и тем же скорбным чувством — это передавалось матери и еще более угнетало ее.

— Садись рядом! — сказал Сизов, подвигаясь на лавке.

Послушно села,правила платье,взглянула вокруг. Перед глазами у нее слигно поплыли какие-то зеленые и малиновые полосы, пятна, засверкали тонкие, желтые нити.

— Погубил твой сын нашего Гришу! — тихо проговорила женщина, сидевшая рядом с ней.

— Молчи, Наталья! — ответил Сизов угрюмо.

Мать посмотрела на женщину — это была Самойлова, дальше сидел ее муж, лысый, благообразный человек, с окладистой рыжей бородой. Лицо у него было костлявое; прищулив глаза, он смотрел вперед, и борода его дрожала.

Сквозь высокие окна зал ровно наливался мутным светом, снаружи по стеклам скользил снег. Между окнами висел большой портрет царя в толстой, жирно блестящей золотой раме, тяжелые малиновые драпировки окон прикрывали раму с боков прямыми складками. Перед портретом, почти во всю ширину зала, вытянулся стол, покры-

тый зеленым сукном, направо у стены стояли за решеткой две деревянные скамьи, налево — два ряда малиновых кресел. По залу бесшумно бегали служащие с зелеными воротниками, золотыми пуговицами на груди и животе. В мутном воздухе робко блуждал тихий шопот, носился смешанный запах аптеки. Все это — цвета, блески, звуки и запахи — давило на глаза, вторгалось вместе с дыханием в грудь и наполняло опустошенное сердце неподвижной, пестрой мути унылой боязни.

Вдруг один из людей громко сказал что-то, мать вздрогнула, все встали, она тоже поднялась, схватившись за руку Сизова.

В левом углу зала отворилась высокая дверь, из нее, качаясь, вышел старичок в очках. На его сером личике тряслись белые редкие баки, верхняя бритая губа завалилась в рот, острые скулы и подбородок опирались на высокий воротник мундира, казалось, что под воротником нет шеи. Его поддерживал сзади под руку высокий молодой человек с фарфоровым лицом, румяным и круглым, а вслед за ними медленно двигались еще трое людей в расшитых золотом мундирах и трое штатских.

Они долго возились за столом, усаживаясь в кресла, а когда сели, один из них, в расстегнутом мундире, с лживым, бритым лицом, что-то начал говорить старичку, беззвучно и тяжело шевеля пухлыми губами. Старичок слушал, сидя странно прямо и неподвижно, за стеклами его очков мать видела два маленькие, бесцветные пятнышка.

На конце стола у конторки стоял высокий лысоватый человек, покашливал, шелестел бумагами.

Старичок покачнулся вперед, заговорил. Первое слово он выговаривал ясно, а следующие как бы расплзались у него по губам, тонким и серым.

— Открываю... Введите...

— Гляди! — шепнул Сизов, тихонько толкая мать, и встал.

В стене за решеткой открылась дверь, вышел солдат с обнаженной пашкой на плече, за ним явился Павел, Андрей, Федя Мазин, оба Гусевы, Самойлов, Букин, Сомов и еще человек пять молодежи, незнакомой матери по именам. Павел ласково улыбался, Андрей тоже, оскалив

зубы, кивал головой; в зале стало как-то светлее, проще от их улыбок, оживленных лиц и движения, внесенного ими в натянутое, чопорное молчание. Жирный блеск золота на мундирах потускнел, стал мягче, веяние бодрой уверенности, дуновение живой силы коснулось сердца матери, буда его. И на скамьях сзади нее, где до той поры люди подавленно ожидали, теперь тоже вырос ответный, негромкий гул.

— Не трясят! — услышала она шопот Сизова, а с правой стороны тихо всхлипнула мать Самойлова.

— Тише! — раздался суровый окрик.

— Предупреждаю... — сказал старичок.

Павел и Андрей сели рядом, вместе с ними на первой скамье сели Мазин, Самойлов и Гусевы. Андрей обрил себе бороду, усы у него отросли и свешивались вниз, придавая его круглой голове сходство с головой кошки. Что-то новое появилось на его лице — острое и едкое в складках рта, темное в глазах. На верхней губе Мазина чернели две полоски, лицо стало полнее, Самойлов был такой же кудрявый, как и раньше, и так же широко ухмылялся Иван Гусев.

— Эх, Федька, Федька! — шептал Сизов, опустив голову.

Мать слушала невнятные вопросы старичка, — он спрашивал, не глядя на подсудимых, и голова его лежала на воротнике мундира неподвижно, — слышала спокойные, короткие ответы сына. Ей казалось, что старший судья и все его товарищи не могут быть злыми, жестокими людьми. Внимательно осматривая лица судей, она, пытаясь что-то предугадать, тихонько прислушивалась к росту новой надежды в своей груди.

Фарфоровый человек безучастно читал бумагу, его ровный голос наполнял зал скукой, и люди, облитые ею, сидели неподвижно, как бы оцепенев. Четверо адвокатов тихо, но оживленно разговаривали с подсудимыми, все они двигались сильно, быстро и напоминали собой больших, черных птиц.

По одну сторону старичка наполнял кресло своим телом толстый, пухлый судья, с маленькими, заплывшими глазами, по другую — сутулый, с рыжеватыми усами на бледном лице. Он устало откинул голову на спинку стула

и, полуприкрыв глаза, о чем-то думал. У прокурора лицо было тоже утомленное, скучное. Сзади судей сидел, задумчиво поглаживая щеку, городской голова, полный, солидный мужчина; предводитель дворянства, седой, большебородый и краснолицый человек, с большими, добрыми глазами; волостной старшина в поддевке, с огромным животом, который, видимо, конфузил его — он все старался прикрыть его полой поддевки, а она сползала.

— Здесь нет преступников, нет судей, — раздался твердый голос Павла, — здесь только пленные и победители...

Стало тихо, несколько секунд ухо матери слышало только тонкий, торопливый скрип пера по бумаге и биение своего сердца.

И старший судья тоже как будто прислушивался к чему-то, ждал. Его товарищи пошевелились. Тогда он сказал:

— М-да, Андрей Находка! Признаете вы...

Андрей медленно приподнялся, выпрямился и, дергая себя за усы, исподлобья смотрел на старичка.

— Да в чем же я могу признать себя виновным? — певуче и неторопливо, как всегда, заговорил хохол, пожав плечами. — Я не убил, не украл, я просто не согласен с таким порядком жизни, в котором люди принуждены грабить и убивать друг друга...

— Отвечайте короче, — с усилием, но внятно сказал старик.

На скамьях, сзади себя, мать чувствовала оживление, люди тихо шептались о чем-то и двигались, как бы освобождая себя из паутины серых слов фарфорового чело- века.

— Слышишь, как они? — шепнул Сизов.

— Федор Мазин, отвечайте...

— Не хочу! — ясно сказал Федя, вскочив на ноги. Лицо его залилось румянцем волнения, глаза засверкали, он почему-то спрятал руки за спину.

Сизов тихонько ахнул, мать изумленно расширила глаза.

— Я отказался от защиты, я ничего не буду говорить, суд ваш считаю незаконным! Кто вы? Народ ли дал вам право судить нас? Нет, он не давал! Я вас не знаю!

Он сел и скрыл свое разгоревшееся лицо за плечом Андрея.

Толстый судья наклонил голову к старшему и что-то прошептал. Судья с бледным лицом поднял веки, скосил глаза на подсудимых, протянул руку на стол и черкнул карандашом на бумаге, лежавшей перед ним. Волостной старшина покачал головой, осторожно переставив ноги, положил живог на колени и прикрыл его руками. Не двигая головой, старичок повернул корпус к рыжему судье, беззвучно поговорил с ним, тот выслушал его, наклонив голову. Предводитель дворянства шептался с прокурором, голова слушал их, потирая щеку. Вновь зазвучала тусклая речь старшего судьи.

— Каково отрезал? Прямо — лучше всех! — удивленно шептал Сизов на ухо матери.

Мать, недоумевая, улыбалась. Все происходившее сначала казалось ей лишним и нудным предисловием к чему-то страшному, что появится и сразу раздавит всех холодным ужасом. Но спокойные слова Павла и Андрея прозвучали так безбоязненно и твердо, точно они были сказаны в маленьком домике слободки, а не перед лицом суда. Горячая выходка Феди сживила ее. Что-то смелое росло в зале, и мать, по движению людей сзади себя, догадывалась, что не она одна чувствует это.

— Ваше мнение? — сказал старичок.

Лысоватый прокурор встал и, держась одной рукой за конторку, быстро заговорил, приводя цифры. В его голосе не слышно было страшного.

Но в то же время сухой, колющий налет бередил и тревожил сердце матери — было смутное ощущение чего-то враждебного ей. Оно не угрожало, не кричало, а развивалось невидимо, неуловимо. Лениво и тупо оно колебалось где-то вокруг судей, как бы окутывая их непроницаемым облаком, сквозь которое не достигало до них ничто извне. Она смотрела на судей, и все они были непонятны ей. Они не сердились на Павла и на Федю, как она ждала, не обижали их словами, но все, о чем они спрашивали, казалось ей ненужным для них, они как будто нехотя спрашивают, с трудом выслушивают ответы, всё заранее знают, ничем не интересуются.

Вот перед ними стоит жандарм и говорит басом:

— Павла Власова называли главным зачинщиком все...

— А Находку? — лениво и негромко спросил толстый судья.

— И его тоже...

Один из адвокатов встал, говоря:

— Могу я?

Старичок спрашивает кого-то:

— Вы ничего не имеете?

Все судьи казались матери нездоровыми людьми. Болезненное утомление сказывалось в их позах и голосах, оно лежало на лицах у них, — болезненное утомление и надоедая, серая скука. Видимо, им тяжело и неудобно все это — мундиры, зал, жандармы, адвокаты, обязанность сидеть в креслах, спрашивать и слушать.

Стоит перед ними знакомый желтолицый офицер и важно, растягивая слова, громко рассказывает о Павле, об Андрее. Мать, слушая его, невольно думала:

«Немного ты знаешь».

И смотрела на людей за решеткой уже без страха за них, без жалости к ним — к ним не приставала жалость, все они вызвали у нее только удивление и любовь, тепло обнимавшую сердце; удивление было спокойно, любовь — радостно ясна. Молодые, крепкие, они сидели в стороне у стены, почти не вмешиваясь в однообразный разговор свидетелей и судей, в споры адвокатов с прокурором. Порою кто-нибудь презрительно усмехался, что-то говорил товарищам, по их лицам тоже пробегала насмешливая улыбка. Андрей и Павел почти все время тихо беседовали с одним из защитников — мать накануне видела его у Николая. К их беседе прислушивался Мазин, оживленный и подвижный более других, Самойлов что-то порою говорил Ивану Гусеву, и мать видела, что каждый раз Иван, незаметно отталкивая товарища локтем, едва сдерживает смех, лицо у него краснеет, щеки надуваются, он наклоняет голову. Раза два он уже фыркнул, а после этого несколько минут сидел надутый, стараясь быть более солидным. И в каждом, так или иначе, играла молодость, легко одолевая усилия сдержать ее живое брожение.

Сизов легонько тронул ее за локоть, она обернулась к нему — лицо у него было довольное и немного озабоченное. Он шептал:

— Ты погляди, как они укрепились, материны дети, а? Бароны, а?

В зале говорили свидетели — торопливо, обесцвеченными голосами, судьи — неохотно и безучастно. Толстый судья зевал, прикрывая рот пухлой рукой, рыжеусый побледнел еще более, иногда он поднимал руку и, туго нажимая на кость виска пальцем, слепо смотрел в потолок жалобно расширенными глазами. Прокурор изредка черкал карандашом по бумаге и снова продолжал беззвучную беседу с предводителем дворянства, а тот, поглаживая седую бороду, выкатывал огромные красивые глаза и улыбался, важно сгибая шею. Городской голова сидел, закинув ногу на ногу, бесшумно барабанил пальцами по колену и сосредоточенно наблюдал за движениями пальцев. Только волостной старшина, утвердив живот на коленях и заботливо поддерживая его руками, сидел наклонив голову и, казалось, один вслушивался в однообразное журчание голосов, да старичок, воткнутый в кресло, торчал в нем неподвижно, как флюгер в безветренный день. Продолжалось это долго, и снова оцепенение скуки ослепило людей.

— Объявляю... — сказал старичок и, раздавив тонкими губами следующие слова, встал.

Шум, вздохи, тихие восклицания, кашель и шарканье ног наполнили зал. Подсудимых увели, уходя, они, улыбаясь, кивали головами родным и знакомым, а Иван Гусев негромко крикнул кому-то:

— Не робей, Егор!..

Мать и Сизов вышли в коридор.

— Чай пить в трактир пойдешь? — заботливо и задумчиво спросил ее старик. — Полтора часа время у нас!

— Не хочу.

— Ну, и я не пойду. Нет, — каковы ребята, а? Сидят вроде того, как будто они только и есть настоящие люди, а остальные все — ни при чем! Федька-то, а?

К ним подошел отец Самойлова, держа шапку в руке. Он угрюмо улыбался и говорил:

— Мой-то Григорий? От защитника отказался и разговаривать не хочет. Первый он, слышь, выдумал это. Твой-то, Пелагея, стоял за адвокатов, а мой говорит — не желаю! И тогда четверо отказались...

Рядом с ним стояла жена. Часто моргая глазами, она вытирала нос концом платка. Самойлов взял бороду в руку и продолжал, глядя в пол:

— Ведь вот штука! Глядишь на них, чертей, понимаешь — зря они всё это затеяли, напрасно себя губят. И вдруг начнешь думать — а может, их правда? Вспомнишь, что на фабрике они всё растут да растут, их то и дело хватают, а они, как ерши в реке, не переводятся, нет! Опять думаешь — а может, и сила за ними?

— Трудно нам, Степан Петров, понять это дело! — сказал Сизов.

— Трудно, — да! — согласился Самойлов.

Его жена, сильно потянув воздух носом, заметила:

— Здоровы все, окаянные...

И, не сдержав улыбки на широком, дряблом лице, продолжала:

— Ты, Ниловна, не сердись, — давеча я тебе бухнула, что, мол, твой виноват. А пес их разберет, который виноватее, если по правде говорить! Вон что про нашего-то Григория жандармы со шпионами говорили. Тоже, постарался, — рыжий бес!

Она, видимо, гордилась своим сыном, быть может, не понимая своего чувства, но ее чувство было знакомо матери, и она ответила на ее слова доброй улыбкой, тихими словами:

— Молодое сердце всегда ближе к правде...

По коридору бродили люди, собирались в группы, возбужденно и вдумчиво разговаривая глухими голосами. Почти никто не стоял одиноко — на всех лицах было ясно видно желание говорить, спрашивать, слушать. В узкой белой трубе между двух стен люди мотались взад и вперед, точно под ударами сильного ветра, и, казалось, все искали возможности стать на чем-то твердо и крепко.

Старший брат Букина, высокий и тоже выцветший, размахивал руками, быстро вертясь во все стороны, и доказывал:

— Волостной старшина Клепанов в этом деле не на месте...

— Молчи, Константин! — уговаривал его отец, маленький старичок, и опасливо сглядывался.

— Нет, я скажу! Про него идет слух, что он в прошлом году приказчика своего убил из-за его жены. Приказчикова жена с ним живет — это как понимать? И к тому же он известный вор...

— Ах ты, батюшки мои, Константин!

— Верно! — сказал Самойлов. — Верно! Суд — не очень правильный...

Букин услышал его голос, быстро подошел, увлекая за собой всех, и, размахивая руками, красный от возбуждения, закричал:

— За кражу, за убийство — судят присяжные, простые люди, — крестьяне, мещане, — позвольте! А людей, которые против начальства, судит начальство, — как так? Ежели ты меня обидишь, а я тебе дам в зубы, а ты меня за это судить будешь — конечно, я окажусь виноват, а первый обидел кто — ты? Ты!

Сторож, седой, горбоносый, с медалями на груди, растолкал толпу и сказал Букину, грозя пальцем:

— Эй, не кричи! Кабак тут?

— Позвольте, кавалер, я понимаю! Послушайте — ежели я вас ударю и я же вас буду судить, как вы полагаете...

— А вот я тебя вывести велю отсюда! — строго сказал сторож.

— Куда же? Зачем?

— На улицу. Чтобы ты не орал...

Букин осмотрел всех и негромко проговорил:

— Им главное чтобы люди молчали...

— А ты как думал?! — крикнул старик строго и грубо.

Букин развел руками и стал говорить тише.

— И опять же, почему не допущен на суд народ, а только родные? Ежели ты судишь справедливо, ты суди при всех — чего бояться?

Самойлов повторил, но уже громче:

— Суд не по совести, это верно!..

Матери хотелось сказать ему то, что она слышала от Николая о незаконности суда, но она плохо поняла это и частью позабыла слова. Стараясь вспомнить их, она ото-

двинулась в сторону от людей и заметила, что на нее смотрит какой-то молодой человек со светлыми усами. Правую руку он держал в кармане брюк, от этого его левое плечо было ниже, и эта особенность фигуры показалась знакомой матери. Но он повернулся к ней спиной, а она была озабочена воспоминаниями и тотчас же забыла о нем.

Но через минуту слуха ее коснулся негромкий вопрос:

— Эга?

И кто-то громче, радостно ответил:

— Да!

Она оглянулась. Человек с косыми плечами стоял боком к ней и что-то говорил своему соседу, чернобородому парню в коротком пальто и в сапогах по колено.

Снова память ее беспокойно вздрогнула, но не создала ничего ясного. В груди ее повелительно разгоралось желание говорить людям о правде сына, ей хотелось слышать, что скажут люди против этой правды, хотелось по их словам догадаться о решении суда.

— Разве так судят? — осторожно и негромко начала она, обращаясь к Сизову. — Допытываются о том — что кем сделано, а зачем сделано — не спрашивают. И старые они все, молодых — молодым судить надо...

— Да, — сказал Сизов, — трудно нам понять это дело, трудно! — И задумчиво покачал головой.

Сторож, открыв дверь зала, крикнул:

— Родственники! Показывай билеты...

Угрюмый голос неторопливо проговорил:

— Билеты, — словно в цирк!

Во всех людях теперь чувствовалось глухое раздражение, смутный задор, они стали держаться развязнее, шутили, спорили со сторожами.

XXV

Усаживаясь на скамью, Сизов что-то ворчал.

— Ты что? — спросила мать.

— Так! Дурак народ...

Позвонил колокольчик. Кто-то равнодушно объявил:

— Суд идет...

Снова все встали, и снова, в том же порядке, вошли судьи, уселись. Ввели подсудимых.

— Держись! — шепнул Сизов. — Прокурор говорить будет.

Мать вытянула шею, всем телом подалась вперед и замерла в новом ожидании страшного.

Стоя боком к судьям, повернув к ним голову, опираясь локтем на конторку, прокурор вздохнул и, отрывисто взмахивая в воздухе правой рукой, заговорил. Первых слов мать не разобрала, голос у прокурора был плавный, густой и тек неровно, то — медленно, то — быстрее. Слова однообразно вытягивались в длинный ряд, точно стежки литки, и вдруг вылетали торопливо, кружились, как стая черных мух над куском сахара. Но она не находила в них ничего страшного, ничего угрожающего. Холодные, как снег, и серые, точно пепел, они сыпались, сыпались, наполняя зал чем-то досадно надоедающим, как тонкая, сухая пыль. Эта речь, скупая чувствами, обильная словами, должно быть, не достигала до Павла и его товарищей — видимо, никак не задевала их, — все сидели спокойно и, попрежнему беззвучно беседуя, порою улыбались, порою хмурились, чтобы скрыть улыбку.

— Врет! — шептал Сизов.

Она не могла бы этого сказать. Она слышала слова прокурора, понимала, что он обвиняет всех, никого не выделяя; проговорив о Павле, он начинал говорить о Феде, а поставив его рядом с Павлом, настойчиво пододвигал к ним Букина, — казалось, он упаковывает, зашивает всех в один мешок, плотно укладывая друг к другу. Но внешний смысл его слов не удовлетворял, не трогал и не пугал ее, она все-таки ждала страшного и упорно искала его за словами — в лице, в глазах, в голосе прокурора, в его белой руке, неторопливо мелькавшей по воздуху. Что-то страшное было, она это чувствовала, но — неуловимое — оно не поддавалось определению, вновь покрывая ее сердце сухим и едким налетом.

Она смотрела на судей — им, несомненно, было скучно слушать эту речь. Неживые, желтые и серые лица ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе незаметный глазу туман, он все рос и сгущался вокруг судей, плотнее окутывая их облаком равнодушия и утомлен-

ного ожидания. Старший судья не двигался, засох в своей прямой позе, серые пятнышки за стеклами его очков порою исчезали, расплываясь по лицу.

И, видя это мертвое безучастие, это беззлобное равнодушие, мать недоуменно спрашивала себя:

«Судят?»

Вопрос стискивал ей сердце и, постепенно выжимая из него ожидание страшного, щипал горло острым ощущением обиды.

Речь прокурора порвалась как-то неожиданно — он сделал несколько быстрых, мелких стежков, поклонился судьям и сел, потирая руки. Предводитель дворянства закивал ему головой, выкатывая свои глаза, городской голова протянул руку, а старшина глядел на свой живот и улыбался.

Но судей речь его, видимо, не обрадовала, они не шевелились.

— Слово, — заговорил старичок, поднося к своему лицу какую-то бумагу, — защигнику Федосеева, Маркова и Загарова.

Встал адвокат, которого мать видела у Николая. Лицо у него было добродушное, широкое, его маленькие глазки лучисто улыбались, — казалось, из-под рыжеватых бровей высовываются два острия и, точно ножницы, стригут что-то в воздухе. Заговорил он неторопливо, звучно и ясно, но мать не могла вслушиваться в его речь — Сизов шептал ей на ухо:

— Поняла, что он говорил? Поняла? Люди, говорит, расстроенные, безумные. Это — Федор?

Она не отвечала, подавленная тягостным разочарованием. Обида росла, угнетая душу. Теперь Власовой стало ясно, почему она ждала справедливости, думала увидеть строгую, честную тяжбу правды сына с правдой судей его. Ей представлялось, что судьи будут спрашивать Павла долго, внимательно и подробно о всей жизни его сердца, они рассмотрят зоркими глазами все думы и дела сына ее, все дни его. И когда увидят они правоту его, то справедливо, громко скажут:

— Человек этот прав!

Но ничего подобного не было — казалось, что подсудимые невидимо далеко от судей, а судьи — лишние для

них. Утомленная, мать потеряла интерес к суду и, не слушая слов, обиженно думала:

«Разве так судят?»

— Так их! — одобрительно прошептал Сизов.

Уже говорил другой адвокат, маленький, с острым, бледным и насмешливым лицом, а судьи мешали ему,

Вскочил прокурор, быстро и сердито сказал что-то о протоколе, потом, увещевая, заговорил старичок, — защитник, почтительно наклонив голову, послушал их и снова продолжал речь.

— Ковыряй! — заметил Сизов. — Расковыривай...

В зале зарождалось оживление, сверкал боевой задор, адвокат раздражал острыми словами старую кожу судей. Судьи как будто сдвинулись плотнее, надулись и распухли, чтобы отражать колкие и резкие щелчки слов.

Но вот поднялся Павел, и вдруг стало неожиданно тихо. Мать качнулась всем телом вперед. Павел заговорил спокойно:

— Человек партии, я признаю только суд моей партии и буду говорить не в защиту свою, а — по желанию моих товарищей, тоже отказавшихся от защиты, — попробую объяснить вам то, чего вы не поняли. Прокурор назвал наше выступление под знаменем социаль-демократии — бунтом против верховной власти и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны, оно только первая и ближайшая цепь, которую мы обязаны сорвать с народа...

Тишина углублялась под звуками твердого голоса, он как бы расширял стены зала, Павел точно отодвигался от людей далеко в сторону, становясь выпуклее.

Судьи зашевелились тяжело и беспокойно. Предводитель дворянства что-то прошептал судье с ленивым лицом, тот кивнул головой и обратился к старичку, а с другой стороны в то же время ему говорил в ухо больной судья. Качаясь в кресле вправо и влево, старичок что-то сказал Павлу, но голос его утонул в ровном и широком потоке речи Власова.

— Мы — социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вра-

жду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать эту вражду и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, — противочеловечно, оно враждебно нам, мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость его отношения к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения человека таким обществом, против всех приемов дробления человека в угоду корыстолюбию. Мы, рабочие, — люди, трудом которых создается все — от гигантских машин до детских игрушек, мы — люди, лишенные права бороться за свое человеческое достоинство, нас каждый старается и может обратить в орудие для достижения своих целей, мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она дала нам возможность со временем завоевать всю власть. Наши лозунги просты — долой частную собственность, все средства производства — народу, вся власть — народу, труд — обязателен для всех. Вы видите — мы не бунтовщики!

Павел усмехнулся, медленно провел рукой по волосам, огонь его голубых глаз вспыхнул светлее.

— Прошу вас, — ближе к делу! — сказал председатель внятно и громко. Он повернулся к Павлу грудью, смотрел на него, и матери казалось, что его левый тусклый глаз разгорается нехорошим, жадным огнем. И все судьи смотрели на ее сына так, что казалось — их глаза прилипают к его лицу, присасываются к телу, жаждут его крови, чтобы оживить ею свои изношенные тела. А он, прямой, высокий, стоя твердо и крепко, протягивал к ним руку и негромко, четко говорил:

— Мы — революционеры и будем таковыми до поры, пока одни — только командуют, другие — только работают. Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши, и примирение между нами невозможно до поры, пока мы не победим. Победим мы, рабочие! Ваши доверители совсем не так сильны, как им кажется. Та же собственность, накапливая и сохраняя которую, они жертвуют миллионами порабощенных ими людей, та же сила, которая дает им власть над нами, возбуждает среди них

враждебные трения, разрушает их физически и морально. Собственность требует слишком много напряжения для своей защиты, и, в сущности, все вы, наши владыки, более рабы, чем мы, — вы порабощены духовно, мы — только физически. Вы не можете отказаться от гнета предрассудков и привычек, — гнета, который духовно умертвил вас, — нам ничто не мешает быть внутренне свободными, — яды, которыми вы отравляете нас, слабее тех противоядий, которые вы — не желая — вливаете в наше сознание. Оно растет, оно развивается безостановочно, все быстрее оно разгорается и увлекает за собой все лучшее, все духовно здоровое даже из вашей среды. Посмотрите — у вас уже нет людей, которые могли бы идейно бороться за вашу власть, вы уже израсходовали все аргументы, способные оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, они всё ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу. Сознание великой роли рабочего сливает всех рабочих мира в одну душу, — вы ничем не можете задержать этот процесс обновления жизни, кроме жестокости и цинизма. Но цинизм — очевиден, жестокость — раздражает. И руки, которые сегодня нас душат, скоро будут товарищески пожимать наши руки. Ваша энергия — механическая энергия роста золота, она объединяет вас в группы, призванные пожрать друг друга, наша энергия — живая сила все растущего сознания солидарности всех рабочих. Все, что делаете вы, — преступно, ибо направлено к порабощению людей, наша работа освобождает мир от призраков и чудовищ, рожденных вашею ложью, злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое, и это — будет!

Павел остановился на секунду и повторил тише, сильнее:

— Это — будет!

Судьи перешептывались, странно гримасничая, и всё не отрывали жадных глаз от Павла, а мать чувствовала, что они грязнят его гибкое, крепкое тело своими взглядами, завидуя здоровью, силе, свежести. Подсудимые

внимательно слушали речь товарища, лица их побледнели, глаза сверкали радостно. Мать глотала слова сына, и они врезывались в памяти ее стройными рядами. Старичок несколько раз останавливал Павла, что-то разъяснял ему, однажды даже печально улыбнулся — Павел молча выслушивал его и снова начинал говорить сурово, но спокойно, заставляя слушать себя, подчиняя своей воле — волю судей. Но наконец старик закричал, протягивая руку к Павлу; в ответ ему, немного насмешливо, лился голос Павла:

— Я кончаю. Обидеть лично вас я не хотел, напротив — присутствуя невольно при этой комедии, которую вы называете судом, я чувствую почти сострадание к вам. Все-таки — вы люди, а нам всегда обидно видеть людей, хотя и враждебных нашей цели, но так позорно приниженных служением насилию, до такой степени утративших сознание своего человеческого достоинства...

Он сел, не глядя на судей, мать, сдерживая дыхание, пристально смотрела на судей, ждала.

Андрей, весь сияющий, крепко стиснул руку Павла. Самойлов, Мазин и все оживленно потянулись к нему, он улыбался, немного смущенный порывами товарищей, взглянул туда, где сидела мать, и кивнул ей головой, как бы спрашивая:

«Так?»

Она ответила ему глубоким вздохом радости, вся облитая горячей волной любви.

— Вот, — начался суд! — прошептал Сизов. — Как-ак он их, а?

Она молча кивала головой, довольная тем, что сын так смело говорил, — быть может еще более довольная тем, что он кончил. В голове ее трепетно бился вопрос:

«Ну? Как же вы теперь?»

XXVI

То, что говорил сын, не было для нее новым, она знала эти мысли, но первый раз здесь, перед лицом суда, она почувствовала странную, увлекающую силу его веры. Ее поразило спокойствие Павла, и речь его слилась в ее

груди звездopodobным, лучистым комом крепкого убеждения в его правоте и в победе его. Она ждала теперь, что судьи будут жестоко спорить с ним, сердито возражать ему, выдвигая свою правду. Но вот встал Андрей, покачнулся, исподлобья взглянул на судей и заговорил:

— Господа защитники...

— Перед вами суд, а не защита! — сердито и громко заметил ему судья с больным лицом. По выражению лица Андрея мать видела, что он хочет дурить, усы у него дрожали, в глазах светилась хитрая кошачья ласка, знакомая ей. Он крепко потер голову длинной рукой и вздохнул.

— Разве ж? — сказал он, покачивая головой. — Я думаю — вы не судьи, а только защитники...

— Я попрошу вас говорить по существу дела! — сухо заметил старичок.

— По существу? Хорошо! Я уже заставил себя подумать, что вы действительно судьи, люди независимые, честные...

— Суд не нуждается в вашей характеристике!

— Не нуждается? Гм, — ну, все ж я буду продолжать... Вы люди, для которых нет ни своих, ни чужих, вы — свободные люди. Вот стоят перед вами две стороны, и одна жалуется — он меня ограбил и замордовал совсем! А другая отвечает — имею право грабить и мордовать, потому что у меня ружье есть...

— Вы имеете сказать что-нибудь по существу? — повышая голос, спросил старичок. У него дрожала рука, и матери было приятно видеть, что он сердится. Но поведение Андрея не нравилось ей — оно не сливалось с речью сына, — ей хотелось серьезного и строгого спора.

Хохол молча посмотрел на старичка, потом, потирая голову, сказал серьезно:

— По существу? Да зачем же я с вами буду говорить по существу? Что нужно было вам знать — товарищ сказал. Остальное вам доскажут, будет время, другие...

Старичок привстал и объявил:

— Лишаю вас слова! Григорий Самойлов!

Плотно сжав губы, хохол лениво опустил на скамью, рядом с ним встал Самойлов, тряхнув кудрями.

— Прокурор называл товарищей дикарями, ерагами культуры...

— Нужно говорить только о том, что касается вашего дела!

— Это — касается. Нет ничего, что не касалось бы честных людей. И я прошу не прерывать меня. Я спрашиваю вас — что такое ваша культура?

— Мы здесь не для диспутов с вами! К делу! — обнажая зубы, говорил старичок.

Поведение Андрея явно изменило судей, его слова как бы стерли с них что-то, на серых лицах явились пятна, в глазах горели холодные, зеленые искры. Речь Павла раздражила их, но сдерживала раздражение своей силой, невольно внушавшей уважение, хохол сорвал эту сдержанность и легко обнажил то, что было под нею. Они перешептывались со странными ужимками и стали двигаться слишком быстро для себя.

— Вы воспитываете шпионов, вы развращаете женщин и девушек, вы ставите человека в положение вора и убийцы, вы отравляете его водкой, — международные боины, всенародная ложь, разврат и одичание — вот культура ваша! Да, мы враги этой культуры!

— Прошу вас! — крикнул старичок, встряхивая подбородком. Но Самойлов, весь красный, сверкая глазами, тоже кричал.

— Но мы уважаем и ценим ту, другую культуру, творцов которой вы гноили в тюрьмах, сводили с ума...

— Лишаю слова! Федор Мазин!

Маленький Мазин поднялся, точно вдруг высунулось шило, и срывающимся голосом сказал:

— Я... я клянусь! Я знаю — вы осудили меня.

Он задохнулся, побледнел, на лице у него остались одни глаза, и, протянув руку, он крикнул:

— Я — честное слово! Куда вы ни пошлете меня — убегу, ворочусь, буду работать всегда, всю жизнь. Честное слово!

Сизов громко крикнул, завозился. И вся публика, поддаваясь все выше восходившей волне возбуждения, гудела странно и глухо. Плакала какая-то женщина, кто-то удушливо кашлял. Жандармы рассматривали подсудимых с тупым удивлением, публику — со злобой. Судьи качались, старик тонко кричал:

- Гусев Иван!
- Не хочу говорить!
- Василий Гусев!
- Не хочу!
- Букин Федор!

Тяжело поднялся белесоватый, выцветший парень и, качая головой, медленно сказал:

— Стыдились бы! Я человек тяжелый и то понимаю справедливость! — Он поднял руку выше головы и замолчал, полузакрыв глаза, как бы присматриваясь к чему-то вдали.

— Что такое? — раздраженно, с изумлением вскричал старик, опрокидываясь в кресле.

— А, ну вас...

Букин угрюмо опустился на скамью. Было огромное, важное в его темных словах, было что-то грустно укоряющее и наивное. Это почувствовалось всеми, и даже судьи прислушивались, как будто ожидая, не раздастся ли эхо, более ясное, чем эти слова. И на скамьях для публики все замерло, только тихий плач колебался в воздухе. Потом прокурор, пожав плечами, усмехнулся, предводитель дворянства гулко кашлянул, и снова постепенно родились шопоты, возбужденно извиваясь по залу.

Мать, наклонясь к Сизову, спросила:

- Будут судьи говорить?
- Все кончено... только приговор объявят...
- Больше ничего?
- Да...

Она не поверила ему.

Самойлова беспокойно двигалась по скамье, толкая мать плечом и локтем, и тихо говорила мужу:

- Как же это? Разве так можно?
- Видишь — можно!
- Что же будет ему, Грише-то?
- Отвяжись...

Во всех чувствовалось что-то сдвинутое, нарушенное, разбитое, люди недоуменно мигали ослепленными глазами, как будто перед ними загорелось нечто яркое, неясных очертаний, непонятного значения, но увлекающей силы. И, не понимая внезапно открывавшегося великого, люди торопливо расходовали новое для них чувство на

мелкое, очевидное, понятное им. Старший Букин, не стесняясь, громко шептал:

— Позвольте, — почему не дают говорить? Прокурор может говорить все и сколько хочет...

У скамей стоял чиновник и, махая руками на людей, вполголоса говорил:

— Тише! Тише...

Самойлов откинулся назад и за спиной жены гудел, отрывисто выбрасывая слова:

— Конечно, они виноваты, скажем. А ты дай объяснить! Против чего пошли они? Я желаю понять! Я тоже имею свой интерес...

— Тише! — грозя ему пальцем, воскликнул чиновник. Сизов угрюмо кивал головой.

А мать неотрывно смотрела на судей и видела — они все более возбуждались, разговаривая друг с другом невнятными голосами. Звук их говора, холодный и скользкий, касался ее лица и вызывал своим прикосновением дрожь в щеках, недужное, противное ощущение во рту. Матери почему-то казалось, что они все говорят о теле ее сына и товарищей его, о мускулах и членах юношей, полных горячей крови, живой силы. Это тело зажигает в них нехорошую зависть нищих, липкую жадность истощенных и больных. Они чмокают губами и жалеют эти тела, способные работать и обогащать, наслаждаться и творить. Теперь тела уходят из делового оборота жизни, отказываются от нее, уносят с собой возможность владеть ими, использовать их силу, пожрать ее. И поэтому юноши вызывают у старых судей мстительное, тоскливое раздражение ослабевшего зверя, который видит свежую пищу, но уже не имеет силы схватить ее, потерял способность насыщаться чужою силой и болезненно ворчит, уныло воет, видя, что уходит от него источник сытости.

Эта мысль, грубая и странная, принимала тем более яркую форму, чем внимательнее разглядывала мать судей. Они не скрывали, казалось ей, возбужденной жадности и бессильного озлобления голодных, которые когда-то много могли пожрать. Ей, женщине и матери, которой тело сына всегда и все-таки дороже того, что зовется душой, — ей было страшно видеть, как эти потухшие глаза ползали по его лицу, ощупывали его грудь, плечи,

руки, терлись о горячую кожу, точно искали возможности вспыхнуть, разгореться и согреть кровь в отвердевших жилах, в изношенных мускулах полумертвых людей, теперь несколько оживленных уколами жадности и зависти к молодой жизни, которую они должны были осудить и отнять у самих себя. Ей казалось, что сын чувствует эти сырые, неприятно щекочущие прикосновения и, вздрагивая, смотрит на нее.

Павел смотрел в лицо матери немного усталыми глазами спокойно и ласково. Порою кивал ей головой, улыбался.

«Скоро свобода!» — говорила ей эта улыбка и точно гладила сердце матери мягкими прикосновениями.

Вдруг судьи встали все сразу, Мать тоже невольно поднялась на ноги.

— Пошли! — сказал Сизов.

— За приговором? — спросила мать.

— Да...

Ее напряжение вдруг рассеялось, тело обняло душной истомой усталости, задрожала бровь, и на лбу выступил пот. Тягостное чувство разочарования и обиды хлынуло в сердце и быстро переродилось в угнетающее душу презрение к судьям и суду. Ощущая боль в бровях, она крепко провела ладонью по лбу, оглянувшись — родственники подсудимых подходили к решетке, зал наполнился гулом разговора. Она тоже подошла к Павлу и, крепко стиснув его руку, заплакала, полная обиды и радости, путаясь в хаосе разноречивых чувств. Павел говорил ей ласковые слова, хохол шутил и смеялся.

Все женщины плакали, но больше по привычке, чем от горя. Горя, ошеломляющего внезапным, тупым ударом, неожиданно и невидимо падающего на голову, не было, — было печальное сознание необходимости расстаться с детьми, но и оно тонуло, растворялось в впечатлениях, вызванных этим днем. Отцы и матери смотрели на детей со смутным чувством, где недоверие к молодости, привычное сознание своего превосходства над детьми странно сливалось с другим чувством, близким уважению к ним, и печальная, безотвязная дума, как теперь жить, притуплялась о любопытство, возбужденное юностью, которая смело и бесстрашно говорит о возможности другой, хоро-

шей жизни. Чувства сдерживались неумением выражать их, слова тратились обильно, но говорили о простых вещах, о белье и одежде, о необходимости беречь здоровье.

А брат Букина, взмахивая руками, убеждал младшего брата:

— Именно — справедливости! И больше ничего!

Младший Букин отвечал:

— Ты скворца береги...

— Будет цел!..

А Сизов держал племянника за руку и медленно говорил:

— Так, Федор, значит, поехал ты...

Федя наклонился и прошептал ему что-то на ухо, плутовато улыбаясь. Конвойный солдат тоже улыбнулся, но тотчас же сделал суровое лицо и крикнул.

Мать говорила с Павлом, как и другие, о том же — о платье, о здоровье, а в груди у нее толкались десятки вопросов о Саше, о себе, о нем. Но подо всем этим лежало и медленно разрасталось чувство избытка любви к сыну, напряженное желание нравиться ему, быть ближе его сердцу. Ожидание страшного умерло, оставив по себе только неприятную дрожь при воспоминании о судьбах да где-то в стороне темную мысль о них. Чувствовала она в себе зарождение большой, светлой радости, не понимала ее и смущалась. Видя, что хохол говорит со всеми, психиатр, что ему нужна ласка более, чем Павлу, она заговорила с ним.

— Не понравился мне суд!

— А почему, ненько? — благодарно улыбаясь, воскликнул хохол. — Стара мельница, а — не бездельница...

— И не страшно, и не понятно людям — чья же правда? — нерешительно сказала она.

— Ого, чего вы захотели! — воскликнул Андрей. — Да разве здесь о правде тягаются?..

Вздохнув и улыбаясь, она сказала:

— Я ведь думала, что — страшно...

— Суд идет!

Все быстро кинулись на места.

Упираясь одною рукою о стол, старший судья, закрыв лицо бумагой, начал читать ее слабо жужжавшим, шмелиным голосом.

— Приговаривает! — сказал Сизов, вслушиваясь.

Стало тихо. Все встали, глядя на старика. Маленький, сухой, прямой, он имел что-то общее с палкой, которую держит невидимая рука. Судьи тоже стояли: волостной — наклонив голову на плечо и глядя в потолок, голова — скрестив на груди руки, предводитель дворянства — поглаживая бороду. Судья с больным лицом, его пухлый товарищ и прокурор смотрели в сторону подсудимых. А сзади судей, с портрета, через их головы, смотрел царь, в красном мундире, с безразличным белым лицом, и по лицу его ползало какое-то насекомое.

— На поселение! — облегченно вздохнув, сказал Сизов. — Ну, конечно, слава тебе, господи! Говорилось — каторга! Ничего, мать! Это ничего!

— Я ведь — знала, — ответила она усталым голосом.

— Все-таки! Теперь уж верно! А то кто их знает? — Он обернулся к осужденным, которых уже уводили, и громко сказал:

— До свиданья, Федор! И — все! Дай вам бог!

Мать молча кивала головой сыну и всем. Хотелось заплакать, но было совестно.

XXVII

Она вышла из суда и удивилась, что уже ночь над городом, фонари горят на улице и звезды в небе. Около суда толпились кучки людей, в морозном воздухе хрустел снег, звучали молодые голоса, пересекая друг друга. Человек в сером башлыке заглянул в лицо Сизова и торопливо спросил:

— Какой приговор?

— Поселение.

— Всем?

— Всем.

— Спасибо!

Человек отошел.

— Видишь? — сказал Сизов. — Спрашивают...

Вдруг их окружило человек десять юношей и девушек, и быстро посыпались восклицания, привлекавшие людей. Мать и Сизов остановились. Спрашивали

о приговоре, о том, как держались подсудимые, кто говорил речи, о чем, и во всех вопросах звучала одна и та же нота жадного любопытства, — искреннее и горячее, оно возбуждало желание удовлетворить его.

— Господа! Это мать Павла Власова! — негромко крикнул кто-то, и не сразу, но быстро все замолчали.

— Позвольте пожать вам руку!

Чья-то крепкая рука стиснула пальцы матери, чей-то голос взволнованно заговорил:

— Ваш сын будет примером мужества для всех нас...

— Да здравствует русский рабочий! — раздался звонкий крик.

Крики росли, умножались, вспыхивали там и тут, ото всюду бежали люди, сталкиваясь вокруг Сизова и матери. Запрыгали по воздуху свистки полиции, но трели их не заглушали криков. Старик смеялся, а матери все это казалось милым сном. Она улыбалась, пожимала руки, кланялась, и хорошие, светлые слезы сжимали горло, ноги ее дрожали от усталости, но сердце, насыщенное радостью, все поглощая, отражало впечатления подобно светлому лику озера. А близко от нее чей-то ясный голос нервно говорил:

— Товарищи! Чудовище, пожирающее русский народ, сегодня снова проглотило своей бездонной, жадной пастью...

— Однако, мать, идем! — сказал Сизов.

И в то же время откуда-то явилась Саша, взяла мать под руку и быстро потащила за собой на другую сторону улицы, говоря:

— Идите, — пожалуй, будут бить. Или арестуют. Поселение? В Сибирь?

— Да, да!

— А как он говорил? Я, впрочем, знаю. Он был всех сильнее и проще, всех суровее, конечно. Он чуткий, нежный, но только стыдится открыть себя.

Ее горячий полушопот, слова любви ее, успокаивая волнение матери, поднимали ее упавшие силы.

— Когда поедете к нему? — тихонько и ласково спросила она Сашу, прижимая ее руку к своему телу. Уверенно глядя вперед, девушка ответила:

— Как только найду кого-нибудь, кто бы взял мою работу. Ведь я тоже жду приговора. Вероятно, они меня тоже в Сибирь, — я заявлю тогда, что желаю быть поселенной в той местности, где будет он.

Сзади раздался голос Сизова:

— Кланяйтесь тогда ему от меня! Сизов, мол. Он знает. Дядя Федора Мазина...

Саша остановилась, обернулась, протягивая руку.

— Я знакома с Федей. Меня зовут Александра.

— А по батюшке?

Она взглянула на него и ответила:

— У меня нет отца.

— Помер, значит...

— Нет, он жив! — возбужденно ответила девушка, и что-то упрямое, настойчивое прозвучало в ее голосе, явилось на лице. — Он помещик, теперь — земский начальник, он обворовывает крестьян...

— Та-ак! — подавленно отозвался Сизов и, помолчав, сказал, идя рядом с девушкой и поглядывая на нее сбоку:

— Ну, мать, прощай! Мне налево идти. До свиданья, барышня, — строго вы насчет отца-то! Конечно, ваше дело...

— Ведь если ваш сын — дрянной человек, вредный людям, противный вам — вы это скажете? — страстно крикнула Саша.

— Ну, — скажу! — не вдруг ответил старик.

— Значит, вам справедливость — дороже сына, а мне она — дороже отца...

Сизов улыбнулся, качая головой, потом сказал, вздохнув:

— Ну-ну! Ловко вы! Коли надолго вас хватит — одолеете вы стариков, — напор у вас большой!.. Прощайте, желаю вам всякого доброго! И к людям — подороже, а? Прощай, Ниловна! Увидишь Павла, скажи — слышал, мол, речь его. Не все понятно, даже страшно иное, но — скажи — верно!

Он приподнял шапку и степенно повернул за угол улицы.

— Хороший, должно быть, человек! — заметила Саша, проводив его улыбающимся взглядом своих больших глаз.

Матери показалось, что сегодня лицо девушки мягче и добрее, чем всегда.

Дома они сели на диван, плотно прижавшись друг к другу, и мать, отдыхая в тишине, снова заговорила о поездке Саши к Павлу. Задумчиво приподняв густые брови, девушка смотрела вдаль большими, мечтающими глазами, по ее бледному лицу разлилось спокойное созерцание.

— Потом, когда родятся у вас дети, — приеду я к вам, буду нянчиться с ними. И заживем мы там не хуже здешнего. Работу Паша найдет, руки у него золотые...

Окинув мать пытливым взглядом, Саша спросила:

— А вам разве не хочется сейчас ехать за ним?

Вздыхнув, мать сказала:

— На что я ему? Только помешаю, в случае побега. Да и не согласился бы он...

Саша кивнула головой.

— Не согласится.

— К тому же я — при деле! — добавила мать с легкой гордостью.

— Да! — задумчиво отозвалась Саша. — Это хорошо...

И вдруг, вздрогнув, как бы сбрасывая с себя что-то, заговорила просто и негромко:

— Жить он там не станет. Он — уйдет, конечно...

— А как же вы?.. И дитя, в случае?..

— Там увидим. Он не должен считаться со мной, и я не буду стеснять его. Мне будет тяжело расстаться с ним, но, разумеется, я справлюсь. Я не стесню его, нет.

Мать почувствовала, что Саша способна сделать так, как говорит, ей стало жалко девушку. Обняв ее, она сказала:

— Милая вы моя, трудно вам будет!

Саша мягко улыбнулась, прижимаясь к ней всем телом.

Явился Николай, усталый, и, раздеваясь, торопливо заговорил:

— Ну, Сашенька, вы убирайтесь, пока целы! За мной с утра гуляют два шпиона и так открыто, что дело пахнет арестом. У меня — предчувствие. Что-то где-то случилось. Кстати, вот у меня речь Павла, ее решено напечатать. Несите ее к Людмиле, умоляйте работать быстрее. Павел говорил славно, Ниловна!.. Берегитесь шпионов, Саша...

Говоря, он крепко растер озябшие руки и, подойдя к столу, начал поспешно выдвигать ящики, выбирая из них бумаги, одни рвал, другие откладывал в сторону, озабоченный и растрепанный.

— Давно ли я все вычистил, а уж опять вот сколько накопилось всякой всячины, — чорт! Видите ли, Ниловна, вам, пожалуй, тоже лучше не ночевать дома, а? Присутствовать при этой музыке довольно скучно, а они могут и вас посадить, — вам же необходимо будет поездить туда и сюда с речью Павла...

— Ну, на что я им? — сказала мать.

Николай, помахивая кистью руки перед глазами, уверенно сказал:

— У меня есть нюх. К тому же вы могли бы помочь Людмиле, а? Идите-ка подальше от греха...

Возможность принять участие в печатании речи сына была приятна ей, она ответила:

— Коли так — я уйду.

И, неожиданно для себя самой, сказала уверенно, но негромко:

— Теперь я ничего не боюсь, — слава тебе, Христе!

— Чудесно! — воскликнул Николай, не глядя на нее. — Вот что — вы мне скажите, где чемодан мой и мое белье, а то вы забрали все в свои хищнические руки, и я совершенно лишен возможности свободно распоряжаться личной собственностью.

Саша молча жгла в печке обрывки бумаг и, когда они сгорали, тщательно мешала пепел с золой.

— Вы, Саша, уходите! — сказал Николай, протянув ей руку. — До свиданья! Не забывайте книгами, если явится что-нибудь интересное. Ну, до свиданья, дорогой товарищ! Будьте осторожнее...

— Вы рассчитываете надолго? — спросила Саша.

— А чорт их знает! Вероятно, за мной кое-что есть. Ниловна, идите вместе, а? За двоими труднее следить, — хорошо?

— Иду! — ответила мать. — Сейчас оденусь...

Она внимательно следила за Николаем, но, кроме озабоченности, заслонившей обычное, доброе и мягкое выражение лица, не замечала ничего. Ни лишней суетливости движений, никакого признака волнения не видела она

в этом человеке, дороже ей более других. Ко всем одинаково внимательный, со всеми ласковый и ровный, всегда спокойно одинокий, он для всех оставался таким же, как и прежде, живущим тайною жизнью внутри себя и где-то впереди людей. Но она знала, что он подошел к ней ближе всех, и любила его осторожной и как бы в самое себя не верящей любовью. Теперь ей было нестерпимо жаль его, но она сдерживала свое чувство, зная, что если покажет его, Николай растеряется, сконфузится и станет, как всегда, смешным немного, — ей не хотелось видеть его таким.

Она снова вошла в комнату, он, пожимая руку Саши, говорил:

— Чудесно! Это, я уверен, очень хорошо для него и для вас. Немножко личного счастья — это не вредно. Вы готовы, Ниловна?

Он подошел к ней, улыбаясь и поправляя очки.

— Ну, до свиданья, я хочу думать — месяца на три, на четыре, на полгода, наконец! Полгода — это очень много жизни... Берегите себя, пожалуйста, а? Давайте обнимемся...

Худой и тонкий, он охватил ее шею своими крепкими руками, взглянул в ее глаза и засмеялся, говоря:

— Я, кажется, влюбился в вас, — все обнимаюсь!

Она молчала, целуя его лоб и щеки, а руки у нее тряслись. Чтобы он не заметил этого, она разжала их.

— Смотрите, завтра — осторожнее! Вы вот что, пошлите утром мальчика — там у Людмилы есть такой мальчуган — пускай он посмотрит. Ну, до свиданья, товарищи! Все хорошо!..

На улице Саша тихонько сказала матери:

— Вот так же просто он пойдет на смерть, если будет нужно, и так же, вероятно, немножко заторопится. А когда смерть взглянет в его лицо, он поправит очки, скажет — чудесно! — и умрет.

— Люблю я его! — прошептала мать.

— Я удивляюсь, а любить — нет! Уважаю — очень. Он как-то сух, хотя добр и даже, пожалуй, нежен иногда, но все это — недостаточно человеческое... Кажется, за нами следят? Давайте разойдемся. И не входите к Людмиле, если вам покажется, что есть шпион.

— Я знаю! — сказала мать. Но Саша настойчиво прибавила:

— Не входите! Тогда — ко мне. Прощайте пока!
Она быстро повернулась и пошла обратно.

XXVIII

Через несколько минут мать сидела, греясь у печки, в маленькой комнатке Людмилы. Хозяйка в черном платье, подпоясанном ремнем, медленно расхаживала по комнате, наполняя ее шелестом и звуками командующего голоса.

В печи трещал и выл огонь, втягивая воздух из комнаты, ровно звучала речь женщины.

— Люди гораздо более глупы, чем злы. Они умеют видеть только то, что близко к ним, что можно взять сейчас. А все близкое — дешево, дорого — далекое. Ведь, в сущности, всем было бы выгодно и приятно, если бы жизнь стала иной, более легкой, люди — более разумными. Но для этого сейчас же необходимо побеспокоить себя...

Вдруг, остановясь против матери, она сказала тише и как бы извиняясь:

— Редко вижу людей, и когда кто-нибудь заходит, начинаю говорить. Смешно?

— Почему же? — отозвалась мать. Она старалась догадаться, где эта женщина печатает, и не видела ничего необычного. В комнате, с тремя окнами на улицу, стоял диван и шкаф для книг, стол, стулья, у стены постель, в углу около нее умывальник, в другом — печь, на стенах фотографии картин. Все было новое, крепкое, чистое, и на все монашеская фигура хозяйки бросала холодную тень. Чувствовалось что-то затаенное, спрятанное, но было не понятно где. Мать осмотрела двери — через одну она вошла сюда из маленькой прихожей, около печи была другая дверь, узкая и высокая.

— Я к вам по делу! — смущенно сказала она, заметив, что хозяйка наблюдает за нею.

— Я знаю! Ко мне не ходят иначе...

Что-то странное почудилось матери в голосе Людмилы, она взглянула ей в лицо, та улыбалась углами тон-

ких губ, за стеклами очков блестели матовые глаза. Отводя свой взгляд в сторону, мать подала ей речь Павла.

— Вот, просят напечатать поскорее...

И стала рассказывать о приготовлениях Николая к аресту.

Людмила, молча сунув бумагу за пояс, села на стул, на стеклах ее очков отразился красный блеск огня, его горячие улыбки заиграли на неподвижном лице.

— Когда они придут ко мне — я буду стрелять в них! — негромко и решительно проговорила она, выслушав рассказ матери. — Я имею право защищаться от насилия, и я должна бороться с ним, если других призываю к этому.

Отблески огня соскользнули с лица ее, и снова оно сделалось суровым, немного надменным.

«Нехорошо тебе живется!» — вдруг ласково подумала мать.

Людмила начала читать речь Павла нехотя, потом все ближе наклонялась над бумагой, быстро откидывая прочитанные листки в сторону, а прочитав, встала, выпрямилась, подошла к матери.

— Это — хорошо!

Она подумала, опустив на минуту голову.

— Я не хотела говорить с вами о вашем сыне — не встречалась с ним и не люблю печальных разговоров. Я знаю, что это значит, когда близкий идет в ссылку! Но — мне хочется спросить вас — хорошо иметь такого сына?..

— Да, хорошо! — сказала мать.

— И — страшно, да?

Спокойно улыбаясь, мать ответила:

— Теперь уж — не страшно...

Людмила, поправляя смуглой рукой гладко причесанные волосы, отвернулась к окну. Легкая тень трепетала на ее щеках, может быть, тень подавленной улыбки.

— Я живо наберу. Вы ложитесь, у вас был трудный день, устали. Ложитесь здесь, на кровати, я не буду спать, и ночью, может быть, разбужу вас помочь мне... Когда ляжете, погасите лампу.

Она подбросила в печь два полена дров, выпрямилась и ушла в узкую дверь около печи, плотно притворив ее

за собой. Мать посмотрела вслед ей и стала раздеваться, думая о хозяйке:

«О чем-то тоскует...»

Усталость кружила ей голову, а на душе было странно спокойно и все в глазах освещалось мягким и ласковым светом, тихо и ровно наполнявшим грудь. Она уже знала это спокойствие, оно являлось к ней всегда после больших волнений и — раньше — немного тревожило ее, но теперь только расширяло душу, укрепляя ее большим и сильным чувством. Она погасила лампу, легла в холодную постель, съежилась под одеялом и быстро уснула крепким сном...

А когда открыла глаза — комната была полна холодным белым блеском ясного зимнего дня, хозяйка с книгой в руках лежала на диване и, улыбаясь не похоже на себя, смотрела ей в лицо.

— Ой, батюшки! — смущенно воскликнула мать. — Вот как я, — много время-то, а?

— Доброе утро! — отозвалась Людмила. — Скоро десять, вставайте, будем чай пить.

— Что же вы меня не разбудили?

— Хотела. Подошла к вам, а вы так хорошо улыбались во сне...

Гибким движением всего тела она поднялась с дивана, подошла к постели, наклонилась к лицу матери, и в ее матовых глазах мать увидала что-то родное, близкое и понятное.

— Мне стало жалко помешать вам, может быть, вы видели счастливый сон...

— Ничего не видела!

— Ну, все равно! Но мне понравилась ваша улыбка. Спокойная такая, добрая... большая!

Людмила засмеялась, смех ее звучал негромко, бархатисто.

— Я и задумалась о вас... Трудно вам живется!

Мать, двигая бровями, молчала, думая.

— Конечно, трудно! — воскликнула Людмила.

— Не знаю уж! — осторожно сказала мать. — Иной раз покажется трудно. А всего так много, все такое серьезное, удивительное, двигается одно за другим скоро, скоро так...

Знакомая ей волна бодрого возбуждения поднималась в груди, наполняя сердце образами и мыслями. Она села на постели, торопливо одевая мысли словами.

— Идет, идет, — все к одному... Много тяжелого, знаете! Люди страдают, бьют их, жестоко бьют, и многие радости запретны им, — очень это тяжело!

Людмила, быстро вскинув голову, взглянула на нее обнимающим взглядом и заметила:

— Вы говорите не о себе!

Мать посмотрела на нее, всгала с постели и, одеваясь, говорила:

— Да как же отодвинешь себя в сторону, когда и того любишь, и этот дорог, и за всех боязно, каждого жалко, все толкается в сердце... Как отойдешь в сторону?

Стоя среди комнаты полуодетая, она на минуту задумалась. Ей показалось, что нет ее, той, которая жила тревогами и страхом за сына, мыслями об охране его тела, нет ее теперь — такой, она отделилась, отошла далеко куда-то, а может быть, совсем сгорела на огне волнения, и это облегчило, очистило душу, обновило сердце новой силой. Она прислушивалась к себе, желая заглянуть в свое сердце и боясь снова разбудить там что-либо старое, тревожное.

— О чем задумались? — ласково спросила хозяйка, подходя к ней.

— Не знаю! — ответила мать.

Помолчали, глядя друг на друга, улыбнулись обе, потом Людмила пошла из комнаты, говоря:

— Что-то делает мой самовар?

Мать посмотрела в окно, на улице сиял холодный, крепкий день, в груди ее тоже было светло, но жарко. Хотелось говорить обо всем, много, радостно, со смутным чувством благодарности кому-то неизвестному за все, что сошло в душу и рдело там вечерним предзакатным светом. Давно не возникавшее желание молиться волновало ее. Чье-то молодое лицо вспомнилось, звонкий голос крикнул в памяти — «это мать Павла Власова!..» Сверкнули радостно и нежно глаза Саши, встала темная фигура Рыбина, улыбалось бронзовое, твердое лицо сына, смущенно мигал Николай, и вдруг все всколыхнулось глубоким, легким вздохом, слилось и спуталось в прозрач-

ное, разноцветное облако, обнявшее все мысли чувством покоя.

— Николай был прав! — сказала Людмила, входя. — Его арестовали. Я посылала туда мальчика, как вы сказали. Он говорил, что на дворе полиция, видел полицейского, который прятался за воротами. И ходят сыщики, мальчик их знает.

— Так! — сказала мать, кивая головой. — Ах, бедный...

Вздыхнула, но — без печали, и тихонько удивилась этому.

— Он последнее время много читал среди городских рабочих и вообще ему пора было провалиться! — хмуро и спокойно заметила Людмила. — Товарищи говорили — уезжай! Не послушал! По-моему — в таких случаях надо заставлять, а не уговаривать...

В двери встал черноволосый и румяный мальчик с красивыми синими глазами и горбатым носом.

— Я внесу самовар? — звонко спросил он.

— Пожалуйста, Сережа! Мой воспитанник.

Матери казалось, что Людмила сегодня иная, проще и ближе ей. В гибких колебаниях ее стройного тела было много красоты и силы, несколько смягчавшей строгое и бледное лицо. За ночь увеличились круги под ее глазами. И чувствовалось в ней напряженное усилие, туго натянутая струна в душе.

Мальчик внес самовар.

— Знакомься, Сережа! Пелагея Ниловна, мать того рабочего, которого вчера осудили.

Сережа молча поклонился, пожал руку матери, вышел, принес булки и сел за стол. Людмила, наливая чай, убеждала мать не ходить домой до поры, пока не выяснится, кого там ждет полиция.

— Может быть — вас! Вас, наверное, будут допрашивать...

— Пускай допрашивают! — отозвалась мать. — И арестуют — не велика беда. Только бы сначала Пашину речь разослать.

— Она уже набрана. Завтра можно будет иметь ее для города и слободы... Вы знаете Наташу?

— Как же!

— Отвезете ей...

Мальчик читал газету и как будто не слышал ничего, но порою глаза его смотрели из-за листа в лицо матери, и, когда она встречала их живой взгляд, ей было приятно, она улыбалась. Людмила снова вспоминала Николая без сожаления об его аресте, а матери казался вполне естественным ее тон. Время шло быстрее, чем в другие дни, — когда кончили пить чай, было уже около полудня.

— Однако! — воскликнула Людмила.

И в то же время торопливо постучали. Мальчик встал, вопросительно взглянул на хозяйку, прищурив глаза.

— Отопри, Сережа. Кто бы это?

И спокойным движением она опустила руку в карман юбки, говоря матери:

— Если жандармы, вы, Пелагея Ниловна, встаньте вот сюда, в этот угол. А ты, Сережа...

— Я знаю! — тихо ответил мальчик, исчезая.

Мать улыбнулась. Ее эти приготовления не взволновали — в ней не было предчувствия беды.

Вошел маленький доктор. Он торопливо говорил:

— Во-первых, Николай арестован. Ага, вы здесь, Ниловна? Вас не было во время ареста?

— Он меня отправил сюда.

— Гм, — я не думаю, что это полезно для вас!.. Во-вторых, сегодня в ночь разные молодые люди напечатали на гектографах штук пятьсот речи. Я видел — сделано недурно, четко, ясно. Они хотят вечером разбросать по городу. Я — против, — для города удобнее печатные листки, а эти следует отправить куда-нибудь.

— Вот я и отвезу их Наташе! — живо воскликнула мать. — Давайте-ка!

Ей страшно захотелось скорее распространить речь Павла, осыпать всю землю словами сына, и она смотрела в лицо доктора ожидающими ответа глазами, готовая просить.

— Чорт знает, насколько удобно вам теперь взяться за это! — нерешительно сказал доктор и вынул часы. — Теперь одиннадцать сорок три, — поезд в два пять, дорога туда — пять пятнадцать. Вы приедете вечером, но недостаточно поздно. И не в этом дело...

— Не в этом! — повторила хозяйка, нахмутив брови.

— А в чем? — спросила мать, подвигаясь к ним. — Только в том, чтобы хорошо сделать...

Людмила пристально взглянула на нее и, потирая лоб, заметила:

— Вам — опасно...

— Почему? — горячо и требовательно воскликнула мать.

— Вот — почему! — заговорил доктор быстро и неровно. — Вы исчезли из дому за час до ареста Николая. Вы уехали на завод, где вас знают, как тетку учительницы. После вашего приезда на заводе явились вредные листки. Все это захлестывается в петлю вокруг вашей шеи.

— Меня там не заметят! — убеждала мать, разговарываясь. — А ворочусь, арестуют, спросят, где была...

Остановясь на секунду, она воскликнула:

— Я знаю, как сказать! Оттуда я проеду прямо в слободу, там у меня знакомый есть, Сизов, — так я скажу, что, мол, прямо из суда пришла к нему, горе, мол, пришло. А у него тоже горе — племянника осудили. Он покажет так же. Видите?

Чувствуя, что они уступят силе ее желания, стремясь скорее побудить их к этому, она говорила все более настойчиво. И они уступили.

— Что ж, поезжайте! — неохотно согласился доктор.

Людмила молчала, задумчиво прохаживаясь по комнате. Лицо у нее потускнело, осунулось, а голову она держала, заметно напрягая мускулы шеи, как будто голова вдруг стала тяжелой и невольно опускалась на грудь. Мать заметила это.

— Всё вы бережете меня! — улыбаясь, сказала она. — Себя не бережете...

— Неверно! — ответил доктор. — Мы себя бережем, должны беречь! И очень ругаем того, кто бесполезно тратит силу свою, да-с! Теперь вот что — речь вы получите на вокзале...

Он объяснил ей, как это будет сделано, поглом взглянул в лицо ее, сказал:

— Ну, желаю успеха!

И ушел, все-таки недовольный чем-то. Когда дверь закрылась за ним, Людмила подошла к матери, беззвучно смеясь.

— Я понимаю вас...

Взяв ее под руку, она снова тихо зашагала по комнате.

— У меня тоже есть сын. Ему уже тринадцать лет, но он живет у отца. Мой муж — товарищ прокурора. И мальчик — с ним. Чем он будет? — часто думаю я...

Ее влажный голос дрогнул, потом снова задумчиво и тихо полилась речь.

— Его воспитывает сознательный враг тех людей, которые мне близки, которых я считаю лучшими людьми земли. Сын может вырасти врагом моим. Со мною жить ему нельзя, я живу под чужим именем. Восемь лет не видела я его, — это много — восемь лет!

Остановясь у окна, она смотрела в бледное, пустынное небо, продолжая:

— Если бы он был со мной — я была бы сильнее, не имела бы раны в сердце, которая всегда болит. И даже если бы он умер — мне легче было бы...

— Голубушка вы моя! — тихонько сказала мать, чувствуя, как сострадание жжет ей сердце.

— Вы счастливая! — с усмешкой молвила Людмила. — Это великолепно — мать и сын рядом, — это редко!

Власова неожиданно для себя самой воскликнула:

— Да, хорошо! — И, точно сообщая тайну, понизив голос, продолжала: — Все — вы, Николай Иванович, все люди правды — тоже рядом! Вдруг люди стали родными, — понимаю всех. Слов не понимаю, а все другое — понимаю!

— Вот как! — промолвила Людмила. — Вот как...

Мать положила руку на грудь ей и, тихонько толкая ее, говорила почти шопотом и точно сама созерцая то, о чем говорит.

— Миром идут дети! Вот что я понимаю — в мире идут дети, по всей земле, все, оговсюду — к одному! Идут лучшие сердца, честного ума люди, наступают неуклонно на все злое, идут, топчут ложь крепкими ногами. Молодые, здоровые, несут необоримые силы свои все к одному — к справедливости! Идут на победу всего горя человеческого, на уничтожение несчастий всей земли ополчились, идут одолеть безобразное и — одолеют! Новое солнце зажжем, говорил мне один, и — зажгут! Соединим разбитые сердца все в одно — соединят!

Ей вспоминались слова забытых молитв, зажигая новой верой, она бросала их из своего сердца, точно искры.

— Ко всему несут любовь дети, идущие путями правды и разума, и всё облачают новыми небесами, всё освещают огнем нетленным — от души. Совершается жизнь новая, в пламени любви детей ко всему миру. И кто погасит эту любовь, кто? Какая сила выше этой, кто поборет ее? Земля ее родила, и вся жизнь хочет победы ее, — вся жизнь!

Она отшатнулась от Людмилы, утомленная волнением, и села, тяжело дыша. Людмила тоже отошла, бесшумно, осторожно, точно боясь разрушить что-то. Она гибко двигалась по комнате, смотрела перед собой глубоким взглядом матовых глаз и стала как будто еще выше, прямее, тсньше. Худое, строгое лицо ее было сосредоточено, и губы нервно сжаты. Тишина в комнате быстро успокоила мать; заметив настроение Людмилы, она спросила виновато и негромко:

— Я, может, что-нибудь не так сказала?..

Людмила быстро обернулась, взглянула на нее как бы в испуге и торопливо заговорила, протянув руки к матери, точно желая остановить нечто.

— Всё так, так! Но — не будем больше говорить об этом. Пусть оно останется таким, как сказалось. — И более спокойно продолжала: — Вам уже скоро ехать надо, — далеко ведь!

— Да, скоро! Ах, как я рада, кабы вы знали! Слово сына повезу, слово крови моей! Ведь это — как своя душа!

Она улыбалась, но ее улыбка неясно отразилась на лице Людмилы. Мать чувствовала, что Людмила охлаждает ее радость своей сдержанностью, и у нее вдруг возникло упрямое желание перелить в эту суровую душу огонь свой, зажечь ее, — пусть она тоже звучит согласно строю сердца, полного радостью. Она взяла руки Людмилы, крепко стиснула их, говоря:

— Дорогая вы моя! Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и — будет время — увидят они его, обнимутся с ним душой!

Ее доброе большое лицо вздрагивало, глаза лучисто улыбались и брови трепетали над ними, как бы окрыляя

их блеск. Ее охмеляли большие мысли, она влагала в них все, чем горело ее сердце, все, что успела пережить, и сжимала мысли в твердые, емкие кристаллы светлых слов. Они всё сильнее рождались в осеннем сердце, освещенном творческой силой солнца весны, всё ярче цвели и рдели в нем.

— Ведь это — как новый бог рождается людям! Все — для всех, все — для всего! Так понимаю я всех вас. Воистину, все вы — товарищи, все — родные, все — дети одной матери — правды!

Снова захлестнутая волной возбуждения своего, она остановилась, перевела дух и, широким жестом разведя руки как бы для объятия, сказала:

— И когда я говорю про себя слово это — товарищи! — слышу сердцем — идут!

Она добилась, чего хотела, — лицо Людмилы удивленно вспыхнуло, дрожали губы, из глаз катились слезы, большие, прозрачные.

Мать крепко обняла ее, беззвучно засмеялась, мягко гордясь победою своего сердца.

Когда они прощались, Людмила заглянула в лицо ей и тихо спросила:

— Вы знаете, что с вами — хорошо?

XXIX

На улице морозный воздух сухо и крепко обнял тело, проник в горло, защекотал в носу и на секунду сжал дыхание в груди. Остановясь, мать оглянулась: близко от нее на углу стоял извозчик в мохнатой шапке, далеко — шел какой-то человек, согнувшись, втягивая голову в плечи, а впереди него вприпрыжку бежал солдат, потирая уши.

«Должно быть, в лавочку послали солдатика!» — подумала она и пошла, с удовольствием слушая, как молодо и звучно скрипит снег под ее ногами. На вокзал она пришла рано, еще не был готов ее поезд, но в грязном, закопченном дымом зале третьего класса уже собралось много народа — холод согнал сюда путейских рабочих, пришли погреться извозчики и какие-то плохо одетые, бездомные

люди. Были и пассажиры, несколько крестьян, толстый купец в енотовой шубе, священник с дочерью, рябой девицей, человек пять солдат, суетливые мещане. Люди курили, разговаривали, пили чай, водку. У буфета кто-то раскатисто смеялся, над головами носились волны дыма. Визжала, открываясь, дверь, дрожали и звенели стекла, когда ее с шумом захлопывали. Запах табаку и соленой рыбы густо бил в нос.

Мать села у входа на виду и ждала. Когда открывалась дверь — на нее налетало облако холодного воздуха, это было приятно ей, и она глубоко вдыхала его полной грудью. Входили люди с узлами в руках — тяжело одетые, они неуклюже застревали в двери, ругались и, бросив на пол или на лавку вещи, стряхивали сухой иней с воротников пальто и с рукавов,тирали его с бороды, усов, крикали.

Вошел молодой человек с желтым чемоданом в руках, быстро оглянулся и пошел прямо к матери.

— В Москву? — негромко спросил он.

— Да. К Тане.

— Вот!

Он поставил чемодан около нее на лавку, быстро вынул папиросу, закурил ее и, приподняв шапку, молча ушел к другой двери. Мать погладила рукой холодную кожу чемодана, облокотилась на него и, довольная, начала рассматривать публику. Через минуту она встала и пошла на другую скамью ближе к выходу на перрон. Чемодан она легко держала в руке, он был невелик, и шла, подняв голову, рассматривая лица, мелькавшие перед нею.

Какой-то молодой человек в коротком пальто с поднятым воротником столкнулся с нею и молча отскочил, взмахнув рукою к голове. Ей показалось что-то знакомое в нем, она оглянулась и увидала, что он одним светлым глазом смотрит на нее из-за воротника. Этот внимательный глаз уколол ее, рука, в которой она держала чемодан, вздрогнула, и ноша вдруг отяжелела.

«Я где-то видела его!» — подумала она, заминая этой думой неприятное и смутное ощущение в груди, не давая другим словам определить чувство, тихонько, но властно сжимавшее сердце холодом. А оно росло и поднималось к горлу, наполняло рот сухой горечью, ей нестерпимо

захотелось обернуться, взглянуть еще раз. Она сделала это — человек, осторожно переступая с ноги на ногу, стоял на том же месте, казалось, он чего-то хочет и не решается. Правая рука у него была засунута между пуговиц пальто, другую он держал в кармане, от этого правое плечо казалось выше левого.

Она, не торопясь, подошла к лавке и села, осторожно, медленно, точно боясь что-то порвать в себе. Память, разбуженная острым предчувствием беды, дважды поставила перед нею этого человека — один раз в поле, за городом после побега Рыбина, другой — в суде. Там рядом с ним стоял тот околодочный, которому она ложно указала путь Рыбина. Ее знали, за нею следили — это было ясно.

«Попалась?» — спросила она себя. А в следующий миг ответила, вздрагивая:

«Может быть, еще нет...»

И тут же, сделав над собой усилие, строго сказала:

«Попалась!»

Оглядывалась и ничего не видела, а мысли одна за другою искрами вспыхивали и гасли в ее мозгу.

«Оставить чемодан, — уйти?»

Но более ярко мелькнула другая искра:

«Сыновнее слово бросить? В такие руки...»

Она прижала к себе чемодан.

«А — с ним уйти?.. Бежать...»

Эти мысли казались ей чужими, точно их кто-то извне насильно втыкал в нее. Они ее жгли, ожоги их больно кололи мозг, хлестали по сердцу, как огненные нити. И, возбуждая боль, обижали женщину, отгоняя ее прочь от самой себя, от Павла и всего, что уже срослось с ее сердцем. Она чувствовала, что ее настойчиво сжимает враждебная сила, давит ей на плечи и грудь, унижает ее, погружая в мертвый страх; на висках у нее сильно забились жилы, и корням волос стало тепло.

Тогда, одним большим и резким усилием сердца, которое как бы встряхнуло ее всю, она погасила все эти хитрые, маленькие, слабые огоньки, поведительно сказав себе:

«Стыдись!»

Ей сразу стало лучше, и она совсем окрепла, добавив:

«Не позорь сына-то! Никто не боится».

Глаза ее встретили чей-то унылый, робкий взгляд. Потом в памяти мелькнуло лицо Рыбина. Несколько секунд колебаний точно уплотнили все в ней. Сердце забилося спокойнее.

«Что ж теперь будет?» — думала она, наблюдая.

Шпион подозревал сторожа и что-то шептал ему, указывая на нее глазами. Сторож оглядывал его и пятился назад. Подошел другой сторож, прислушался, нахмурил брови. Он был старик, крупный, седой, небритый. Вот он кивнул шпиону головой и пошел к лавке, где сидела мать, а шпион быстро исчез куда-то.

Старик шагал не торопясь, внимательно щупая сердитыми глазами лицо ее. Она подвинулась в глубь скамьи.

«Только бы не били...»

Он остановился рядом с нею, помолчал и негромко, сурово спросил:

— Что глядишь?

— Ничего.

— То-то, воровка! Старая уж, а — туда же!

Ей показалось, что его слова ударили ее по лицу, раз и два; злые, хриплые, они делали больно, как будто рвали щеки, выхлестывали глаза...

— Я? Я не воровка, врешь! — крикнула она всею грудью, и все перед нею закружилось в вихре ее возмущения, опьяняя сердце горечью обиды. Она рванула чемодан, и он открылся.

— Гляди! Глядите все! — кричала она, вставая, взмахнув над головою пачкой выхваченных прокламаций. Сквозь шум в ушах она слышала восклицания сбегавшихся людей и видела — бежали быстро, все, отовсюду.

— Что такое?

— Вот, сыщик...

— Что это?

— Украла, говорит...

— Почтенная такая, — ай-ай-ай!

— Я не воровка! — говорила мать полным голосом, немного успокаиваясь при виде людей, тесно напиравших на нее со всех сторон.

— Вчера судили политических, там был мой сын — Власов, он сказал речь — вот она! Я везу ее людям, чтобы они читали, думали о правде...

Кто-то осторожно потянул бумаги из ее рук, она взмахнула ими в воздухе и бросила в толпу.

— За это тоже не похвалят! — воскликнул чей-то пугливый голос.

Магь видела, что бумаги хватают, прячут за пазухи, в карманы, — это снова крепко поставило ее на ноги. Спокойнее и сильнее, вся напрягаясь и чувствуя, как в ней растет разбуженная гордость, разгорается подавленная радость, она говорила, выхватывая из чемодана пачки бумаги и разбрасывая их налево и направо в чьи-то быстрые, жадные руки.

— За что судили сына моего и всех, кто с ним, — вы знаете? Я вам скажу, а вы поверьте сердцу матери, седым волосам ее — вчера людей за то судили, что они несут вам всем правду! Вчера узнала я, что правда эта... никто не может спорить с нею, никто!

Толпа замолчала и росла, становясь все более плотной, слитно окружая женщину кольцом живого тела.

— Бедность, голод и болезни — вот что дает людям их работа. Всё против нас — мы издыхаем всю нашу жизнь день за днем в работе, всегда в грязи, в обмане, а нашими трудами тешатся и объедаются другие и держат нас, как собак на цепи, в невежестве — мы ничего не знаем, и в страхе — мы всего боимся! Ночь — наша жизнь, темная ночь!

— Так! — глухо раздалось в ответ.

— Заткни глотку ей!

Сзади толпы мать заметила шпиона и двух жандармов, и она торопилась отдать последние пачки, но когда рука ее опустилась в чемодан, там она встретила чью-то чужую руку.

— Берите, берите! — сказала она, наклоняясь.

— Разойдись! — кричали жандармы, расталкивая людей. Они уступали толчкам неохотно, зажимали жандармов своею массою, мешали им, быть может, не желая этого. Их властно привлекала седая женщина с большими честными глазами на добром лице, и, разобщенные жизнью, оторванные друг от друга, теперь они сливались в нечто целое, согретое огнем слова, которого, быть может, давно искали и жаждали многие сердца, обиженные несправедливостями жизни. Ближайшие стояли молча,

мать видела их жадно-внимательные глаза и чувствовала на своем лице теплое дыхание.

— Уходи, старуха!

— Сейчас возьмут!..

— Ах, дерзкая!

— Прочь! Разойдись! — все ближе раздавались крики жандармов. Люди перед матерью покачивались на ногах, хватаясь друг за друга.

Ей казалось, что все готовы понять ее, поверить ей, и она хотела, торопилась сказать людям все, что знала, все мысли, силу которых чувствовала. Они легко всплывали из глубины ее сердца и слагались в песню, но она с обидою чувствовала, что ей не хватает голоса, хрипит он, вздрагивает, рвется.

— Слово сына моего — чистое слово рабочего человека, неподкупной души! Узнавайте неподкупное по смелости!

Чьи-то юные глаза смотрели в лицо ее с восторгом и со страхом.

Ее толкнули в грудь, она покачнулась и села на лавку. Над головами людей мелькали руки жандармов, они хватали за воротники и плечи, отшвыривали в сторону тела, срывали шапки, далеко отбрасывая их. Все почернело, закачалось в глазах матери, но, преодолевая свою усталость, она еще кричала остатками голоса:

— Собирай, народ, силы свои во единую силу!

Жандарм большой красной рукой схватил ее за ворот, встряхнул.

— Молчи!

Она ударилась затылком о стену, сердце оделось на секунду едким дымом страха и снова ярко вспыхнуло, рассеяв дым.

— Иди! — сказал жандарм.

— Не бойтесь ничего! Нет муки горше той, которой вы всю жизнь дышите...

— Молчать, говорю! — Жандарм взял под руку ее, дернул. Другой схватил другую руку, и, крупно шагая, они повели мать.

— ...которая каждый день гложет сердце, сушит грудь!

Шпион забежал вперед и, грозя ей в лицо кулаком, визгливо крикнул:

— Молчать, ты, сволочь!

Глаза у нее расширились, сверкнули, задрожала челюсть. Упираясь ногами в скользкий камень пола, она крикнула:

— Душу воскресшую — не убьют!

— Собака!

Шпион ударил ее в лицо коротким взмахом руки.

— Так ее, стерву старую! — раздался злорадный крик.

Что-то черное и красное на миг ослепило глаза матери, соленый вкус крови наполнил рот.

Дробный, яркий взрыв криков оживил ее.

— Не смей бить!

— Ребята!

— Ах ты, мерзавец!

— Дай ему!

— Не зальют кровью разума!

Ее толкали в шею, спину, били по плечам, по голове, все закружилось, завертелось темным вихрем в криках, вое, свисте, что-то густое, оглушающее лезло в уши, набивалось в горло, душило, пол проваливался под ее ногами, колебался, ноги гнулись, тело вздрагивало в ожогах боли, отяжелело и качалось, бессильное. Но глаза ее не угасали и видели много других глаз — они горели знакомым ей смелым, острым огнем, — родным ее сердцу огнем.

Ее толкали в двери.

Она вырвала руку, схватилась за косяк.

— Морями крови не угасят правды...

Ударили по руке.

— Только злобы накопите, безумные! На вас она падет!

Жандарм схватил ее за горло и стал душить.

Она хрипела.

— Несчастные...

Кто-то ответил ей громким рыданием.

[КАК Я ПЕРВЫЙ РАЗ УСЛЫШАЛ О ГАРИБАЛЬДИ]

В первый раз я услышал это великое и светлое имя, когда мне было 13 лет.

Я служил тогда кухонным мальчишкой на пассажирском пароходе и целыми днями мыл посуду, наполовину оглушенный стуком машины, наполовину одурелый от горелого жира.

Когда выпадал свободный часок, я шел на ют.

Там собирались пассажиры третьего класса: крестьяне и рабочие.

Кто сидя, кто стоя, плотной кучкой слушали они тихий и спокойный рассказ одного пассажира.

Я тоже стал слушать.

— Звали его Джузеппе, по-нашему Осип, а фамилия его была Гарибальди, и он был простой рыбак. Великая у него была душа, и он видел горькую жизнь своего народа, которого одолели враги. И кликнул он клич по всей стране: «Братья, свобода выше и лучше жизни! Подымайтесь все на борьбу с врагом, и будем биться, пока не одолеем!» И все послушались его, потому что видели, что он скорей трижды умрет, чем поддастся. Все пошли за ним и победили.

Был вечер, и солнце опускалось в Волгу.

Розоватые волны словно целовали друг друга и таяли в поцелуе.

Потом я много читал о Гарибальди, титане Италии.

Но короткий рассказ неизвестного крестьянина глубже укоренился в моем сердце, чем все книги...

ПРИМЕЧАНИЯ

В седьмой том вошли произведения, написанные М. Горьким в 1906—1907 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «В Америке», «Мои интервью», «Солдаты», «Товарищ!», «9-е января», «Мать». Эти произведения неоднократно редактировались М. Горьким. Некоторые из них в последний раз редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 годов.

Остальные три произведения седьмого тома — «Чарли Мэн», «Послание в пространство», «[Как я первый раз услышал о Гарibaldi]» — включаются в собрание сочинений впервые. Эти произведения М. Горький повторно не редактировал.

В АМЕРИКЕ

Впервые цикл очерков «В Америке» напечатан в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книги одиннадцатая и двенадцатая. Тогда же издан за границей отдельной книгой: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И. Дитца, Штутгарт, 1906.

Очерки написаны весною и летом 1906 г. в Америке.

В феврале 1906 года, по поручению партии большевиков, М. Горький, которому угрожал арест, выехал из России. Перед ним стояли задачи: рассказать иностранным рабочим правду о русской революции, пропагандировать ее идеи, организовать сбор средств для революционной борьбы большевистской партии, агитировать против иностранных займов, которые царское правительство стремилось получить для подавления революции. Несколько недель писатель пробыл в Германии, затем отправился в Америку, куда и прибыл 10/23 апреля 1906 г. Через несколько дней М. Горький сообщал друзьям о своих первых впечатлениях от Америки. В письме к К. П. Пятницкому он писал, что американцы «...слишком бизнесмены — люди, делающие деньги, — у них мало жизни духа» (Архив А. М. Горького). Тогда же, сопоставляя Россию эпохи революции 1905 г. с Америкой, М. Горький сообщал И. П. Ладыжникову: «Мы далеко впереди этой свободной Америки, при всех наших несчастьях! Это особенно ясно видно, когда сравниваешь здешнего фермера или рабочего с нашими мужиками и рабочими» (Архив А. М. Горького).

В первых же публичных выступлениях в Америке М. Горький выражал солидарность с американскими трудящимися. В некоторых газетах США в апреле 1906 г. была напечатана телеграмма М. Горького, адресованная Вильяму Хэйвуду и Чарльзу Мойеру — руко-

водителям «Западной федерации рудокопов», заключенным в тюрьму города Кальдуэль. «Привет вам, братья-социалисты! — писал М. Горький. — Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братски ваш».

Выступая на митинге в Грэнд-Пэлейсе в Нью-Йорке, М. Горький заявил: «Я не верю в вражду рас и наций. Я вижу только одну борьбу — классовую. Я не верю в существование специфической психологии, вызывающей у белого человека естественную ненависть к человеку черной расы...»

Американская буржуазная пресса открыла злостную кампанию против М. Горького. Писатель был выселен из отеля в Нью-Йорке, где он проживал. Все другие владельцы нью-йоркских отелей также отказались предоставить ему помещение. Американские капиталисты надеялись заставить М. Горького уехать из Америки. Писатель вынужден был поселиться в частном доме, в Нью-Йорке на Стейтен Айленд, у супругов Мартин. У них на даче, в горах Адирондакс, в 25 километрах от города Элизабеттоун, М. Горький прожил лето 1906 г.

Появление в американском журнале «Аппельтон мэгэзин» очерка «Город Желтого Дьявола» вызвало целый поток читательских откликов. В одном из писем в августе 1906 г. М. Горький сообщал, что сенаторы пишут возражения, а рабочие хохочут.

К. П. Пятницкому М. Горький писал «Знаете — в ответ на мою статью в «Аппельтоне» о Нью-Йорке газеты получили более 1200 возражений!

Я скоро напечатаю статью «Страна подростков», в которой буду доказывать, что американцы, даже когда они лысы, седы и жуют вставными зубами, даже когда они профессора, сенаторы и миллионеры, — имеют не более 13—15 лет от роду. Вероятно, меня задавят возражениями» (Архив А. М. Горького).

И еще: «...Меня страшно увлекает каша, заваренная здесь. Любопытно! Говорят — я здесь делаю революцию. Это, конечно, чепуха, но, говоря серьезно, мне удалось поднять шум» (Архив А. М. Горького).

Первоначально книга «В Америке» состояла из четырех очерков: «Город Желтого Дьявола», «Царство скуки», «Моб», «Чарли Мэн». Позднее последний очерк М. Горьким в цикл не включался.

В настоящем издании очерк «Чарли Мэн» печатается вне цикла.

Город Желтого Дьявола. Впервые напечатано одновременно в американском журнале «Аппельтон мэгэзин», в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга одиннадцатая, СПб, 1906,

и в книге: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И. Дитца, Штутгарт, 1906.

В авторизованных машинописных экземплярах текста содержится указание на место создания произведения: «New-York. Staten Island».

Царство скуки, «Mob». Впервые напечатаны одновременно в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга двенадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И. Дитца, Штутгарт, 1906.

Очерки «В Америке» включались во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатаются по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ЧАРЛИ МЭН

Впервые напечатано в качестве четвертого очерка в серии «В Америке» одновременно в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга двенадцатая, СПб, 1906, и в книге: «М. Горький. В Америке (Очерки). Часть первая», издательство И. Дитца, Штутгарт, 1906.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для двенадцатого «Сборника товарищества «Знание» за 1906 год».

МОИ ИНТЕРВЬЮ

Впервые напечатано в 1906 г. в различных изданиях.

Цикл создавался в 1906 г., начиная с апреля месяца.

Развивая агитацию против предоставления иностранными империалистами займа русскому царю, М. Горький опубликовал весной 1906 г. ряд обращений к рабочим и прогрессивной интеллигенции Европы и Америки. Во французской газете «Юманите» и парижском журнале «Красное знамя» он напечатал в апреле статью «Не давайте денег русскому правительству!», летом в печати появились его обращения к рабочим Англии, Франции, Италии.

Характеризуя взаимоотношения России и Европы после революции 1905 г., И. В. Сталин писал:

«Русско-японская война вскрыла всю гнилость и слабость русского самодержавия. Успешная общая политическая забастовка в октябре 1905 года довела эту слабость до полной ясности (колосс на глиняных ногах). Далее, 1905 г. вскрыл не только слабость самодержавия, хилость либеральной буржуазии и мощь русского

пролетариата, но и опроверг имевшее раньше силу ходячее мнение о том, что русское самодержавие является жандармом Европы, что оно будто бы *в силах быть* жандармом Европы. Факты показали, что русское самодержавие не в состоянии справиться даже со своим рабочим классом без помощи европейского капитала. Пока рабочий класс России спал, а русское крестьянство не шевелилось, сохраняя веру в царя-батюшку, русское самодержавие действительно имело возможность быть жандармом Европы, но 1905 г. и прежде всего выстрелы 9-го января 1905 г. разбудили русский пролетариат, а аграрное движение того же года подорвало веру мужаика в царя. Теперь центр тяжести контрреволюции европейской перемещен от русских помещиков к англо-французским банкирам-империалистам. Германские с.-д., пытавшиеся оправдать свою измену пролетариату в 1914 г. ссылкой на прогрессивность войны с русским самодержавием, как с жандармом Европы, козыряли собственно тенью прошлого, козыряли, конечно, фальшиво, — ибо настоящие жандармы Европы, располагающие достаточными силами и средствами для того, чтобы быть жандармами, сидели не в Петрограде, а в Берлине, Париже, Лондоне.

Теперь для всех стало ясно, что Европа ввозит в Россию не только социализм, но и контрреволюцию в виде займов царю и т. п., а Россия в Европу кроме политических эмигрантов — революцию (Россия в 1905 г. ввезла в Европу во всяком случае общую забастовку, как средство борьбы пролетариата)» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 5, стр. 72—73).

М. Горький увидел опасность, грозившую русской революции со стороны европейских империалистов. Приехав в Америку, он приступил к работе над книгой «Мои интервью». В мае 1906 г. он сообщил И. П. Ладыжникову: «Посылаю Вам начало моей книги, которая должна носить название «Мои интервью». «Прекрасная Франция», как вещь, имеющая характер злободневный, должна быть, на мой взгляд, издана отдельной брошюрой немедленно. Если Вы не найдете этого возможным — продайте ее газетам теперь же. Она может иметь некоторое практическое значение.

Следующие интервью будут с Миллионером, Николаем II, Мертвецом, Грешником, Прометеем, Агасфером, с самим собой и т. д. — не более десяти» (Архив А. М. Горького).

Полностью замысел книги «В Америке» и серии «Мои интервью» М. Горьким осуществлен не был.

«Не печатайте на обложке о моих «Интервью» и об «Америке», — писал М. Горький И. П. Ладыжникову в начале 1907 г., —

я отвлекся сильно в сторону от этих задач и — не знаю теперь, когда выполню их?» (Архив А. М. Горького).

В тринадцатом «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год» было объявлено следующее содержание серии «Мои интервью»:

«Предисловие.

I. Король, который высоко держит свое знамя.

II. Прекрасная Франция.

III. Царь.

IV. Один из королей республики.

V. Жрец морали.

VI. Хозяева жизни».

Серия открывалась ироническим предисловием:

«Когда автор делает предисловие к своей книге, он очень похож на молодого человека, который, входя в церковь, рядом со своей невестой, предупредительно извещает публику:

— Я женюсь для того, чтобы у меня родился рыжий мальчик с голубыми глазами и не менее двенадцати фунтов весу.

Такого рода заявления всегда казались мне несколько самонадеянными. Я скромненький и не скажу ничего подобного. Мне просто захотелось написать веселую, для всех приятную книгу. Я чувствую, что до сего времени немножко мешал людям жить спокойно и счастливо. Останавливая внимание человека на темных сторонах жизни, я запятнал его чистое сердце брызгами жизненной грязи, но теперь сознаю свою ошибку.

И это сознание заставляет меня попробовать, не могу ли я омыть грязное сердце читателя в ручье безобидного смеха?

Вот скромная цель моей книги» (см. «Сборник товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906, стр. 3, 5).

В настоящем издании соблюдена последовательность размещения произведений, установленная М. Горьким для печатания в «Сборниках товарищества «Знание».

Король, который высоко держит свое знамя. Впервые напечатано в серии «Мои интервью» в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906.

Памфлет, представляющий собой сатиру на немецкого кайзера Вильгельма II, не мог быть напечатан в Германии, в отличие от остальных произведений этого цикла. Не включен он автором и в собрание сочинений в издании «Книга», потому что текст к этому собранию сочинений подготавливался по штутгартским изданиям.

Включался во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для тринадцатого «Сборника товарищества «Знание» за 1906 год».

Прекрасная Франция. В России впервые напечатано в серии «Мои интервью» в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906, с изъятиями, сделанными царской цензурой. За границей очерк был напечатан в ряде газет и выпущен отдельной книгой издательством И. Дитца, Штутгарт, 1906. Под текстом указано место и время создания произведения: «Нью-Йорк. Май 1906».

Памфлет является откликом на получение царским правительством займа во Франции.

Включалось во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для тринадцатого «Сборника товарищества «Знание» за 1906 год».

Русский царь. Впервые напечатано в парижском журнале «Красное знамя», 1906, № 3, июнь, и тогда же выпущено отдельной брошюрой издательством И. Дитца, Штутгарт, 1906. В изданиях указаны место и время написания: «Нью-Йорк, 10 мая 1906».

В России очерк не мог быть напечатан. В тринадцатом «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год» вместо интервью «Русский царь» было напечатано одно название «Царь». Текст же заменен рядом многоточий (см. «Сборник товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906, стр. 27).

Включалось во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту штутгартского издания 1906 года.

Один из королей республики. Впервые напечатано в серии «Мои интервью» в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906. Тогда же выпущено за границей отдельной брошюрой издательством И. Дитца, Штутгарт, 1906.

Включалось во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

Жрец морали. Впервые напечатано в серии «Мои интервью» в «Сборнике товарищества «Знание» за 1907 год», книга пятнадцатая, СПб, 1907. Тогда же выпущено за границей отдельной брошюрой издательством И. Дитца, Штутгарт, 1906.

Включалось во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для пятнадцатого «Сборника товарищества «Знание» за 1907 год».

Хозяева жизни. Впервые напечатано отдельной брошюрой в 1906 г. издательством И. Дитца, Штутгарт, 1906.

В «Сборнике товарищества «Знание» очерк был объявлен в серии «Мои интервью», но не был напечатан.

Включался во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для штутгартского издания 1906 г.

ПОСЛАНИЕ В ПРОСТРАНСТВО

Впервые напечатано в июньском номере журнала «Красное знамя», 1906, № 3, Париж.

В собрание сочинений не включалось.

Печатается по тексту журнала «Красное знамя» с исправлениями по рукописному списку, исправленному и подписанному автором (Архив А. М. Горького).

СОЛДАТЫ

Первый рассказ, «Патруль», впервые напечатан в июньском номере журнала «Красное знамя», 1906, № 3, Париж, под названием «Солдаты». В России рассказ увидел свет лишь в 1915 году: с большими цензурными сокращениями он был напечатан под названием «Патруль» в шестнадцатом томе собрания сочинений М. Горького, выпущенного книгоиздательством «Жизнь и знание».

Второй рассказ, «Из повести», впервые напечатан в февральском номере журнала «Радуга», 1908, № 4, Женева. Печатание в России было запрещено. В 1911 году царской цензурой был уничтожен «Сборник товарищества «Прогресс» за напечатание (под названием «Омут») рассказа «Из повести». Не удалось добиться разрешения на включение рассказа и в собрание сочинений, издававшееся книгоиздательством «Жизнь и знание».

В 1908 году оба рассказа были выпущены отдельной книгой под названием: «М. Горький. Солдаты. Очерки» издательством И. П. Ладужникова.

Рассказы включались во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ТОВАРИЩ

Сказка

Впервые напечатано в «Сборнике товарищества «Знание» за 1906 год», книга тринадцатая, СПб, 1906, и одновременно отдельной книгой в Штутгарте издательством И. Дитца.

Включалось во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким в 1915 году для собрания сочинений в издании «Жизнь и знание».

9-е ЯНВАРЯ

Впервые напечатано отдельным изданием в 1907 году в Берлине издательством И. П. Ладыжникова. В России до революции очерк «9-е января» не издавался, а распространение заграничных изданий этого очерка было запрещено комитетом иностранной цензуры.

Первое описание событий 9-го января, очевидцем и участником которых был М. Горький, содержится в его письме к Е. П. Пешковой, написанном 9-го же января 1905 года. В связи с намечавшимся в России изданием историко-революционного календаря М. Горький по просьбе издателя Гржебина, заказавшего ему в ноябре 1906 г. статью о событиях 9-го января, написал в декабре 1906 г. очерк «9-е января», но опубликовать его в историко-революционном календаре отказался.

В России очерк впервые был напечатан в 1920 году в Петрограде.

Для собрания сочинений в издании «Книга» М. Горький заново правил очерк «9-е января». Правленный автором текст хранится в Архиве А. М. Горького.

В Архиве А. М. Горького хранится также перепечатанный на машинке отрывок из «9-е января», начинающийся словами: «Вокруг жилища царя...» и заканчивающийся словами: «...вырывавшегося из рук ее». Этот отрывок Горький заново отредактировал в начале 1930-х годов.

Очерк включался во все собрания сочинений, выходившие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга», с учетом авторских поправок и изменений, внесенных в указанный выше отрывок.

Впервые напечатано в 1906—1907 гг. в переводе на английский язык в журнале «Аппельтон мэгэзин».

Отдельными изданиями «Мать» вышла в 1907 г., на русском языке — в Берлине, в издательстве И. П. Ладыжникова, и в переводе на английский язык — в Нью-Йорке и в Лондоне.

В России повесть была опубликована с большими цензурными изъятиями в «Сборнике товарищества «Знание», книги шестнадцатая — девятнадцатая за 1907 г., книги двадцатая — двадцать первая за 1908 г.

Впервые полностью в России «Мать» напечатана в 1917 году в пятнадцатом томе собрания сочинений, выпущенного издательством «Жизнь и знание».

Подготовительную работу над повестью М. Горький начал еще до революции 1905 г. В письме к В. А. Десницкому от 28 марта 1933 г. М. Горький писал: «Мысль написать книгу о рабочих явилась у меня еще в Нижнем, после Сормовской демонстрации. В то же время начал собирать материал и делать разные заметки. Савва Морозов дал мне десятка два любопытнейших писем рабочих к нему и рассказал много интересного о своих наблюдениях фабричной жизни... Собранный мною материал после 9 января 1905 г. куда-то исчез, может быть, жандармы не возвратили...

...«Мать» я писал в Америке, летом [190]6-го года, не имея материала, «по памяти»... Предполагалось после «Матери» написать «Сын»; у меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты, знакомства с рабочими обеих партий и с крупнейшими гапоновцами: Петровым, Инковым, Черемохинным, Карелиным, впечатления лондонского съезда, но всего этого оказалось мало, «Лето», «Мордовка», «Романтик», «Сашка» — можно считать набросками к «Сыну»...» (В. Десницкий, М. Горький. Гослитиздат, 1940, стр. 263). -

Первая часть повести в первоначальной редакции была закончена к началу сентября 1906 года в Америке, о чем М. Горький писал К. П. Пятницкому 5/18 сентября 1906 года: «...Кончил первую часть большой повести «Мать» (Архив А. М. Горького).

Вторая часть закончена в конце 1906 г., что подтверждается письмом М. Горького к И. П. Ладыжникову, датированным декабрем 1906 г.

Первоначальная редакция повести, рукопись которой не сохранилась и о содержании которой можно судить лишь по английскому

переводу, значительно отличается от первых изданий на русском языке: в первоначальной редакции убийство шпиона Исяя совершает Андрей Находка, было больше эпизодических лиц, в сцене суда значительную роль играли защитники и т. д. Уже в текст для издания И. П. Ладыжникова (1907 г.) и в текст, предназначенный для публикации в сборниках товарищества «Знание», М. Горький внес значительные изменения, которые сохранились до последних прижизненных изданий.

Текст отдельного издания И. П. Ладыжникова (1907 г.) и текст, опубликованный в сборниках «Знания», содержат очень незначительные отличия.

Рукопись повести не сохранилась. Сохранился отрывок первой части повести, представляющий собой машинописную копию, правленную автором (Архив А. М. Горького). Она служила оригиналом набора глав XVII—XIX, опубликованных в восемнадцатом «Сборнике товарищества «Знание» (соответствуют главам XXI—XXIX, настоящего издания). Оригиналом набора второй части в издании И. П. Ладыжникова (1907 г.) служила машинописная копия с немногими авторскими исправлениями (Архив А. М. Горького).

По тексту отдельного издания И. П. Ладыжникова 1907 г. М. Горький готовил 2-е издание повести, 1908 г., в том же издательстве.

Принятое деление на главы установлено М. Горьким при подготовке текста к этому изданию. Печатный текст отдельного издания 1907 года с исправлениями М. Горького, преимущественно стилистического характера, также хранящийся в Архиве А. М. Горького, служил оригиналом набора для отдельного издания И. П. Ладыжникова 1908 года, с которого в Берлине же было напечатано еще одно издание, 1911—1912 гг. В 1914—1916 гг. М. Горький заново отредактировал текст повести для издательства «Жизнь и знание», но публикация его в России и на этот раз оказалась невозможной. В издании «Жизнь и знание» «Мать» была опубликована только в 1917 г. Эта редакция повести значительно отличается от предыдущих. Автор много работал над языком произведения и сделал некоторые сокращения текста. В 1922 г. готовя тексты своих произведений к собранию сочинений в издании «Книга», М. Горький в последний раз редактирует повесть.

В результате этой редакционной работы значительно изменен образ Пелагеи Ниловны: вместо старухи, какой она изображалась в первых редакциях, М. Горький нарисовал ее в последней редакции сорокалетней женщиной, соответственно изменив и психологические

черты образа. В издании «Жизнь и знание», и особенно в собрании сочинений 1923—1927 гг., М. Горький значительно сократил части текста, содержащие рассуждения матери на религиозные темы.

Значительным изменениям в двух последних редакциях подвергся образ Андрея Находки. М. Горький сокращал отвлеченно гуманистические рассуждения героя, делал его образ более реалистичным. Углублена также психологическая характеристика Павла.

Несколько изменены в последней редакции и образы Рыбина и Весовщикова.

Особое внимание в двух последних редакциях М. Горький уделил языку повести.

Не имея под руками текста, выправленного для издания «Жизнь и знание», 1917, М. Горький в 1922 году правил повесть заново по печатному тексту издания И. П. Ладыжникова 1911—1912 гг. Поэтому текст повести в издании 1917 года является «боковой» редакцией, не воспроизводимой в настоящем издании.

В конце марта 1907 г. вышел в свет шестнадцатый сборник товарищества «Знание», в июне — семнадцатый сборник и в июле — восемнадцатый. В них была напечатана первая часть повести «Мать». На восемнадцатый сборник Петербургский комитет по делам печати наложил арест, а после доклада цензора Федорова арест был наложен и на два предыдущих сборника, значительная часть тиража которых к тому времени уже разошлась.

По докладу цензора 3 августа 1907 г. Петербургский комитет по делам печати вынес постановление о возбуждении судебного преследования против М. Горького как автора произведения, содержащего противоправительственную пропаганду. Возможность выхода второй части повести в России таким образом была исключена. Чтобы все-таки завершить издание, автору и редакции сборников товарищества «Знание» пришлось изъять все наиболее политически острые места. В главе XXVIII (соответствует XV—XVI главам второй части настоящего издания) были исключены: гневные слова Рыбина, разоблачающие произвол и насилие; эпизод избияния Рыбина урядником, затем становым; угрозы станового крестьянам за содействие Рыбину. В гл. XXIV (соответствует XVII—XVIII главам второй части настоящего издания) были вычеркнуты рассуждения матери о революционных действиях народа, о необходимости организованной борьбы против эксплуататоров, слова крестьян, свидетельствующие о том, что и они приходят к мысли о необходимости борьбы.

16 марта 1908 г. М. Горький писал К. П. Пятницкому: «XX-й сборник (товарищества «Знание». — *Ред.*) производит тяжкое впечатление своими точками. «Мать», разбитая на куски, окончательно пропала...» (Архив А. М. Горького). Точками были заменены части текста, изъятые цензурой.

В двадцать первом сборнике были опубликованы последние главы повести, причем наибольшее количество цензурных изъятий было сделано именно в них. Из главы XX (соответствует XIX—XX главам второй части настоящего издания) изъяты слова Николая Ивановича об одичании и жестокости, насаждаемых правительством, о зверской эксплуатации; изъята также часть разговора Николая Ивановича с Игнатием. Исключена была и сцена суда над участниками демонстрации, от слов Павла: «Здесь нет преступников, нет судей...», то есть конец XXII и вся XXIII глава (соответствует концу XXIV, XXV и XXVI главам второй части настоящего издания). Значительные изъятия были сделаны и в последней главе — в сцене ареста матери: вычеркнуты были слова матери о справедливых идеях, за которые боролся ее сын, обличение ею существующего строя.

Толчком к написанию повести «Мать» послужили события революционного движения в слободе Сормово Балахнинского уезда — теперь части города Горького. Живя в Нижнем-Новгороде, М. Горький сам наблюдал многие из описанных в повести событий, он хорошо знал жизнь рабочей слободки, лично был знаком со многими участниками революционного движения: с рабочим П. А. Заломовым, послужившим прототипом Павла Власова; с его матерью — Анной Кирилловной Заломовой, ставшей прототипом Пелагеи Ниловны Власовой; с пропагандистами из Нижнего, работавшими в Сормове, — И. П. Ладыжниковым, А. И. Пискуновым и др.

Описание первомайской демонстрации в повести «Мать» отражает события в Сормове 1902 г. Газета «Искра» в 1902 году (№ 21, от 1 июня) напечатала листовку Нижегородского комитета Российской социал-демократической рабочей партии с описанием демонстрации. На знамени, которое нес Петр Заломов, шедший во главе демонстрации, было написано: «Долой самодержавие! Да здравствует политическая свобода!»

«Искра» освещала и судебный процесс над сормовичами, который шел с 28 по 31 октября 1902 г.; в газете были полностью напечатаны речи Заломова, Быкова, Самылина и Михайлова. Участники демонстрации Заломов, Самылин, Быков, Дружнин, Ляпин и Фролов были приговорены Московской судебной палатой на вечное поселение в Сибирь с лишением всех прав состояния.

«Искра» высоко оценила агитационное значение речей подсудимых. В 1903 году (№ 35 от 1 марта) было напечатано письмо П. А. Заломова, написанное им еще в тюрьме. В письме Заломов выражал твердую уверенность в победе коммунизма и обещал отдать все свои силы делу революции.

Публикуя на страницах № 29 газеты «Искра» (1902 г., 1 декабря) речи П. А. Заломова и его товарищей на суде, В. И. Ленин предпослал им свою статью «Новые события и старые вопросы», в которой писал:

«Наряду с ростовской битвой выдвигаются на первый план из политических фактов последнего времени каторжные приговоры над демонстрантами. Правительство решило запугивать всячески, начиная от розги и кончая каторгой. И какой замечательный ответ дали ему рабочие, речи которых на суде мы приводим ниже, — как поучителен этот ответ для всех тех, кто особенно шумел по поводу обескураживающего действия демонстраций не в целях поощрения к дальнейшей работе на том же пути, а в целях проповеди пресловутого индивидуального отпора! Эти речи — превосходный, от самих глубин пролетариата исходящий комментарий к событиям вроде ростовских и, вместе с тем, замечательное заявление («публичное оказательство», сказал бы я, если бы это не был специфический полицейский термин), вносящее бездну бодрости в длинную и трудную работу над «действительными» шагами движения. Замечательно в этих речах простое, доподлинно-точное изображение того, как совершается переход от самых повседневных, *десятками и сотнями миллионов* повторяющихся фактов «угнетения, нищеты, рабства, унижения, эксплуатации» рабочих в современном обществе к пробуждению их сознания, к росту их «возмущения», к революционному проявлению этого возмущения (я поставил в кавычки те выражения, которые мне *пришлось* употребить для характеристики речей нижегородских рабочих, ибо это — те самые знаменитые слова Маркса из последних страниц первого тома «Капитала», которые вызвали со стороны «критиков», оппортунистов, ревизионистов и т. п. столько шумных и неудачных попыток опровержения и изобличения соц.-дем. в том, что они говорят неправду).

Именно потому, что говорили эти речи простые рабочие, вовсе не передовые по степени их развития, говорили даже не в качестве членов какой-либо организации, а в качестве людей толпы, именно потому, что напирали они не на их личные убеждения, а на факты из жизни каждого пролетария или полупролетария в России — такое ободряющее впечатление производят их выводы: «вот почему мы

сознательно шли на демонстрацию против самодержавного правительства». Обыденность и «массовидность» тех фактов, из которых они делали этот вывод, ручается за то, что к этому выводу могут прийти и неизбежно придут тысячи, десятки и сотни тысяч, если мы сумеем продолжить, расширить и укрепить систематическое, принципиально выдержанное и всесторонне революционное (социал-демократическое) воздействие на них. Мы готовы идти на каторгу за борьбу против политического и экономического рабства, раз мы почувствовали дуновение свободы, — говорили четверо нижегородских рабочих. Мы готовы идти на смерть — как бы вторили им тысячи в Ростове, отвоевывая себе на несколько дней свободу политических сдодок, отбивая целый ряд военных атак на безоружную толпу.

Сим победиши — остается нам сказать по адресу тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать» (В. И. Ленин, Сочинения, издание 4-е, том 6, стр. 251—252).

Материалы сормовского рабочего движения, равно как и многих других промышленных центров, были хорошо известны М. Горькому и послужили фактической основой его произведения.

5 мая 1902 г. М. Горький уехал из Нижнего в Арзамас — место его ссылки — и вернулся незадолго до суда над сормовичами. Наблюдения над жизнью Арзамасского уезда, в частности за ростом революционных настроений среди крестьянства, дали ему материал для тех страниц «Матери», на которых описана деятельность Рыбина и поездка Ниловны и Софьи в деревню. Знакомство с деятельностью городской нижегородской социал-демократической организации и ее членами дали материал для обрисовки революционной интеллигенции. Сцена похорон Егора Ивановича напоминает похороны студента Рюрикова, о которых тоже писала «Искра».

М. Горький принимал активное участие в организации защиты сормовичей.

14 октября 1902 г. М. Горький написал листовку-воззвание «К обществу» по поводу суда над участниками первомайской демонстрации 1902 г. в Сормове.

31 октября 1902 г. М. Горький выехал из Нижнего в Москву. Среди провожавших его были и сормовичи — участники первомайской демонстрации, оправданные по суду.

М. Горький не раз подчеркивал типичность характеров своих героев. В письме к Марии Михайловне [Черемцовой] он так характеризовал основных героев повести: «Когда писатель работает книгу, он изображает в ней не портрет того или другого знакомого

ему человека, а старается изобразить в одном человеке многих, похожих на этого одного человека...

Была ли Ниловна? В подготовке революции, в «подпольной работе» принимали участие и матери. Я знал одну старуху, мать рабочего-революционера, которая, под видом странницы, развозила революционную литературу по заводам и фабрикам.

Нередко матери, во время тюремных свиданий с сыновьями, передавали им записки «с воли», от товарищей. Мать одного из членов ЦК партии большевиков хранила печать Комитета на голове у себя, в прическе.

Жандармы дважды делали обыски в квартире, а печать не нашли.

Такие матери были не так уж редки...

Павел Власов — характер тоже не редкий. Именно вот такие парни создали партию большевиков. Многие из них уцелели в тюрьмах, в ссылке, в гражданской войне и теперь стали во главе партии, например, Клим Ворошилов и другие, такие же талантливые люди» (Архив А. М. Горького).

В 1910 году М. Горький писал Н. И. Иорданскому: «...Ниловна — портрет матери Петра Заломова, осужденного в 901 году за демонстрацию 1 мая в Сормове. Она работала в организации, развозила литературу, переодетая странницей, в Иваново-Вознесенском районе и т. д. Она — не исключение. Вспомните мать Кадомцевых, судившуюся в Уфе за то, что она пронесла в тюрьму сыну бомбы, коими была взорвана стена во время побега. Я мог бы назвать с десяток имен матерей, судившихся вместе с детьми и частью лично мне известных» (Архив А. М. Горького).

В мае 1907 г. В. И. Ленин встретился с М. Горьким в Лондоне на V съезде РСДРП. В беседе с писателем Ленин высоко оценил повесть, прочитанную им еще в рукописи. В воспоминаниях о В. И. Ленине М. Горький писал: «Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга — нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент».

О воспитательном, пропагандистском значении книги писал К. Е. Ворошилов в своем поздравлении в день сорокалетия литературной деятельности М. Горького:

«На ваших литературных произведениях воспитались целые поколения российских пролетариев, впервые увидевших в них образцы высокого, прекрасного искусства, понятного и родного им. Замечательная повесть «Мать» поистине является автобиографией рабочего класса, настолько много в ней чрезвычайно близкого, пережитого каждым пролетарием, прошедшим суровую школу старой проклятой русской жизни» («Правда», 1932 г., № 267, 26 сентября).

О том же говорят и многочисленные письма рабочих, видящих в повести книгу, которая учит рабочий класс всего мира жить и бороться.

Повесть «Мать» включалась во все собрания сочинений, выходявшие после Октябрьской революции.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга», с исправлениями по предшествующим авторизованным изданиям.

[КАК Я ПЕРВЫЙ РАЗ УСЛЫШАЛ О ГАРИБАЛЬДИ]

Впервые напечатано в юбилейном сборнике памяти Гарибальди, изданном в ознаменование столетия со дня его рождения студентами Римского университета, 1907; в газете «Биржевые ведомости» (вечерний выпуск), 1907 г., № 9977, 3 июля, и в утреннем выпуске этой же газеты, 1907 г., № 9978, 4 июля.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Биржевые ведомости».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Америка, 1906 г.
2. А. М. Горький. Америка, 1906 г.
3. Первая страница печатного текста книги «В Америке» с авторской правкой 1923 г.
4. Первая страница машинописного текста очерка «9-е января» с авторской правкой 1930—1934 гг.
5. Страница печатного текста повести «Мать» с авторской правкой 1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ

В Америке	
Город Желтого Дьявола	7
Царство скуки	19
«Моб»	33
Чарли Мэн	43
Мои интервью	
Король, который высоко держит свое знамя .	53
Прекрасная Франция	64
Русский царь	71
Один из королей республики	83
Жрец морали	98
Хозяева жизни	110
Послание в пространство	125
Солдаты	
Патруль	127
Из повести	133
Товарищ! <i>Сказка</i>	161
9-е января	167
Мать	193
[Как я первый раз услышал о Гарибальди]	517
Примечания	521
Иллюстрации	537

Подписано к печати 21/X-50 г.

Е-12982

Бумага $84 \times 108^{1/32} = 8,44$ бум. л.

27,67 печ. л. + 5 вкл. 27,4 уч.-изд. л.

Тираж 300 000.

Цена 12 руб.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР,
Ленинград, Гатчинская, 26.